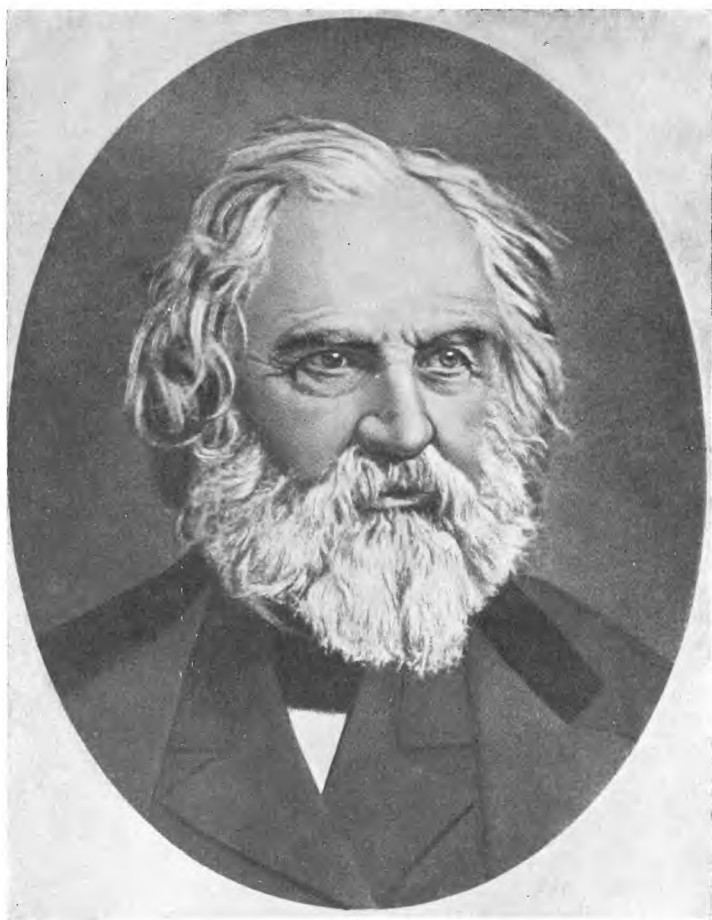


Г. ЛОНГФЕЛЛО

Г. ЛОНГФЕЛЛО



ГЕНРИ ЛОНГФЕЛЛО

Г. ЛОНГФЕЛЛО

избранное

*Государственное Издательство
Художественной
Литературы
Москва 1958*

Составитель
Д. М. Горфинкель

Перевод с английского
под редакцией
Вс. А. Рождественского и
Б. Б. Томашевского

Вступительная статья
и примечания
Б. Б. Томашевского

Оформление художника
А. В. Чехонина

ГЕНРИ ЛОНГФЕЛЛО

Творческое наследие выдающегося американского поэта Генри Уодсворта Лонгфелло (1807—1882) весьма разнообразно. Основу его составляют лирические стихотворения, баллады и сонеты. Некоторые из них, например «Стрела и песня», стали хрестоматийными и знакомы каждому американцу с детских лет. Широко известен и его поэтический цикл «Стихи о рабстве», где Лонгфелло выступил с гневным протестом против расовой дискриминации негров в Америке. Лонгфелло — автор трех поэм, посвященных эпизодам из истории Америки и жизни ее коренных обитателей — индейцев, о которых поэт пишет с сочувствием, рисуя картины жестокого национального гнета. Лонгфелло написал несколько пьес, главным образом исторического и философского содержания. Наконец, Лонгфелло автор прозаических произведений — двух романов и книги очерков. Превосходно зная ряд романских и германских языков, Лонгфелло был замечательным переводчиком и постоянно знакомил американских читателей с европейской поэзией. Самой крупной его работой в этой области был перевод «Божественной комедии» Данте — ценный вклад в американскую культуру.

Лонгфелло — один из лучших американских поэтов, гордость американского народа, классик американской литературы. Лонгфелло знали и читали всюду, в Америке и Англии, в любых кругах общества. Еще при жизни поэта его произведения были переведены на ряд европейских языков, в том числе и на русский. Немецкий революционный поэт Фердинанд Фрейлиграт, друг Карла Маркса, высоко ценил творчество Лонгфелло и переводил его стихи и поэмы на немецкий язык. В России Лонгфелло переводили М. Л. Михайлов и И. А. Бунин. Популярность Лонгфелло объясняется отчасти тем, что

героями многих его произведений были простые люди, в которых поэт видел носителей самых высоких человеческих качеств.

Лонгфелло прожил долгую жизнь — перед его глазами прошел почти весь XIX век. Не будучи крупным общественным деятелем, как его современник В. Гюго, Лонгфелло тем не менее во многих своих произведениях чутко откликался на главнейшие события эпохи. Об этом убедительно свидетельствуют также его дневники и письма. Лонгфелло решительно выступал против отвратительных пороков буржуазного общества, обличал власть денег, корысть, алчную погоню за наживой. Наряду с не прекращавшейся всю жизнь борьбой против угнетения индейцев и негров Лонгфелло возвышал свой голос против всякой тирании — политической и религиозной. Он выступал как убежденный сторонник мира, дружбы между народами, как противник несправедливых, захватнических войн. Поэт-романтик, Лонгфелло тем не менее с реалистической широтой отразил свою эпоху, свою страну, американскую жизнь и американский национальный характер. Его творчество исторически закономерное звено в развитии американской литературы. Оно вдохновлено мыслями и чувствами, близкими всему передовому человечеству. Гуманист и демократ, Лонгфелло создал ряд подлинно художественных ценностей в лирической и эпической поэзии. По решению Всемирного Совета Мира столетие со дня рождения Лонгфелло было в 1957 году отмечено во всех странах мира.

Генри Уодсворт Лонгфелло родился 27 февраля 1807 года в городе Портленде, в штате Мэн — одном из северо-восточных штатов Америки. Его дед был участником американской революции XVIII века. Отец поэта — Стивен Лонгфелло (1776—1849) — был адвокатом и членом конгресса. Генеалогия семейства Лонгфелло связана с ранним периодом в истории Америки. Один из предков поэта — моряк Уильям Лонгфелло (1651—1690) эмигрировал из Англии в Америку в 1676 году. Предками матери поэта — Зильфы Уодсворт — были Джон Олден и его жена Присцилла — герои поэмы Лонгфелло «Сватовство Майлза Стендиша», которые прибыли в Америку вместе с первыми пуританами на корабле «Мэйфлауер» в 1620 году.

Жизнь Лонгфелло не богата событиями. Он провел детство в тихом и спокойном городе Портленде на берегу Атлантического океана. Воспоминания о родном городе мы находим в стихотворении «Утраченная юность». Мирная жизнь города в 1812 году была нарушена войной с Англией. В тихой бухте около Портленда в 1813 году разгорелся морской бой. 4 сентября британский бриг «Боксер» был захвачен американским бригам «Энтерпрайз». В битве были убиты оба капитана. Их похороны описаны в стихотворении Лонгфелло.

В родном городе мальчик научился любить море и моряков. Здесь он полюбил американскую природу. Здесь впервые он познакомился с историей родной страны, с историей колонизации Америки, с легендами индейцев. Все эти темы впоследствии нашли свое отражение в творчестве поэта.

В библиотеке отца нашлось много книг, и мальчик увлекался чтением. Он читал Шекспира, Мильтона, Каупера, Мура, песни Оссиана. С упоением зачитывался он арабскими сказками «Тысячи и одной ночи», приключениями Дон-Кихота и Робинзона Крузо. Но любимой его книгой была «Книга очерков» американского писателя Вашингтона Ирвинга. В ней Лонгфелло нашел и образцы американского фольклора, и эпизоды из истории родной страны, и поэтические картины американской природы. Под несомненным влиянием Ирвинга создавалась первая прозаическая книга Лонгфелло «За океаном».

Еще в школьные годы Лонгфелло начал писать. Это были стихи подражательные, наивные и, в общем, мало интересные. Однако уже в них намечены основные темы поэзии Лонгфелло — история родной страны, легенды и предания, природа. Первое стихотворение Лонгфелло, появившееся в печати, было «Битва у Ловелз-Понд». Оно было напечатано в 1820 году в «Литературной газете Соединенных Штатов» под псевдонимом «Генри». Темой стихотворения послужило историческое событие. Некий Джон Ловел, охотник за индейскими скальпами, был убит в начале XVIII века в стычке с индейцами. Тринадцатилетний мальчик еще не мог, конечно, отдать себе отчет в правде исторических событий, и он одинаково прославляет всех героев, индейцев и белых, павших в бою. Однако здесь уже характерен интерес к теме борьбы индейцев за свою независимость против белых поработителей. Возможно, что тут сказалось влияние Ирвинга, который с волнением писал об угнетении и истреблении индейцев.

БИТВА У ЛОВЕЛЗ-ПОНД

В холодных просторах ночного тумана
Не северный ветер, а гул урагана...
Над соснами стоны звучат без конца,
Как звон похоронный над гробом бойца.

И крики солдат и клич краснокожих
Утихли, уснувших бойцов не тревожа...
Здесь грохот сраженья умолк навсегда,
От звуков фанфар не осталось следа.

Героев немало за родину пало,
Сырая земля им пристанищем стала...

Но там, где убитых покоится прах,
Нет мрамора в память о павших врагах.

Их в гроб провожала бессмертная слава,
Победа играла им марш величавый...
В сердца патриотов на все времена
Незыблемо врезаны их имена.

Но уже в одном из писем 1823 года шестнадцатилетний юноша пишет об индейцах как об «отверженном и угнетенном народе». «Они — народ, обладающий величием, благородством, радушием и истинной религией без лицемерия. Белые обращались с ними самым варварским образом, как на словах, так и на деле...» «Зверства» индейцев — кто не слышал этого тысячи раз! А ведь белые люди, которые перешеголяли их в жестокости и варварстве, повсюду трубят об их преступлениях и благодарят бога за то, что они не такие, как эти язычники». Эти слова являются как бы эпиграфом к дальнейшим произведениям Лонгфелло, посвященным жизни и судьбам индейцев в Америке.

В 1821 году Лонгфелло поступил в Бюдойнский колледж в Брунsvике, недалеко от Портленда. И в этой местности все было полно отзвуками индейских преданий и легенд. Недаром за время пребывания в колледже Лонгфелло написал несколько стихотворений, посвященных индейской теме: «Индеец-охотник», «Джекойва», «Погребение Миннисинка». Другие стихотворения Лонгфелло, написанные за время пребывания в колледже, — это главным образом лирические стихи о природе. В течение 1824—1825 годов семнадцать стихотворений молодого поэта были напечатаны в «Литературной газете».

В колледже Лонгфелло учился вместе с Натаниелем Готорном, впоследствии знаменитым американским писателем-романистом. Дружба Лонгфелло с Готорном продолжалась до смерти последнего. Когда Готорн в 1864 году умер, Лонгфелло посвятил его памяти проникновенное стихотворение. В свою очередь Готорн упоминает о Лонгфелло во вступлении к своему роману «Алая буква»: «У очага Лонгфелло я проникся поэзией...» и описывает жизнь в колледже в своем раннем романе «Фэншо». В ряде рецензий Готорн сочувственно писал о стихотворных сборниках Лонгфелло.

В колледже Лонгфелло впервые начал заниматься переводами. В частности, он переводил оды Горация. Один из преподавателей колледжа обратил внимание на литературные и лингвистические способности юноши. Это решило его судьбу.

В 1825 году Лонгфелло окончил колледж с отличием и поступил помощником адвоката в контору к отцу. Но вскоре выяснилось, что

он отнюдь не стремится посвятить свою жизнь профессии юриста. В письме к отцу (декабрь 1824 года) он пишет: «Хочу быть литератором». К счастью, Лонгфелло получил приглашение преподавать иностранные языки в Боудойнском колледже.

Чтобы усовершенствовать свои знания в избранной им области, Лонгфелло в мае 1826 года предпринял путешествие в Европу. Это путешествие продолжалось три с половиной года. Он побывал во Франции, Италии, Испании, Германии, Голландии и Англии. Он внимательно изучал историю, жизнь народа и языки этих стран. К языкам Лонгфелло был необыкновенно способен. Впоследствии он хорошо знал много европейских языков.

Путешествие расширило кругозор юного поэта и обогатило его новыми темами. Он бродил по улицам Парижа и Мадрида, видел каналы Венеции и старые замки на Рейне. Впечатления Лонгфелло отражены в его дневниках и письмах этих лет. Париж представляется ему современным Вавилоном и мрачным городом. Он отмечает, что Французская революция произвела большие перемены в национальном характере французов. Он резко критикует режим эпохи Реставрации. В его высказываниях слышится протест против гонений на свободу мысли и слова. Он пишет о слабости короля Карла X и о засилье иезуитов. Ему кажется, что монархия ведет нацию к упадку и возвращает ее к средневековью.

В Испании Лонгфелло встретился со своим любимым писателем — Ирвингом. В своем дневнике от 8 марта 1827 года Ирвинг упоминает о встрече с молодым Лонгфелло. Со своей стороны, Лонгфелло был пленен Ирвингом, его юмором и поэтическим обликом. Описывая Мадрид, Сеговию, Малагу, Гранаду, жизнь басков, Лонгфелло отмечает: «Испанцы послушны церкви». Он сочувственно цитирует строки из «Чайльд-Гарольда» Байрона, посвященные Испании. В Испании поэт пробыл восемь месяцев. Больше ему никогда не пришлось бывать в этой стране.

В Италии его внимание привлекли скульптура и живопись. С восхищением пишет он о Риме, Неаполе, Флоренции и Венеции. Он осматривает Колизей, Форум, собор святого Петра. Он потрясен Венерой Кановой. С любопытством наблюдает он карнавал во Флоренции.

Но особенный интерес у Лонгфелло вызвала Германия. Он увлечен немецкой литературой, в частности Гете и Жаном-Полем Рихтером. Это увлечение Германией и немецкой литературой явственно отразилось в романе Лонгфелло «Гиперион». Наконец, Лонгфелло слушает лекции в Геттингенском университете.

В августе 1829 года Лонгфелло вернулся в Америку. После этого он в течение шести лет, с 1829 по 1835 год, преподает языки и лите-

ратуру в Бюдойнском колледже. Он продолжает писать стихи, но одновременно занимается и созданием учебных пособий по иностранным языкам.

В 1831 году он женился на Мэри Поттер, дочери судьи.

Главным занятием молодого преподавателя постепенно становится литература. В 1833 году он перевел ряд стихотворений испанских поэтов (в частности, поэта XV века — Хорхе Манрике), сопроводив их очерком об испанской поэзии. Аналогичные очерки Лонгфелло написал и о французской и итальянской поэзии. Все они вошли в 1835 году в сборник «За океаном», где Лонгфелло делится с читателем впечатлениями о своем первом путешествии по Франции, Испании и Италии, переданными в манере Ирвинга.

В 1835 году Лонгфелло переходит в Гарвардский университет. Перед тем как начать там преподавание, он снова отправляется в Европу. На этот раз он проводит за границей немного больше года. Теперь его привлекают главным образом скандинавские страны, Германия и Швейцария. Во время одного из переездов из страны в страну в Роттердаме (Голландия) в ноябре 1835 года у него умирает жена. Памяти ее посвящено стихотворение «Шаги ангелов».

В конце 1836 года Лонгфелло снова в Америке. Он поселился в городе Кембридже, недалеко от Бостона. Теперь он преподает языки и литературу в Гарвардском университете. Но главным и любимым его занятием остается литература, поэзия. Он пишет о том, что поэзия возвышает человека над корыстными, материальными интересами и низменными наслаждениями. Восставая против буржуазной цивилизации, он записывает в дневнике: «Нет пароходов и локомотивов в области знания и мысли». В своем неясном, не осознанном до конца романтическом протесте против звериной и хищнической сущности капитализма, враждебного искусству и подлинной человечности, он близок к другому выдающемуся американскому поэту — Эдгару По (см., например, сонет Эдгара По «К науке»), хотя во многом их взгляды на поэзию расходились и Эдгар По неоднократно выступал с резкой критической оценкой ряда произведений и творческого метода Лонгфелло. В этот период Лонгфелло начинает задумываться над судьбами американской литературы и культуры. Он приходит к убеждению, что литературы в Америке еще нет, и в ряде статей он ратует за создание национальной поэзии. Сам Лонгфелло продолжает активно работать в области поэзии и прозы. В 1839 году выходят в свет роман «Гиперион» и первая книга стихов — «Ночные голоса», куда вошли ранние стихи поэта, в том числе ставший знаменитым «Псалом жизни».

Лонгфелло жил в эпоху стремительного развития капитализма в Соединенных Штатах после революционной войны за независимость

1775—1783 годов. Буржуазный общественный строй в Америке в первой половине XIX века еще окончательно не сложился. Еще сильны были элементы феодализма, воплощенные главным образом в системе рабовладения. Люди, воспитанные в буржуазных традициях, как Лонгфелло, могли еще питать иллюзию, что этот строй — лишь временная, переходная ступень к иному, более совершенному и справедливому общественному строю. Это, с одной стороны, влекло за собой либеральную оценку буржуазной действительности. С другой стороны, жестокий феодальный произвол и безудержное капиталистическое хищничество, расовый и национальный гнет — истребление индейских племен и рабство негров, — всеобщее стремление к обогащению, растлевающая власть денег, социальные контрасты богатства и бедности, религиозный фанатизм — все это порождало протест против существующих условий жизни и мечту о более высоком и разумном общественном строе. На основе этого противоречивого отношения к миру и возникает литературное течение романтизма, представителем которого в Америке был Лонгфелло.

Романтики представляли себе действительность хаотической и противоречивой. В их сознании существовал реальный мир, в котором царит зло, насилие и несправедливость, и идеальный мир мечты, где господствуют законы добра, благородства и человечности. Критически относясь к существующей буржуазной действительности, отвергая и отрицая ее, романтики, однако, не приходят к мысли о революционном переустройстве мира, даже не догадываются об этой возможности, а ищут спасения от этой ненавистной им прозаической жизни в уходе от нее в вымышленный, поэтический мир мечты — в средневековое прошлое, в экзотику далеких стран, в идиллический мир природы, в религиозную метафизику. Таковы были американские поэты-романтики во главе с Эдгаром По. Все это в той или иной степени характерно и для поэзии Лонгфелло.

Юношеская лирика Лонгфелло в целом еще очень далека от реальной действительности. Жизнь народа в ней почти не отражена. Большинство стихотворений посвящено природе («Апрельский день», «Лес зимою», «Восход солнца в горах», «Осень» и др.). В этих стихах молодой поэт выступает как подражатель английских романтиков Вордсворта («Восход солнца в горах») и Китса («Осень»), а также американского поэта начала XIX века Уильяма Брайента. Но уже в этих ранних поэтических опытах Лонгфелло слышится неясный протест против «города и толпы» (стих. «Прелюдия»). Миру «города и толпы» поэт противопоставляет мир природы, часто предстающий перед ним в туманной дымке эгегических образов, навеянных религией. Так, например, в стихотворении «Прелюдия»:

«Природа со скрещенными руками как бы стоит на коленях, творя черную молитву».

Образы и метафоры, заимствованные из сферы религии, проходят в дальнейшем через все творчество Лонгфелло. Это отнюдь не означает, конечно, что Лонгфелло был религиозным фанатиком. В поэзии романтика Лонгфелло религиозная оболочка есть лишь мечта о лучшем, более чистом и справедливом мире. Поэтому, говоря о существующей действительности, он именует ее «небеса, черные от греха». Лучшее стихотворение этого раннего периода называется «Псалом жизни». Несмотря на название, связанное с библейским мотивом, это — утверждение реальной земной жизни с ее борьбой, понимание жизни как подвига. В этой борьбе человек должен быть героем. Лонгфелло полон оптимистической веры в творческие силы человечества:

Жизнь великих призывает
Нас к великому идти,
Чтоб в песках времен остался
След и нашего пути.

Уже в 1831 году американский критик Чивер в рецензии на ранние стихи Лонгфелло о природе отмечал их поэтичность, простоту выражения без надуманных эпитетов, а также точность описаний природы. Вскоре Лонгфелло уже получил некоторую известность как автор стихотворений «Апрельский день», «Лес зимой» и др.

Выше было упомянуто, что первым стихотворением мальчишки Лонгфелло было «Битва у Ловелз-Понд», где уже намечена одна из генеральных тем поэзии Лонгфелло — тема борьбы индейцев за свою независимость, против белых порабощителей. В цикле ранних стихов эта тема получает свое дальнейшее развитие. В стихотворениях «Погребение Миннисинка» и «Джекойва» поэт сочувственно рисует быт индейцев, их нравы и обычаи. Но наиболее примечательным стихотворением здесь является «Индеец-охотник», где Лонгфелло поднимается до грозных обвинительных слов по адресу белых колонизаторов. «Проклятье предательской дружбе белых людей» слетает с губ индейца, который с горестью видит, что его родные земли захвачены жестокими пришельцами. Аналогичные мотивы звучат впоследствии в стихотворениях «Гонимому облаку» и «Месть индейца Дождь-в-лицо», а также в поэмах «Песнь о Гайавате» и «Сватовство Майлза Стендиша».

Дальнейшая жизнь Лонгфелло так небогата внешними событиями, что его биография по существу представляет собою лишь перечень вышедших в свет книг, главным образом поэтических сборников. Он ведет уединенную жизнь, занимаясь преподаванием и литературой, и общается лишь с небольшим кружком избранных друзей, среди

которых в первую очередь должны быть названы имена Натаниеля Готорна и Чарлза Самнера, известного abolitionиста. Готорн жил в другом городе, Салеме (вошедшем в историю литературы благодаря очерку Готорна «Таможня», предпосланному его роману «Алая буква», а также современной нам пьесе Артура Миллера «Салемские колдуньи»). Они с Лонгфелло постоянно переписывались и иногда выдались. В 1837 году Готорн послал Лонгфелло свою книгу «Дважды рассказанные истории» и писал, что ему очень понравилась книга очерков Лонгфелло о Европе «За океаном». Лонгфелло написал на книгу Готорна весьма благосклонную рецензию. Он говорил о том, что Готорн — талантливый писатель, что это — «проза, написанная поэтом». Он отмечает простоту стиля и тонкий юмор Готорна и отмечает, что книга дышит «свежестью майского утра».

В 1842 году вышел сборник Лонгфелло «Баллады и другие стихотворения». Здесь мы уже встречаем многие широко известные образцы поэзии Лонгфелло: «Гибель «Вечерней звезды», «Деревенский кузнец», «Эксцельсиор» и другие. После выхода этого сборника Лонгфелло становится одним из самых известных американских поэтов. Вторая книга поэта была благожелательно отмечена всеми литературными журналами. Лишь Эдгар По высказался о ней отрицательно. По утверждал, что только два-три стихотворения в этой книге «настоящие». Он имел в виду «Скелет в броне», «Гибель «Вечерней звезды», «Деревенский кузнец». Особенно строго отнесся По к переводам Лонгфелло из шведского поэта-романтика Э. Тегнера, включенным в этот сборник. По возражал против размера, которым пользовался Лонгфелло, считая, что гекзаметр на английском языке невозможен. Однако Лонгфелло своими позднейшими поэмами «Эванджелина» и «Сватовство Майлза Стендиша» убедительно доказал обратное.

Творческий путь Лонгфелло в жанровом отношении вкратце можно охарактеризовать как движение от лирики к эпосу. Тяготение к эпической форме, к поэме, к балладе можно проследить на самой ранней стадии. В сущности, упомянутые стихи об индейцах — не что иное, как небольшие баллады. Но позднее Лонгфелло дает классические образцы в этом роде. Таковы баллады «Скелет в броне» и «Гибель «Вечерней звезды». В первой из них Лонгфелло рассказывает скандинавскую легенду, увлекая читателя в эпоху средневековья, в мир скальдов и викингов, воскрешая нравы того времени — похищение девушки и поэтическую любовь на неведомой земле. Но одновременно это и исторический эпизод, рисующий ранние путешествия скандинавских мореплавателей и открытие ими Америки в XII веке. Такое построение стихотворения в двух, трех или даже нескольких разных смысловых планах, аллегории и символика — своеобразная особенность Лонг-

фелло. Другая баллада, повествующая о гибели бриза «Вечерняя звезда», — одно из лучших стихотворений Лонгфелло. В основе ее лежит реальный факт, о чем есть запись в дневнике поэта от 17 октября 1839 года. Но, написав балладу всего через две недели после этого события, Лонгфелло отодвигает его в глубь веков, в далекое прошлое. Он пишет свое стихотворение в духе средневековых баллад типа «Сэр Патрик Спенс». Тема проста — на корабле отец-капитан и дочь; в бурю он привязывает ее к мачте, а сам у руля замерзает, корабль гибнет, и тело девушки, привязанное к обломку мачты, находит у берега рыбак. Несомненно, здесь сказалось влияние Колриджа («Старый моряк»). Но в балладе существенно романтическая трактовка — в борьбе человека с природой побеждает природа. Она как бы мстит человеку за попытки покорить ее, овладеть ее тайнами. Эдгар По положительно оценил эти близкие ему по духу баллады.

Из других стихотворений этого периода выделяются «Деревенский кузнец» и «Эксцельсиор». В первом из них привлекает демократичность темы — Лонгфелло рисует образ простого человека из народа, скромного труженика. Второе — один из самых знаменитых образов лирики Лонгфелло. Сам поэт объяснял его так: «Я хотел показать в ряде картин жизнь выдающегося человека, преодолевавшего все искушения и соблазны, отбросившего страх, не внимающего никаким предупреждениям ради достижения намеченной цели. Его девиз — *Excelsior!*¹ Голос свыше — символ бессмертия и прогресса человечества». Таким образом, в стихотворении развивается тема, намеченная еще в «Псалме жизни», — тема подвига, стремления к великим делам. Герой Лонгфелло отказывается ради этого от жизни в тепле и уюте, от любви. Он стремится к власти над природой, даже если это будет стоить ему жизни. В молодой, полной сил Америке XIX века это несколько туманное стихотворение, которое можно было толковать по-разному, имело шумный успех. Стихотворение Лонгфелло ознаменовало целую эпоху в истории американской поэзии, оно было тем «одним стихотворением», которое возвышается над средним уровнем потока поэзии. Весь этот цикл баллад и стихотворений принес Лонгфелло широкую известность.

В том же году Лонгфелло совершает третье путешествие в Европу, куда он поехал лечиться. Он пробыл в Европе с апреля по октябрь 1842 года. На этот раз он посетил Францию, Бельгию, Германию и Англию. В Сен-Гоаре он познакомился с Фрейлигратом, оба поэта стали друзьями и в дальнейшем часто переписывались. Фрейлиграт переводил на немецкий язык стихи из предыдущей книги

¹ Всё выше (лат.).

Лонгфелло. Теперь он перевел «Эксцельсиор». Лонгфелло писал, что Фрейлигрāt — лучший из молодых поэтов Германии. От его поэзии «веет свежестью и благородством». Впоследствии, в 1848 году, зная трудное положение Фрейлиграта, Лонгфелло приглашал его переселиться из Европы в Америку, обещая свою помощь и дружескую поддержку. Начало революции 1848 года заставило Фрейлиграта отказаться от этого предложения.

В Англии Лонгфелло встретился с Чарлзом Диккенсом. Еще раньше Лонгфелло зачитывался романами Диккенса и в 1839 году писал, что в английской литературе «Диккенс царит полновластно». В январе 1842 года Диккенс посетил Америку, после чего появились знаменитые «Американские заметки» и роман «Мартин Чезвит». Узнав о приезде Диккенса, Лонгфелло 30 января 1842 года записывает в дневнике: «Диккенс приехал. Это — замечательный человек». Со своей стороны Диккенс в 1842 году писал из Нью-Йорка, что он достал томик стихов Лонгфелло, и называет его «прекрасным поэтом». В сентябре 1842 года Диккенс послал Лонгфелло письмо с предложением приехать в Англию. Об «Американских заметках» он написал Лонгфелло так: «Я подверг Америку критике. Но я говорил честно». В октябре Лонгфелло приехал в Англию и остановился ненадолго у Диккенса. Об «Американских заметках» Лонгфелло писал своему другу Самнеру: «Шутливо и добродушно, но иногда и сурово — о рабстве!» (16 октября 1842 года).

Возвращаясь в Америку на пароходе «Грейт-Истерн», Лонгфелло пишет свой знаменитый цикл «Стихи о рабстве». Цикл посвящен Уильяму Чаннингу, американскому богослову и аболиционисту, известному своими проповедями против рабства. Эти стихи Лонгфелло написал по настоянию Самнера, который еще раньше уговаривал Лонгфелло писать на эту тему. Лонгфелло долго медлил и, наконец, после встреч с Фрейлигратом и Диккенсом, решился. В сущности, это — единственный значительный непосредственный отклик Лонгфелло на современные ему политические события. Тем не менее эти восемь стихотворений сыграли большую роль в борьбе за освобождение негров от рабства. Самнер писал: «Стихи о рабстве» ценны как вклад в большое дело». В то время движение аболиционистов уже было достаточно сильным, но оно находилось еще в области чистой мысли и теоретических концепций. Призыв к оружию раздался гораздо позднее — примерно через двадцать лет. Все руководители движения — богослов Чаннинг, философ Эмерсон, поэт Уиттиер, политический деятель Самнер — были либо знакомы с Лонгфелло, либо являлись его близкими друзьями. Но Лонгфелло держался в стороне, по своему характеру он не был рожден борцом, ему не присущи были героические черты. Он сам

пишет об этом: «Не могу выступать на политической арене. Я слишком слабый боец». Но зато в «Стихах о рабстве» ему удалось подняться до высот подлинной поэзии, подлинного реализма. Недаром Готорн писал ему: «Я был очень удивлен, узнав, что ты пишешь стихи о рабстве. Раньше ты никогда не писал стихи на такие реалистические темы». Некоторые аболиционисты оценили стихи Лонгфелло не особенно высоко. Маргарита Фуллер считала, что стихи слишком экзотичны, что тема заслуживает большей глубины.

Тем не менее «Песни о рабстве» остаются одним из лучших образцов лирической поэзии Лонгфелло. В них Лонгфелло рассказывает о страшной судьбе негров в капиталистической Америке. Он описывает преследования беглых негров, на которых охотятся с собаками, как на диких зверей. Он повествует о плантаторах, продающих собственных дочерей, рожденных от невольниц-негритянок. В стихотворении «Предостережение» поэт предсказал восстание угнетенных против поработителей. Стихи Лонгфелло о рабстве были сочувственно встречены в кругах русских революционных демократов. Некрасов печатал эти стихи в своем журнале «Современник». Они были полностью переведены русским поэтом-революционером М. Л. Михайловым, который писал о них: «Они проникнуты горячим чувством негодования и полны горьких укоризн свободной стране, которая до сих пор не может смыть с себя черного пятна невольничества. Картины богатой и щедрой природы, посреди которой совершаются оскорбляющие человечество несправедливости, сообщают еще более силы песням Лонгфелло». ¹ Высоко оценивал Михайлов и другие стихи Лонгфелло, например «Эксцельсиор».

Бороться за освобождение негров считали своим долгом все передовые деятели того времени. Лонгфелло сочувствовал угнетенным неграм и был другом аболиционистов. Он собирался писать драму о восстании Туссена-Лувертюра, героического предводителя восстания негров-рабов на Гаити в 1791 году. «Это будет моим скромным вкладом в великое дело освобождения негров». Однако замысел остался неосуществленным. Зато Лонгфелло почти одновременно с поэтами Уиттиером и Эмерсоном решительно выступил против ужасов рабства. Стихи его отнюдь не носят умозрительного книжного характера, это — пламенный протест, разящая инвектива, обладающая огромной художественной силой («Квартеронка»). Правда, тема рабства переплетается здесь с религиозными мотивами, но это вполне объяснимо и даже закономерно в свете романтической поэзии Лонгфелло. Кроме того, это характерно не для всех восьми стихотворений цикла.

¹ «Современник», 1860 г., № 12.

В стихотворении «Сон раба» поэт рисует страшную участь негров-рабов в Америке. Негр умирает от изнурительного труда на плантации. Перед смертью в его памяти встают картины прежней вольной жизни на родине. Тема свободы звучит с большой силой, но разрешена она в романтическом плане — негр обретает свободу лишь в ином, лучшем мире, сбросив земные оковы. Великолепно даны здесь картины африканской природы.

Травля с собаками беглого негра реалистически запечатлена в стихотворении «Невольник в Черном болоте». Этот столь обычный для Америки того времени эпизод возвышается у Лонгфелло почти до типического обобщения. Все стихотворение — яркая параллель к главе «Рабство» в «Американских заметках» Диккенса.

Весьма любопытно стихотворение «Свидетели». Корабль, на котором везли закованных в цепи негров, затонул. На дне белеют скелеты в кандалах. Эти мертвые кости замученных рабов вызывают к живым, как свидетели страшных злодейств. Здесь явно чувствуется влияние стихотворения Фрейлиграта «Трупы в море» (1834). В более широком историко-литературном плане стихотворение Лонгфелло тематически стоит в одном ряду с другими выдающимися произведениями мировой литературы XIX века, посвященными негритянской проблеме, — назовем, например, «Невольничий корабль» Гейне, «Таманго» Мериме, «Хижина дяди Тома» Бичер-Стоу и др.

Седьмое стихотворение цикла, «Квартеронка», художественно едва ли не самое сильное. Отец-плантатор продает в рабство родную дочь, рожденную незаконно, от мулатки. Звон золота оказывается могущественнее, нежели голос крови. Сила этого стихотворения не снижается от наличия традиционных романтических символов и сравнений, заимствованных из библии, — «преступному миру греха и зла» противопоставлен «благоухающий рай», взгляд девушки-квартеронки кроток, как у святых во храме, и т. д. В этом стихотворении Лонгфелло достиг предельной лаконичности и выразительности.

Завершает цикл «Предостережение». Это стихотворение представляется особенно знаменательным в одном отношении: библейский образ силача Самсона, обрушивающего колонны здания на пирующих филистимлян, — символ грядущих восстаний негров. Но в более широком плане, как ранее и у Мильтона, — это тема угнетенного народа, который готовится к восстанию против класса господ. Не случайно к этой теме поэт возвращается впоследствии в стихотворении «Энклад».

Представляют интерес и другие стихотворения цикла. Во вступительном стихотворении, обращенном к аболиционисту У. Чаннингу, Лонгфелло дает выразительную характеристику своему времени и своей стране:

Твои слова — разящий меч
В священной битве за свободу.

Не прерывай свой грозный клич,
Покуда Ложь — законом века,
Пока здесь цепь, клеймо и бич
Позорят званье человека!

Пожалуй, единственная фальшивая нота прозвучала в этом цикле в стихотворении «Неотъемлемое благо». Руководимая христианскими побуждениями, владелица рабов сама освобождает их. Дальнейшая идиллическая жизнь плантаторши и освобожденных рабов отнюдь не соответствовала реальной действительности. Впрочем, в этом же плане развивала свои идеи впоследствии и Бичер-Стоу. Сюда же отчасти примыкает и образ негра в неволе, данный в стихотворении «Полуночная песня раба». Спасение раба — в его вере. Но исторически надо иметь в виду, что многие негры действительно были весьма религиозны, да и само аболиционистское движение было в достаточной мере связано с библией. Многие аболиционисты были священниками. Такой образ мы встречаем в менее известном романе Бичер-Стоу «Дред». Сама Бичер-Стоу, женщина, которая, по выражению Линкольна, «звергла в войну великую нацию», была дочерью священника.

«Стихи о рабстве» — образец высокой поэзии, созданной уверенной рукой большого художника. Они выдвинули Лонгфелло в ряды вступивших деятелей аболиционистского движения, вместе с такими поэтами, как Эмерсон, Уиттиер, Лоуэлл и др. Вклад, внесенный Лонгфелло в дело освобождения негров, остался в истории литературы.

В 1843 году Лонгфелло женился вторично — на этот раз на Франсес Эплатон, дочери богатого владельца текстильной фабрики. Впервые он встретился с ней в Германии в 1836 году и затем отразил ее черты в образе Мэри Эшбертон в романе «Гиперион». Он получил в приданое особняк «Крэйги-Хауз» в Кембридже. Этот дом был построен в начале XVIII века и, так сказать, хранил славные революционные традиции: в 1776 году в нем некоторое время жил Джордж Вашингтон. В этом доме Лонгфелло прожил всю остальную жизнь. Поэтический облик этого дома запечатлен в стихотворении «Старые часы на лестнице».

В 1843 году Лонгфелло пишет романтическую пьесу в трех актах «Испанский студент». Тема взята им из новеллы Сервантеса «Цыганочка». Это — лирически рассказанная история девушки, дочери испанского гранда, украденной в детстве цыганами, и богатого юноши, наследника майората, влюбившегося в прекрасную танцовщицу-цыганку и ушедшего в цыганский табор для бродячей, скитальческой

жизни. В гениальной новелле Сервантеса как бы пунктиром намечены знаменитые образы XIX века: пушкинские Алеко и Земфира, Кармен и Хосе из новеллы Мериме. Лонгфелло осложнил сервантесовскую тему мотивами ревности, введя образ злодея — графа Лары, в котором чувствуются отзвуки шекспировских героев Яго («Отелло») и Иахимо («Цимбелин»). Однако пьеса оказалась мелодраматической и несценичной. Лучше всего удались Лонгфелло лирические и философские монологи Викторiana. Снова с серьезной критикой выступил Эдгар По. Похвалив отдельные лирические фрагменты, По обвинил Лонгфелло в отсутствии оригинальности и заявил, что это не пьеса, а драматическая поэма и не годится для сцены. В ней нет настоящего сюжета и нет характеров. Он высказал сожаление, что Лонгфелло написал подобную вещь. Тем не менее в пьесе Лонгфелло интересны некоторые характеры. Наиболее живыми получились второстепенные персонажи — Чиспа, слуга Викторiana, отдаленно напоминающий образы слуг из комедий Шекспира, и цыгане. Характерно то, что, создавая романтическую драму, Лонгфелло обращается к Шекспиру.

После этой неудачи Лонгфелло на время отошел от оригинального творчества. В 1845 году он издает сборник «Поэты и поэзия Европы», куда вошло более 400 переводов с разных языков — англо-саксонского, исландского, датского, шведского, немецкого, голландского, французского, итальянского, испанского и португальского. Переводы были сделаны американскими поэтами, но многие стихи перевел сам Лонгфелло, в частности он дал переводы из Данте, Лопе де Вега, Гете, Гейне, Уланда, Логау, Платена, Малерба, Филикайи, Тегнера, Феликса Д'Арвера и других поэтов. Он усиленно изучает английскую поэзию. Особое внимание его привлекает Шекспир — драматические произведения и сонеты. В дневнике 1840 года он записывает, что восьмой сонет Шекспира о музыке — великолепен. Круг чтения по английской поэзии очень широк — от поэта XVII века Джона Донна и Мильтона до Вордсворта, Китса и Байрона. Кроме того, Лонгфелло был редактором и автором вступительной статьи к антологии стихотворений английских поэтов, выпущенной в 1845 году. В этом сборнике около 50 стихотворений, в том числе стихи Байрона, Шелли, Томаса Гуда, Браунинга, а также английских поэтов XVII века. В начале 1846 года он отмечает в дневнике: «Моя собственная поэзия молчит. Душу не тревожит слетевший ангел».

Однако творческий застой продолжался недолго. Уже в 1846 году выходит новый сборник стихов Лонгфелло «Башня в Брюгге и другие стихотворения». Сюда вошли мелкие лирические стихотворения и сонеты. Среди них мы встречаем такие известные стихи, как «Стрела и песня», «Арсенал в Спрингфилде» и «Дня нет уже...». Имя

Лонгфелло становится широко известным не только в Америке, но и в Европе. Появляются переводы его стихотворений на европейские языки. Фрейлиграт продолжает переводить Лонгфелло на немецкий язык.

Конечно, между сборниками «Стихи о рабстве» и «Перелетные птицы» в лирике Лонгфелло имеет место известный спад. Поэт пишет много стихов камерного, абстрактно-созерцательного характера. Он как бы нащупывает новые пути к более углубленному познанию жизни. Но отдельные лирические произведения возвышаются над общим уровнем. Так, например, в стихотворениях, посвященных средневековой Европе, возникает тема народа, его борьбы за независимость, его высокого труда и искусства. Описывая фландрские города, природу Фландрии, Лонгфелло обращается к истории этой страны, ее героической борьбе за свободу против иноземных угнетателей. Фландрия в лирике Лонгфелло, знаменитый город Брюгге — это не «мертвый Брюгге» бельгийского поэта-символиста Роденбаха, а скорее живая, красочная Фландрия Верхарна. Тема народа, восстающего против испанских захватчиков, возникает в стихотворении «Башня в Брюгге». Лонгфелло вспоминает об Артевельде, народном вожде фландрских городов (ср. стихотворение Верхарна «Артевельде»). Знаменитый символ свободы — колокол Роланд — призывает народ к борьбе:

Через дамбы и лагуны звон набата звал народ:
«Я — Роланд! Вперед, фламандцы! За свободу
в бой — вперед!»

Здесь эта тема звучит еще несколько приглушенно, описательно. Впоследствии в более глубоких художественных образах Лонгфелло показал борьбу Фландрии против Испании в таких стихах, как «Голландская картина» и «Рукавица императора» в сборнике «Перелетные птицы».

Поэтический облик средневековой Германии воссоздан в стихотворениях «Нюрнберг» и «Вальтер фон дер Фогельвейде». Здесь не только исторически верные картины, но и подчеркнута и поднята тема поэзии труда, народного творчества. Наряду с образами великих художников Германии того времени — Альбрехта Дюрера и Ганса Сакса — Лонгфелло говорит о поэзии народа:

Только Труд рождает зерна для Поэзии цветка
В мастерской, от дыма черной, и у ткацкого станка!

Социальные мотивы явно звучат в стихотворении «Мост», хотя и здесь еще преобладает романтическое отрицание земной жизни, полной зла и страданий.

В стихотворении «Гонимому облаку» поэт возвращается к раз-

думьям о судьбах индейцев в Америке. Это стихотворение — как бы эскиз, черновик будущей «Песни о Гайавате». Лонгфелло с гневом пишет об исчезающих с лица земли, вымирающих индейских племенах. Цивилизация белых приносит им гнет, страдания и гибель, как и миллионам голодных людей в Европе. Пароходы дымят на реках и поезда прорезают вольные прерии — родные места индейских племен. Дыханье саксов и кельтов гонит на Запад обитателей вигвамов. О страшной судьбе индейцев в Америке писали многие писатели XIX века: Пушкин в «Джоне Теннере», Диккенс в «Американских заметках» и «Мартине Чезлвите», Гейне в «Бимини» и «Вицлипуцли», Купер в серии романов о «Кожаном Чулке», Майн-Рид в «Оцеоле», Уот Уитмен и Марк Твен. Эта традиция жива и в современной литературе.

Наконец, в стихотворении «Арсенал в Спрингфилде» Лонгфелло удалось подняться до высокого обличительного пафоса. Он выступает с разящей инвективой против войны. Стволы орудий в арсенале напоминают поэту трубы колоссального органа, на котором ангел смерти исполняет зловещие мелодии смерти и страданий. Взволнованно говорит поэт об ужасах войны в истории человечества:

Когда б хоть половину тех усилий,
Что отданы велениям войны,
Мы делу просвещения посвятили, —
Нам арсеналы были б не нужны.

И «воин» стало б ненавистным словом,
И тот народ, что вновь, презрев закон,
Разжег войну и пролил кровь другого,
Вновь, словно Каин, был бы заклемен.

Здесь звучит пламенный и взволнованный голос поэта-гуманиста, ратующего за мир, за счастье для всего человечества. И главное — это, а не та внешняя романтическая форма, те образы, в которые облечены исторически прогрессивные мысли поэта. Отдельные образы могли сложиться у Лонгфелло и под влиянием Эдгара По. Ангел смерти в чем-то перекликается с мрачным образом «Червя-победителя» По. Недаром в это время появляются такие стихи, как «Февральский вечер», где явственно чувствуются отзвуки знаменитых «Колоколов». Но в дальнейшем Лонгфелло решительно преодолевает это влияние и в стихотворении «Ветер в камине» вступает в открытую полемику с пессимистической концепцией автора «Ворона».

На Лонгфелло безусловно оказали некоторое влияние и английские революционные романтики Байрон и Шелли, но ему не свойственны боевой революционный пафос. В известной мере здесь сказались традиции и иллюзии буржуазного либерализма.

Поэтическое мастерство Лонгфелло в этот период все возрастает. Именно теперь он создает свои лирические шедевры «Стрела и песня» и «Дня нет уж...». Первое стихотворение заслуженно получило мировую известность. Второе привлекло внимание И. Анненского, который перевел его. Это единственный перевод Анненского из Лонгфелло. В обоих стихотворениях Лонгфелло выразил свой взгляд на роль и значение поэзии в жизни человека. К этому же циклу примыкает и стихотворение «Водоросли». Все эти стихи привлекают внимание глубиной мысли, простотой выражения и лаконичностью поэтических средств.

На творческих подступах к своему лучшему лирическому сборнику «Перелетные птицы» Лонгфелло создает ряд выдающихся поэтических произведений. Сюда можно отнести такие образцы сонетной формы, в которой Лонгфелло был большим мастером, как «Осень» и «Данте». Он продолжает задумываться над судьбами простых людей, скромных тружеников. Это продолжение линии, начатой в стихотворении «Деревенский кузнец». Таково, например, стихотворение «Сумерки», перекликающееся с известным стихотворением Гейне из «Книги песен» («Лирическое интермеццо», 57). Здесь перед нами предстает жизнь простого народа, трудная судьба рыбаков.

Патриотическая тема проникновенно звучит в небольшой поэме «Постройка корабля». Взяв аллегорический образ, известный еще со времен античной поэзии (Алкей, Феогнид, Гораций), Лонгфелло подчеркивает роль простого народа, строителя государства, в великих боях за свободу в конце XVIII века. Примечательно, что накануне другой великой освободительной войны шестидесятых годов XIX века Лонгфелло как бы напоминает о героических традициях американской революции. Эта тема развивается далее и в «Строителях», где поэт говорит о творческом труде народа, который созидает свое светлое будущее. Поразительна здесь вера поэта в правоту дела народа, в его вдохновенный труд, в его творческие возможности. Такие стихи поднимали Лонгфелло над буржуазным искусством его эпохи. Недаром вскоре после этого Лонгфелло приходит к созданию своего лучшего произведения — бессмертной «Песни о Гайавате». Наконец, тема мирного содружества народов и наций намечена у Лонгфелло в финале стихотворения «Маяк». Стремясь к лаконичности поэтической формы, Лонгфелло следовал заветам Эдгара По. В этом смысле любопытны те высокие оценки лучших стихов Лонгфелло, которые мы находим в статьях По о поэтическом искусстве.

Три поэмы, посвященные эпизодам из истории Америки, — не менее важная часть творчества Лонгфелло.

В поэме «Эванджелина» (1847) рассказана история двух разлученных возлюбленных. Это тема Дафниса и Хлои, Тристана и Изольды, Ромео и Джульетты, Манон Леско и кавалера де Грие — вечная тема мировой литературы. Герои поэмы — Эванджелина и Габриель — разлучены в день свадьбы. Они теряют следы друг друга. Невеста отправляется на поиски жениха, ищет его много лет и, наконец, находит старика, умирающего в больнице. Этот удар убивает ее. Соединенные после смерти, они, подобно Тристану и Изольде, похоронены вместе. Ярко показана в поэме ненависть народа к угнетателям. Прекрасны картины американской природы. В этой поэме, в какой-то мере навеянной мотивами поэмы Гете «Герман и Доротея», Лонгфелло описывает изгнание в 1755 году британским правительством французских поселенцев из Акадии (Новой Шотландии), чтобы обеспечить безопасность английских колоний в Америке в период войн с французами и индейцами. Тему поэмы подсказал своему другу Готорн, который высоко ценил «Эванджелину». Этой поэмой Лонгфелло окончательно утвердил гекзаметр в английской поэзии. Поэма Лонгфелло пользовалась широкой популярностью в Америке и Англии. Сейчас она кажется несколько длинной и сентиментальной. Но нельзя не признать за ней неоспоримых поэтических достоинств.

В 1849 году выходит второй роман Лонгфелло, «Кавана», который представляет для современного читателя гораздо больший интерес, чем «Гиперион». В романе превосходно показана жизнь Новой Англии. Героями его являются сельский священник Кавана и учитель Черчилл. Это живые характеры двух разных людей — удачника и неудачника. Лонгфелло создал тонкий образ учителя Черчилла, мечтательного, бездеятельного человека, который всю жизнь собирается написать роман, создать свой творческий шедевр, но роман так и остается ненаписанным.

В 1849 году выходит сборник стихов «На берегу моря и у камина», где центральное место занимает уже упомянутая «Постройка корабля». Патриотическая тема дается у Лонгфелло в виде символа: корабль — государство. Это стихотворение впоследствии высоко оценил президент Америки Авраам Линкольн. Известны его слова: «Какой это чудесный дар — уметь так трогать людей!»

В 1851 году появляется «Золотая легенда» — большая лирическая драма из средневековой жизни, тема которой заимствована из повести немецкого миннезингера XII века Гартмана фон Ауэ «Бедный Генрих». Это — повесть о самопожертвовании, о беззаветной, безграничной любви — тема, которая часто встречается у Лонгфелло.

В 1854 году Лонгфелло оставил преподавание в Гарвардском университете, проработав там восемнадцать лет. Официальным мотивом

было состояние здоровья поэта — слабость зрения и постоянная невралгия. Но истинная причина скрыта в словах самого Лонгфелло: «Преподавание было огромной ладонью, наложенной на струны моей лиры и заглушавшей ее звучание». В это время Лонгфелло уже напряженно работал над поэмой «Песнь о Гайавате», которая вышла в 1855 году.

С появлением «Песни о Гайавате» имя Лонгфелло становится всемирно известным. Это — поэтическая интерпретация индейских легенд. Во многом она напоминает великий финский эпос «Калевалу», с которым поэт познакомился во время второй поездки в Европу. Успех «Песни о Гайавате» был огромен. За первые полгода она выдержала около 30 изданий. Она была переведена на многие европейские языки и даже на латинский. Вскоре после выхода в свет в Америке поэма Лонгфелло была переведена Фрейлигратом. В 1856 году Фрейлиграт писал в предисловии к своему переводу, что Лонгфелло открыл американцам Америку в поэзии и что поэма должна занять видное место в пантеоне всемирной литературы. На русском языке лучший перевод этой поэмы принадлежит И. А. Бунину. Высокую оценку поэмы Лонгфелло в переводе Бунина дал М. Горький: «Лонгфелло — прелесть!»¹

В 40—50-х годах XIX века проблема национальной самобытности была центральной в спорах о судьбах американской литературы. Лонгфелло стремился создать произведение, которое могло бы стать национальным эпосом. В основу поэмы положен фольклор североамериканских индейцев, их мифология, легенды и предания. Лонгфелло выбрал наиболее интересные легенды, придав им известную художественную цельность. В центре поэмы образ народного героя индейца — Гайаваты. «Песнь о Гайавате», — писал Лонгфелло, — это индейская Эдда, если я могу так назвать ее. Я написал ее на основании легенд, господствующих среди североамериканских индейцев. В них говорится о человеке чудесного происхождения, который был послан к ним расчистить их реки, леса и рыболовные места и научить народы мирным искусствам. У разных племен он был известен под разными именами: Мичабу, Чайабо, Манабозо, Таренэй-вэгон и Гайавата, что значит — пророк, учитель. В это старое предание я вплел и другие интересные индейские легенды. . . Действие поэмы происходит в стране оджибуэев, на южном берегу озера Верхнего, между Живописными Скалами и Великими Песками».

В поэме рассказывается о рождении, детстве и подвигах Гайаваты. Гайавата — сын западного ветра Мэджекивиса. Подобно герою древне-

¹ М. Горький. Собрание сочинений, т. 28, стр. 280

греческого мифа титану Прометею, Гайавата заботится о благе людей. Он обучает индейцев искусствам, ремеслам, письменности и врачеванию. Он открывает им ценное растение — маис и помогает приручить зверей. Он кладет конец кровавым распрям отдельных племен и учит их жить между собою в мире. Он помогает людям покорять природу и познавать ее тайны. Он борется с угнетателем Меджисогвоном, олицетворяющим идею власти денег над людьми, побеждает его и, подобно Робин Гуду, раздает народу его богатства. Он карает преступника По-Пок-Кивиса и освобождает народ от страшных чудовищ Мише-Моквы (медведь) и Мише-Намы (осетр). Здесь как бы слышатся отзвуки античных мифов о Геракле и Тезее, героях, избавивших народ от страшной лернейской гидры и свирепого Минотавра. Вообще связь «Песни о Гайавате» с античными мифами, вопреки мнению самого автора, пожалуй, сильнее, чем с «Эддой». Характерны в этом смысле образы друзей Гайаваты — музыканта Чайбайабоса и, мощного Квазинда. Они напоминают персонажей античных мифов Орфея и Геракла или Зета и Амфиона.

В образе Гайаваты, вождя и учителя индейцев, в его жизни и подвигах, в его любви к Миннегаге художественно воплощена жизнь индейского народа. Образ Гайаваты напоминает нам богатырей из русских былин или героев финского эпоса «Калевалы». Между прочим, размером «Калевалы» (белый стих — четырехстопный хорей с женскими окончаниями) Лонгфелло воспользовался для своей поэмы. Лонгфелло стремится раскрыть в ней все богатство народного творчества. Недаром в ряде эпизодов мы сталкиваемся с характерными фольклорными мотивами. Так, например, в описании борьбы Гайаваты с неумирающим Мондамином (мансом) слышатся отзвуки темы Джона Ячменное Зерно. Мы находим в поэме великолепные вставные новеллы, например легенду об Овини и Оссэо, где основная мысль — в человеке важен не внешний облик, а его высокие моральные качества. Эта легенда является своеобразной параллелью к бессмертной сказке Г.-Х. Андерсенā «Гадкий утенок». Некоторые образы, созданные Лонгфелло, были впоследствии использованы другими американскими писателями. Так, например, история встречи с белыми, которую рассказывает хвостун и обманщик Ягу, была потом воскрешена в рассказе Джека Лондона «Нам-Бок, лжец». В поэме воплощены мечты народа о постройке лодки, которая могла бы двигаться самостоятельно, без помощи весел. Такую лодку строит Гайавата.

Гайавата—историческое лицо. Он жил в XV веке и принадлежал к племени онондага, родственному ирокезам. Он боролся против угнетателя Атогаро за счастье и мир для своего народа. Конечно, в рассказе о судьбах Гайаваты Лонгфелло во многом отошел от точной

передачи исторических фактов, но он сделал это в художественных целях. Так поступал Шекспир в «Гамлете» и исторических хрониках и Вальтер Скотт в своих романах. Но один эпизод поэмы, несомненно, должен вызвать удивление внимательного читателя. Это — окончание поэмы, где Гайавата приветствует христианского миссионера, плывущего к индейцам на лодке, чтобы обратить язычников в христианство. Здесь Лонгфелло также отошел от исторической правды. Уходя от индейцев, Гайавата завещает им жить в дружбе с белыми и «слушать их слова мудрости», то есть покориться им. Здесь, во-первых, налицо смещение исторических фактов и дат. Гайавата, сын легендарного бога западного ветра, приветствует христианского священника. Во-вторых, в 1855 году Лонгфелло уже прекрасно понимал, что бледнолицые принесли индейцам не мир и дружбу, а войну, голод, вырождение и гибель. Обманом и силой белые вытеснили индейцев из родных земель и в конце концов почти совершенно истребили их. Лонгфелло не раз касался индейской темы в своих стихотворениях, элегически повествуя об уничтожении и гибели индейских племен в Америке. Но в «Песни о Гайавате» абстрактный призыв к индейцам жить в дружбе с белыми, изложенный в тонах христианского всепрощения, производит странное впечатление. Здесь Лонгфелло стал на исторически ложный путь, который увел его далеко от жизненной правды. Тем не менее страшные картины голода и будущих судеб индейцев, вытесняемых и истребляемых белыми в кровопролитных войнах, все же нашли отражение в поэме Лонгфелло (конец главы XXI — «След Белого»).

На русский язык поэма впервые была переведена в отрывках Д. Л. Михаловским и печатались в «Отечественных записках» в 1868—1869 годах. Но этот перевод был сух и непоэтичен. Полный перевод был сделан выдающимся русским поэтом И. А. Буниным. Впервые он был напечатан в 1896 году, затем в 1903 году переиздан в издательстве товарищества «Знание», одним из инициаторов и руководителей которого был М. Горький. В дальнейшем перевод Бунина много раз переиздавался. Последнее полное издание было осуществлено Гослитиздатом в 1955 г. Перевод Бунина обладает выдающимися достоинствами. Бережно сохранив дух, стиль и размер подлинника, Бунин сумел вдохновенно и поэтично передать художественное своеобразие поэмы Лонгфелло. «Я всюду старался держаться возможно ближе к подлиннику, сохранить простоту и музыкальность речи, сравнения и эпитеты, характерные повторения слов и даже, по возможности, расположение стихов. Это было нелегко: краткость английских слов вошла в пословицу; иногда приходилось сознательно жертвовать легкостью стиха, чтобы из одной строки Лонгфелло не делать нескольких», — писал Бунин о своем переводе. Перевод «Песни о Гайавате»

Бунина стоит в одном ряду с переводами, созданными Жуковским, Пушкиным, Лермонтовым, Тютчевым, А. К. Толстым, Курочкиным, Михайловым, Блоком, Брюсовым, и может по справедливости войти в золотой фонд русского классического стихотворного перевода.

Каждый писатель минувших эпох ценен для нас теми прогрессивными идеями, которые мы находим в его творчестве. Тема борьбы за мир, разоблачения войны была одной из сильных сторон противоречивого по своему идейному содержанию творчества Лонгфелло. Эта тема нашла отражение не только в ряде стихотворений поэта (например, «Арсенал в Спрингфилде»), но и в «Песни в Гайавате».

«Песнь о Гайавате» является одним из крупнейших художественных образцов американской эпической поэзии.

«Сватовство Майлза Стендиша» (1858) — вторая крупная поэма Лонгфелло в гекзаметрах, посвященная раннему периоду американской истории. Действие происходит в английской колонии Плимуте в 1623 году. В поэме заметно некоторое влияние Шекспира. Тема любви и дружбы в этом аспекте — друг-«предатель», отбивающий возлюбленную, — возможно, заимствована из сонетов Шекспира, которыми Лонгфелло до этого увлекался. Речи Майлза о себе напоминают соответственные слова Генриха V. Некоторое сюжетное сходство можно отметить и с поэмой английского поэта Теннисона «Енох Арден».

Хотя все герои — исторические лица, само сватовство Майлза мало правдоподобно. Лонгфелло слегка романтизировал историю любви своего предка Олдена. По своим художественным качествам поэма выше «Эванджелины». Вместо бесцветных образов сентиментальных любовников перед нами живые люди. Сказался и опыт работы над «Гайаватой» и обращение к реализму Шекспира. С большой силой написана сцена расправы с восставшими индейцами. Теперь Лонгфелло научился искусству лаконичной формулой передать большое содержание. Вот один пример. Два индейца встречаются с англичанами:

Дружба была в их глазах, но лютая ненависть в сердце. . .
«Здравствуй, инглиш!» — сказали они, переняв это слово
От заезжих купцов, что скупают меха за бесценнок.

Понимание сущности взаимоотношений индейцев с белыми у Лонгфелло с течением времени все углублялось. Его художественное мастерство возрастало. От ранних стихов, через «Гайавату» и «Майлза Стендиша» к стихотворению «Месть индейца» — вот движение мыслей Лонгфелло на эту тему. В поэме «Сватовство Майлза Стендиша»

Лонгфелло показал себя как «замечательный рассказчик, искусный стихотворный новеллист».¹

В том же 1858 году выходит в свет и новый сборник стихотворений Лонгфелло «Перелетные птицы». В нем помещены такие стихотворения, как «Утраченная юность», «Прометей», «Еврейское кладбище в Ньюпорте», «Оливер Басселин» и др., а также ряд стихотворений о детях. Этот сборник — вершина творчества Лонгфелло в области лирики. Здесь его лирический талант развернулся в полную силу. Широта тематики, глубина мысли, философские раздумья, историзм, реалистическое проникновение в сущность социальной борьбы, судеб и роли народа, протест против классового и расового гнета — все это делает сборник «Перелетные птицы» одним из величайших достижений американской поэзии XIX века. Внимательный анализ идейных и художественных особенностей этого поэтического цикла ставит под сомнение существующее в нашем литературоведении представление о Лонгфелло только как о либерале-просветителе, наименее американском из всех писателей США, бывшим лишь насаждателем европейской культуры в Америке. Пять разделов сборника «Перелетные птицы» — важная и знаменательная веха на пути Лонгфелло от романтизма к реализму. Путь этот хотя и не был окончательно завершен, но направление его было исторически верным и прогрессивным.

В сборнике «Перелетные птицы» Лонгфелло возвышается до больших поэтических мыслей и обобщений. Здесь Лонгфелло говорит уже не столько об Америке, сколько обо всем человечестве. Тема величия искусства, поэзии как подвига, ведущего человечество от мрака к свету, предстает перед нами в «Прометее». Великие поэты — Сервантес, Мильтон — сравниваются здесь с благородным эхилловским образом титана-мученика, борца за интересы человечества — Прометея. В «Тенях прошлого» поэт противопоставляет большую мечту мелкой будничной жизни, лишенной вдохновения и романтики.

В замечательном по глубине мысли стихотворении «Еврейское кладбище в Ньюпорте» поэт выступает против расовой дискриминации в Европе, против отвратительных теорий геноцида, против гетто и погромов. Исторически верно поставлена здесь проблема судеб еврейского народа. В этом смысле — это, пожалуй, одно из немногих стихотворений во всей мировой поэзии XIX века. Здесь Лонгфелло вновь выступает как представитель высокого гуманизма.

¹ М. П. Алексеев. Г. У. Лонгфелло. — «Звезда», 1940, № 8—9, стр. 233.

Образ народного поэта создает Лонгфелло в стихотворении «Оливер Басселин». Гибнет феодальное рыцарство, приходит в упадок религия, но вечно юным и живым остается родник подлинной поэзии, близкой народу.

Протест против корысти и алчной наживы, свойственной большим городам — центрам буржуазно-капиталистической жизни, — звучит в стихотворении «Золотая вежа».

Почти каждое стихотворение этого цикла содержит глубокую мысль, выраженную обычно в отточенной, законченной художественной форме. Жизнь — это счастье, человек должен быть свободным и вольным, как природа («Солнечный день»). Смысл жизни — вечный, неутомимый труд («Несвершенное»). Бесконечность творческого процесса, познавательная и воспитательная функция поэзии утверждается в стихотворениях «Фата-моргана» и «Путешествия у камина». Проникновенные образы созданы поэтом в целой серии стихов, посвященных детям («Открытое окно», «Дети», «Час детей», «Строитель замков» и др.). Наконец, тема народа, угнетенного, но борющегося за свою свободу, во всю ширь поставлена Лонгфелло в таких замечательных образцах поэзии, как «Энкелад», «Вызов», «Голландская картина», «Рукавица императора» и «Месть индейца Дождь-в-лицо». На этих произведениях стоит остановиться несколько подробнее.

Сложная система поэтических образов характерна для стихотворения «Энкелад». Сам Лонгфелло в письме Самнеру от 4 августа 1859 года определил его так: «Энкелад — это жалобы на горести страны». Важно, что сам поэт придавал этому стихотворению политическое значение. Что существенно в этом стихотворении? На первый взгляд — это рассказ об извержении вулкана Этна в Сицилии, то есть география, природа. Но одновременно — это и античная легенда о поверженном и угнетенном богами Олимпа титане Энкеладе. Энкелад — своеобразная параллель Прометею. Но эти два аспекта — естественная история и античность — лишь внешний облик, внешняя форма. Подлинный смысл стихотворения не в этом. Энкелад — символ угнетенного и борющегося народа. Тираны-боги трепещут и со страхом ожидают пробуждения Энкелада. Народ близок к восстанию, и тогда — горе господствующему классу угнетателей! Так в сложной трехплановой образной структуре получает свое дальнейшее развитие и художественное углубление поставленная ранее тема «Предостережения».

В стихотворении «Вызов» Лонгфелло взволнованно говорит о судьбах обездоленных и угнетенных бедняков. Резко подчеркнуто здесь противоречие между богатством и нищетой. «Мы пируем, — говорит

поэт, — но у наших дверей стоит армия голодных». Зловещий вопль бедняков нарастает и грозит привести к социальной катастрофе, к революции:

Но толпы еще грознее
Стучатся у наших дверей,
Легионы угнетенных,
Голодных, нищих людей.

Тем самым утверждается романтически трактованная идея о том, что правда и справедливость — на стороне бедняков. Библейский образ служит здесь более полноценному художественному воплощению передовой, гуманистической мысли. Во весь рост встает перед читателем величественный образ поэта-демократа.

В «Голландской картине» и «Рукавице императора» поэт снова воспеваеет неспасаемую стойкость фламандского народа, сражающегося против своих угнетателей-испанцев. Война Нидерландов против Испании предстает у Лонгфелло как справедливая война. Симон Данс — это как бы образ всего народа Фландрии, в нем таится героический отблеск бессмертного Уленшпигеля. Жестокий угнетатель, верный пес Филиппа герцог Альба хочет стереть с лица земли непокорный Гент — гнездо еретиков. Но против тиранов поднялся весь народ — ткачи и моряки. И император Карл задает себе вопрос, хватит ли испанских солдат, чтобы покорить Гент. История показала, что их не хватило, — таков смысл стихотворения Лонгфелло.

Наконец, в образе индейского вождя сиуксов Дождь-в-лицо Лонгфелло художественно выразил идею сопротивления индейцев белым насильникам. В более ранних стихах Лонгфелло лишь элегически сокрушался о страшной судьбе индейских племен в Америке. Дальше этого он не шел. Но здесь он поднялся до мысли о том, что месть и священная война ждут порабощенных, «вождей с желтой гривой». Эта мысль с предельной ясностью выражена в последних строках:

Мы наш нарушили обет,
И мы должны держать ответ.
Пусть помнят это внуки!

В сборник «Перелетные птицы» Лонгфелло позднее включил и стихотворение, посвященное памяти своего друга Чарльза Самнера, умершего в 1874 году. Лонгфелло воспеваеет жизнь Самнера, борца за освобождение негров. Образ Самнера сопоставляется с образами героических деятелей прошлого, например Винкельрида, героя освободительной борьбы швейцарского народа против австрийцев. Жизнь великих борцов за свободу народа — пример для всего человечества:

Так славной жизни свет
К отваге нас зовет.
Не гаснет он во мраке лет
И нас ведет вперед.

«Песнь о Гайавате» и «Перелетные птицы» — это высочайшие достижения в творческом пути замечательного американского поэта. В дальнейшем Лонгфелло уже не поднимался до уровня поэзии, достигнутого в этих двух произведениях.

В июле 1861 года трагически погибла вторая жена Лонгфелло — от ожогов, причиненных вспыхнувшим от спички платьем. Поэт долго не мог оправиться от этого страшного удара. Он остался вдовцом с пятью детьми — двумя сыновьями и тремя дочерьми. Наступает длительный перерыв в его творческой деятельности. Только через два года выходит в свет следующая книга поэта.

Памяти второй жены Лонгфелло посвятил сонет «Снежный крест», написанный через 18 лет, в 1879 году.

1861 год ознаменовался в истории Соединенных Штатов событиями огромной важности — началась война между промышленным Севером и рабовладельческим Югом. Южные штаты объединились в так называемую «конфедерацию». Гражданская война 1861—1865 годов в Америке, по выражению Карла Маркса, была борьбой «двух социальных систем, — системы рабства и системы свободного труда».¹

Война закончилась победой Северных Штатов, в ходе войны рабство было уничтожено революционным путем, и наступила эпоха еще более быстрого и бурного развития капитализма. Гражданская война 60-х годов XIX века в США была своеобразным видом буржуазно-демократической революции. Так оценивает ее автор работ по истории США, председатель Коммунистической партии США У. Э. Фостер.²

На «величайшее, всемирно-историческое, прогрессивное и революционное значение гражданской войны 1863—1865 годов в Америке» указывал еще В. И. Ленин.³

Лонгфелло горячо сочувствовал делу освобождения негров от рабства, за которое активно ратовал его близкий друг аболиционист Чарлз Самнер. Но сам он непосредственно не принимал участия в общественной и политической борьбе.

Однако дневники и письма Лонгфелло того времени весьма показательны для характеристики его общественно-политических взгля-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XII, ч. II, стр. 251.

² У. Э. Фостер. Очерк политической истории Америки, ИИЛ, М., 1955, стр. 388—389.

³ В. И. Ленин Сочинения, т. 28, стр. 51.

дов. В 1859 году в штате Вирджиния фермер Джон Браун, один из представителей аболиционистского движения, сделал попытку поднять восстание рабов. Попытка Брауна не удалась, его отряд был разбит, сам он был схвачен и повешен. Его казнь произвела огромное впечатление в Америке и во всем мире. В защиту Брауна поднял свой голос Гюго.

2 декабря 1859 года, в день казни Джона Брауна, Лонгфелло записывает в дневнике: «Великий день нашей истории — дата новой Революции! Они ведут Джона Брауна на казнь за освобождение рабов. Они секут ветер, но скоро пожнут бурю!»

Лонгфелло внимательно следит за развитием событий, предшествующих войне. В конце 1860 года он отмечает: «Мятеж начинается! Южная Каролина — огонь и ярость. Она угрожает, что отделится. Но лучше это, чем уступки со стороны Севера!»

В январе 1861 года он пишет: «Шесть южных штатов отделились, во главе с Южной Каролиной. Теперь поздно гасить огонь. Мы должны его раздуть!»

15 февраля он отмечает: «За распадом Союза я слышу глухой ропот рабов — как хор в греческой трагедии, предрекающий: Горе! Горе!»

4 марта он с радостью записывает в дневнике, что президентом США избран Авраам Линкольн.

12 апреля мятежники-южане захватили форт Самтер, и с этого момента начались военные действия. Лонгфелло пишет 12 апреля: «Форт Самтер атакован. Итак — война!» «Мы в начале гражданской войны», — отмечает он в письме от 15 апреля. И далее его дневники и письма полны упоминаний о военных и политических событиях. Только 9 июля 1861 года, в день трагической гибели жены, дневник поэта обрывается надолго — до конца года.

В 1862 году дневник постепенно возобновляется. В феврале Лонгфелло с радостью отмечает освобождение негров в Колумбии.

8 мая он пишет: «Война — это Рабство против Свободы!»

1 января 1863 года мы находим следующую знаменательную запись: «Великий день! Указ президента об освобождении рабов!»

В течение 1863 года Лонгфелло самым внимательным образом следит за ходом военных действий, радостно отмечая в дневнике победы северян. В конце 1864 года он приветствует известие о переизбрании Линкольна на пост президента республики: «Мы дышим свободнее. Страна будет спасена». Наконец, 14 апреля 1865 года, когда актер Бус, подосланный реакционерами-южанами, предательски

убил Линкольна в театре, Лонгфелло с горестью восклицает: «Ужасная весть об убийстве Линкольна!»

Однако не следует забывать и того, что Лонгфелло, вначале близко примыкавший к аболиционистскому движению, впоследствии отошел от него, когда оно приняло более острые формы. Автор «Песен о рабстве» откликнулся на события войны 1861—1865 годов лишь несколькими стихотворениями («Рождественские колокола», «Камберленд», «Убитый у брода», «День памяти павших» и др.). Все эти годы поэт усиленно работает над поэтическим циклом, или, вернее, над сборником стихотворных новелл «Рассказы придорожной гостиницы», первая часть которого вышла в 1863 году. Здесь даны рассказы из жизни многих стран (Германия, Франция, Италия, Испания, Англия) в рамке, подсказанной «Декамероном» Боккаччо и «Кентерберийскими рассказами» Чосера.

Одновременно с этим поэт завершает свою работу над переводом «Божественной комедии» Данте, — работу, начатую еще в тридцатых годах. Этот перевод, сделанный белым стихом, — великолепный образец мастерства Лонгфелло в области художественного перевода. Он был опубликован в 1867 году.

Стремление Лонгфелло к эпической форме, к описательной поэзии нашло выражение в цикле стихотворных новелл «Рассказы придорожной гостиницы». Действие происходит в реально существовавшей гостинице Сэдбери, близ Бостона. Во вступлении мы знакомимся с хозяином и посетителями гостиницы, среди которых находятся студент, сицилиец, испанский еврей из Аликанте, богослов из Гарварда, поэт и музыкант. В этих семи персонажах Лонгфелло изобразил своих друзей. Все они рассказывают друг другу различные истории.

В новелле «Скачка Поля Ревира» Лонгфелло воскрешает эпизод из истории войны американских колоний за независимость. Герой ее Поль Ревир — бостонский резчик по серебру и гравер. Он рано примкнул к революционному движению, участвовал в так называемом «бостонском чаепитии», когда колонисты, возмущенные введенным налогом на чай, переодевшись индейцами, напали на английские корабли и выбросили в море ящики с чаем. Он был известен еще до войны как автор сатирических карикатур, направленных против Англии. После войны он стал членом Конгресса. В историю Поль Ревир вошел своей поездкой из Чарлстона в Лексингтон и Конкорд в ночь на 18 апреля 1775 года. Он должен был предупредить жителей о приближении британских войск, которые стремились захватить склад оружия в Конкорде. Английский отряд встретился в Лексингтоне с вооруженными колонистами. Вспыхнул бой, который считается началом

войны за освобождение колоний. В новелле Лонгфелло получила художественное отражение американская легенда.

«Сокол сьера Федерико» — довольно точное стихотворное переложение девятой новеллы пятого дня «Декамерона». Обедневший рыцарь готов ради любви к прекрасной даме расстаться с единственной ценностью, которая еще у него осталась, — с любимым соколом. Любовь готова на любые жертвы — вот что привлекло поэта в трогательной истории Боккаччо.

Эпизоды «Саги о короле Олафе» взяты из рассказов Снорри Стурлусона о короле, который в X веке насаждал христианство среди язычников. Лонгфелло переносит читателя в эпоху феодального средневековья. Борьба за престол, жестокие битвы, любовь, измена, месть — все это напоминает лаконизм и выразительную силу исландских саг. И здесь у Лонгфелло высоко поднята тема народа, решающего судьбы истории, создающего замечательные произведения искусства («Постройка «Длинного Змея»). Сатирический портрет патера Тангбранда — одно из лучших достижений поэта в этом цикле.

Удар по религиозному изуверству и фанатизму нанесен в «Торквемаде». Фанатик отец предает собственных дочерей, подозреваемых в ереси, в руки инквизиции. Он не только обрекает их на смерть, но и сам поджигает костер. Озаренный зловещим отблеском пламени костров, образ Торквемады — большая удача поэта.

Любопытна новелла «Птицы Киллингворта». Здесь у Лонгфелло глубоко поставлена проблема подлинного искусства, гонимого в буржуазном обществе. Символом его выступают птицы, которых уничтожили фермеры, и за это кара свыше — нашествие прожорливых гусениц — обратила их земли в пустыню. Лонгфелло в этой новелле говорит, что законы в стране создают те, кто владеет деньгами. Народ, демократические массы отстранены от участия в создании законов.

В «Камбалу» интересно решена тема растлевающего влияния золота на людей. Созданный Лонгфелло образ скупца как бы дополняет галерею мировых образов — Эвклиона (Плавт), Шейлока (Шекспир), Гарпагона (Мольер), Скупого рыцаря (Пушкин), Гобсека (Бальзак).

В «Сапожнике из Хагенау» перед нами средневековая Германия. Преследование еретиков, продажа индульгенций — все это трактуется у Лонгфелло остро сатирическим духе. Вновь, как и в «Нюрнберге», возникают здесь образы народных поэтов-мейстерзингеров.

Тема любви, чистой и самоотверженной, предстает перед нами в новелле «Эмма и Эгинхард», где замечательны образы Карла Вели-

кого и поэта Алкуина. Намеченная в «Соколе сыера Федерико», эта тема уже получила наиболее полное воплощение в пьесе «Золотая легенда».

В «Скандербеге» Лонгфелло создал величественный образ народного героя Албании — освободителя страны от турецкого ига.

Наконец, в новелле «Призрак матери» Лонгфелло художественно интерпретирует народную сказку, рассказанную ему в детстве няней. Фольклорная тема беспредельной материнской любви знаменует связь поэзии Лонгфелло с народным творчеством.

Таковы наиболее интересные новеллы этого цикла. Там же, где поэт не поднимался до глубоких художественных обобщений, его произведения оставались более или менее удачно рассказанной легендой («Азраил», «Атрийский колокол», «Монах из Казаль-Маджоре» и др.).

В 1868 году выходят в свет две пьесы, написанные белым стихом: «Джон Эндикот» и «Джайлз Кори, фермер из Салема», объединенные под общим заглавием «Трагедии из жизни Новой Англии». В них Лонгфелло вновь обращается к темам из истории родной страны. На этот раз действие происходит в конце XVII века, в период жестокого религиозного гнета. Первая трагедия посвящена преследованию квакеров в Бостоне в 1665 году. Во второй описывается один из многочисленных судебных процессов, направленных против «ведьм», в Салеме (недалеко от Бостона), в 1692 году. В этих пьесах Лонгфелло выступил с пламенным протестом против религиозного фанатизма и изуверства, продолжая таким образом линию идейной борьбы, намеченную уже в «Торквемаде». В трагедиях вскрыта реакционная роль церкви и духовенства. Хотя действие происходит в эпоху пуританства, обе пьесы звучат актуально и в наше время. Однако для этих пьес Лонгфелло характерны те же особенности драматургической композиции, которые проявились уже в «Испанском студенте». В какой-то мере эти пьесы являются историко-литературной параллелью к роману Готорна «Алая буква», где основой сюжета служат аналогичные события той же эпохи.

В 1868—1869 годах поэт вновь (в четвертый и последний раз) совершает поездку в Европу. В это время Лонгфелло находился в зените славы. Это была поистине триумфальная поездка, продолжавшаяся больше года. 27 мая 1868 года Лонгфелло на пароходе «Россия» отбыл в Англию. В это время творчество Лонгфелло привлекало внимание читателей в Европе больше, чем творчество любого другого поэта его времени, кроме, пожалуй, Виктора Гюго. Особенно популярен он был в Англии. Встречали его необычайно торжественно. В университе-

тах Кембриджа и Оксфорда он получил почетную степень доктора. Он был принят королевой Викторией. Лонгфелло встретился с Теннисоном и посетил Стрэтфорд — родину Шекспира. Это было его давнишней мечтой. Английские газеты писали о нем в самых восторженных тонах. «Лонгфелло — неофициальный посол мира, дружбы и доброй воли», — говорилось в «Дейли Лондон ньюс». «Таймс» писала: «Ни один наш поэт или поэт любой другой страны не был столь широко известен и ценим самыми разными кругами общества. Он в равной мере поэт народа и спутник самых высококультурных и утонченных людей». Газеты отмечали, что Лонгфелло пользуется большей известностью, чем даже Теннисон и Браунинг. «Самое распространенное чтение у англичан, — писал впоследствии журнал «Иллюстриейтед Лондон ньюс», — это стихи Лонгфелло и «Хижина дяди Тома». Лонгфелло издается у нас больше, чем наши собственные поэты». Диккенс утверждал, что рабочие так же хорошо знакомы со стихами Лонгфелло, как и представители высших слоев общества.

Из Англии Лонгфелло поехал в Италию, где прожил до весны 1869 года. 31 августа 1869 года он вернулся на родину.

Последние годы жизни Лонгфелло прожил уединенно и почти безвыездно в Кембридже. Он продолжает неутомимо трудиться и публиковать стихи в журналах. Один за другим выходят новые сборники его стихов. Из книг Лонгфелло, изданных в последнее десятилетие его жизни, следует отметить: «Маска Пандоры и другие стихотворения» (1875), где помещен ряд замечательных сонетов, «Кёрамос» (1877), где поэт ставит проблему роли искусства и труда в жизни человека, и, наконец, последний сборник «Крайний предел» (1880), в котором наряду со стихотворениями, говорящими об усталости от жизни и ожидании смерти, мы находим такое великолепное стихотворение о бессмертии поэзии, как «Роберт Бернс», где перед нами во весь рост встает обаятельный облик великого шотландского народного поэта.

Последние стихотворные сборники Лонгфелло в целом менее значительны в идейно-художественном отношении. Но и теперь ему удалось создать ряд замечательных лирических стихотворений. В книге сонетов привлекают внимание образы поэтов прошлого — Данте, Чосера, Шекспира, Мильтона и Китса. Проникновенные стихи посвящены памяти Ирвинга и Готорна. Ряд сонетов о природе, о значении поэзии продолжает традиции английского поэта-романтика Вордсворта. Теме вечности искусства и вдохновенного человеческого труда посвящена глубокая по замыслу небольшая поэма «Кёрамос». Мысли о братстве народов, о том, что искусство — детище природы (ср. взгля-

ды на искусство в «Гамлете» Шекспира), подтверждают высказанное ранее суждение о неуклонном движении Лонгфелло от романтизма к реализму. Он создает глубоко верный образ шотландского поэта Бернса, ставшего хорошо знакомым советскому читателю после переводов С. Маршака. И хотя в последних стихах Лонгфелло и звучат подчас личные мотивы усталости от жизни и близости неизбежной смерти, преобладают образы заката, наступающей ночи, тем не менее основная мысль — что человечество в героической борьбе движется от тьмы к свету, к лучшей, счастливой и свободной жизни — определяет настроение лирики последнего периода («Четыре часа утра», «Колокола Сан-Блас»).

Таково лирическое наследие Лонгфелло — замечательный вклад, внесенный поэтом в сокровищницу мировой поэзии.

Заслуги Лонгфелло были достойным образом оценены и другими народами мира. В 1873 году он был избран членом русской Академии наук, а в 1877 году — испанской.

В 1876—1879 годах Лонгфелло выпустил большую антологию — «Стихотворения о местностях» в 31 томе. Это — поэтическое описание природы и ландшафтов разных стран. 20-й том в этом собрании посвящен России.

В 1878 году американского поэта посетил русский путешественник Ю. В. Арсеньев. Лонгфелло жаловался ему, что не мог найти подходящего описания северной русской природы. Он сказал Арсеньеву, что хотел бы изучить русский язык.¹ Вообще Лонгфелло проявлял большой интерес к русской культуре и поэзии.

В самые последние годы жизни Лонгфелло был прикован к постели тяжелой болезнью. Однако он неизменно сохранял веселость и бодрость духа, не отказывал в приеме посетителям, в том числе молодым поэтам, которым всегда был готов помочь дружеским советом, поделиться с ними своим огромным творческим опытом. Слава его утвердилась прочно. В 1882 году его 75-летие было отмечено всей страной, во всех школах Америки. В начале марта, незадолго до смерти, он пишет свое последнее стихотворение «Колокола Сан-Блас». Он говорит в нем об упадке религии и церкви. Религия больше не властвует на земле. На смену старому идет новый, свободный от суеверий, зиждущийся на разуме мир. Он идет навстречу рассвету, заре, солнцу! Этими вдохновенными словами завершается творчество замечательного американского поэта.

¹ Ю. Арсеньев. Воспоминания о Лонгфелло. — «Московские ведомости», 1882, № 76.

24 марта 1882 года Лонгфелло умер. Он был похоронен на кладбище Маунт-Оберн, близ Кембриджа. Смерть его была воспринята в Америке как национальная утрата.

В 1882 году посмертно вышел сборник стихов Лонгфелло «В гавани», а в 1883 году последняя драма Лонгфелло — «Микеланджело», одно из самых значительных произведений поэта.

Во всем величии предстает в этой драматической поэме образ гениального художника эпохи Возрождения — живописца, скульптора, архитектора и поэта — Микеланджело. Превосходный знаток Италии и итальянского искусства, Лонгфелло создал исторически верную картину жизни Италии XVI века. Действие пьесы происходит в сороковые — пятидесятые годы шестнадцатого века, когда Микеланджело, семидесятилетний старик, работает в Риме над фреской «Страшный суд» для Сикстинской капеллы, а также принимает участие в строительстве собора святого Петра. Он — главный архитектор и живописец папского дворца. Вся жизнь художника посвящена любимому искусству. Он трудится самозабвенно, не зная усталости и отдыха. В пьесе высоко поднята жизнеутверждающая тема величия и бессмертия искусства, вдохновенного человеческого подвига. Эта тема проходит через все творчество Лонгфелло, начиная с «Псалма жизни» до «Микеланджело».

Но великий художник стар и одинок. Его преследуют горести и несчастья. Он любит Витторию Колонна, вдову маркиза Пескара. Но он старик и не может обманывать себя надеждой на счастье с молодой женщиной. Виттория видит в нем лишь гениального художника. Она может быть только его другом. Но и последний луч, озаряющий жизнь Микеланджело, постепенно меркнет и гаснет. Виттория умирает, и для Микеланджело наступает полное одиночество. Ему остается в жизни только одна радость — его любимое, вечное и бессмертное искусство.

В образе Микеланджело несомненно есть биографические черты. Устами художника Лонгфелло высказывает собственные мысли о значении искусства в жизни человека.

Микеланджело родом из Флоренции. Его трагедия усугубляется мыслями о судьбах родного города. Он изгнан из Флоренции, ибо он сторонник республики. Республика во Флоренции задушена, свобода попрана, там полновластно правит ставленник папы тиран Козимо Медичи. Римским аристократам нет дела до страданий народа Флоренции. «Свобода умерла!» — говорит художник, — свобода, которую он «обожал с колыбели», о которой он мечтал, ради которой он трудился.

Я родину мою хотел увидеть
Идущей к славе, счастью и добру,
Не снившимся другим! Но вал высокий
Пошел на спад и разом хлынул вниз.
Флоренция хрипит предсмертным хрипом.

Микеланджело ищет утешения в творчестве великого поэта Италии Данте, тоже некогда изгнанного из Флоренции. В Риме художника не понимают. Монахи попирают его, как «камни мостовой». Земное искусство Микеланджело неугодно церкви. Кардиналы мешают ему работать, обвиняют в том, что он не строит собор, а лишь портит труды предыдущих архитекторов Браманте и Сан-Галло. Он не архитектор, а скульптор, план его ошибочен, он работает медленно. Его обвиняют даже в ереси. Но художник продолжает бороться, он отстаивает свой замысел, и в конце концов ему удается убедить папу, что он прав. Микеланджело полон твердого стремления довести работу до конца. Строительство собора становится главной целью его жизни. Он отказывается вернуться во Флоренцию, куда его приглашает Козимо Медичи. Отныне с живописью покончено. Архитектура выше живописи и скульптуры, это — высшее искусство.

Пьеса Лонгфелло полна глубоких мыслей о судьбах искусства, в ней много споров о сущности искусства. В этом главный ее пафос. Для Микеланджело искусство — детище, зеркало природы. Но он видит кругом упадок подлинного искусства. «Кончился золотой век искусства!» — говорит он. Вместо вдохновенного и бескорыстного труда на пользу народа художники заняты постройкой своего благополучия. Но искусство вечно, и оно не может погибнуть. Вечен и неустанен творческий труд. Счастье не в достижении, а в стремлении к истине и красоте. Настоящий художник разрушает грубую и косную оболочку, которая скрывает красоту. На смену старикам идут молодые мастера, которые продолжают их творческий подвиг.

В пьесе интересны образы других художников этой эпохи — Бенвенуто Челлини, Тициана, Вазари, фра Себастиано. Каждый из них предстает в своем индивидуальном облике, живом и исторически верном. В этом большое достоинство пьесы Лонгфелло.

В «Микеланджело» поэту удалось создать яркий образ великого художника, сторонника прогрессивных взглядов в искусстве, идейного борца за народные идеалы. Это утверждение не отменяется и финалом пьесы, где усталый и измученный Микеланджело полон мыслей о близкой смерти. В пьесе ясно ощущается влияние шекспировского искусства. «Микеланджело» — достойное завершение сложного и противоречивого пути Лонгфелло от романтизма к реализму.

Поэтому трудно согласиться с встречающимся иногда утверждением, что в 70-е годы творчество Лонгфелло постепенно приходит к упадку и проникается декадентскими тенденциями. Наоборот, против декадентского искусства Лонгфелло вполне сознательно боролся всю жизнь. Таков смысл его идейной и творческой полемики с Эдгаром По.

В творчестве Лонгфелло широко представлена жизнь Америки и Европы. Подобно своему другу Готорну, он особенно интересовался колониальным периодом американской истории. В европейской жизни его больше привлекала эпоха средневековья. От ненавистной ему буржуазно-капиталистической действительности Лонгфелло, как поэт-романтик, стремился уйти в далекое прошлое родной страны, в легенды об индейцах, в жизнь средних веков. Он находил мало поэзии в современности. Но Лонгфелло всегда с любовью пишет о своей родной стране, о народе ее, об американской природе. Его творчество прославляет простых людей, их труд, их высокие моральные качества. В своих произведениях он борется против расового и национального гнета, против религиозного ханжества и изуверства, выступает как подлинный гуманист и демократ. Честный и правдивый художник, Лонгфелло, при всей ограниченности и противоречивости своего мировоззрения, принадлежал к прогрессивному направлению американской литературы. Он был человеком большой души, гражданином и настоящим поэтом. Его лучшие произведения законно вошли в золотой фонд мировой литературы.

В 1884 году в «Уголке поэтов» Вестминстерского аббатства в Лондоне был установлен мраморный бюст поэта. Лонгфелло был первым американским поэтом, удостоившимся этой чести.

При жизни Лонгфелло был широко известен в Америке и Европе. Однако после смерти его слава, особенно в эпоху расцвета декадентской поэзии в первой половине XX века, постепенно стала меркнуть. И хотя в Америке и Англии написано большое число литературоведческих работ о Лонгфелло, а современная критика на Западе считает его классиком, тем не менее идейное и художественное значение творчества Лонгфелло явно недооценивается. Лонгфелло иногда объявляют «эпигоном» и даже «плагиатором». В 1919 году исследователь американской литературы У. Трент писал: «Место Лонгфелло не среди выдающихся поэтов мира, даже его столетия». Аналогичные взгляды можно встретить и в наши дни. Следует указать, что о творчестве Лонгфелло на русском языке нет ни одной монографии, а только несколько статей и заметок. Лонгфелло иногда интерпретируется или как «буржуазно-мещанский», «религиозно-нравственный» поэт, или только как «культурный эрудит», способствовавший знакомству

Америки с европейской культурой. Из этого делается вывод, что роль Лонгфелло-просветителя значительно важнее, чем его роль в истории поэзии, лучшее, что дал Лонгфелло американской поэзии, — это хорошие переводы европейских поэтов. Не отрицая роли Лонгфелло как просветителя и переводчика, следует все же признать, что, по-видимому, ближе к истине был в свое время переводчик «Гайаваты» И. Бунин, назвавший Лонгфелло великим поэтом.¹ Последовательный анализ творческого пути Лонгфелло, его идейных и художественных особенностей подтверждает эту оценку.

Б. Томашевский.

¹ И. Б у н и н. Предисловие переводчика. — Л о н г ф е л л о. Песнь о Гайавате, изд. т-ва «Знание», СПб., 1903.

СТИХОТВОРЕНИЯ
1824—1855





НОЧНЫЕ ГОЛОСА

ПСАЛОМ ЖИЗНИ

Не тверди в строфах унылых:
«Жизнь есть сон пустой!» В ком спит
Дух живой, тот духом умер:
В жизни высший смысл сокрыт.

Жизнь не грезы. Жизнь есть подвиг!
И умрет не дух, а плоть.
«Прах еси и в прах вернешься», —
Не о духе рек господь.

Не печаль и не блаженство
Жизни цель: она зовет
Нас к труду, в котором бодро
Мы должны идти вперед.

Путь далек, а время мчится, —
Не теряй в нем ничего.
Помни, что биенье сердца —
Погребальный марш его.

На житейском бранном поле,
На биваке жизни будь —
Не рабом будь, а героем,
Закалившим в битвах грудь.

Не оплакивай Былого,
О Грядущем не мечтай,
Действуй только в Настоящем
И ему лишь доверяй!

Жизнь великих призывает
Нас к великому идти,
Чтоб в песках времен остался
След и нашего пути, —

След, что выведет, быть может,
На дорогу и других —
Заблудившихся, усталых —
И пробудит совесть в них.

Встань же смело на работу,
Отдавай все силы ей
И учись в труде упорном
Ждать прихода лучших дней!

ГИМН НОЧИ

Услышал я полет твой плавный, Ночь,
Под куполом небес!
Тьме света твоего не превозмочь
Во мгле густых завес.

И тишина, твоя родная дочь,
Затеplилась звездой.
Люблю тебя, серебряная Ночь,
Заворожен тобой!

Проснется грусть — и быстро мчится прочь,
Как звук далеких струн, —
Дрожит их стон в твоих чертогах, Ночь,
Созвучьем древних рун.

Живит меня студеною струей
Воздушный водоем,
Он для меня и вечность и покой
В мерцанье голубом.

Святая Ночь! Учитель тихий мой,
Целитель горьких мук!
Едва чела коснешься ты рукой —
Смолкает жалоб звук.

Покоя жду! Зову тебя, покой!
Слети и мир упрочь!
Молю тебя трикратною мольбой,
Сияющая Ночь!

ШАГИ АНГЕЛОВ

День угас, и зазвучали
Вздохи сумерек в тиши,
Тихо сняв туман печали
С успокоенной души.

Я свечей не зажигаю,
Но горит камин, и мне
Мнится — призраки бесшумно
Замелькали на стене.

Те, что рано опочили,
Кто мне дорог и теперь,
Верность сохранив в могиле,
Молча входят в эту дверь.

Ты, бесстрашный, юный, строгий,
Страстно жаждавший борьбы
И упавший средь дороги
Под ударами судьбы;

Вы, что крест скорбей и муки
Так безропотно несли,
А потом, скрестивши руки,
От меня навек ушли;

Ты, прекрасная подруга,
Спутница далеких лет,
Ты, что с неба и поныне
В душу льешь отрадный свет...

Медленным, беззвучным шагом
Входит призрак дорогой;
Опустившись в кресло рядом,
За руку берет рукой,

Смотрит пристально и кротко...
О, как светел этот взгляд!
Так порой с высот небесных
Звезды ясные глядят!

Уст воздушных дуновенье
Надо мной как ветерок:
Нежное благословенье,
Всепрощающий упрек...

И пока воспоминанье
В сердце трепетном живет,
Не страшат меня страданья,
Не тяжел мне жизни гнет!





РАННИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

АПРЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ

Луч солнца все теплей,
Посев прошел по вспаханым полям.
Скорее в лес! Там влажный блеск ветвей,
Подснежник первый там!

Люблю весенний день —
Лужайки роцц под бисером росы,
И синих туч медлительную тень —
Предвестницу грозы!

Как жадно влагу пьет
Из рыхлой почвы стройный юный вяз, —
Он перенес морозов злых налет,
Чтоб зеленеть сейчас.

Лес полон свежих сил, —
Вновь щебет птиц звучит в листве резной.
Вновь яркий свет и трепет пестрых крыл
Над просекой сквозной.

Вот заалел закат,
В густых кустах серебряная мгла.
Огнем зари вдали холмы горят,
В ложбине тень легла.

А ночь заглянет в лог —
И синева прольется в глубь озер,
И месяц отразит в ней тонкий рог,
Заблещет звезд узор.

Вершины серых скал
Отражены дрожащею водой, —
Деревья, словно в хрустале зеркал,
Любуются собой.

Апрель! Немало дум,
Сердце и дум соединяешь ты!
В осенний день, под листьев желтых шум,
Созреют их плоды.

ЛЕС ЗИМОЮ

Когда бушует ветер злой,
В кустах боярышника мчась,
Всхожу на холм тропой крутой,
Где весь простор открыт для глаз.

Пустынны выси голых круч,
Морозом скованы поля.
Сквозь лес скользит, мелькая, луч,
Простор безмолвный веселя.

Где виноград, янтарно-ал,
Вкруг дуба вился до земли,
А ветер кисть его качал, —
Теперь сосулек хрустали.

Где из тиши озерных вод,
Журча, струились ручейки, —
Теперь лежит недвижно лед,
Звенят задорные коньки.

Увы! Как ярко свод небес
Сиял весной, и в тишине
Благоухал зеленый лес,
И птицы звонко пели мне!

Теперь неистово звучит,
О лес, вершин твоих размах,
И ветер хрипло в рог трубит,
Шурша в тревожных камышах.

Так войте, вьюги, по полям!
Я знал ваш голос с детских лет, —
Встречаю год, внимая вам,
И слышу буйный ваш привет.

ВОСХОД СОЛНЦА В ГОРАХ

Я на холмах под куполом небес
Стоял один. Светлел все больше лес,
И ветерок с густых вершин
Спешил прильнуть к устам долин,
Но облака, клубясь на полпути,
Не в силах были до вершин дойти.
Недвижных, острых скал зубцы,
Как в битве павшие бойцы,
Сверкая копьями в преддверье дня,
Седой туман пронзали вокруг меня.
А к крутизне, расщеплена,
Прижалась темная сосна.
Завеса облаков всплыла, легка,
И видел я, как там, внизу, река
Сквозь лес тенистый и сырой,
Бурля, поток катила свой.
В румянном свете утренних лучей
Стонала выпь, легко кружась над ней.

Я слышал грохот дальних вод,
Я видел брызг хрустальных взлет.
Там, где песков сверкала полоса,
Дремали молчаливые леса,
И мягкий колокола зов
Вдруг прозвенел среди холмов.
Веселый рог все пел в ущельях гор,
Неся с собой охотничий задор,
И замер вдалеке. Затем
Мир снова стал спокоен, нем,
Лишь выстрела далекого дымок
Развеял налетевший ветерок.

Так, если горькие печали
Тебя когда-то угнетали
И если сердцем ждешь ты утешенья
В часы глухой тревоги и сомненья, —
Скорее в горы! Все невзгоды
Целит дыхание природы.

ОСЕНЬ

Приходит и уходит в славе год!
Глазки весны, прекрасные предтечи
Безоблачных и солнечных времен,
Горят от счастья жить — земля цветет.
Когда ж в серебряной одежде туч
Мерцает солнце осени и нам
В наследство оставляет старый год
Пурпурный блеск и золото плодов, —
Великолепней вида не найдешь!

И светлый гений веет среди роц,
Он проливает щедрою рукой
Из кубка с красками цветной поток
На сонные осенние леса.
В горячем свете тонут облака.
Рассвет в горах, как птица южных стран,
Взмахнул пестро расцвеченным крылом.
В тиши долины ветерок влюбленно
Целует алый лист, и жизнью полн
Торжественный покой, где дремлют бук
И легкий клен с желтеющей листвою,
Где осень, как слабеющий старик,
Садится у дороги отдохнуть.
В ветвях порхают зяблики. Снегирь,
Покинув вишню дикую и кедр,
Со свистом жалобным в траве клюет
Орехи. А на крыше под трубой
Щебечет ласточка. И слышишь ты
За роццей на окраине селенья
Удары отдаленной молотьбы.

Каким величием отмечен тот,
Кто с сердцем пламенным шагает вдаль
Под ясным небом и повсюду видит
Плоды земли, плоды своих трудов!
Ему и ветер и листва поют,
Поют так мудро и красноречиво
Свою торжественную песнь о том,
Что в смертный час спокойно и без слез
Сойти в свою могилу может он.

ПОГРЕБЕНИЕ МИННИСИНКА

На склон холма, в густые клены
Спустился тихо вечер сонный. . .
Среди дубов коричневатых
Скользит последний луч заката,
И каждый лист в тени лесной
Играет медью вырезной.

В далеком отблеске сиянья
Холмов синеют очертанья,
И тучка в переливах света,
Зарей вечернею согрета,
Румянится, как гладь озер,
Что радуют индейца взор.

Напевы гимнов погребальных
Летят среди холмов печальных,
Где молчаливо и сурово
Индейцы вдоль ручья лесного
Несут, в глубь леса уходя,
К могиле мертвого вождя.

А в месяц лилий у вигвама
Еще стоял он гордо, прямо,
И тридцать зим в снегах метели
Волос коснуться не успели,
Но, как созревший тяжкий плод,
Упал он в пору непогод.

Плащ из оленьей темной кожи
Покрыл вождя. У ног положен,
В тяжелых складках, лук с колчаном
Для подвигов в походе бранном,
Щит, оплетенный камышом,
И пояс, с бусами на нем.

Шли девушки, полны печали,
И песни их тоской звучали.
За ними следом молодые
Вожди и старики седые
Вели, молчание храня,
Осиротевшего коня.

Конь, от узды освобожденный
Седла и всадника лишенный,
Храпел, метал глазами пламя,
Ступал тяжелыми шагами,
И взор его искал того,
Чье сердце навсегда мертво.

Схоронен вождь в сырой могиле...
Коня на волю отпустили.
Но тотчас же, стрелой певучей
Сраженный в грудь, он пал, могучий.
И там, где нет сиянья дня,
Хозяин вновь обрел коня.





ЮНОШЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

ИНДЕЕЦ-ОХОТНИК

Когда убран был урожай с полей,
И сноп стал легче и колос белей,
И зябь была поднята вновь, и везде
Остались плуги лежать в борозде, —
Индеец-охотник, держа свой лук,
С горы увидел родимый луг.

Здесь жили чужие. А его весь день
По кручам водил быстроногий олень,
И волк пересек оленьи следы:
В тот день не добыл охотник еды.
И вот он с горькою думой стоит
И вниз на жилища белых глядит.

Опять занялась над лесом заря,
И ветер взметнул листву сентября,
На клене белеет мшистая цвель,
Свисает с него безжизненный хмель,
И соком налившийся плод золотой
Блестит над устлавшею землю листвою.

И, поем бредя из конца в конец,
Кукурузные стебли срезает жнец,
И звонко косилка поет вдалеке,
Где стелется бледный туман по реке;

Но пастуший рожок уже стадо зовет,
И в роще веселый звенит хоровод.

И тогда повернулся охотник спиной
К долине, что прежде была родной,
И услышал, как падает древний дуб
Под стук топора... С пересохших губ
Слетело проклятье, грома грозней,
Предательской дружбе белых людей.

Над нивой легла облаков пелена,
И рогом золотым их пронзила луна,
И шагов шелестящих послышался звук
Там, где стражем над озером высится буж.
И раздался стон, и всплеснулась вода,
И охотник исчез под водой навсегда.

Прошли года... И, закинув сеть,
Рыбак стал в прозрачную воду глядеть,
И на гладком желтом песке, в глубине,
Скелет он увидел на самом дне:
Скелет кольхался — вперед и назад,
А лук был, как прежде, в руке зажат!

ПЕСНЯ

Там, где померкнул день,
Темна и молчалива,
Река течет... Густую сень
Сплели над нею ивы.

Но стоит лишь взглянуть
На кроны в белой дымке,
И уловить нетрудно путь
Пугливой невидимки!

Так мысли, что текут
От родников желаний,
Узор в холодном сердце ткнут —
Невидимо, в молчанье.

Но день придет: любовь,
Как светлый взор, зажжется,
И мысль пробудится и вновь
Из тьмы на свет прорвется!





БАЛЛАДЫ

•

СКЕЛЕТ В БРОНЕ

О гость ужасный мой!
Поверх груди пустой
Зачем гремишь броней,
 Меня пугая?
Зачем из темноты
Бесплотные персты,
Как нищий, тянешь ты,
 Меня смущая?

Огонь на дне глазниц
Мелькнул, как крылья птиц,
Как дальний блеск зарниц
 В тиши прозрачной.
И глухо, как вода
Шумит под игом льда,
Возвысил он тогда
 Свой голос мрачный.

Я древле викинг был.
Но скальд не восхвалил
Моих деяний пыл,
 Молчит и сага.
Пускай твой стих простой
Про путь расскажет мой.
Иначе, проклят мной,
 Не жди ты блага!

Мужал средь непогод
Я у балтийских вод.

Там кречет мой в полет
С руки взвивался.
Чуть затрещит мороз,
Коньки на лед я нес,
Куда за мной и пес
Ступить боялся.

Я часто крался в лог,
Где бурый зверь залег
И заяц из-под ног
Взметался тенью.
И слушал в час ночной
Я оборотней вой
И первое, с зарей,
Пичужек пенье.

Но вот мой срок настал,
И я корсаром стал,
И мчал нас черный вал
На подвиг дикий.
Любили мы войну,
Багрила кровь волну,
Шли многие ко дну
Под наши клики.

А по ночам зимой
Шел пир у нас горой.
Разбужен, пел порой
Петух крикливо.
Берсерк начнет рассказ,
Мы чокнемся не раз:
Обилен наш запас
Вина и пива.

Однажды я про шквал
Друзьям повествовал.
Вдруг на меня упал
Луч взора нежный.
В сиянье звезд сосна
Уже не так мрачна.
Дошел тот луч до дна
Души мятежной.

Хоть весь объезди свет, —
Синее зора нет!
И дали мы обет
 В лесу друг другу.
И дева в час ночной
Дрожала, как порой
Птенец перед грозой
 Дрожит с испугу.

В старинном замке зал
Доспехами сверкал,
И в честь вождя звучал
 Хор менестрелей.
И к Гильдебранду я
Проситься стал в зятя.
Пока шла речь моя,
 Все онемели.

Он полный рог держал;
Когда я замолчал,
Его зубов оскал
 Блеснул надменно.
Как ветер рвет долой
С волны покров седой,
Так хохот громовой
 Сдул с пива пену.

Был вождь ее отец,
Я — викинг-удалец,
И не дал мне гордец
 Ответа даже.
Но взмыл орел морской,
Голубку взяв с собой.
Напрасно часовой
 Дремал на страже!

Отчала ладья,
И в ней — любовь моя,
И упоен был я
 Красой невинной.
Но к нам с высоких скал
Сам Гильдебранд бежал.

Мечом он потрясал,
И с ним — дружина.

Шторм подхватил их бот.
Он мчит их, мачту гнет,
А мы летим вперед!
Вдруг замер ветер.
Погнал коварный ска
Обратно облака,
И нас издалека
Враг смехом встретил.

И снова взвит тугой
Наш парус над волной.
«Смерть! — крикнул рулевой. —
Смерть без пощады!»
Мы им пробили бок,
И хлынул внутрь поток,
И взяли свой оброк
Валы-громады.

А я, как альбатрос,
Летящий на утес,
Средь волн добычу нес,
С их споря силой.
На запад, в океан
Сквозь бурю и туман
Я долго, счастьем пьян,
Плыл с девой милой.

Когда ж хмельным волнам
Наскучил рев и гам,
Открылся берег нам
Над зыбкой гладью.
Там башню я из плит
Возвел, найдя гранит.
Она досель стоит,
На море глядя.

И много лет потом
Мы прожили вдвоем.
Она забыла дом,
Родились дети.

Но в землю на покой
Легла она зимой.
Не знал жены такой
Никто на свете!

Застыла скорбь по ней
Навек в груди моей.
Я невзлюбил людей,
Свет солнца, море.
Решил я жизнь пресечь,
Как бремя скинуть с плеч,
И бросился на меч
Я грудью в горе.

Свободный от оков,
Мой дух в простор веков
На звезд знакомых зов
Вознесся снова.
Там пиршественный стол
Средь храбрых я нашел.
Скол, о мой Север! Скол!
Вот все до слова.

ГИБЕЛЬ «ВЕЧЕРНЕЙ ЗВЕЗДЫ»

Корабль «Вечерняя звезда»
Выходит в океан,
И дочь-красавицу берет
С собою капитан.

Ее лучистые глаза —
Как синь волны речной,
И грудь у девушки нежней
Подснежника весной.

Стал у штурвала капитан
И трубку закурил;
Смотря, куда несется дым,
За ветром он следил.

Один из старых моряков
Воскликнул: «Капитан!
Держите к порту, я боюсь,
Что будет ураган!»

Вчера вокруг луны был нимб,
А нынче нет луны».
Но усмехнулся капитан:
«Мне бури не страшны!»

Свистящий снег хлестал в лицо,
Был ветер злобы полн,
И бриг метался в туче брызг
Средь пенившихся волн.

И вдруг ударил страшный шторм,
Все в вихре закрутил.
Так конь испуганный бежит
В избытке буйных сил.

«Сюда, сюда, дитя мое,
Не бойся, ты со мной! —
Воскликнул капитан. — Всю жизнь
Боролся я с волной,

Перевидал немало бурь
Я на веку своем!»
И дочь он к мачте привязал,
Накрыв ее плащом.

«Отец! Вдали я слышу звон!
Что это может быть?» —
«То знак дают нам со скалы;
Туда опасно плыть».

«Отец! Я слышу гром пальбы!
Что это может быть?» —
«То гибнет бриг и шлет сигнал,
Чтоб помощь получить».

«Отец! Я вижу огонек!
Что это может быть?»

Но капитан не отвечал —
Прервалась жизни нить;

Застыл его стеклянный взгляд
На черных небесах,
И тусклый отблеск фонаря
Мерцал в его зрачках.

И дочь молилась, чтоб ее
Сын божий защитил,
Как в Галилее он волну
На озере смирил.

А сквозь буран, сквозь тьму и ночь,
Свой корпус накренив,
Как призрак, бриг летел вперед
На островерхий риф.

И ветра судорожный рев
Вдруг новый звук домчал:
То был прибоя грозный шум
У прибрежных скал.

Под самым носом взмыл бурун,
Обрушился на бриг,
И снес он с палубы людей,
Как льдинки, в тот же миг.

Казалось, дикая волна,
Как шерсть, была мягка,
А скалы встали, как рога
Взъяренного быка.

И мачты рухнули за борт
В крутой водоворот;
Бриг разломился, как стекло,
Средь грохотающих вод.

Поутру увидел рыбак,
От ужаса застыв,
Как тело девушки в волнах
Нес к берегу прилив.

Замерзла пена на гуди,
В ресницах — льдинки слез;
Как водоросли, на воде
Качалась прядь волос.

Так брит «Вечерняя звезда»
Погиб в полночный час.
Пускай от гибели такой
Господь избавит нас!





РАЗНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

ДЕРЕВЕНСКИЙ КУЗНЕЦ

Над сельской кузницей каштан
Раскинул полог свой.
Кузнец, могучий исполин
С курчавой головой,
Железо там кует весь день
Железною рукой.

По закоптелому лицу
Струится честный пот.
С утра до вечера кузнец
По наковальне бьет.
Он не богат, но и просить
На бедность не пойдет.

Ревут кузнечные мехи,
Едва встает заря,
И мерным гулом полнит дол
Рука богатыря,
Как будто взял он на себя
И труд пономаря.

У кузницы толпа детей,
Их рожницы — в окне.
И весело гудят мехи,
И рдеет сталь в огне,
И пляшут искры! Так летит
Мякина на гумне.

В воскресный день он — в церкви; с ним
Три сына-молодца.
Поет в церковном хоре дочь.
И с гордостью отца
Он смотрит на своих детей:
В них счастье кузнеца.

И вспоминает он, когда
Звучит церковный хор,
О сельском кладбище, где спит
Жена с недавних пор,
И смахивает он слезу,
Туманящую взор.

Так труд, и радость, и печаль
Даны ему в удел,
И утро для него всегда
Начало славных дел,
А вечер счет ведет тому,
Что он свершить успел.

Благодарю, мой славный друг!
Пример ты для меня.
Мой долг — ковать свою судьбу
На наковальне дня,
Пусть будут мысли и дела
Всегда полны огня.

ЭНДИМИОН

Не видно звезд в сиянье лунном.
Подобные блестящим струнам
Лучи, за рядом ряд,
Меж темных трав горят.

Блестит ручей сквозь мглу тумана,
Как будто сонная Диана
Из утомленных рук
Свой выронила лук.

В такую ночь она влюбленно
Коснулась уст Эндимиона,

Когда в тени ветвей
Не грезил он о ней.

Любовь, как поцелуй Дианы, —
Дар бескорыстный и неожиданный.
Горяч и молчалив
Ее очей призыв.

Спешит, прекрасная, нагая,
Надежды вестница благая,
К избраннику она,
Прекрасна и вольна.

И, ветви приподняв небрежно,
Касается губами нежно
Очей того, кто спит,
В тени забвенья скрыт.

О сомкнутые сном ресницы!
О души, где печаль таится,
Где места нет мечтам,
Придет любовь и к вам!

И пусть ты отдан в жертву бедам,
Но голос, что тебе неведом,
Сквозь сумрак долгих дней
Звучит в груди твоей,

И тихий — словно ангел юный
Задел крылами сердца струны —
В нем слышится укор:
«Где был ты до сих пор?»

НЕДОЛГО ДЛИТСЯ МАЙ

No hay pajaros en los
nidos de antano.¹
(Испанская пословица)

Сияет солнце, воздух чист,
Природа встала ото сна,

¹ Нет больше птиц в прошлогодних гнездах (исп.).

И слышен птиц веселый свист:
Привет, привет тебе, весна!

Как будто синяя река
Берет истоки в небесах,
Где отдыхают облака
Иль ветра ждут на якорях.

Все ново! Травы шелестят,
Цветы шлют солнцу свой привет,
И новых гнезд под крышей ряд;
Нет птиц на гнездах прошлых лет.

Мир юный для любви воскрес
И полон радости живой,
Когда с темнеющих небес
Спускается покров ночной.

О дева! К счастью стремись
И радость юных дней встречай,
Расцветом жизни насладись!
Скорей! Недолго длится май!

Пока в крови весной любви
Увенчан юности расцвет,
Земного счастья миг лови!
Нет птиц на гнездах прошлых лет.

К РЕКЕ ЧАРЛЗ

Ты по дремлющим полянам
Протекаешь в тишине
И роднишься с океаном,
Растворясь в его волне.

Здесь прошли ученья годы,
И утрачен был покой...
Здесь, журча, струились воды
Жизни вечною рекой.

Ты влекла меня в высоты,
Ты в душе будила свет, —
Я ж за все твои щедроты
Лишь стихи дарю в ответ.

Часто в черный час печали
Слушал я твои слова,
И печали утихали,
Как под властью волшебства.

А в счастливые мгновенья
Так сверкала зыбь реки,
Что рождалось просветленье
Даже в приступах тоски.

Ты мне друг и за другое!
Не за то, что гладь волны
Стала светло-голубою
От небес голубизны.

Но вдали, где лес мохнатый
В чаще мглы тебя укрыл,
Жили там друзья когда-то,
Те, кого я так любил.

Имя Чарлз! В нем память скрыта:
Имена троих друзей...
И меня сильней магнита
Вновь влечет к волне твоей.

О друзьях я вспоминаю...
В сердце память о былом
Вспыхнет, пламенем блистая,
Словно угли тлеют в нем.

Не угаснет в нас сиянье
Мест, где жили мы детьми.
Ты за все благодаянья
В дар стихи мои прими!

EXCELSIOR!

Уж солнце в сумерках зашло...
Через альпийское село
Нес юноша в снега и мрак
С девизом непонятым флаг:
Excelsior!

Суровый взор его сверкал
Холодной сталью, как кинжал.
И как серебряный рожок
Звенело в тьме ночных дорог:
Excelsior!

В домах он видел яркий свет.
Он был теплом села согрет,
Но в вышине мерцал ледник,
И с губ сорвался гордый крик:
Excelsior!

«Дороги нет на перевал:
Близка метель! — старик сказал. —
Поток ревет, и брода нет!»
Но твердо раздалось в ответ:
Excelsior!

Просила дева: «Отдохни,
На грудь мне голову склони!»
Но взор его слезой блистал,
И он со вздохом отвечал:
Excelsior!

Смотри: шатнулся ствол сосны
На склоне этой крутизны.
Лавины жди наверняка!
Но донеслось издалека:
Excelsior!

Рассвет в горах зажег пожар,
Когда в обитель Сен-Бернар,
Молитвы звуки заглушив,
Ворвался дерзостный призыв:
Excelsior!

Набрел на тело верный¹ пес.
Героя снег почти занес,
Но флаг в ладони ледяной
Сжимал он с твердостью стальной!
Excelsior!

Так в сумраке у снежных скал,
Прекрасный в смерти, он лежал.
Его завет горит всегда,
Как путеводная звезда:
Excelsior!

MEZZO SAMMIN ¹

*Написано в Бонпарде, на Рейне,
25 августа 1842 г.,
перед отъездом домой*

Уже полжизни отошло в былое,
В ладонях, как песок, скользят года...
Мечты не настигая никогда,
Я не сдружился в песнях с высотой.

Не лень, не наслаждение, не шальное
Безумство, что нас дразнит иногда,
А смутное томление — вот беда,
Сгубившая несозданное мною.

И я гляжу на прошлое с холма:
Оно внизу шумит и чуть блистает, —
Так город в сумерках объемлет тьма,

И в ней дымки, огни и крыши тают...
И слышу — предо мною Смерть сама,
Как грохот водопада, нарастает.

¹ На полути (*итал.*).





СТИХИ О РАБСТВЕ

К УИЛЬЯМУ ЧАННИНГУ

Когда из книги мне звучал
Твой голос величаво, строго,
Я сердцем трепетным зывал:
«Хвала тебе, служитель бога!»

Хвала! Твоя святая речь
Немолчно пусть звучит народу!
Твои слова — разящий меч
В священной битве за свободу.

Не прерывай свой грозный клич,
Покуда Ложь — законом века,
Пока здесь цепь, клеймо и бич
Позорят званье человека!

Во глубине твоей души
Господень голос непрестанно
Зовет тебя: «Пророк, пиши!» —
Как на Патмосе — Иоанна.

Пиши кровавые дела
И возвести день скорби слезной,
День гнева над пучиной зла,
Апокалипсис этот грозный!

СОН РАБА

В колосьях риса он лежал,
Сжимая серп рукой.
Жесток был эной, в сухой песок
Упал он головой, —
И вновь в тенях неясных сна
Пред ним был край родной.

Могучий Нигер протекал,
Сверкая сквозь туман,
В тени от пальм стоял он — царь,
Владыка этих стран.
Звеня бубенчиками, с гор
Спускался караван.

Он видит вновь свою жену,
Глядит в ее глаза.
И дети тут — целуют, льнут,
Звенят их голоса...
Скатилась тихо по щеке
Тяжелая слеза.

Вот он верхом на скакуне
Летит, свободе рад,
Звенит узда, и повода
Все в золоте горят, —
Что ни прыжок — быют ножны в бок,
Гремят копытам в лад.

Фламинго промелькнул в кустах,
Как флаг кроваво-ал, —
И он за ним, неутомим,
До полночи скакал,
До кафрских сел, где океан
Шумел у серых скал.

Был грозен рев полночный льва,
Гиены хохот дик;
В реке тяжелый бегемот
Ломал, храпя, тростник;
И все слилось — в виденьях сна —
В победный мощный клик!

К свободе звали темный лес,
И водопад, и лут,
Пустынь дыханье разлилось
Так широко вокруг,
Что и во сне он задрожал
И улыбнулся вдруг.

Не видел он, как взвился бич,
Свистя, над головой,
Смерть осенила царство сна.
И труп лежал немой,
Как цепь, отброшенная прочь
Свободною душой!

НЕОТЪЕМЛЕМОЕ БЛАГО

Она живет у вод Кенгавы,
В среде чужих детей.
Ей школа — все; надежды, славы
Другой не нужно ей.

Как кроет все одеждой ясной
Цветущая весна,
Так святостью души прекрасной
Объемлет всех она.

Сама с детьми в садах играет,
Все с лаской жмутся к ней.
И кроткий взгляд ее смиряет
Упрямых дикарей.

Под вечер слушать все готовы
О том, кто в мир грехов
Пришел снять с узника оковы,
Освободить рабов.

«Придет пора — все будут вольны!
По всей земле — по всей —
Как звон раздастся колокольный
Звук порванных цепей!»

Так, следуя Христа ученью,
Смиренна и бедна,
Себя лишь ближним на служенье
Всю обрекла она.

И у нее богатство было;
Но, помня божий страх,
Она рабов освободила
И в доме и в полях.

Все за морем они, на воле,
В краю своем родном.
Она живет в смиренной доле
Дневным своим трудом...

Горячей силой их молитвы
От бед охранена,
Как ангел, среди житейской битвы,
Спокойна и ясна!

НЕВОЛЬНИК В ЧЕРНОМ БОЛОТЕ

Лежал он, прячась от людей,
В болотных тростниках.
Он видел отблеск фонарей,
Он слышал близкий храп коней
И лай собак в кустах.

Там, где болотные огни
Мерцают сквозь туман,
Где мох покрыл густые пни,
Где кедры мрачные одни
В объятьях змей-лиан,

Там, где трущобою глухой
И смелым нет дорог, —
Средь зыбкой топи торфяной
Таился он в траве густой,
Как зверь лесных берлог, —

Невольник старьй, негр-бедняк.
Ожоги у плеча,
На лбу клеймо, позора знак,
На теле — не один синяк,
Недавний след бича.

Так было ярко все в лесах,
Так зелен их покров!
Мелькали белки на ветвях,
И в звонких птичьих голосах
Звучал Свободы зов.

Лишь он склонился под ярмом:
Был он рабом рожден.
Проклятье Каина на нем,
И, словно колос под цепом,
К земле придавлен он!

ПОЛУНОЧНАЯ ПЕСНЯ РАБА

Гнет и горькая обида
Вновь звучат в псалме Давида!
Негр, неволей угнетен,
Про свободный пел Сион.

Пел он радостно и чисто
Стих из древнего псалмиста,
И ему в ночной тиши
Я внимал от всей души.

Слышали Египта дети
Песни радостные эти
Там, где с войском фараон
Был волнами поглощен.

Этот голос, веры полный,
В тишине звучал безмолвной,
И, величественно-дик,
Он менялся каждый миг.

Павел в мрачном заточеньѣ
Пел о светлом вознесенъе,
И удар подземных сил
Свод темницы сокрушил.

Кто б принес под эти своды
Вестъ рабу о днях свободы?
Кто б размахом грозных сил
Дверь темницы сокрушил?

СВИДЕТЕЛИ

Широк простор морской,
И там, на дне, в песках
Белеют под водой
Скелеты в кандалах.

Там, в глубине, плывут
Останки кораблей
И страшный груз несут —
Закованных людей.

В цепях там кости спят,
Покрыты вечной тьмой,
И бури не грозят
Нарушить их покой.

Но из глубин немых,
Из вековечной тьмы
Нам слышен голос их:
— Свидетельствуем мы!

Широк простор земной,
И в шумных городах
Рабы — товар живой,
Рабы гниют в цепях.

Над трупами людей
Пир коршуны вершат;
Ужасней нет смертей,
Они детей страшат.

Дурная мысль, порок,
Корысть, злодейства, гнет —
Они мутят поток,
Которым жизнь течет.

И трупы под густым,
Зловещим гнетом тьмы
Взывают к нам, живым:
— Свидетельствуем мы!

КВАРТЕРОНКА

Невольничий корабль с утра
На якоре в лагуне.
Луна взойдет — и в путь пора
С вечерним бризом шхуне.

Сошел на берег капитан,
Матросы ждут у шляпки;
Глазея, как ползет кайман,
Посасывают трубки.

Вокруг цветут — им нет числа —
Растенья, наполняя
Преступный мир греха и зла
Благоуханьем рая.

Плантатор в думы погружен,
И ром его не допит;
Сидит с работорговцем он,
А тот его торопит:

«Мне остается полчаса,
И медлить безрассудно,
Бриз надувает паруса,
Уже пора на судно».

С улыбкой робкой на устах
Ждет девушка в сторонке,
И с любопытством смешан страх
В глазах у кварталеронки.

Ни украшений нет на ней,
Ни ярких одеяний,
Прикрыта лишь волной кудрей,
Обрывком грубой ткани.

Но девушки прекрасный лик
С лучистыми очами
Так нежен, кроток в этот миг,
Как у святых во храме.

Плантатор на нее глядит
И на червонцев грудь.
«Мне разорение грозит,
Когда упряма я буду».

Сверкает золото; любовь
Бороться с ним не в силах,
Хоть не забыл старик, чья кровь
У кварталонки в жилах.

Монеты спреб он со стола,
Угрюмо кончив дело,
А девушка все поняла
И, вздрогнув, побледнела.

И вот покупку за собой
Повлек купец жестокий,
Чтобы наложницей, рабой
Увезть в свой край далекий!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Остерегайтесь! Вспомните того,
Кто льва когда-то растерзал руками.
Былая мощь оставила его,
Слепой, в тюрьму он ввергнут был врагами,
И на позор, как раб, в цепях Самсон
На пир был к филистимлянам введен.

Тогда рукой беспомощной своей
В отчаянье он пошатнул колонну, —
Свод рухнул на пирующих гостей,
Жестокий смех сменился жалким стоном;
Слепого придавил упавший кров,
Но с ним погибли тысячи врагов.

Слепой Самсон есть и в стране у нас.
Пока еще он заключен в оковы.
Но ждите! Он восстанет в грозный час,
Неумолимый, страшный и суровый,
И наш величественный храм свобод
На нас самих обрушит тяжкий свод.





БАШНЯ В БРЮГГЕ И ДРУГИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

БАШНЯ В БРЮГГЕ

В Брюгге от времен ушедших башня древняя осталась;
Разрушалась башня трижды, трижды снова поднималась.

Я взошел на эту башню; начинался новый день.
Как вдовец снимает траур, сбросил мир ночную тень,

И пейзаж страны туманной, городками испещренный,
Расстился подо мною, словно щит посеребренный.

Город спал передо мною, а из труб то тут, то там
Дым прозрачный, снежно-белый возносился к небесам;

А из города — ни звука, жил еще он днем вчерашним...
Но услышал я, как билось сердце каменное башни.

Ласточки защебетали, величая дня восход,
И земля внизу казалась дальше мне, чем небосвод.

Гимны прошлого я слышал, песнь певцов, давно уснувших, —
Эти гимны неземные были зовом лет минувших;

Хор монахов из собора слышал я сквозь тьму времен,
С ним сливался, словно песня, колокольный перезвон.

И, как тени дней прошедших, хлынули воспоминанья,
И вернулись к нам на землю те, кто жили лишь

в преданьях:

Рыцари лесов фламандских, мощный Болдвин Браз
де Фер,
Лидерик де Бюк отважный, Креси, Ги де Дампиер.

Я увидел блеск и стройность шествий пышных
и парадных,
Рыцарей Руна Златого, дам надменных и нарядных.

Вот купцы-венецианцы на богатых кораблях,
Многих стран послы в кафтанах, в шляпах с перьями,
в мехах,

Максимилиан надменный, но склонившийся впервые,
На охоте соколиной благородная Мария,
Спальня, где Баварский герцог должен был с принцессой
лечь,
Стража возле их постели, а меж ними острый меч;

Я ткачей фламандских видел, и Намюра, и Гильома,
Бой, где шпоры золотые стали символом разгрома,

Минневатерскую битву, капюшонов белых ряд,
Артевельде, кем победно золотой дракон был снят.

Бородатые испанцы ужас Фландрии внушали,
И колокола на башне к бою граждан призывали;

Через дамбы и лагуны звон набата звал народ:
«Я — Роланд! Вперед, фламандцы! За свободу
в бой — вперед!»

Вдруг удары барабана город спящий пробудили,
И вернулись духи предков каждый вновь к своей могиле.

Шли часы, минут быстрее... И окрестность вся светла.
Тень от башни площадь Брюгге рассекает, как стрела.

СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧ

Вот здесь, мой конь, остановись!
Дай мне припомнить лица...
Сейчас к виденьям прошлых лет
Хочу я возвратиться.

Сближает Времени прибой
Былое с Настоящим...
Так след, пропавший под ручьем,
Опять приметен в чаще.

Здесь в город путь прямой пролег.
Когда-то в этом месте,
Нежнейшая из всех друзей,
Мы шли с тобою вместе.

В тени прохладной лип густых
Ты по праву ступала,
И зелень радужной листвою
Тебя оберегала.

И твой отсвечивал наряд
Лилейной белизною...
Как ангел чистая душой,
Ты шла в тот день со мною.

К тебе склонял свою листву
Лесной простор безбрежный...
К тебе и клевера цветы
Тянулись с лаской нежной.

«Уйди, забота, сгинь, тщета,
Засните, треволенья!» —
Пел в деревенской церкви хор
В то утро воскресенья.

И золото лучей сквозь пыль
Лилось волной чудесной,
Как сон Иакова в ночи
О лестнице небесной.

И то и дело ветерок,
Еще дышавший стогом,
Переворачивал листки
В молитвеннике строгом.

Хоть долгой проповедь была, —
Казалась не такою,
Хоть Руфь священник вспоминал, —
Я сердцем был с тобою.

Хоть служба долгою была, —
Казалась не такою,
Хоть с ним молился жарко я, —
Я сердцем был с тобою.

Все изменилось нынче здесь,
Где ты теперь — не знаю!
С тобой померкла и лучей
Частица золотая.

Но мысли тайные во мне
Подобны снам темным,
И гаснет день, и слышен вздох,
Как бы в бору огромном.

Воспоминанье о былом
Как солнца луч над нами. . .
Он, скрытый здесь завесой туч,
Там блещет над полями.

АРСЕНАЛ В СПРИНГФИЛДЕ

Подобный колоссальному органу,
Оружием сверкает арсенал.
Еще звучать не время великану,
Еще молчит торжественный хорал.

Но если Ангел Смерти прикоснется
К еще безмолвным клавишам рукой,
Зловещая мелодия сольется
Со стоном и предсмертной мольбой.

Крик гибнущих, агонией объятых,
Сквозь гул времен я слышу и сейчас.
Пройдя через века кровавых схваток,
Их страшный хор доходит и до нас.

Стучит саксонский молот в поле боя,
Норманнов песне вторит лес густой,
И, словно шум ревущего прибоя,
Монгольский клич несется над землей;

Военный колокол дворца Тосканы
Тревожным гулом будит весь народ;
Ацтекские жрецы бьют в барабаны,
Сзывая диких воинов в поход;

В захваченной деревне — мародерство,
Безмолвствуют и правда и закон,
И город, проявляющий упорство,
Безжалостно на голод обречен;

Звонят клинки, взрываются снаряды,
Смертельный бой идет за каждый дом,
Не умолкает грохот канонады,
Обрушившийся на землю как гром.

О человек! Ужель войны невзгоды
Тебе милее мирного труда?
Ужель отныне музыку природы
Шум боя уничтожит навсегда?

Когда б хоть половину тех усилий,
Что отданы велениям войны,
Мы делу просвещения посветили, —
Нам арсеналы были б не нужны,

И «воин» стало б ненавистным словом,
И тот народ, что вновь, презрев закон,
Разжег войну и пролил кровь другого,
Вновь, словно Каин, был бы заклеимен.

И в будущем — я вижу! — бой стихает,
Трубу войны сменяют звуки лир,
Народам колокол провозглашает
Великое, святое слово «МИР».

Мир! Пусть молчит орган войны ужасный,
Пусть жизнь не задыхается в крови,
И пусть звучат, как гимн богов прекрасный,
Священные мелодии любви.

НЮРЕНБЕРГ

Там, где Пегниц лентой чистой то зажегся, то померк,
Средь Франконии холмистой встал старинный Нюренберг.

Город песен и сказаний, мастеров и торгашей,
Как грачи, воспоминанья вьются над стеной твоей.

Здесь, в глуши средневековой, феодалы — внук и дед —
В замках мрачных и суровых жили много долгих лет.

И богатый горожанин в грубых хвастался стихах,
Что имперский город станет властелином — всем на страх.

Лентой связана чугунной, возле замковых ворот
Королевы Кунигунды липа мощная цветет.

И у древнего фонтана, там, где высится собор,
Короля Максимилиана славил лютней Мельхиор.

Я искусства мир богатый вижу в обликах живых:
Над бассейном мрамор статуй в шуме рынков городских.

Вдоль соборного портала изваяний старых ряд,
Тех, что вера завещала нам столетия назад.

У Себальда, где хранятся мощи в раке золотой,
Сонм апостолов — двенадцать — блещет бронзою литой.

У Лаврентия в соборе — как фонтанная струя
Дароносица в притворе блещет золотом литья.

В мире гимнов и скульптуры здесь трудился, сердцем чист,
Живописец Альбрехт Дюрер, красоты евангелист.

И отсюда он в молчанье, вечный труженик в пути,
Навсегда ушел в скитанья, чтобы лучший мир найти.

«Emigravit»¹ — возглашает надпись скромная плиты.
Но творец не умирает, он отходит в край мечты.

¹ Отошел (лат.).

В старом городе все свято, солнцем залито живым
Оттого, что он когда-то шел по этим мостовым.

Где строения тесно стали, крыши низко опустив,
Мейстерзингеры слагали свой бесхитростный мотив,

Шли сюда через заставы праздник песен повторить,
Дружно гнезда в храме Славы, словно ласточки, лепить.

Цех ткачей, цех сукновален — каждый меру в труд вплетал,
Кузнецы средь наковален гнули огненный металл.

Только Труд рождает зерна для Поэзии цветка
В мастерской, от дыма черной, и у ткацкого станка!

Так Ганс Сакс, поэт-сапожник, всех прославленных певцов
Превзошел в стихах несложных, в шутках, в блеске
острых слов.

Дом, где жил он, по поверью, — кабачок уж много лет:
Над окном — венок, над дверью — маслом писанный
портрет.

Как в не блещущей нарядом песне Пушмана живой,
Виден старец с кротким взглядом, с длинной белой бородой.

Люди отдых долгожданный здесь проводят до конца
С пивом в кружке оловянной, в кресле славного певца.

Дней былых прошло цветенье, но во тьме мой ловит взор
Эти пестрые виденья, старых вышивок узор.

Нет, не пышные фигуры императоров твоих, —
Но художник Альбрехт Дюрер и Ганс Сакс,
любивший стих,

Нюрнберг, из стран далеких привели меня сейчас
В темных, узких переулках о былом сложить рассказ.

Как цветок, средь плит взращенный, я любил искать всегда
След работы неуклонной, родословную Труда!

МОСТ

Стоял на мосту я в полночь,
Вокруг была тишина;
Из-за темной церковной башни
Красная вышла луна.

Я видел ее отраженье
В реке, что текла подо мной;
Золотой, казалось мне, кубок
Тонет в пучине морской.

А вдалеке полыхало,
Ярче лунных лучей,
Сыпля багровые искры,
Пламя плавильных печей.

Внизу волновались тени,
И казалось, устои моста
Собрались под напором прилива
Покинуть свои места.

Волна о них ударялась
И прочь уходила, устав,
И в воде колыхались стебли
Морских диковинных трав.

И как волны, что колебали
Мощь мостовых опор,
На меня нахлынули мысли,
Туманя слезой мой взор.

Как часто, о, как часто
В забытые ныне года
Смотреть на воду и небо
Я приходил сюда!

Как часто, о, как часто
Я на этом мосту мечтал,
Чтоб унес меня в дальнее море
На пруди своей пенный вал.

Мое беспокойное сердце
Звало куда-то меня,
И терзался я, задыхаясь
От пылавшего в нем огня.

Теперь же мои тревоги
Погребены на дне,
И только чужое горе
Душу волнует мне.

И я думаю, сколько тысяч
С тех пор по мосту прошло
Горьких страдальцев, которым
Никогда и ни в чем не везло.

И только по мосту пройду я
И запахи моря вдохну,
Воскреснут во мне виденья
Пережитого в старину.

Я вижу: идут вереницей
Над водами этой реки
Юнцы с душою горячей,
С усталой душой старики.

И вечно, вечно — покуда
О берег бьется волна,
И в душах бушуют страсти,
И горем жизнь полна —

Луна и ее отраженье
Сиять будут людям во мгле,
Как символ любви и покоя,
Которых нет на земле.

ГОНИМОМУ ОБЛАКУ

Сумрачен ты и утрюм, о вождь могучих Омахов,
Словно гонимое облако — имя это ты носишь.
В красном плаще ты проходишь по улицам тесным
и шумным,

Так же по отмелям рек ступали когда-то и птицы,
Те, что исчезли давно, оставив лишь ног отпечатки.
Что, кроме следа, оставит и племя твое, исчезая?
Как по камням ты идешь после дерна зеленого прерий?
Чем ты здесь дышишь, дышавший воздухом горным
медовым?

Тщетно презрительным взглядом ты меришь толпу
любопытных,

Городу право свое предъявляешь на вотчину предков,
Земли привольных охот, когда миллионы голодных
За океаном в Европе вопят с чердаков, из подвалов,
Требуя доли своей земельной тоже по праву!

Скройся в пустыню, в леса на запад от пастбищ Уобаш!
Там ты свободно царишь, там осенью листьям клены
Стелют ковры золотые, а летом смолистые сосны
Хвоей своих опахал овевают лесные чертоги.
Там ты — великий вождь, уздой укрощаешь мустангов!
Там охотишься ты на оленей у Лосьего Рога,
Иль у Ревущей Воды, иль в горах, где с воинственным
кличем
Прыгают через ущелья стрелки из племен Черноногих!

Чу! Что за шум долетел из сердца пустыни нагорной?
Клич военный Лисиц и Ворон, иль Чудовище злое,
С ревом поймав на клыки летучую молнию бури,
С логовища поднялось, чтоб пожрать народ краснокожих?
Нет, страшнее Ворон и Лисиц и Чудовища злого
Гибель другая грозит тебе и народу Омахов —
Вон громовая большая пирога взрывает Миссури
Взмахом могучих колес! А ночью среди прерий мерцают
Лагерные костры, и облако пыли с рассветом
Взвихрит не стадо бизонов, не скачки индейцев проворных:
То вереница фургонов белеет в пустыне команчей.
Саксы и кельты дыханьем, как ветер холодный с востока,
Гонят всё дальше на запад дымки твоих редких вигвамов!





ПЕСНИ И СОНЕТЫ

ВОДОРОСЛИ

Равноденственный гигантский
Океанский
Гневный шторм на воды пал.
В берег бьет волна морская,
Прибывая
Водоросли с дальних скал.

От Бермуд, где в клочьях пены
Рифов стены,
От Азорских островов,
С их волшебными садами,
От Багами
И антильских берегов,

От оркнейских шхер, где в столах
Бурь бессонных
Слышен хрипый рев Гебрид,
От обломков всех крушений,
Что осенней
Ночью море в пене мчит, —

Всем им плыть неудержимо
Мимо, мимо
С неумною волной,
Чтоб на отмели песчаной
Долгожданный
Обрести себе покой.

Если чувство разбудило
С грозной силой
Океан в душе певца,
Из глубин ее бездонных,
Потаенных,
Плещут песни без конца.

Из страны волшебной, дальней,
Где хрустальной
Истины сверкает плод,
От сияющей лагуны,
Там, где юный
И счастливый род живет,

С мыса Воли, с мыса Долга,
Что так долго
Спорят с бурями Судьбы,
От Надежды, обманувшей,
Потонувшей
После тягостной борьбы, —

Всем им плыть неудержимо
Мимо, мимо,
Сердца пламенем сверкнуть
И сойтись в едином томе,
Словно в доме,
Где окончился их путь.

ДНЯ НЕТ УЖ...

Дня нет уж... За крыльями Ночи
Прозрачная стелется мгла,
Как легкие перья кружатся
Воздушной стезею орла.

Сквозь сети дождя и тумана
По окнам дрожат огоньки,
И сердце не может бороться
С волной набежавшей тоски.

С волною тоски и желанья —
Пусть даже она не печаль, —
Но дальше, чем дождь от тумана,
Тоска от печали едва ль.

Стихов бы теперь понаивней,
Помягче, поглубже огня,
Чтоб эту тоску убаюкать
И думы ушедшего дня,

Не тех грандиозных поэтов,
Носителей промких имен,
Чьи стоны звучат еще эхом
В немых коридорах Времен.

Подобные трубным призывам,
Как парус седой — кораблю,
Они наполняют нас бурей, —
А я о покое молю.

Мне надо, чтоб дума поэта
В стихи безудержно лилась,
Как ливни весенние хлынув
Иль жаркие слезы из глаз.

Поэт же и днем за работой
И ночью в тревожной тиши
Все сердцем бы музыку слушал
Из чутких потемок души. . .

Биенье тревожное жизни
Смиряется песней такой,
И сердцу она, как молитва,
Несет благодатный покой.

Но только стихи, дорогая,
Тебе выбирать и читать:
Лишь музыка голоса может
Гармонию строф передать.

Ночь будет певучей и нежной,
А думы, темнившие день,
Бесшумно шатры свои сложат
И в поле растают, как тень.

ФЕВРАЛЬСКИЙ ВЕЧЕР

День угасает,
Ночь наступает,
Скованы льдами
Волны реки.

Тучи куда-то
Мчатся к закату,
В окнах деревни
Зажглись огоньки.

Снежные снова
Хлопья готовы
Сад и дорогу —
Все замести. . .

В мерном движенье
Мрачною тенью
К близкой могиле
Гроб на пути.

Звон колокольный. . .
В сердце невольно
Все отозвалось
На тягостный звон.

Двигутся тени. . .
Сердце в смятенье
Бьется, как колокол
В час похорон.

СТАРОМУ ДАТСКОМУ СБОРНИКУ ПЕСЕН

О, привет, мой старый друг,
Милый гость мой иностранный,
В час, когда осенний ветер
Нам трясет окно!

Ненавистный грубый мир
Был жесток с тобою, друг мой.

Только здесь, под датским небом,
Встретил я тебя.

Здесь на каждой из страниц
Вижу пальцев отпечатки,
В кабаке руками пьяниц
Был захвачан ты.

Ты потрепан по краям,
Пожелтели все страницы,
Покоробились, как листья,
Что роняет клен.

И окрашен ты вином,
Что пролилось из стакана
В час веселых возлияний
За столом богов.

Ты мне — память прошлых лет,
Юных и полузабытых.
Я у серых волн балтийских
Странствовал в те дни.

Слышал там про короля
Христиана много песен,
В кабачке невзрачном сидя
В сумеречный час.

Воскрешаешь ты певцов,
Написавших эти строки
В комнатах уединенных
Для твоих страниц.

Воскрешаешь ты дома,
Где любви и дружбы песни
Превращали грохот бури
В легкий ветерок.

Скальд в исландских ледниках
Пел под рокот непогоды
Эти саги и сказанья
Викингам в ночи.

В Эльсиноре на пирах
Гамлету-отцу когда-то
Йорик с шумными друзьями
Эти песни пел.

Пела их в былые дни
Стража принца Фридерика,
И английских пушек грохот
Вмешивался в хор.

Поселяне на полях,
Моряки в ревущем море,
Лавочники и студенты —
Пел их весь народ.

Всем ты верным другом был,
Но они тебя забыли.
Лишь у моего камина
Ты желанный гость.

И как ласточки гнездо
Под карнизом крыш ютится,
Так твои хранятся песни
В сердце у меня.

Здесь покой они найдут —
После горестных скитаний, —
Песни юности минувшей,
Нас влекущей вдаль.

ВАЛЬТЕР
ФОН ДЕР ФОГЕЛЬВЕЙДЕ

Фогельвейде, миннезингер,
Пожелал в свой смертный час
В Вюрцбурге, у стен собора,
В землю лечь под старый вяз.

Завещал он все монахам
И просил лишь об одном:
Каждый полдень на могиле
Певчих птиц кормить зерном.

«У крылатых менестрелей
Перенял я песнь свою —
И теперь за их науку
Долг им давний отдаю».

И певца любви не стало...
Но, храня его завет,
Рассыпали в полдень дети
Зерна птицам на обед.

День за днем на вышки башен,
И в монашеский час и в зной,
День за днем слетались птицы
Хлопотливую гурьбой.

На ветвях тяжелых вяза,
Славших тени по земле,
На плите надгробной барда
И на бронзовом челе,

На окно садились стайки
У готических зубцов,
Воскрешая состязанья
Давних вартбургских певцов.

Сколько щебета и писка,
Резвых песенок, похвал!
Звонко имя Фогельвейде
Хор пернатый повторял.

Но аббат, не в меру тучный,
Молвил как-то: «Сколько трат!
Нам самим зерна не хватает.
Монастырь не так богат».

...И напрасно к шпилям башен
С гнезд лесных, с лугов, с полей,
Слыша колокол, несется
Рой непрошенных гостей.

И напрасно с грустным писком
Вьется он у черепиц, —

Нет детей, зерна не видно,
Пусто все среди гробниц.

..Безымянные плиты кладбищ,
Все стирает поступь лет.
Лишь преданье нам напомнит,
Где покоится поэт.

Но живет он в птичьих песнях,
Окружающих собор.
«Фогельвейде! Фогельвейде!» —
Повторяет звонкий хор.

ЗАСТОЛЬНАЯ ПЕСНЯ

(Надпись для старинного кубка)

Сядь, мой друг! Передо мною
В кубке, тая, блещет пена
Над смеющейся водою
В дряхлой голове Силена.

Пьян старик, бредет устало,
На сатиров опираясь;
Голова на грудь упала,
Вздор несет он, ухмыляясь.

Следом — фавны с Вакхом юным,
Плющ на голове беспечной...
Схож он с Фебом сладкострунным,
Богом молодости вечной.

Вкруг него — хмельные девы,
Тирса взлет и флейт услады.
Сквозь разгульные напевы
Слышен шелест рощ Эллады.

Так, бескровно побеждая,
Вакх прошел весь мир по кругу,
Предпочтенье отдавая
Не оружию, а плугу.

При суде, не слишком строгом,
Много скажет эта сцена:
Вакх был юной силы богом,
Пьяный бред — удел Силена.

Но античный облик пира
Спит в легендах погребенных:
Ныне черти — не сатиры —
Устрашают опьяненных.

Ныне новые пророки
На родник укажут в скалах:
Юность — в искристом потоке,
Но не в бочках, не в подвалах.

Тщетно Клаудиус гордился
Рейнского струей кипучей.
В жизни вряд ли наслаждался
Он дракона кровью жгучей.

Так и Реди создал ямбы
Вакху средь долин Тосканы,
Пел вино он дифирамбы,
Не отведав и стакана.

Кубок мы нальем водою, —
Сказкой древнею пахнуло! —
Лучшей не сверкал струею
Сок Фалерна у Лукулла.

Посиди, мой друг! Пред нами
В кубке, тая, блещет пена
И смеется пузырьками
В дряхлой голове Силена.

СТАРИННЫЕ ЧАСЫ НА ЛЕСТНИЦЕ

Вечность — это часы, маятник которых без конца повторяет и повторяет в безмолвии могил только эти два слова: Всегда — никогда! Никогда — всегда!

Жак Бридэн.

Вблизи дороги, за холмом,
Стоит старинный сельский дом.
На ветхий портик, на ступень
Высокий тополь бросил тень, —
И звонко, шуму листьев в лад,
Часы над лестницей твердят:
«Всегда — никогда!
Никогда — всегда!»

В футляре буквом своем,
Под запыленным потолком,
Они стучат идущим вслед.
Так францисканец, худ и сед,
Надвинув серый капюшон,
Вздыхает, в думы погружен:
«Всегда — никогда!
Никогда — всегда!»

Днем тих и мелодичен бой,
Но в час полуночи глухой
Звучит он как судьбы укор, —
И вторит гулкий коридор,
И шепчет тень, таясь в углах,
Где каждый шаг внушает страх:
«Всегда — никогда!
Никогда — всегда!»

В часы веселья и скорбей,
В часы рождений и смертей,
В часы случайных перемен —
Все неизменен их рефрен.

Как року, все известно им,
И властный бой неотвратим:
 «Всегда — никогда!
 Никогда — всегда!»

Поистине, он был добряк —
Гостеприимный особняк:
Всегда камин пылал огнем,
Всем было место за столом.
Но, как костлявой смерти зов,
Звучал зловеще бой часов:
 «Всегда — никогда!
 Никогда — всегда!»

Играли в доме малыши,
Мечтали юноши в тиши,
О, время радостных утех:
Любовь, весна, веселый смех!
Но маятник минутам счет,
Как скряга золоту, ведет:
 «Всегда — никогда!
 Никогда — всегда!»

Здесь, покидая дом родной,
Невеста вышла под фатой,
А там, в одной из темных зал,
В немом гробу мертвец лежал,
И с шепотом печальных слов
Сливался мерный стук часов:
 «Всегда — никогда!
 Никогда — всегда!»

Все в даль времен ушло, как дым...
Жизнь для одних, покой другим!
Тоскуя, хочет сердце знать:
Увидятся ль они опять?
И — отголоском прошлых лет —
Часы давно стучат в ответ:
 «Всегда — никогда!
 Никогда — всегда!»

Здесь — никогда, там — навсегда,
Где все исчезнет без следа:
Смерть, время, слезы, скорбь, нужда, —
Там — навсегда, здесь — никогда.
О том бессмертной Жизни в лад
Нам Вечности часы твердят:
«Всегда — никогда!
Никогда — всегда!»

СТРЕЛА И ПЕСНЯ

Из лука ввысь взвилась стрела...
Не знаю, где она легла.
И мне, глядящему вперед,
Невидим был ее полет.

И песня в мир моя ушла...
Не знаю, где она легла.
За тьмой лесов, за цепью гор
Не уследил за песней взор.

Прошли года. Стрела нашлась.
В широкий дуб она впилась...
А песнь, с начала до конца,
Моих друзей хранят сердца.

ОСЕНЬ

Приход твой, Осень, ливни нам трубят,
И желтые взвиваются знамена.
Они как шелк восточный шелестят,
Тяжел твой воз, быками запряженный.

И, словно Карл Великий, нынче ты
Величественным, властным мановеньем
Благословляешь землю с высоты,
Даруя мир и урожай селяням.

Багровая луна, твой медный щит,
Свинцовыми прикрыта облаками. . .
Простой народ тебя боготворит,

Снопы в полях зардели, точно пламя,
А ветер, твой бессменный казначей,
Швыряет листьев золото в ручей.

ДАНТЕ

Тосканец мудрый, думою объятый,
Ты, приподнявший вечной тьмы покров,
Твой замысел, печален и суров,
Встает, подобно тени Фаринаты.

Как трубный глас твоих терцин раскаты,
Но страждущих тебя печалит зов,
И ты скорбишь в мерцанье вечеров,
Когда на небе отгорят закаты.

Я вижу фра Иларио черты,
Твой бледный лик в прозрачной дымке зноя,
Сад монастырский, легкие листы,

Сквозь них струится солнце золотое,
И на вопрос: «Что, путник, ищешь ты?»,
Я слышу тихий голос твой: «Покою!»





НА БЕРЕГУ МОРЯ И У КАМИНА

ПОСТРОЙКА КОРАБЛЯ

«Выстрой, корабельный мастер,
Нам корабль без промедленья, —
Пусть не дрогнет он в ненастье,
Вступит с бурями в сраженья!»

Такая речь
Способна мастера зажечь.
Он душу вкладывает в труд,
А лишь тогда дела живут!

Улыбка промелькнула на устах
И скрылась. Так приливы и отливы
Играют вокруг судов, на якорях
Качающихся горделиво.
И молвил он, веселья полный:
«В короткий срок со стапелей
Прекраснейший из кораблей
Сойдет на северные волны».

И первым делом мастерски,
Во всех деталях, от руки
Решил модель соорудить,
Во всем подобную натуре —
Как сын отцу — в миниатюре,
Чтобы по ней корабль большой
Построить с нужной быстротой
И на модели без труда
Любой вопрос решить всегда.

Работая, он вспоминал
Суда, которые знал.
Чертеж на стенке красовался,
На нем корабль. Он отличался
От всех, «Грейт Харри» — так он звался:
Неповоротлив, как утес,
Приподняты корма и нос,
Огни ночные двух цветов,
И восемь башен угрожали,
Как в замке, где они взирали
На мост подъемный и на ров.
С улыбкой мастер говорит:
«Иной придам я судну вид!»
И впрямь, корабль иным растет:
Просторны трюмы, быстрый ход.
На диво всем сооружен:
Широкодонным, чтобы шквал
Всей силой парус надувал,
Не опрокинув корабля;
И носа и кормы наклон
К бортам с изящной кривизной,
Чтоб чутко слушался руля;
И струи оттесненных вод,
Смыкаясь за его кормой,
Все ускоряли плавный ход.

Взял модель искусный мастер —
Тот корабль миниатюрный,
Что не дрогнет и в ненастье
И с волною спорит бурной.
В большие груды под навес
Уложен корабельный лес,
Каштан, и дуб, и вяз, а вот
Кряжи кедровые лежат,
И каждый кряж могуч, горбат,
И кедры те привезены
Из Каролины, той страны,
Где шумный Роанок ревет.
О, нет предела, нет преград
Для человека! Мысль и труд
Приводят колесо в движенье.

И в том и в этом направлень
Суда во все концы идут,
И вносит дружно каждый штат
В постройку корабля свой вклад.

Вставало солнце из глубин,
И длинная ложилась тень, —
Ее как будто исполин
Взял килем для большой ладьи,
Построенной в единый день.
Строитель-солнце на рассвете
Расположило тени эти,
А труд людей был неприметен.
Покуда мастер говорил,
Облокотясь на якорь шхуны,
С ним рядом встал строитель юный
И звук его речей ловил.
Вал океанский в берег бил,
И грохот возникал в тиши,
И, право, были хороши
Они вдвоем: старик седой
И собеседник молодой, —
Старик, кем судно не одно
Когда-то было создано,
И юноша, кому строитель
Отдаст свой опыт, как учитель,
И руку дочери своей, —
Когда сойдет со стапелей
Прекраснейший из кораблей.

«Что ж, — молвил мастер, — начинай!
На стапель брусья подымай,
Как план указывает мой.
Получше выбирай, смотри!
Гнилого леса не бери!
Здоровый, крепкий надо брать, —
Он судну нашему под стать!
Здесь кедры с мэнскою сосной
Железной мы скрепим скобой.
Корабль наш — дом, и слава в нем,
«Союз» его мы назовем;

Его мы пустим по волнам,
И в жены дочь тебе отдам».

Такая речь
Способна юношу зажечь:
Он молча в сторону взглянул,
И гордо взгляд его блеснул,
Когда неожиданно у крыльца,
Близ домика ее отца,
Невесты силуэт мелькнул.
Луч солнца золотил ее висок,
И свеж был цвет ее девичьих щек,
Их утренний румянил ветерок.
Она была как стройный челн —
На отдыхе, у отмели морской,
Куда не смеет досягнуть прибой,
А юноша был дерзкой силы полн,
Как океан с грядой бурливых волн.

Искусны руки, зорок глаз
У всех, кто любит в первый раз.
Не ум, а сердце их влечет
К завоеванию высот, —
Тот, кем любовь руководит,
Всегда и всюду победит.

Как только солнце поднялось,
Большое дело началось.
Разнообразных звуков хор
Наполнил корабельный двор —
И звон пилы и бревен стук,
Покорных власти мощных рук.
Работа так согласно шла,
Что раньше, чем сгустилась мгла,
Был киль большого корабля
Скреплен болтами в ширину
И выведен во всю длину,
Уложенный на стапеля.
О, трижды, трижды счастлив тот,
Кто труд свой хорошо начнет,
И нет ни в чем ему препрад,
Когда дела идут на лад!

В трудах горячий день пролетел.
У дома мастера юноша сел.
И тихая девушка рядом с ним,
А мастер, окончив немало дел,
Стоял в дверях под бризом ночным.
И речь повел старик о морях,
О гибели шун в разъяренных волнах,
Об испанских пиратах, припомнил суда,
Пропавшие в дальних краях навсегда,
Рассказывал он о матросской судьбе,
Сокровищах, бедствиях, вечной борьбе,
О страсти бродяжить, по свету гулять,
Как ветер, которого не удержать,
О зове волшебном далекой земли,
Где тени от пальм на песок легли,
Где волны, гулкие, как гром,
Дробят мадагаскарские утесы
И лижут ноги смуглого матроса,
Что спит беспечно на песке сыром.

И девушка вдаль смотрела, в туман,
Внимая рассказам о тайнах пучин,
О хищно разверстой пасти глубин,
Ибо на Смерть похож океан,
Разлучая навек или связуя людей.
Отец умолк, и в тишине
Жар в трубке вспыхивал сильней,
А лица молодых людей
Застыли, словно в смутном сне.
И старый увидал моряк
То, что скрывал вечерний мрак:
Головка девичья чуть-чуть
Склонилась к юноше на грудь.

Проходят дни, корабль растет.
Из лучших строевых пород
Форштевень собран превосходно,
И в симметрии благородной
Весь облик шхуны предстает.
А у кормы и вдоль бортов
Не молкнет говор молотков.

Бегут недели. Наконец,
Красы и силы образец,
Корабль в обшивке — горд, могуч —
Рисуется на фоне туч,
А рядом вьется дым кругами
Над раскаленными углями,
Где черно-вязкая смола,
Переливаясь из котла,
Бурлит, вскипая пузырями.
А в стуче молотов упорном
Звенит широко и задорно,
Взлетая ввысь до облаков,
Напев строителей судов:
«Выстрой, корабельный мастер,
Нам корабль без промедленья, —
Пусть не дрогнет он в ненастье,
Вступит с бурями в сраженье!»

И, медной полосой обшит,
Руль мощный на песке лежит, —
Подобно мысли, поведет
Он шхуну по морю вперед.
С ним рядом якорь, чья рука
Не остановится, пока
Не схватится за грунт морской,
Спасая судно в шторм любой.
Резная дева украшает
Нос корабля, она витает
Над морем в мантии своей,
Как будто мчится среди зыбей,
И смотрит далеко вперед, —
Не нимфа, не богиня вод
Так привлекательна, о нет,
То дочка мастера портрет.
Порою маяка лучи
Вдруг осветят ее в ночи,
Летящую во тьме седой,
Как дух над бездною морской,
И мнится — дивный рулевой,
Корабль свой призрачный ведет
В туманах неизвестных вод.

А ну-ка, глянь!
Грот, фок, бизань —
Все мачты стали по местам,
И ванты их крепят к бортам.

Давно
В гористых чащах Мэна, где скользит олень,
В морозный зимний день,
Когда снегами было все занесено,
Те сосны срублены, те сосны-исполины.
Могучие волы,
Пыхтя и задыхаясь от усилий,
Их потащили
В долины вниз, и, с пленных королей,
С них снимают зелень бурную кудрей.
Обнажены, с открытой головою,
Они познают силу урагана
И дикое волнение океана,
Чей вечный рев
Напомнит им о говоре лесов.
Но не увидеть им вовек
Родной страны туманы.

А сколько стройных рей,
Чей контур прям и прост,
Укреплено для множества снастей!
На мачте, как священный знак,
Наш бело-сине-алый флаг
В содружестве полос и звезд!
И странник одинокий, средь скитаний,
В чужом порту,
Увидя этот флаг, шумящий на лету,
Почувствует приветливую руку,
Протянутую родиной в разлуку,
И сладостный прилив воспоминаний.

Все свершено, и наконец
Приходит день счастливый,
Труда и радости венец.
Сегодня спуск. Корабль готов.
Из легких облаков,
Из глубины залива
Выходит солнце горделиво.

И древний океан,
Как юноша, могуч и страстью обуян.
Он, отдыха не знавший никогда,
Вскипает в золотых песках бурливо,
И сердце бьется в нем не уставая.
По всей длине прилива,
Как снег седа,
Косматая струится борода,
С дыханием его груди взлетая.

Седой жених невесту ждет,
И вот она стоит,
Спокойствие храня.
Песок у ног ее блестит,
И в честь торжественного дня
Все флаги, как убор венчальный,
Отражены волной хрустальной.
Она готова вскоре
Сойти в синее море.

А вот, с невестою другой,
Жених влюбленный, молодой!
Хоть палуба бела,
Но облака и вымпела
Ковер из золотых теней
Кладут пред ним и перед ней.

Обряд закончен. Спет псалом.
Со светлым, радостным лицом
Жених склонился пред отцом,
И руку жмет почтенный мастер
Тому, кто сыном стал ему,
И в щеку он целует дочь,
Но слез не в силах превозмочь.
Чтоб не заплакать самому,
Тут поднимает голос ровный
Священник, их отец духовный.

Он стадо пас, но не земля
Служила пастбищем, а море,
Их дом был — кубрик корабля,
Им маяки светили на просторе.

Им слово пастыря давало силы,
Оно остерегало и бодрило,
Но жениху сегодня в тягость было.
А пастырю знакомы до конца
Матросские сердца,
Их радости, печали и дела —
Где мель, а где подводная скала.
Он знал, как, нарушая жизни ход,
Их темное желание влечет
И тянет — тут нельзя помочь! —
С прямого курса прочь!
И вот что он сказал тогда:

«Мы все как дальние суда:
Идем ли в плаванье куда,
Или домой, или в ремонт, —
Кругом повсюду горизонт,
И всем нам кажется, что он
То вознесен, то погружен.
Над ним стеною небосвод,
Под той стеной корабль пройдет.
Увы, не море, не суда
Упали или вознеслись, —
Мы сами вверх и вниз
Качаемся: то в вышину
Взлетим неожиданно,
То снова рухнем в глубину,
В пучину океана.
О, если бы душа у нас,
Как в бронзовом кольце компас,
Давала правильный ответ,
Где долг, где грех, где да, где нет!
Мы верный курс нашли б во мгле
К желанной, радостной земле,
Где на счастливых берегах
Нас ждет блаженство, а не страх!»

И сразу мастер
Движением руки
Дал знак, и молотки,
Послушные его словам,
Вдруг застучали здесь и там:

Подпорки в стороны! Вперед!
Смотри, смотри, — ладья живет!
Пошла, пошла! Взятая пыль,
Скользит, дрожа, тяжелый киль
И, землю оттолкнув, рывком,
Огромным радостным прыжком
Бросается в объятия океана.

И вот протяжный громкий клик,
Клик торжества тогда возник
В честь океана в светлый миг:
«Возьми ее, седой старик,
С ее волшебной красотой
И ей объятия раскрой!»

Ее в объятия свои,
Лаская, принял океан,
Ее лелеет великан
Лазурным лепетом струи.
Плыви вперед! Наперекор
Волнам и ветру, все вперед!
Дрожанье губ и влажный взор
Знак радости, а не забот.

Ты тоже в путь вступаешь свой
Прелестной любящей женой,
Среди знакомых берегов
Плыви, и не страшись врагов,
И слушай сердца вещей зов.
Ведь кротость и любовь сильнее,
Чем бури самых грозных дней,
И благородной жизни свет
Не гаснет до скончанья лет!

Плыви, корабль! Счастливый путь!
Плыви, «Союз», великим будь!
С тобой отныне человек
Свою судьбу связал навек,
С тобою легче дышит грудь.
Нам ведом мастер, кто создал
Твой киль и ребра обтесал,
Усилий не щадя своих,

Каков был молотков удар,
Какой был в кузне зной и жар
При ковке якорей твоих.
Тебе удары не страшны, —
Ведь это только плеск волны,
И ветры хлещут по волнам,
Не угрожая парусам.
Пусть мели, бури на пути!
Огням обманным не свести
Тебя с дороги. Курс прямой!
Мечта живет у нас в сердцах, —
Она всегда сильнее, чем страх, —
Мы все с тобой, всегда с тобой!

СУМЕРКИ

Печальный и пасмурный вечер,
Стать бурей ветер готов...
Мелькают, как крылья чаек,
Белесые гребни валов.

У моря в рыбацкой избушке
Мерцает в окне огонек.
И долго на берег смотрит
Пытливый детский глазок.

К стеклу лицо прижато,
Как будто ребенка взгляд
Хочет сквозь мглу увидеть
Того, кто спешит назад.

А женская тень, колеблясь,
Блуждает, чего-то ждет...
Взлетит к потолку на мгновенье
И на пол вновь упадет.

О чем шумящее море
И дикий ночной ураган
Рассказывают ребенку,
Врезаясь в прибрежный туман?

Зачем на бурное море,
Где ходит под ветром волна,
С тревогой женщина смотрит,
Задумчива и бледна?

СЭР ГЕМФРИ ГИЛБЕРТ

Вела безжалостная Смерть
На юг свои суда,
На юг, вперед, плыл грозный флот
Из голубого льда.

В потоке солнечных лучей
Сверкали корабли,
Как флаги там, по их бортам,
Блестя, ручьи текли.

Над ними, словно паруса,
Белел густой туман,
Под ними вал негодовал,
Вздымался океан.

От Кампобелло на восток
Сэр Гемфри Гилберт плыл;
Корабль гоня, всего три дня
Попутным ветер был.

И ветер стих, и стала ночь
Темней и холодней...
Увы, нигде здесь на воде
Не разглядишь огней.

Сэр Гемфри с книгою в руке
На палубе сидит.
«Не бойтесь! Нам путь к небесам
И среди вод открыт!»

Внезапно ночью в темноте
Блеснули вымпела, —
Из пенных вод поднялся флот,
Который Смерть вела.

На вантах месяц и звезда
Горят издалека...
И корабли вперед прошли,
Задев за облака.

Сошелся ночью ледяной
С врагом он, смел и горд.
Пред ним, как холм, из темных волн
Внезапно вырос борт.

Его несло, несло на юг,
В бескрайний океан,
Ночная мгла над ним легла,
Пронесся ураган.

На юг, на юг, всегда на юг
Он плыл с врагом своим.
И, словно сон, сокрылся он,
Уйдя навек в Гольфстрим.

МАЯК

Гряда камней уходит в море, в мрак.
А там, вдали, на черной крутизне,
Гранитной башней высится маяк.
Днем в облаках, а ночью он в огне.

Там, вижу издали, прибой ревет,
Катясь к подножью башни без конца,
Как гнев, который вспыхнет и спадет,
Как ярость искаженного лица.

А в сумерках, когда горит заря,
Когда багровый ширится закат,
Лучи мерцающего фонаря
Сияньем белым дали озарят.

Он не один. Везде, где океан
Над рифами волною в берег бьет,
Гигантский призрак поднялся в туман,
Держа фонарь над вечным буйством вод.

Как Христофор-гигант стоит маяк
Над бешенством неистовых валов,
Спасает он, пронзая светом мрак,
Застигнутых туманом моряков.

Выходят в море и плывут домой,
На гребнях волн качаясь, корабли,
Приветствуя маяк во тьме ночной
И вновь без слов прощаясь с ним вдали.

Они из тьмы приходят. Паруса
На миг в огне прожектора блеснут,
И сотни глаз, что смотрят в небеса
С тревогой и надеждой, промелькнут.

Иной припомнит первый свой поход,
Мерцающий огонь сторожевой.
Но кончен бурный путь, и вновь встает
Маяк над грозной бездною морской.

Незыблем, ясен и непоколебим,
За годом год в безмолвии ночей
Горит огонь, во тьме неугасим,
Бросая в мрак снопы своих лучей.

Он видит море мирное, когда
К пескам и скалам нежно льнет оно,
Он видит, как шальных ветров орда
Взметаает пены белое руно.

А волны продолжают в башню бить,
Бичами ливней хлещет океан,
Пытается громаду повалить
Могучими крылами ураган.

И в диком ветре, ужаса полны,
Кружатся птицы вихрем здесь и там
И, блеском маяка ослеплены,
Бессильно падают к его стопам.

Как Прометей, прикованный к скале,
Держа похищенный у Зевса свет,

Встречая прудью шторм в ревущей мгле,
Он посылает морякам привет:

«Плывите, величавые суда!
Связует страны след морских путей.
Мой долг — хранить во тьме огонь всегда,
Ваш долг — на всей земле сближать людей!»

СТРОИТЕЛИ

Все мы — зодчие судьбы
И несем к стене Времен
Или подвиги борьбы,
Или рифм чеканный звон.

Все здесь к месту: глины ком
И лепных узоров вязь;
Что казалось пустяком —
Укрепляет кладки связь.

Время — каждый день с утра —
Кирпичи нам подает:
Наши «нынче» и «вчера»
Мы врезаем в общий свод.

Так клади их в ровный ряд
И не оставляй пустот,
Хоть ничей пытливый взгляд
В толще стен их не найдет.

На заре Искусства всяк
Строил, не щадя трудов;
И незримый людям брак
Обнаружит взор богов.

Пусть же дом, где жить всем нам,
Будет чудом красоты,
Возводи его, как храм,
Воплоти в нем все мечты.

Пусть же, как ступенек строй,
Наши жизни вверх ведут
И не рухнут под ногой
Там, где путь тяжел и крут.

Пусть Сегодня в кладке дней
Ляжет прочно, широко,
Чтоб на нем, еще прочней,
Встало Завтра высоко.

Только так достигнем мы
Светлых, радостных высот,
Где раскрыт бескрайний мир,
Как безбрежный небосвод.

ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ

Померк закат.
У дома в ряд
На страже тишины стоят
Седые тополя.

Спит пруд, застыв
Под сенью ив.
Ночь затопляет, как прилив,
Окрестные поля.

Но тает мгла:
Луна взошла,
На небе звездам нет числа,
Их свет всё озарил.

Как воздух чист!
Не дрогнет лист.
Вдруг тишину прорезал свист
От взмахов сотен крыл.

То осень шлет
Пернатый флот
Из тех краев, где снег и лед,
В далекий знойный край.

Протяжный клик
Ушей достиг...
Околдовал меня на миг
Призыв незримых стай.

О нет! О нет!
Внемли, поэт:
Звучал душе твоей в ответ
Не птиц осенний зов;

То шелест был
Не птичьих крыл:
Ты чутким ухом уловил
Полет крылатых слов.

Средь темноты
Подслушал ты
Скорбь, радость, песни и мечты...
И снова ночь тиха.

Так принесли,
Мелькнув вдали,
Они в безмолвный мрак земли
Гармонию стиха.

ОТКРЫТОЕ ОКНО

Вот дом стоит старинный
Меж лип невдалеке,
И свет играет с тенью
В аллее на песке.

Гляжу — в просторной детской
Распахнуто окно,
Но малышей не видно:
Их нет уже давно.

Ньюфаундленд с порога
Напрасно смотрит в сад:
Товарищи по играм
Уж не придут назад.

Под липами безлюдно,
Покинут старый дом...
Молчанье и унынье
Таятся здесь во всем.

Щебечут нежно птицы
На ветках в вышине,
Но юный смех и говор
Услышишь лишь во сне...

И мальчик, шедший рядом,
Не понял, почему
Я теплую ручонку
Так крепко сжал ему.

ГАСПАР БЕЦЕРРА

У огня сидел художник,
Неудачей огорчен.
Утомленный и унылый,
Все ж мечтал о славе он.

Образ девы непорочной
Перед ним давно витал,
Но, увы, никак не мог он
Воплотить свой идеал.

Кипарис добыв редчайший
На далеких островах,
Ревностно трудился мастер,
День и ночь с резцом в руках.

И теперь следил он хмуро
За игрой живых теней,
В грезах находя забвенью
Боли и тоски своей.

Вдруг он слышит вещей голос:
«Мастер, сон свой отгони
И задуманное сделай
Из дубовой головни!»

Он схватил в печи поленьё,
Угли жаркие разрыв,
И прекрасную мадонну
Миру дал его порыв.

Скульптор ты, иль живописец,
Иль поэт — урок усвой:
Для творений дерзновенных
Годно все, что пред тобой!

ПЕГАС ПОД СТРАЖЕЙ

В час, когда рассвет осенний
Золотил и лес и дол,
Легкокрылый конь поэта
Невзначай в село забрел.

На току цепи немолчно
Молотили вперебой,
И, как угли в печке, рдели
Яблоки в листве сухой.

А с высокой колокольни
Заунывный лился звон.
Он звучал не в честь Пегаса:
Был к труду призывом он.

В зыбком, призрачном тумане
Видел конь простор полей.
Жадно запахи вдыхал он
Умирующих стеблей.

Но мальчишками был вскоре
На пригорке найден он
И решеньем власти мудрой
Вмиг под стражу заключен.

По селу прошел глашатай,
Колокольчиком звеня.
Завтра, объявлял он, будут
Продавать с торгов коня.

Любопытные крестьяне
Приходили стар и млад,
И дивились все, что пленник
Златогрив был и крылат.

День прошел. Холодный вечер
Вновь одел в туман пруды,
Но остался конь без стойла,
Без подстилки, без еды.

Терпеливо ожидая,
Сквозь решетку он глядел.
Замерцали в небе звезды,
Месяц белый заблестел.

Вот и колокол полночный,
И в домах огонь потух,
А на ферме недалеко
Громко прокричал петух.

И тогда, расправив крылья,
Цепь тугую конь разбил,
Ноздри гордо раздувая,
Вновь он к звездам воспарил.

Поутру проснулись люди
Для заботы и труда.
Где же конь? — Увы, исчез он,
И неведомо куда.

Но в траве, где он копытом
Оттолкнулся от земли,
На лужайке поселяне
Чистый, свежий ключ нашли.

С той поры, не иссякая,
Он живительной струей
Придает усталым силы,
Песней — в душу льет покой.



ПОЭМЫ





ПЕСНЬ О ГАЙАВАТЕ

ВСТУПЛЕНИЕ

Если спросите — откуда
Эти сказки и легенды
С их лесным благоуханьем,
Влажной свежестью долины,
Голубым дымком витгамов,
Шумом рек и водопадов,
Шумом, диким и стозвучным,
Как в горах раскаты грома? —
Я скажу вам, я отвечу:

«От лесов, равнин пустынных,
От озер Страны Полночной,
Из страны Оджибуэв,
Из страны Дакотов диких,
С гор и тундр, с болотных топей,
Где среди осоки бродит
Цапля сизая, Шух-шух-га.
Повторяю эти сказки,
Эти старые преданья
По напевам сладкозвучным
Музыканта Навадаги».

Если спросите, где слышал,
Где нашел их Навадага, —
Я скажу вам, я отвечу:
«В гнездах певчих птиц, по рощам,
На прудах, в норах бобровых,
На лугах, в следах бизонов,
На скалах, в орлиных гнездах.

Эти песни раздавались
На болотах и на топях,
В тундрах севера печальных:
Читовэ́йк, зук, там пел их,
Манг, нырок, гусь дикий, Вава,
Цапля сизая, Шух-шух-га,
И глухарка, Мушкодаза».

Если б дальше вы спросили:
«Кто же этот Навадага?
Расскажи про Навадагу», —
Я тотчас бы вам ответил
На вопрос такую речью:

«Средь долины Тавазэнта,
В тишине лугов зеленых,
У излучистых потоков,
Жил когда-то Навадага.
Вкрут индейского селенья
Расстилались нивы, доль,
А вдали стояли сосны,
Бор стоял, зеленый — летом,
Белый — в зимние морозы,
Полный вздохов, полный песен.

Те веселые потоки
Были видны на долине
По разливам их — весною,
По ольхам сребристым — летом,
По туману — в день осенний,
По руслу — зимой холодной.
Возле них жил Навадага
Средь долины Тавазэнта,
В тишине лугов зеленых.

Там он пел о Гайавате,
Пел мне Песнь о Гайавате, —
О его рожденье дивном
О его великой жизни:
Как постился и молился,
Как трудился Гайавата,
Чтоб народ его был счастлив,
Чтоб он шел к добру и правде».

Вы, кто любите природу —
Сумрак леса, шепот листьев,
В блеске солнечном долины,
Бурный ливень и метели,
И стремительные реки
В неприступных дебрях бора,
И в горах раскаты грома,
Что как хлопанье орлиных
Тяжких крыльев раздаются, —
Вам принес я эти саги,
Эту Песнь о Гайавате!

Вы, кто любите легенды
И народные баллады,
Этот голос дней минувших,
Голос прошлого, манящий
К молчаливому раздумью,
Говорящий так по-детски,
Что едва уловит ухо,
Песня это или сказка, —
Вам из диких стран принес я
Эту Песнь о Гайавате!

Вы, в чьем юном, чистом сердце
Сохранилась вера в бога,
В искру божью в человеке;
Вы, кто помните, что вечно
Человеческое сердце
Знало горести, сомненья
И порывы к светлой правде,
Что в глубоком мраке жизни
Нас ведет и укрепляет
Провидение незримо, —
Вам бесхитростно пою я
Эту Песнь о Гайавате!

Вы, которые, блуждая
По околицам зеленым,
Где, склонившись на ограду,
Поседевшую от моха,
Барбарис висит, краснея,

Забываетесь порою
На заброшенном погосте
И читаете в раздумье
На могильном камне надпись,
Неумелую, простую,
Но исполненную скорби,
И любви, и чистой веры, —
Прочитайте эти руны,
Эту Песнь о Гайавате!

ТРУБКА МИРА

На горах Большой Равнины,
На вершине Красных Камней,
Там стоял Владыка Жизни,
Гитчи Манито могучий,
И с вершины Красных Камней
Созывал к себе народы,
Созывал людей отсюда.

От следов его струилась,
Трепетала в блеске утра
Речка, в пропасти срываясь,
Ишкудой, огнем, сверкая.
И перстом Владыка Жизни
Начертал ей по долине
Путь излучистый, сказавши:
«Вот твой путь отныне будет!»

От утеса взявши камень,
Он слепил из камня трубку
И на ней фигуры сделал.
Над рекою, у побережья,
На чубук тростинку вырвал,
Всю в зеленых, длинных листьях;
Трубку он набил корою,
Красной ивовой корою,
И дохнул на лес соседний.

От дыханья ветви шумно
Закачались и, столкнувшись,
Ярким пламенем зажглися;
И, на горных высях стоя,
Закурил Владыка Жизни
Трубку Мира, созывая
Все народы к совещанью.

Дым струился тихо, тихо
В блеске солнечного утра:
Прежде — темною полоской,
После — гуще, синим паром,
Забелел в лугах клубами,
Как зимой вершины леса,
Плыл все выше, выше, выше, —
Наконец коснулся неба
И волнами в сводах неба
Раскатился над землею.

Из долины Тавазэнта,
Из долины Вайоминга,
Из лесистой Тоскалузы,
От Скалистых Гор далеких,
От озер Страны Полночной
Все народы увидали
Отдаленный дым Покваны,
Дым призывный Трубки Мира.

И пророки всех народов
Говорили: «То Поквана!
Этим дымом отдаленным,
Что сплещется, как ива,
Как рука, кивает, манит,
Гитчи Манито могучий
Племена людей сзывает,
На совет зовет народы».

Вдоль потоков, по равнинам,
Шли вожди от всех народов,
Шли Чоктосы и Команчи,
Шли Шошоны и Омоги,
Шли Гуроны и Мэндэны,

Делавэры и Могоки,
Черноногие и Поны,
Оджибвеи и Дакоты —
Шли к горам Большой Равнины,
Пред лицо Владыки Жизни.

И в доспехах, в ярких красках, —
Словно осенью деревья,
Словно небо на рассвете, —
Собрались они в долине,
Дико глядя друг на друга.
В их очах — смертельный вызов,
В их сердцах — вражда глухая,
Вековая жажда мщенья —
Роковой завет от предков.

Гитчи Манито всемогущий,
Сотворивший все народы,
Поглядел на них с участием,
С отчей жалостью, с любовью, —
Поглядел на гнев их лютой,
Как на злобу малолетних,
Как на ссору в детских играх.

Он простер к ним сень десницы,
Чтоб смягчить их нрав упорный,
Чтоб смирить их пыл безумный
Мановением десницы.
И величественный голос,
Голос, шуму вод подобный,
Шуму дальних водопадов,
Прозвучал ко всем народам,
Говоря: «О дети, дети!
Слову мудрости внимайте,
Слову кроткого совета
От того, кто всех вас создал!

Дал я земли для охоты,
Дал для рыбной ловли воды,
Дал медведя и бизона,
Дал оленя и косулю,
Дал бобра вам и казарку;

Я наполнил реки рыбой,
А болота — дикой птицей:
Что ж ходить вас заставляет
На охоту друг за другом?

Я устал от ваших распрей,
Я устал от ваших споров,
От борьбы кровопролитной,
От молитв о кровной мести.
Ваша сила — лишь в согласье,
А бессилие — в разладе.
Примиритесь, о дети!
Будьте братьями друг другу!

И придет Пророк на землю
И укажет путь к спасенью;
Он наставником вам будет,
Будет жить, трудиться с вами.
Всем его советам мудрым
Вы должны внимать покорно —
И умножатся все роды,
И настанут годы счастья.
Если ж будете вы глухи, —
Вы погибнете в раздорах!

Погрузитесь в эту реку,
Смойте краски боевые,
Смойте с пальцев пятна крови;
Закопайте в землю луки,
Трубки сделайте из камня,
Тростников для них нарвите,
Ярко перьями украсьте,
Закурите Трубку Мира
И живите впредь как братья!»

Так сказал Владыка Жизни.
И все воины на землю
Тотчас кинули доспехи,
Сняли все свои одежды,
Смело бросились в реку,
Смыли краски боевые.
Светлой, чистою волною

Выше их вода лилася —
От следов Владыки Жизни.
Мутной, красною волною
Ниже их вода лилася,
Словно смешанная с кровью.

Смьвши краски боевые,
Вышли войны на берег,
В землю палицы зарыли,
Погребли в земле доспехи.
Гитчи Манито могучий,
Дух Великий и Создатель,
Встретил воинов улыбкой.

И в молчанье все народы
Трубки сделали из камня,
Тростников для них нарвали,
Чубуки убрали в перья
И пустились в путь обратный —
В ту минуту, как завеса
Облаков заколебалась
И в дверях отверстых неба
Гитчи Манито сокрылся,
Окружен клубами дыма
От Покваны, Трубки Мира.

ЧЕТЫРЕ ВЕТРА

«Слава, слава, Мэджекивис!» —
Старцы, войны кричали
В день, когда он возвратился
И принес Священный Вампум
Из далеких стран Вабассо —
Царства кролика седого,
Царства Северного Ветра.

У Великого Медведя
Он украл Священный Вампум,
С толстой шеи Мише-Моквы,

Пред которым трелетали
Все народы, снял он Вампум
В час, когда на горных высях
Спал медведь, тяжелый, грузный,
Как утес, обросший мохом,
Серым мохом в бурых пятнах.

Тихо он к нему подкрался,
Так подкрался осторожно,
Что его почти касались
Когти красные медведя,
А горячее дыханье
Обдавало жаром руки.
Осторожно снял он Вампум
По ушам, по длинной морде
Исполина Мише-Моквы;
Ничего не услышали
Уши круглые медведя,
Ничего не разглядели
Глазки сонные — и только
Из ноздрей его дыханье
Обдавало жаром руки.

Кончив, палицей взмахнул он,
Крикнул громко и протяжно
И ударил Мише-Мокву
В середину лба с размаху,
Между глаз ударил прямо!

Словно громом оглушенный,
Приподнялся Мише-Моква,
Но едва вперед подался,
Затряслись его колени,
И со стоном, как старуха,
Сел на землю Мише-Моква.
А могучий Мэджекивис
Перед ним стоял без страха,
Над врагом смеялся громко,
Говорил с пренебреженьем:

«О медведь! Ты — Шогодай!
Всюду хвастался ты силой,

А как баба, как старуха,
Застонал, завыл от боли.
Трус! Давно уже друг с другом
Племена враждуют наши,
Но теперь ты убедился,
Кто бесстрашней и сильнее.
Уходите прочь с дороги,
Прячьтесь в горы, в лес скрывайтесь!
Если б ты меня осилил,
Я б не крикнул, умирая,
Ты же хнычешь предо мною
И свое позоришь племя,
Как трусливая старуха,
Как презренный Шогодайя».

Кончив, палицей взмахнул он,
Вновь ударил Мише-Мокву
В середину лба с размаху,
И, как лед под рыболовом,
Треснул череп под ударом.
Так убит был Мише-Моква,
Так погиб Медведь Великий,
Страх и ужас всех народов.

«Слава, слава, Мэджекивис! —
Восклицал народ в восторге. —
Слава, слава, Мэджекивис!
Пусть отныне и вовеки
Ветром Запада он будет,
Властелином над ветрами!»
И могучий Мэджекивис
Стал владыкой над ветрами.
Ветер Западный оставил
Он себе, другие отдал
Детям: Вебону — Восточный,
Шавондази — теплый Южный,
А Полночный Ветер дикий
Злому дал Кабибонокке.

Молод и прекрасен Вебон!
Это он приносит утро

И серебряные стрелы
Сыплет, сумрак прогоняя,
По холмам и по долинам;
Это Вебона ланиты
На заре горят багрянцем,
А призывный голос будит
И охотника и зверя.

Одинок на небе Вебон!
Для него все птицы пели,
Для него цветы в долинах
Разливали сладкий запах,
Для него шумели реки,
Рощи темные вздыхали,
Но всегда был грустен Вебон:
Одинок он был на небе.

Утром раз, на землю глядя,
В час, когда спала деревня
И туман, как привиденье,
Над рекой блуждал, белея,
Он увидел, что в долине
Ходит дева — собирает
Камыши и длинный шпажник
Над рекою по долине.

С той поры, на землю глядя,
Только очи голубые
Видел Вебон на рассвете:
Как два озера лазурных,
На него они смотрели,
И задумчивую деву,
Что к нему стремилась сердцем,
Полюбил прекрасный Вебон:
Оба были одиноки,
На земле — она, он — в небе.

Он возлюбленную нежил
И ласкал улыбкой солнца,
Нежил вкрадчивою речью,
Тихим вздохом, тихой песней,
Тихим шепотом деревьев,

Ароматом белых лилий.
К сердцу милую привлек он,
Ярким пурпуром окутал —
И она затрепетала
На груди его звездой.
Так доньне неразлучно
В небесах они проходят:
Вебон, рядом Вебон-Аннонг —
Вебон и Звезда Рассвета.

В ледяных горах, в пустыне,
В царстве кролика, Вабассо,
В царстве вечной снежной вьюги,
Обитал Кабибонокка.
Это он осенней ночью
Разрисовывает листья
Краской желтой и багряной,
Это он приносит вьюги,
По лесам шипит и свищет,
Покрывает льдом озера,
Гонит чаек острокрылых,
Гонит цаплю и баклана
В камыши, в морские бухты,
В гнезда их на теплом юге.

Вышел раз Кабибонокка
Из своих чертогов снежных
Меж горами ледяными,
Устремился с воем к югу
По замерзшим, белым тундрам,
И, осыпанные снегом,
Волоса его — рекою,
Черной, зимнею рекою
По земле за ним струились.

В тростниках, среди осоки,
На замерзших, белых тундрах
Жил там Шингебис, морянка.
Одинок в белых тундрах
Проводил он зиму эту:
Братья Шингебиса были
В теплых странах Шавондази.

И вскричал Кабибонокка
В лютом гневе: «Кто дерзает
Презирать Кабибонокку?
Кто осмелился остаться
В царстве Северного Ветра,
Если Вава и Шух-шух-га,
Если дикий гусь и цапля
Уж давно на юг умчались?
Я пойду к его вигваму,
Я очаг его разрушу!»

И пришел во мраке ночи
Ко врагу Кабибонокка.
Он намел сугробы снега,
Завывал в трубе вигвама,
Потрясал его свирепю,
Рвал дверные занавески.
Шингебис не испугался,
Шингебис его не слушал!
В очаге его играло
Пламя яркое, и рыбу
Ел он с песнями и смехом.

Ворвался тогда в жилище
Дикий, злой Кабибонокка;
Шингебис от стужи вздрогнул
В ледяном его дыханье,
Но по-прежнему смеялся,
Но по-прежнему пел громко;
Он костер поправил только,
Чтоб костер горел светлее,
Чтоб кидало пламя искры.

И с чела Кабибонокки,
С кос его в снегу холодном
Стали падать капли пота,
Как весною каплет с крыши
Иль с ветвей болиголова.
Побежденный этим жаром,
Раздраженный этим пеньем,
Он вскочил и из вигвама
В поле бросился, шагая

По рекам и по озерам:
На борьбу над белой тундрой
Вызывал врага коварно.

Но без страха, без боязни
Вышел Шингебис на битву;
До рассвета он боролся
С Ветром Северным над тундрой,
До утра когтями бился
Шингебис с Кабибоноккой.
И без сил Кабибонокка
Отступил в свои владенья,
Со стыдом бежал по тундрам
В царство кролика, Вабассо,
А за ним всё раздавались
Хохот, песни и насмешки.

Шавондази, тучный, сонный,
Обитал на дальнем юге,
Где в дремотном блеске солнца
Круглый год царило лето.
Это он шлет птиц весной,
Шлет к нам ласточку, шлет Шошо,
Шлет Овейсу, трясогузку,
Опечи шлет, реполова,
Гуся, Ваву, шлет на север,
Шлет табак душистый, дыни,
Виноград в багряных гроздьях.

Дым из трубки Шавондази
Небеса туманит паром,
Наполняет негой воздух,
Тусклый блеск дает озерам,
Очертанья гор смягчает,
Веет нежной лаской лета
В теплый Месяц Светлой Ночи,
В Месяц Лыж зимой холодной.

Беззаботный Шавондази!
Лишь одно узнал он горе,
Лишь одну печаль изведал.
Раз, смотря на север с юга,
Далеко в степных равнинах

Он увидел утром деву,
Деву с гибким, стройным станом,
Одинокую в равнинах.
Был на ней наряд зеленый,
И как солнце были косы.

День за днем потом смотрел он,
День за днем вздыхал он страстно,
День за днем все больше сердце
Разгоралось в нем любовью
К деве нежной, златокудрой.
Но ленив и неподвижен
Был беспечный Шавондази,
Да, ленив и слишком тучен:
К милой он пойти все медлил,
Он сидел, вздыхая страстно,
И все только любовался
Златокудрой девою прерий.

Наконец однажды утром
Увидал он, что поблекли
Кудри русые у милой, —
Словно первый снег, белеют.
«О мой брат из Стран Полночных,
Из далеких стран Вабассо,
Царства Северного Ветра!
Ты украл мою невесту,
Завладел моею милой,
Обольстил ее своею
Сказкой Северного Ветра!»

Так несчастный Шавондази
Изливал свои страданья,
И бродил в равнинах знойный
Южный Ветер, полный вздохов,
Страстных вздохов Шавондази.
И наполнился весь воздух,
Словно снегом, белым пухом:
Погубили вздохи ветра
Деву с русыми кудрями,
И от взоров Шавондази
Навсегда сокрылась дева.

О мечтатель Шавондази!
Не по девушке вздыхал ты,
Не на женщину смотрел ты, —
На цветок, на одуванчик;
О цветке вздыхал ты страстно,
На цветок глядел все лето
День за днем с любовью томной
И стубил его навеки,
В поле вздохами развеял.
Бедный, бедный Шавондази!

ДЕТСТВО ГАЙАВАТЫ

В летний вечер, в полнолуние,
В незапамятное время,
В незапамятные годы,
Прямо с месяца упала
К нам прекрасная Нокомис,
Дочь ночных светил, Нокомис.

Как дитя, она играла,
На ветвях на виноградных
Меж подруг своих качалась,
И одна из них, сгорая
Злостью ревности и мести,
Эти ветви подрубила,
И на Мускодэ упала,
На цветущую долину,
Замирая от испуга,
Летним вечером Нокомис.
«Вон звезда упала с неба!» —
Говорил народ в селеньях.

Там, на мягких мхах и травах,
Там, среди стыдливых лилий,
В тихой Мускодэ, в долине,
В звездном блеске, в лунном свете,
Стала матерью Нокомис,
Назвала дочь первородной —
Назвала ее Веноной.

И, как лилия в долине,
Расцвела ее Венона:
Стала гибкой, стала стройной,
Точно лунный свет, прекрасной,
Точно звездный отблеск, нежной.

И Нокомис часто стала
Говорить, твердить Веноне:
«О, страшись, остерегайся
Мэджекивиса, Венона!
Никогда его не слушай,
Не гуляй одна в долине,
Не ложись в траве меж лилий!»

Но не слушалась Венона,
Не внимала мудрой речи,
И пришел к ней Мэджекивис,
Темным вечером подкрался,
С тихим шепотом склоняя
На лугу цветы и травы.
Там прекрасная Венона
Меж цветов одна лежала,
Там нашел ее коварный
Ветер Западный — и начал
Очаровывать Венону
Сладкой речью, нежной лаской —
И родился сын печали,
Нежной страсти и печали,
Дивной тайны — Гайавата.

Так родился Гайавата;
А коварный Мэджекивис,
Бессердечный Мэджекивис
Уж покинул дочь Нокомис,
И недолго после билось
Сердце нежное Веноны:
Умерла она в печали.

Долго с криками рыдала,
Долго плакала Нокомис:
«О, зачем жестокий Погок
Не меня унес с собою?»

Лучше б мне лежать в могиле!
Вагономин, вагономин!»

На побережье Гитчи-Гюми,
Светлых вод Большого Моря,
С юных дней жила Нокомис,
Дочь ночных светил, Нокомис.
Позади ее вигвама
Темный лес стоял стеною —
Чащи темных, мрачных сосен,
Чащи елей в красных шишках,
А пред ним прозрачной влагой
На песок плескались волны,
Блеском солнца зыбь сверкала
Светлых вод Большого Моря.

Там, в тиши лесов и моря,
Внука нянчила Нокомис,
В люльке липовой качала,
Усталанной кугой и мохом,
Крепко связанной ремнями,
И, качая, говорила:
«Спи! А то отдам медведю!»
Там, баюкая, певала:
«Эва-ия, мой соенок!
Что там светится в вигваме?
Чьи глаза блестят в вигваме?
Эва-ия, мой соенок!»

Много-много рассказала
О звездах ему Нокомис;
Показала хвост кометы —
Ишкуду в огнистых косах,
Показала Танец Духов,
Их блистающие рати
В небесах Страны Полночной,
В Месяц Лыж морозной ночью;
Показала серебристый
Путь всех призраков и духов —
Белый путь на темном небе,
Полном призраков и духов.

Вечерами, теплым летом,
У дверей сидел малютка,
Слушал тихий ропот сосен,
Слушал тихий плеск прибоя,
Звуки дивных слов и песен:
«Минни-вава!» — пели сосны,
«Мэдвэй-ошка!» — пели волны.

Видел мушку, Ва-ва-тэйзи,
Что, сверкая белой искрой,
Светит в сумраке вечернем
Над травой и кустами,
И тихонько пел ей песню,
Что Нокомис научила:
«Ва-ва-тэйзи, Ва-ва-тэйзи!
Крошка, огненная мушка,
Крошка, белый огонечек!
Потанцуй еще немножко,
Посвети мне, попрыгунья,
Белой искоркой своею:
Скоро я в постельку лягу,
Скоро я закрою глазки!»

Видел, как над Гитчи-Гюми,
Отражаясь в Гитчи-Гюми,
Подымался полный месяц,
Видел тень на нем и пятна
И шептал: «Что там, Нокомис?»
А Нокомис отвечала:
«Раз один сердитый воин
Подхватил старуху-бабку
И швырнул ее на небо,
Зашвырнул на месяц прямо.
Так она там и осталась».

Видел радугу на небе,
На востоке, и тихонько
Говорил: «Что там, Нокомис?»
А Нокомис отвечала:
«Это Мускодэ на небе;
Все цветы лесов зеленых,
Все болотные кувшинки,

На земле когда увянут,
Расцветают снова в небе».

Если сов он слышал в полночь —
Вой и хохот в чаще леса, —
Он, дрожа, кричал: «Кто это?»
Он шептал: «Что там, Нокомис?»
А Нокомис отвечала:
«Это совы собралися
И по-своему болтают,
Это спорятся совята!»

Так малютка, внук Нокомис,
Изучил весь птичий говор,
Имена их, все их тайны:
Как они вьют гнезда летом,
Где живут они зимою;
Часто с ними вел беседы,
Звал их всех: «мои цыплята».

Всех зверей язык узнал он,
Имена их, все их тайны:
Как бобер жилище строит,
Где орехи белка прячет,
Отчего резва косуля,
Отчего труслив Вабассо;
Часто с ними вел беседы,
Звал их: «братья Гайаваты».

И рассказчик сказок Ягу,
Говорун, хвастун великий,
Много по свету бродивший,
Верный друг Нокомис старой,
Сделал лук для Гайаваты:
Лук из ясеня он сделал,
Стрелы сделал он из дуба,
Наконечники — из яшмы,
Тетиву — из кожи лани.

И сказал он Гайавате:
«Ну, мой сын, иди скорее
В лес, где держатся олени.

Застрели-ка там косулю
С разветвленными рогами».

Гордо взял свой лук и стрелы
Гайавата и отважно
В лес пустился; птицы звонко
Пели, по лесу порхая.
«Не стреляй в нас, Гайавата!» —
Опечи пел красногрудый;
«Не стреляй в нас, Гайавата!» —
Пел Овейса синеперый.

На дубу над Гайаватой
Вниз и вверх скакала белка,
Меж зеленых листьев дуба
С кашлем прыгала, смеялась
И, смеясь, пробормотала:
«Пощади, о Гайавата!»

И вприпрыжку белый кролик
Робко бросился с тропинки,
Стал вдали на задних латках
И охотнику промолвил
Хоть и в шутку, но трусливо:
«Пощади, о Гайавата!»

Но не слушал Гайавата, —
Точно сонный, брел он лесом,
Думал только об олене,
След его искал глазами,
След, что вел к речному броду,
По тропе к речному броду.

За ольховыми кустами
Сел и выждал он оленя,
Увидал два глаза в чаще,
Увидал над ней два рога,
Ноздри, поднятые к ветру,
Увидал и морду зверя
Под листвою, в пятнах света,
И, как легкий лист березы,
Сердце в нем затрепетало,

Как ольха, весь задрожал он,
Увидав над бродом зверя.

На одно колено ставши,
Он прицелился в оленя.
Только ветка шевельнулась,
Только листик закачался,
Но олень уж встрепенулся,
Отшатнувшись, топнул в землю,
Чутко встал, подняв копыто,
Прыгнул, точно ждал удара.

Ах, он шел навстречу смерти!
Как оса, стрела запела,
Как оса, в него впиалась!

Мертвый, он лежал у брода,
Меж деревьев, над рекою;
Сердце в нем уже не билось,
Но зато у Гайаваты
Сердце так и трепетало,
Как домой он нес оленя
И ему рукоплескали
Старый Ягу и Нокомис.

Из оленьей пестрой шкуры
Внуку плащ Нокомис сшила,
Созвала соседей в гости,
Пир дала в честь Гайаваты.
Вся деревня собралася,
Все соседи называли
Гайавату храбрым, сильным —
Сон-джи-тэгэ, Ман-го-тэйзи!

ГАЙАВАТА И МЭДЖЕКВИС

Миновали годы детства,
Возмужал мой Гайавата;
Игры юности беспечной,
Стариков житейский опыт,

Труд, охотничьи сноровки —
Все постиг он, все изведаль.

Резвы ноги Гайаваты!
Запустив стрелу из лука,
Он бежал за ней так быстро,
Что стрелу опережал он.
Мощны руки Гайаваты!
Десять раз, не отдыхая,
Мог согнуть он лук упругий
Так легко, что догоняли
На лету друг друга стрелы.

Рукавицы Гайаваты,
Рукавицы, Минджикэвон,
Из оленьей мягкой шкуры
Обладали дивной силой:
Сокрушать он мог в них скалы,
Раздроблять в песчинки камни.
Мокасины Гайаваты
Из оленьей мягкой шкуры
Волшебство в себе таили:
Привязавши их к лодыжкам,
Прикрепив к ногам ремнями,
С каждым шагом Гайавата
Мог по целой миле делать.

Об отце своем нередко
Он спрашивал Нокомис,
И поведала Нокомис
Внуку тайну роковую:
Рассказала, как прекрасна,
Как нежна была Венона,
Как сгубил ее изменой
Вероломный Мэджекивис,
И, как уголь, разгорелось
Гневом сердце Гайаваты.

Он сказал Нокомис старой:
«Я иду к отцу, Нокомис,
Я хочу его проведать
В царстве Западного Ветра,
У преддверия Заката».

Из вигвама выходил он,
Снарядившись в путь далекий,
В рукавицах, Минджикэвон,
И волшебных мокалинах.
Весь наряд его богатый
Из оленьей мягкой шкуры
Зернью вампума украшен
И щетиной дикобраза.
Голова его — в орлиных
Развешивающихся перьях,
За плечом его, в колчане, —
Из дубовых веток стрелы,
Оперенные искусно
И оправленные в яшму,
А в руках его — упругий
Лук из ясеня, согнутый
Тетивой из жил оленя.

Осторожная Нокомис
Говорила Гайавате:
«Не ходи, о Гайавата,
В царство Западного Ветра:
Он убьет тебя коварством,
Волшебством своим погубит».

Но отважный Гайавата
Не внимал ее советам,
Уходил он от вигвама,
С каждым шагом делал милю.
Мрачным лес ему казался,
Мрачным — свод небес над лесом,
Воздух — душным и горячим,
Полным дыма, полным гари,
Как в пожар лесов и прерий:
Словно уголь, разгоралось
Гневом сердце Гайаваты.

Так держал он путь далекий
Все на запад и на запад
Легче быстрого оленя,
Легче лани и бизона.
Переплыл он Эсконабо,

Переплыл он Миссисипи,
Миновал Степные Горы,
Миновал степные страны
И Лисиц и Черноногих
И пришел к Горам Скалистым,
В царство Западного Ветра,
В царство бурь, где на вершинах
Восседал Владыка Ветров,
Престарелый Мэджекивис.

С тайным страхом Гайавата
Пред отцом остановился:
Дико в воздухе клубились,
Облаками развевались
Волоса его седые,
Словно снег, они блестели,
Словно пламенные косы
Ишкуды, они сверкали.

С тайной радостью увидел
Мэджекивис Гайавату:
Это молодости годы
Перед ним воскресли к жизни,
Это встала из могилы
Красота Веноны нежной.

«Будь здоров, о Гайавата! —
Так промолвил Мэджекивис. —
Долго ждал тебя я в гости
В царство Западного Ветра!
Годы старости — печальны,
Годы юности — отрадны.
Ты напомнил мне былое,
Юность пылкую напомнил
И прекрасную Венону!»

Много дней прошло в беседе,
Долго мощный Мэджекивис
Похвалялся Гайавате
Прежней доблестью своею,
Приключеньями былыми,
Непреклонною отвагой;

Говорил, что дивной силой
Он от смерти заколдован.

Молча слушал Гайавата,
Как хвалился Мэджекивис,
Терпеливо и с улыбкой
Он сидел и молча слушал.
Ни угрозой, ни укором,
Ни одним суровым взглядом
Он не выказал досады,
Но, как уголь, разгоралось
Гневом сердце Гайаваты.

И сказал он: «Мэджекивис!
Неужель ничто на свете
Погубить тебя не может?»
И могучий Мэджекивис
Величаво, благосклонно
Отвечал: «Ничто на свете,
Кроме вон того утеса,
Кроме Вавбика, утеса!»
И, взглянув на Гайавату
Взором мудрости спокойной,
По-отечески любуясь
Красотой его и мощью,
Он сказал: «О Гайавата!
Неужель ничто на свете
Погубить тебя не может?»

Помолчал одну минуту
Осторожный Гайавата,
Помолчал, как бы в сомненье,
Помолчал, как бы в раздумье,
И сказал: «Ничто на свете.
Лишь один тростник, Эпоква,
Лишь вон тот камыш высокий!»
И как только Мэджекивис,
Встав, простер к Эпокве руку,
Гайавата в страхе крикнул,
В лицемерном страхе крикнул:
«Каго, каго! Не касайся!» —
«Полно! — молвил Мэджекивис, —
Успокойся, — я не трону».

И опять они беседу
Продолжали; говорили
И о Вебоне прекрасном,
И о тучном Шавондази,
И о злом Кабибонокке;
Говорили о Веноне,
О ее рожденье дивном,
О ее кончине грустной —
Обо всем, что рассказала
Внуку старая Нокомис.

И воскликнул Гайавата:
«О коварный Мэджекивис!
Это ты убил Венону,
Ты сорвал цветок весенний,
Растоптал его ногами!
Признавайся! Признавайся!»
И могучий Мэджекивис
Тихо голову седую
Опустил в тоске глубокой,
В знак безмолвного согласия.

Быстро встал тогда, сверкая
Грозным взором, Гайавата,
На утес занес он руку
В рукавице, Минджикэвон,
Разломил его вершину,
Раздробил его в осколки,
Стал в отца швырять свирепо:
Словно уголь, разгорелось
Гневом сердце Гайаваты.

Но могучий Мэджекивис
Камни гнал назад дыханьем,
Бурей гневного дыханья
Гнал назад, на Гайавату.
Он схватил рукой Эпокву,
Вырвал с мочками, с корнями, —
Над рекой из вязкой тины
Вырвал бешено Эпокву
Он под хохот Гайаваты.

И начался бой смертельный
Меж Скалистыми Горами!
Сам Орел Войны могучий
На гнезде поднялся с криком,
С резким криком сел на скалы,
Хлопал крыльями над ними.
Словно дерево под бурей,
Рассекал Эпоква воздух,
Словно град, летели камни
С треском с Вавбика, утеса,
И земля окрест дрожала,
И на тяжкий грохот боя
По горам гремело эхо,
Отзывалось: «Бэм-Вава!»

Отступать стал Мѣджеквис,
Устремился он на запад,
По горам на дальний запад
Отступал три дня, сражаясь,
Убегал, гонимый сыном,
До преддверия Заката,
До границ своих владений,
До конца земли, где солнце
В красном блеске утопает,
На ночлег в воздушной бездне
Опускаясь, как фламинго
Опускается зарею
На печальное болото.

«Удержись, о Гайавата! —
Наконец вскричал он громко. —
Ты убить меня не в силах,
Для бессмертного нет смерти.
Испытать тебя хотел я,
Испытать твою отвагу,
И награду заслужил ты!

Возвратись в родную землю,
К своему вернись народу,
С ним живи и с ним работай.
Ты расчистить должен реки,
Сделать землю плодоносной,

Умертвить чудовищ злых,
Змей, Кинэбик, и гигантов,
Как убил я Мише-Мокву,
Исполина Мише-Мокву.

А когда твой час настанет
И заблещут над тобою
Очи Погока из мрака, —
Разделю с тобой я царство,
И владыкою ты будешь
Над Кивайдином вовеки!»

Вот какая разыгралась
Битва в грозные дни Ша-ша,
В дни далекого былого,
В царстве Западного Ветра.
Но следы той славной битвы
И теперь охотник видит
По холмам и по долинам:
Видит шпажник исполинский
На прудах и вдоль потоков,
Видит Вавбика осколки
По холмам и по долинам.

На восток, в родную землю,
Гайавата путь направил.
Позабыл он горечь гнева,
Позабыл о мщенье думы,
И вокруг него отрадой
И весельем все дышало.

Только раз он путь замедлил,
Только раз остановился,
Чтоб купить в стране Дакотов
Наконечников на стрелы.
Там, в долине, где смеялись,
Где блистали, низвергаясь
Меж зелеными дубами,
Водопады Миннегаги,
Жил старик, дакот суровый.
Делал он головки к стрелам,
Острия из халцедона,

Из кремня и крепкой яшмы,
Отшлифованные гладко,
Заостренные, как иглы.

Там жила с ним дочь-невеста,
Быстроногая, как речка,
Своенравная, как брызги
Водопадов Миннегаги.
В блеске черных глаз играли
У нее и свет и тени —
Свет улыбки, тени гнева;
Смех ее звучал как песня,
Как поток струились косы,
И Смеющейся Водюю
В честь реки ее назвал он,
В честь веселых водопадов
Дал ей имя — Миннегага.

Так ужели Гайавата
Заходил в страну Дакотов,
Чтоб купить головок к стрелам,
Наконечников из яшмы,
Из кремня и халцедона?
Не затем ли, чтоб украдкой
Посмотреть на Миннегагу,
Встретить взор ее пугливый,
Услыхать одежды шорох
За дверною занавеской,
Как глядят на Миннегагу,
Что горит сквозь ветви леса,
Как внимают водопаду
За зеленой чашей леса?

Кто расскажет, что таится
В молодом и пылком сердце?
Как узнать, о чем в дороге
Сладко грезил Гайавата?
Все Нокомис рассказал он,
Возвратясь домой под вечер:
О борьбе и о беседе
С Мэджеквивисом могучим,
Но о девушке, о стрелах
Не обмолвился ни словом!

ПОСТ ГАЙАВАТЫ

Вы услышите сказанье,
Как в лесной глуши постился
И молился Гайавата:
Не о ловкости в охоте,
Не о славе и победах,
Но о счастии, о благе
Всех племен и всех народов.

Пред постом он приготовил
Для себя в лесу жилище, —
Над блестящим Гитчи-Гюми,
В дни весеннего расцвета,
В светлый, теплый Месяц Листьев
Он вигвам себе построил
И, в виденьях, в дивных грезах,
Семь ночей и дней постился.

В первый день поста бродил он
По зеленым тихим рощам;
Видел кролика он в норке,
В чаще выпугнул оленя,
Слышал, как фазан кудахтал,
Как в дупле возилась белка,
Видел, как под тенью сосен
Вьет гнездо Омими, голубь,
Как стада гусей летели
С заунывным криком, с шумом
К диким северным болотам.
«Гитчи Манито! — вскричал он,
Полный скорби безнадежной, —
Неужели наше счастье,
Наша жизнь от них зависит?»

На другой день над рекою,
Вдоль по Мускодэ бродил он,
Видел там он Маномони
И Минагу, голубику,
И Одамин, землянику,
Куст крыжовника, Шабомин,

И Бимагут, виноградник,
Что зеленою гирляндой,
Разливая сладкий запах,
По ольховым сучьям вьется.
«Гитчи Манито! — вскричал он,
Полный скорби безнадежной, —
Неужели наше счастье,
Наша жизнь от них зависит?»

В третий день сидел он долго,
Погруженный в размышленья,
Возле озера, над тихой,
Над прозрачною водою.
Видел он, как прыгал Нама,
Сыпля брызги, словно жемчуг;
Как резвился окунь, Сава,
Словно солнца луч сияя,
Видел щуку, Маскенозу,
Сельдь речную, Окагавис,
Шогаши, морского рака.
«Гитчи Манито! — вскричал он,
Полный скорби безнадежной. —
Неужели наше счастье,
Наша жизнь от них зависит?»

На четвертый день до ночи
Он лежал в изнеможенье
На листе в своем вигваме.
В полусне над ним роились
Грезы, смутные виденья;
Вдалеке вода сверкала
Зыбким золотом, и плавно
Все кружилось и горело
В пышном зареве заката.

И увидел он: подходит
В полусумраке пурпурном,
В пышном зареве заката,
Стройный юноша к вигваму.
Голова его — в блестящих,
Развевающихся перьях,
Кудри — мягки, золотисты,
А наряд — зелено-желтый.

У дверей остановившись,
Долго с жалостью, с участием
Он смотрел на Гайавату,
На лицо его худое,
И, как вздохи Шавондази
В чаще леса, — прозвучала
Речь его: «О Гайавата!
Голос твой услышан в небе,
Потому что ты молился
Не о ловкости в охоте,
Не о славе и победах,
Но о счастье, о благе
Всех племен и всех народов.

Для тебя Владыкой Жизни
Послан друг людей — Мондамин;
Послан он тебе поведать,
Что в борьбе, в труде, в терпенье
Ты получишь все, что просишь.
Встань с ветвей, с зеленых листьев,
Встань с Мондамином бороться!»

Изнурен был Гайавата,
Слаб от голода, но быстро
Встал с ветвей, с зеленых листьев.
Из стемневшего вигвама
Вышел он на свет заката,
Вышел с юношей бороться, —
И едва его коснулся,
Вновь почувствовал отвагу,
Ощутил в груди усталой
Бодрость, силу и надежду.

На лугу они кружились
В пышном зареве заката,
И все крепче, все сильнее
Гайавата становился.
Но спустились тени ночи,
И Шух-шух-га на болоте
Издавал свой крик тоскливый,
Вопль и голода и скорби.

«Кончим! — вымолвил Мондамин,
Улыбаясь Гайавате, —
Завтра снова приготовься
На закате к испытанью».
И, сказав, исчез Мондамин.
Опустился ли он тучкой,
Иль поднялся, как туманы, —
Гайавата не заметил;
Видел только, что исчез он,
Истомив его борьбою,
Что внизу, в ночном тумане,
Смутно озеро белеет,
А вверху мерцают звезды.

Так два вечера, — лишь только
Опускалось тихо солнце
С неба в западные воды,
Погружалось в них, краснея,
Словно уголь, раскаленный
В очаге Владыки Жизни, —
Приходил к нему Мондамин.
Молчаливо появлялся,
Как роса на землю сходит,
Принимающая форму
Лишь тогда, когда коснется
До травы или деревьев,
Но невидимая смертным
В час прихода и ухода.

На лугу они кружились
В пышном зареве заката;
Но спустились тени ночи,
Прокричала на болоте
Громко, жалобно Шух-шух-га,
И задумался Мондамин;
Стройным станом и прекрасный,
Он стоял в своем наряде;
В головном его уборе
Перья веяли, качались,
На челе его сверкали
Капли пота, как росинки.

И вскричал он: «Гайавата!
Храбро ты со мной боролся,
Трижды стойко ты боролся,
И пошлет Владыка Жизни
Надо мной тебе победу!»

А потом сказал с улыбкой:
«Завтра кончится твой искус —
И борьба и пост тяжелый;
Завтра ты меня поборешь;
Приготовь тогда мне ложе
Так, чтоб мог весенний дождик
Освежать меня, а солнце —
Согревать до самой ночи.
Мой наряд зелено-желтый,
Головной убор из перьев
Оборви с меня ты смело,
Схорони меня и землю
Разровняй и сделай мягкой.

Стереги мой сон глубокий,
Чтоб никто меня не трогал,
Чтобы плевелы и травы
Надо мной не зарастали,
Чтобы Кагаги, Царь-Ворон,
Не летал к моей могиле.
Стереги мой сон глубокий
До поры, когда проснусь я,
К солнцу светлому воспряну!»
И, сказав, исчез Мондамин.

Мирным сном спал Гайавата;
Слышал он, как пел уныло
Полуночник, Вавонэйса,
Над вигвамом одиноким;
Слышал он, как, убегая,
Сибовиша говорливый
Вел беседы с темным лесом;
Слышал шорох — вздохи веток,
Что склонялись, подымались,
С ветерком ночным качаясь.

Слышал все, но все сливалось
В дальний ропот, сонный шепот:
Мирным сном спал Гайавата.

На заре пришла Нокомис,
На седьмое утро пищи
Принесла для Гайаваты.
Со слезами говорила,
Что его погубит голод,
Если пищи он не примет.

Ничего он не отведал,
Ни к чему не прикоснулся,
Лишь промолвил ей: «Нокомис!
Подожди со мной заката,
Подожди, пока стемнеет
И Шух-шух-га громким криком
Возвестит, что день окончен!»

Плача, шла домой Нокомис,
Все тоскуя, опасаясь,
Что его погубит голод.
Он же стал, томясь тоскою,
Ждать Мондамина. И тени
Потянулись от заката
По лесам и по долинам;
Опустилось тихо солнце
С неба в Западные Воды,
Как спускается зарею
В воду красный лист осенний
И в воде, краснея, тонет.

Глядь — уж тут Мондамин юный,
У дверей стоит с приветом!
Голова его — в блестящих,
Развешивающихся перьях,
Кудри — мягки, золотисты,
А наряд — зелено-желтый.

Как во сне, к нему навстречу
Встал, измученный и бледный.
Гайавата, но бесстрашно
Вышел — и бороться начал.

И слились земля и небо,
Замелькали пред глазами!
Как осетр в степях трепещет,
Бьется бешено, чтоб сети
Разорвать и прыгнуть в воду,
Так в груди у Гайаваты
Сердце сильное стучало;
Словно огненные кольца,
Горизонт сверкал кровавый
И кружился с Гайаватой;
Сотни солнцев, разгораясь,
На борьбу его глядели.
Вдруг один среди поляны
Очутился Гайавата.

Он стоял, ошеломленный
Этой дикою борьбою,
И дрожал от напряженья;
А пред ним, в измятых перьях
И в изорванных одеждах,
Бездыханный, неподвижный,
На траве лежал Мондамин,
Мертвый, в зареве заката.

Победитель Гайавата
Сделал так, как приказал он:
Снял с Мондамина одежды,
Снял изломанные перья,
Схоронил его и землю
Разровнял и сделал мягкой.
И среди болот печальных
Цапля сизая, Шух-шух-га,
Издавала свой крик тоскливый,
Вопль и жалобы и скорби.

В отчий дом, в вигвам Нокомис
Возвратился Гайавата,
И семь суток испытанья
В этот вечер завершились
Но запомнил Гайавата
Те места, где он боролся,

Не покинул без призора
Ту могилу, где Мондамин
Почивал, в земле зарытый,
Под дождем и ярким солнцем.

День за днем над той могилой
Сторожил мой Гайавата,
Чтобы холм ее был мягким,
Не зарос травой сорной,
Прогоняя свистом, криком
Кагаги с его народом.

Наконец зеленый стебель
Показался над могилой,
А за ним — другой и третий,
И не кончилось лето,
Как в своем уборе пышном,
В золотистых, мягких косах,
Встал высокий, стройный маис.
И воскликнул Гайавата
В восхищении: «Мондамин!
Это друг людей, Мондамин!»

Тотчас кликнул он Нокомис,
Кликнул Ягу, рассказал им
О своем виденье дивном,
О своей борьбе, победе,
Показал зеленый маис —
Дар небесный всем народам,
Что для них быть должен пищей.

А поздней, когда, под осень,
Пожелтел созревший маис,
Пожелтели, стали тверды
Зерна маиса, как жемчуг,
Он собрал его початки,
Сняв с него листву сухую,
Как с Мондамина когда-то
Снял одежды, — и впервые
«Пир Мондамина» устроил,
Показал всему народу
Новый дар Владыки Жизни,

ДРУЗЬЯ ГАЙАВАТЫ

Было два у Гайаваты
Неизменных, верных друга.
Сердце, душу Гайаваты
Знали в радостях и в горе
Только двое: Чайбайабос,
Музыкант, и мощный Квазинд.

Меж вигвамов их тропинка
Не могла в траве заглохнуть;
Сплетни, лживые наветы
Не могли посеять злобы
И раздора между ними:
Обо всем они держали
Лишь втроем совет согласный,
Обо всем с открытым сердцем
Говорили меж собою
И стремились только к благу
Всех племен и всех народов.

Лучшим другом Гайаваты
Был прекрасный Чайбайабос,
Музыкант, певец великий,
Несравненный, небывалый.
Был, как воин, он отважен,
Но, как девушка, был нежен,
Словно ветка ивы, гибок,
Как олень рогатый, статен.

Если пел он, вся деревня
Собиралась песни слушать,
Жены, воины сходились,
И то нежностью, то страстью
Волновал их Чайбайабос.

Из тростинки сделав флейту,
Он играл так нежно, сладко,
Что в лесу смолкали птицы,
Затихал ручей игривый,
Замолкала Аджидомо,
А Вабассо осторожный
Приседал, смотрел и слушал.

Да! Примолкнул Сибовиша
И сказал: «О Чайбайабос!
Научи мои ты волны
Мелодичным, нежным звукам!»

Да! Завистливо Овэйса
Говорил: «О Чайбайабос!
Научи меня безумным,
Страстным звукам диких песен!»

Да! И Опечи веселый
Говорил: «О Чайбайабос!
Научи меня веселым,
Сладким звукам нежных песен!»

И, рыдая, Вавонэйса
Говорил: «О Чайбайабос!
Научи меня тоскливым,
Скорбным звукам скорбных песен!»

Вся природа сладость звуков
У него перенимала,
Все сердца смягчал и трогал
Страстной песней Чайбайабос,
Ибо пел он о свободе,
Красоте, любви и мире,
Пел о смерти, о загробной
Бесконечной, вечной жизни,
Воспевал Страну Понима
И Селения Блаженных.

Дорог сердцу Гайаваты
Кроткий, милый Чайбайабос,
Музыкант, певец великий,
Несравненный, небывалый!
Он любил его за нежность
И за чары звучных песен.

Дорог сердцу Гайаваты
Был и Квазинд, — самый мощный
И незлобивый из смертных;
Он любил его за силу,
Доброту и простодушие.

Квазинд в юности ленив был,
Вял, мечтателен, беспечен;
Не играл ни с кем он в детстве,
Не удил в заливе рыбы,
Не охотился за зверем, —
Не похож он был на прочих.
Но постился Квазинд часто,
Своему молился Духу,
Покровителю молился.

«Квазинд, — мать ему сказала, —
Ты ни в чем мне не поможешь!
Лето ты, как сонный, бродишь
Праздно по полям и рощам,
Зиму греешься, согнувшись
Над костром среди вигвама;
В самый лютей зимний холод
Я хожу на ловлю рыбы, —
Ты и тут мне не поможешь!
У дверей висит мой невод,
Он намок и замерзает, —
Встань, возьми его, ленивец,
Выжми, высуши на солнце!»

Неохотно, но спокойно
Квазинд встал с золы остывшей,
Молча вышел из вигвама,
Скинул смерзшиеся сети,
Что висели у порога,
Стиснул их, как пук соломы,
И сломал, как пук соломы!
Он не мог не изломать их:
Вот настолько был он силен!

«Квазинд! — раз отец промолвил, —
Собирайся на охоту.
Лук и стрелы постоянно
Ты ломаешь, как тростинки,
Так хоть будешь мне добычу
Приносить домой из леса».

Вдоль ущелья, по теченью
Ручейка они спустились,

По следам бизонов, ланей,
Отпечатанным на иле,
И наткнулись на преграду:
Повалившиеся сосны
Поперек и вдоль дороги
Весь проход загромождали.

«Мы должны, — промолвил старец, —
Ворочаться: тут не влезешь!
Тут и белка не взберется,
Тут сурок пролезть не сможет».
И сейчас же вынул трубку,
Закурил и сел в раздумье.
Но не выкурил он трубки,
Как уж путь был весь расчищен:
Все деревья Квазинд поднял,
Быстро вправо и налево
Раскидал, как стрелы, сосны,
Разметал, как копыя, кедры.

«Квазинд! — юноши сказали,
Забавляясь на долине. —
Что же ты стоишь, глазеешь,
На утес облокотившись?
Выходи, давай бороться,
В цель бросать из пращи камни».

Вялый Квазинд не ответил,
Ничего им не ответил,
Только встал и, повернувшись,
Обхватил утес руками,
Из земли его он вырвал,
Раскачал над головою
И забросил прямо в реку,
Прямо в быструю Повэтин.
Так утес там и остался.

Раз по пенистой пучине,
По стремительной Повэтин,
Плыл с товарищами Квазинд
И вождя бобров, Амика,
Увидал среди потока:

С быстринной бобер боролся,
То всплывая, то ныряя.

Не задумавшись нимало,
Квазинд молча прыгнул в реку,
Скрылся в пенистой пучине,
Стал преследовать Амика
По ее водоворотам .
И в воде пробыл так долго,
Что товарищи вскричали:
«Горе нам! Погиб наш Квазинд!
Не вернется больше Квазинд!»
Но торжественно он выплыл:
На плече его блестящем
Вождь бобров висел убитый,
И с него вода струилась.

Таковы у Гайаваты
Были верные два друга.
Долго с ними жил он в мире,
Много вел бесед сердечных,
Много думал дум о благе
Всех племен и всех народов.

ПИРОГА ГАЙАВАТЫ

«Дай коры мне, о Береза!
Желтой дай коры, Береза,
Ты, что высишься в долине
Стройным станом над потоком!
Я свяжу себе пирогу,
Легкий челн себе построю,
И в воде он будет плавать,
Словно желтый лист осенний,
Словно желтая кувшинка!

Скинь свой белый плащ, Береза!
Скинь свой плащ из белой кожи:
Скоро лето к нам вернется,
Жарко светит солнце в небе,
Белый плащ тебе не нужен!»

Так над быстрой Таквамино,
В глубине лесов дремучих
Воскличал мой Гайавата
В час, когда все птицы пели,
Воспевали Месяц Листьев,
И, от сна восставши, солнце
Говорило: «Вот я — Гизис,
Я, великий Гизис, солнце!»

До корней затрепетала
Каждым листиком береза,
Говоря с покорным вздохом:
«Скинь мой плащ, о Гайавата!»

И ножом кору березы
Опоясал Гайавата
Ниже веток, выше корня,
Так, что брызнул сок наружу;
По стволу, с вершины к корню,
Он потом кору разрезал,
Деревянным клином поднял,
Осторожно снял с березы.

«Дай, о Кедр, ветвей зеленых,
Дай мне гибких, крепких сучьев,
Помоги пирогу сделать
И надежней и прочнее!»

По вершине кедра шумно
Ропот ужаса пронесся,
Стон и крик сопротивления;
Но, склоняясь, прошептал он:
«Нá, руби, о Гайавата!»

И, срубивши сучья кедра,
Он связал из сучьев раму,
Как два лука, он согнул их,
Как два лука, он связал их.

«Дай корней своих, о Тэмрак,
Дай корней мне волокнистых:
Я свяжу свою пирогу,

Так свяжу ее корнями,
Чтоб вода не проникала,
Не сочилась в пирогу!»

В свежем воздухе до корня
Задрожал, затрясся Тэмрак,
Но, склоняясь к Гайавате,
Он одним печальным вздохом,
Долгим вздохом отозвался:
«Все возьми, о Гайавата!»

Из земли он вырвал корни,
Вырвал, вытянул волокна,
Плотно сшил кору березы,
Плотно к ней приладил раму.

«Дай мне, Ель, смолы тягучей,
Дай смолы своей и соку:
Засмолю я швы в пироге,
Чтоб вода не проникала,
Не сочилась в пирогу!»

Как шуршит песок прибрежный,
Зашуршали ветви ели,
И, в своем уборе черном,
Отвечала ель со стоном,
Отвечала со слезами:
«Собери, о Гайавата!»

И собрал он слезы ели,
Взял смолы ее тягучей,
Засмолил все швы в пироге,
Защитил от волн пирогу.

«Дай мне, Еж, колючих игол,
Все, о Еж, отдай мне иглы:
Я украшу ожерельем,
Уберу двумя звездами
Грудь красавицы пироги!»

Сонно глянул Еж угрюмый
Из дупла на Гайавату,

Словно блестящие стрелы,
Из дупла метнул он иглы,
Бормоча в усы лениво:
«Подбери их, Гайавата!»

По земле собрал он иглы,
Что блестили, точно стрелы;
Соком ягод их окрасил,
Соком желтым, красным, синим,
И пирогу в них оправил,
Сделал ей блестящий пояс,
Ожерелье дорогое,
Грудь убрал двумя звездами.

Так построил он пирогу
Над рекою, средь долины,
В глубине лесов дремучих,
И вся жизнь лесов была в ней,
Все их тайны, все их чары:
Гибкость лиственницы темной,
Крепость мощных сучьев кедра
И березы стройной легкость;
На воде она качалась,
Словно желтый лист осенний,
Словно желтая кувшинка.

Весел не было на лодке,
В веслах он и не нуждался:
Мысль ему веслом служила,
А рулем служила воля;
Обогнать он мог хоть ветер,
Путь держать — куда хотелось.

Кончив труд, он кликнул друга,
Кликнул Квазинда на помощь,
Говоря: «Очистим реку
От коряг и желтых мелей!»

Быстро прыгнул в реку Квазинд,
Словно выдра, прыгнул в реку,
Как бобер, нырять в ней начал,
Погружаясь то по пояс,
То до самых мышек в воду.

С криком стал нырять он в воду,
Поднимать со дна коряги,
Вверх кидать песок руками,
А ногами — ил и травы.

И поплыл мой Гайавата
Вниз по быстрой Таквамино,
По ее водоворотам,
Через омуты и мели,
Вслед за Квазиндом могучим.

Вверх и вниз они проплыли,
Всюду были, где лежали
Корни, мертвые деревья
И пески широких мелей,
И расчистили дорогу,
Путь прямой и безопасный
От истоков меж горами
И до самых вод Поветин,
До залива Таквамино.

ГАЙАВАТА И МИШЕ-НАМА

По заливу Гитчи-Гюми,
Светлых вод Большого Моря,
С длинной удочкой из кедра,
Из коры крученой кедра,
На березовой пироге
Плыл отважный Гайавата.

Сквозь слюду прозрачной влаги
Видел он, как ходят рыбы
Глубоко под дном пироги;
Как резвится окунь, Сава,
Словно солнца луч сияя;
Как лежит на дне песчаном
Шогаши, омар ленивый,
Словно дремлющий тарантул.

На корме сел Гайавата
С длинной удочкой из кедра;

Точно веточки цикуты,
Колебал прохладный ветер
Перья в косах Гайаваты.
На носу его пироги
Села белка, Аджидомо;
Точно травку луговую,
Раздувал прохладный ветер
Мех на шубке Аджидомо.

На песчаном дне на белом
Дремлет мощный Мише-Нама,
Царь всех рыб, осетр тяжелый,
Раскрывает жабры тихо,
Тихо водит плавниками
И хвостом песок взметаёт.
В боевом вооруженье, —
Под щитами костяными
На плечах, на лбу широком,
В боевых нарядных красках —
Голубых, пурпурных, желтых, —
Он лежит на дне песчаном;
И над ним-то Гайавата
Стал в березовой пироге
С длинной удочкой из кедра.

«Встань, возьми мою приманку! —
Крикнул в воду Гайавата, —
Встань со дна, о Мише-Нама,
Подымись к моей пироге,
Выходи на состязанье!»
В глубину прозрачной влаги
Он лесу свою забросил,
Долго ждал ответа Намы,
Тщетно ждал ответа Намы
И кричал ему все громче:
«Встань, царь рыб, возьми приманку!»

Не ответил Мише-Нама.
Важно, медленно махая
Плавниками, он спокойно
Вверх смотрел на Гайавату,

Долго слушал без вниманья
Крик его нетерпеливый,
Наконец сказал Кенозе,
Жадной щуке, Маскенозе:
«Встань, воспользуйся приманкой,
Оборви лесу нахала!»

В сильных пальцах Гайаваты
Сразу удочка согнулась;
Он рванул ее так сильно,
Что пирога дыбом встала,
Поднялася над водою,
Словно белый ствол березы
С резвой белкой на вершине.

Но когда пред Гайаватой
На волнах затрепетала,
Приближаясь, Маскеноза, —
Гневом вспыхнул Гайавата
И воскликнул: «Иза, иза! —
Стыд тебе, о Маскеноза!
Ты лишь щука, ты не Нама,
Не тебе я кинул вызов!»

Со стыдом на дно вернулась,
Опустилась Маскеноза;
А могучий Мише-Нама
Обратился к Угудвошу,
Неуклюжему Самглаву:
«Встань, воспользуйся приманкой,
Оборви лесу нахала!»

Словно белый, полный месяц,
Встал, качаясь и сверкая,
Угудвош, Самглав тяжелый,
И, схватив лесу, так сильно
Закружился вместе с нею,
Что вверху в водовороте
Завертелся пирога,
Волны, с плеском разбегаясь,
По всему пошли заливу,

А с песчаных белых мелей,
С отдаленного побережья
Закивали, зашумели
Тростники и длинный шпажник.

Но когда пред Гайаватой
Из воды поднялся белый
И тяжелый круг Самглава,
Громко крикнул Гайавата:
«Иза, иза! — Стыд Самглаву!
Угудвош ты, а не Нама,
Не тебе я кинул вызов!»

Тихо вниз пошел, качаясь
И блестя, как полный месяц,
Угудвош прозрачно-белый,
И опять могучий Нама
Услыхал нетерпеливый,
Дерзкий вызов, прозвучавший
По всему Большому Моря.

Сам тогда он с дна поднялся,
Весь дрожа от дикой злобы,
Боевой блистая краской
И доспехами бряцая,
Быстро прыгнул он к пироге,
Быстро выскочил всем телом
На сверкающую воду
И своей гигантской пастью
Поглотил в одно мгновенье
Гайавату и пирогу.

Как бревно по водопаду,
По широким черным волнам,
Как в глубокую пещеру,
Соскользнула в пасть пирога.
Но, очнувшись в полном мраке,
Безнадежно оглянувшись,
Вдруг наткнулся Гайавата
На большое сердце Намы:
Тяжело оно стучало
И дрожало в этом мраке.

И во гневе мощной дланью
Стиснул сердце Гайавата,
Стиснул так, что Мише-Нама
Всеми фибрами затрясся,
Зашумел водой, забился,
Ослабел, ошеломленный
Нестерпимой болью в сердце.

Поперек тогда поставил
Легкий челн свой Гайавата,
Чтоб из чрева Мише-Намы,
В суматохе и тревоге,
Не упасть и не погибнуть.
Рядом белка, Аджидомо,
Резво прыгала, болтала,
Помогала Гайавате
И трудилась с ним все время.

И сказал ей Гайавата:
«О мой маленький товарищ!
Храбро ты со мной трудилась,
Так прими же, Аджидомо,
Благодарность Гайаваты
И то имя, что сказал я:
Этим именем все дети
Будут звать тебя отныне!»

И опять забился Нама,
Заметался, задыхаясь,
А потом затих — и волны
Понесли его к побережью.
И когда под Гайаватой
Зашуршал прибрежный щебень,
Понял он, что Мише-Нама,
Бездыханный, неподвижный,
Принесен волной к побережью.

Тут бессвязный крик и вопли
Услыхал он над собою,
Услыхал шум длинных крыльев,
Переполнивший весь воздух,

Увидал полоску света
Меж широких ребер Намы
И Кайошк, крикливых чаек,
Что блестящими глазами
На него смотрели зорко
И друг другу говорили:
«Это брат наш, Гайавата!»

И в восторге Гайавата
Крикнул им, как из пещеры:
«О Кайошк, морские чайки,
Братья, сестры Гайаваты!
Умертвил я Мише-Наму, —
Помогите же мне выйти
Поскорее на свободу,
Рвите клювами, когтями
Бок широкий Мише-Намы,
И отныне и вовеки
Прославлять вас будут люди,
Называть, как я вас называл!»

Дикой, шумной стаей чайки
Принялися за работу,
Быстро щели проклевали
Меж широких ребер Намы,
И от смерти в чреве Намы,
От гибели, от плена,
От могилы под водою
Был избавлен Гайавата.

Возле самого вигвама
Стал на берег Гайавата;
Тотчас крикнул он Нокомис,
Вызвал старую Нокомис
Посмотреть на Мише-Наму:
Мертвый он лежал у моря,
И его клевали чайки.

«Умертвил я Мише-Наму,
Победил его! — сказал он. —
Вон над ним уж вьются чайки.

То друзья мои, Нокомис!
Не гони их прочь, не трогай:
Я от смерти в чреве Намы
Был сейчас избавлен ими.
Пусть они свой пир окончат,
Пусть зобы наполнят пищей;
А когда, с заходом солнца,
Улетят они на гнезда,
Принеси котлы и чаши,
Заготовь к зиме нам жиру».

И Нокомис до заката
Просидела на побережье.
Вот и месяц, солнце ночи,
Встал над тихой водою,
Вот и чайки с шумным криком,
Кончив пир свой, поднялися,
Полетели к отдаленным
Островам на Гитчи-Гюми,
И сквозь зарево заката
Долго их мелькали крылья.

Мирным сном спал Гайавата;
А Нокомис терпеливо
Принялася за работу
И трудилась в лунном свете
До зари, пока не стало
Небо красным на востоке.
А когда сменило солнце
Бледный месяц, — с отдаленных
Островов на Гитчи-Гюми
Воротились стаи чаек,
С криком кинулись на пищу.

Трое суток, чередуясь
С престарелою Нокомис,
Чайки жир срывали с Намы.
Наконец меж голых ребер
Волны начали плескаться,
Чайки скрылись, улетели,
И остались на побережье
Только кости Мише-Намы.

ГАЙАВАТА И ЖЕМЧУЖНОЕ ПЕРО

На побережье Гитчи-Гюми,
Светлых вод Большого Моря,
Вышла старая Нокомис,
Простирая в гнѳе руку
Над водой к стране заката,
К тучам огненным заката.

В гнѳе солнце заходило,
Пролагая путь багряный,
Зажигая тучи в небе,
Как вожди сжигают степи,
Отступая пред врагами;
А луна, ночное солнце,
Вдруг восстала из засады
И направилась в погоню
По следам его кровавым,
В ярком зареве пожара.

И Нокомис, простирая
Руку слабую к закату,
Говорила Гайавате:
«Там живет волшебник злобный
Меджисогвон, Дух Богатства,
Тот, кого Пером Жемчужным
Называют все народы;
Там озера смоляные
Разливаются, чернея,
До багряных туч заката;
Там, среди трясины мрачной,
Вьются огненные змеи,
Змеи страшные, Кинэбик!
То хранители и слуги
Меджисогвона-убийцы.

Это им убит коварно
Мой отец, когда на землю
Он с луны за мной спустился
И меня искал повсюду.
Это злобный Меджисогвон
Посылает к нам шедуги,

Посылает лихорадки,
Дышит белой мглою с тундры,
Дышит сыростью болотных,
Смертоносных испарений!

Лук возьми свой, Гайавата,
Острых стрел возьми с собою,
Томагаук, Погэвогон,
Рукавицы, Минджикэвон,
И березовую лодку.
Желтым жиром Мише-Намы
Смажь бока ее, чтоб легче
Было плыть ей по болотам,
И убей ты чародея,
Отомсти врагу Нокомис,
Отомсти врагу народа!»

Быстро в путь вооружился
Благородный Гайавата;
Легкий челн он сдвинул в воду,
Потрепал его рукою,
Говоря: «Вперед, пирога,
Друг мой верный и любимый,
К змеям огненным, Кинэбик,
К смоляным озерам черным!»

Гордо вдаль неслась пирога,
Грозно песню боевую
Пел отважный Гайавата;
А над ним Киню могучий,
Боевой орел могучий,
Вождь пернатых, с диким криком
В небесах кругами плывал.

Скоро он и змей увидел,
Исполинских змей увидел,
Что лежали средь болота,
Ежась, искрясь средь болота,
На пути сплетаясь в кольца,
Поднимаясь, наполняя
Воздух огненным дыханьем,
Чтоб никто не мог проникнуть
К Меджисогвону в жилище.

Но бесстрашный Гайавата,
Громко крикнув, так сказал им:
«Прочь с дороги, о Кинэбик!
Прочь с дороги Гайаваты!»
А они, свирепо ежась,
Отвечали Гайавате
Свистом, огненным дыханьем:
«Отступи, о Шогодай!
Воротись к Нокомис старой!»

И тогда во гневе поднял
Мощный лук свой Гайавата,
Сбросил с плеч колчан — и начал
Поражать их беспощадно:
Каждый звук тугой и крепкой
Тетивы был криком смерти,
Каждый свист стрелы певучей —
Песнью смерти и победы!

Тяжело в воде кровавой
Змеи мертвые качались,
И победно Гайавата
Плыл меж ними, восклицая:
«О, вперед, моя пирога,
К смоляным озерам черным!»

Желтым жиром Мише-Намы
Он бока и нос пироги
Густо смазал, чтобы легче
Было плыть ей по болотам.
И до света юдиноко
Плыл он в этом сонном мире,
Плыл в воде, густой и черной,
Вековой корой покрытой
От размытых и гниющих
Камышей и листьев лилий;
И безжизненно и мрачно
Перед ним вода блестела,
Озаренная луною,
Озаренная мерцаньем

Огоньков, что зажигают
Души мертвых на стоянках
В час тоскливой, долгой ночи.

Белым месячным сияньем
Тихий воздух был наполнен;
Тени ночи по болотам
Далеко кругом чернели;
А москиты Гайавате
Пели песню боевую;
Светляки, блестя, кружились,
Чтобы сбить его с дороги,
И в густой воде Дагинда
Тяжело зашевелилась,
Тупо желтыми глазами
Поглядела на пирогу,
Зарыдала — и исчезла;
И мгновенно огласилось
Все кругом стозвучным свистом,
И Шух-шух-га издалека
С камышового побережья
Возвестила громким криком
О прибытии героя!

Так держал путь Гайавата,
Так держал он путь на запад,
Плыл всю ночь, пока не скрылся
С неба бледный, полный месяц.
А когда пригрело солнце,
Стало плечи жечь лучами,
Увидал он пред собою
На холме Вигвам Жемчужный —
Меджисогвона жилище.

Вновь тогда своей широгe
Он сказал: «Вперед!» — и быстро,
Величаво и победно
Пронеслась она среди лилий,
Через густой прибрежный шпажник.
И на берег Гайавата
Вышел, ног не замочивши.

Тотчас взял он лук свой верный,
Утвердил в песке, коленом
Надавил посередине
И могучей тетивую
Запустил стрелу-певунью,
Запустил в Вигвам Жемчужный,
Как гонца с своим посланьем,
С гордым вызовом на битву:
«Выходи, о Меджисогвон:
Гайавата ожидает».

Быстро вышел Меджисогвон
Из Жемчужного Вигвама,
Быстро вышел он, могучий,
Рослый и широкоплечий,
Сумрачный и страшный видом,
С головы до ног покрытый
Украшеньями, оружием,
В алых, синих, желтых красках,
Словно небо на рассвете,
В развевающихся перьях
Из орлиных длинных крыльев.

«А, да это Гайавата! —
Громко крикнул он с насмешкой,
И, как гром, тот крик раздался. —
Отступи, о Шогодайя!
Уходи скорее к бабам,
Уходи к Нокомис старой!
Я убью тебя на месте,
Как ее отца убил я!»

Но без страха, без смущенья
Отвечал мой Гайавата:
«Хвастовством и грубым словом
Не сразишь, как томагавком;
Дело лучше слов бесплодных
И острее насмешек стрелы.
Лучше действовать, чем хвастать!»

И начался бой великий,
Бой, невиданный под солнцем!

От восхода до заката —
Целый летний день он длился,
Ибо стрелы Гайаваты
Бесполезно ударялись
О жемчужную кольчугу.
Бесполезны были даже
Рукавицы, Минджикэвон,
И тяжелый томагаук:
Раздроблять он мог утесы,
Но колец не мог разбить он
В заколдованной кольчуге.

Наконец перед закатом,
Весь израненный, усталый,
С расщепленным томагавком,
С рукавицами, в лохмотьях
И с тремя стрелами только,
Гайавата безнадежно
На упругий лук склонился
Под старинною сосною;
Мох с ветвей ее тянулся,
А на пне грибы желтели —
Мертвецов печальных обуви.

Вдруг зеленый дятел, Мэма,
Закричал над Гайаватой:
«Целься в темя, Гайавата,
Прямо в темя чародея,
В корни кос ударь стрелюю:
Только там и уязвим он!»

В легких перьях, в халцедоне,
Понеслась стрела-певунья
В тот момент, как Меджисогвон
Поднимал тяжелый камень,
И вонзилась прямо в темя,
В корни длинных кос вонзилась.
И споткнулся, зашатался
Меджисогвон, словно буйвол,
Да, как буйвол, пораженный
На лугу, покрытом снегом.

Вслед за первую стрелю
Полетела и вторая,
Понеслась быстрее первой,
Поразила глубже первой;
И колени чародея,
Как тростник, затрепетали,
Как тростник, под ним согнулись.

А последняя взвилась
Легче всех — и Меджисогвон
Увидал перед собою
Очи огненные смерти,
Услыхал из мрака голос,
Голос Погока призывный.
Без дыхания, без жизни
Пал могучий Меджисогвон
На песок пред Гайаватой.

Благодарный Гайавата
Взял тогда немного крови
И, позвав с сосны печальной
Дятла, выкрасил той кровью
На головке дятла гребень
За его услугу в битве;
И доньне Мэма носит
Хохолок из красных перьев.

После, в знак своей победы,
В память битвы с чародеем,
Он сорвал с него кольчугу
И оставил без призора
На песке прибрежном тело.
На песке оно лежало,
Погребенное по пояс,
Головой поникнув в воду,
А над ним кружился с криком
Боевой орел могучий,
Плавал медленно кругами,
Тихо, тихо вниз спускаясь.

Из вигвама чародея
Гайавата снес в пирогу

Все сокровища, весь вампум,
Снес меха бобров, бизонов,
Соболей и горностаев,
Нитки жемчуга, колчаны
И серебряные стрелы —
И поплыл домой, ликуя,
С громкой песнею победы.

Там к нему на берег вышли
Престарелая Нокомис,
Чайбайабос, мощный Квазинд;
А народ героя встретил
Пляской, пеньем, восклицая:
«Слава, слава Гайавате!
Побежден им Меджисогвон,
Побежден волшебник злобный!»

Навсегда остался дорог
Гайавате дятел, Мэма.
В честь его и в память битвы
Он свою украсил трубку
Хохолком из красных перьев,
Гребешком багровым Мэмы,
А богатство чародея
Разделил с своим народом,
Разделил по равной части.

СВАТОВСТВО ГАЙАВАТЫ

«Муж с женой подобен луку,
Луку с крепкой тетивой;
Хоть она его сгибает,
Но ему сама послушна,
Хоть она его и тянет,
Но сама с ним неразлучна;
Порознь оба бесполезны!»

Так раздумывал нередко
Гайавата и томился
То отчаяньем, то страстью,

То тревожною надеждой,
Предаваясь пылким грезам
О прекрасной Миннегаге
Из страны Дакотов диких.

Осторожная Нокомис
Говорила Гайавате:
«Не женись на чужеземке,
Не ищи жены по свету!
Дочь соседа, хоть простая, —
Что очаг в родном вигваме,
Красота же чужеземки —
Это лунный свет холодный,
Это звездный блеск далекий!»

Так Нокомис говорила.
Но разумно Гайавата
Отвечал ей: «О Нокомис!
Мил очаг в родном вигваме,
Но милей мне звезды в небе,
Ясный месяц мне милее!»

Строго старая Нокомис
Говорила: «Нам не нужно
Праздных рук и ног ленивых;
Приведи жену такую,
Чтоб работала с любовью,
Чтоб проворны были руки,
Ноги двигались охотно!»

Улыбаясь, Гайавата
Молвил: «Я в земле Дакотов
Стрелоделателя знаю;
У него есть дочь невеста,
Что прекрасней всех прекрасных;
Я введу ее в вигвам твой,
И она тебе в работе
Будет дочерью покорной,
Будет лунным, звездным светом,
Огоньком в твоём вигваме,
Солнцем нашего народа!»

Но опять свое твердила
Осторожная Нокомис:
«Не вводи в мое жилище
Чужеземку, дочь Дакота!
Злобны дикие Дакоты,
Часто мы воюем с ними,
Распри наши не забыты,
Раны наши не закрылись!»

Усмехаясь, Гайавата
И на это ей ответил:
«Потому-то и пойду я
За невестой в край Дакотов,
Для того пойду, Нокомис,
Чтоб окончить наши распри,
Залечить навеки раны!»

И пошел в страну красавиц,
В край Дакотов, Гайавата,
В путь далекий по долинам,
В тишине равнин пустынных,
В тишине лесов дремучих.

С каждым шагом делал мило
Он в волшебных мокасинах;
Но быстрее бежали мысли,
И дорога бесконечной
Показалась Гайавате!
Наконец, в безмолвье леса,
Услыхал он гул потоков,
Услыхал призывный грохот
Водопадов Миннегаги.
«О, как весел, — прошептал он, —
Как отраден этот голос,
Призывающий в молчанье!»

Меж деревьев, где играли
Свет и тени, он увидел
Стадо чуткое оленей.
«Не сплощай!» — сказал он луку,
«Будь верней!» — стреле промолвил,

И когда стрела-певунья,
Как оса, впилась в оленя,
Он взвалил его на плечи
И пошел еще быстрее.

У дверей в своем Вигваме,
Вместе с милой Миннегагой,
Стрелоделатель работал.
Он точил на стрелы яшму,
Халцедон точил блестящий,
А она плела в раздумье
Тростниковые циновки;
Все о том, что будет с нею,
Тихо девушка мечтала,
А старик о прошлом думал.

Вспоминал он, как, бывало,
Вот такими же стрелами
Поражал он на долинах
Робких ланей и бизонов,
Поражал в лугах зеленых
На лету гусей крикливых;
Вспоминал и о великих
Боевых отрядах прежних,
Покупавших эти стрелы.
Ах, уж нет теперь подобных
Славных воинов на свете!
Ныне воины что бабы:
Языком болтают только!

Миннегага же в раздумье
Вспоминала, как весною
Приходил к отцу охотник,
Спойный юноша-красавец
Из земли Оджибуэев,
Как сидел он в их вигваме,
А простившись, обернулся,
На нее взглянул украдкой.
Сам отец потом нередко
В нем хвалил и ум и храбрость.
Только будет ли он снова
К водопадам Миннегаги?

И в раздумье Миннегага
Вдаль рассеянно глядела,
Опускала праздно руки.

Вдруг почудился ей шорох,
Чья-то поступь в чаще леса,
Шум ветвей, — и чрез мгновение,
Разрумяненный ходьбою,
С мертвой ланью за плечами,
Стал пред нею Гайавата.

Строгий взор старик на гостя
Быстро вскинул от работы,
Но, узнавши Гайавату,
Отложил стрелу, поднялся
И просил войти в жилище.
«Будь здоров, о Гайавата!» —
Гайавате он промолвил.

Пред невестой Гайавата
Сбросил с плеч свою добычу,
Положил пред ней оленя;
А она, подняв ресницы,
Отвечала Гайавате
Кроткой лаской и приветом:
«Будь здоров, о Гайавата!»

Из оленьей крепкой кожи
Сделан был вигвам просторный,
Побелен, богато убран
И дакотскими богами
Разрисован и расписан.
Двери были так высоки,
Что, входя, едва нагнулся
Гайавата на пороге,
Чуть коснулся занавесок
Головой в орлиных перьях.

Встала с места Миннегага,
Отложив свою работу,
Принесла к обеду пищи,
За водой к ручью сходила
И стыдливо подавала

С пищей глиняные миски,
А с водой — ковши из липы.
После села, стала слушать
Разговор отца и гостя,
Но сама во всей беседе
Ни словечка не сказала!

Да, как будто сквозь дремоту
Услыхала Миннегага
О Нокомис престарелой,
Воспитавшей Гайавату,
О друзьях его любимых
И о счастье, о довольстве
На земле Оджибуэев,
В тишине долин веселых.

«После многих лет раздора,
Многих лет борьбы кровавой
Мир настал теперь в селеньях
Оджибуэев и Дакотов! —
Так закончил Гайавата,
А потом прибавил тихо: —
Чтобы этот мир упрочить,
Закрепить союз сердечный,
Закрепить навеки дружбу,
Дочь свою отдай мне в жены,
Отпусти в мой край родимый,
Отпусти к нам Миннегагу!»

Призадумался немного
Старец, прежде чем ответить,
Покурил в молчанье трубку,
Посмотрел на гостя гордо,
Посмотрел на дочь с любовью
И ответил очень важно:
«Это воля Миннегаги.
Как решишь ты, Миннегага?»

И смутилась Миннегага
И еще милей и краше
Стала в девичьем смущеньи.
Робко рядом с Гайаватой

Опустилась Миннегага
И, краснея, отвечала:
«Я пойду с тобою, муж мой!»

Так решила Миннегага!
Так сосватал Гайавата,
Взял красавицу невесту
Из страны Дакотов диких!

Из вигвама рядом с нею
Он пошел в родную землю.
По лесам и по долинам
Шли они рука с рукою,
Оставляя одиноким
Старика отца в вигваме,
Покидая водопады,
Водопады Миннегаги,
Что взывали издалека:
«Добрый путь, о Миннегага!»

А старик, простившись с ними,
Сел на солнышко к порогу
И, копаясь за работой,
Бормотал: «Вот так-то дочки!
Любишь их, лелешь, холишь,
А дождешься их опоры,
Глядь — уж юноша приходит,
Чужеземец, что на флейте
Поиграет да побродит
По деревне, выбирая
Покрасивее невесту, —
И простишь навеки с дочкой!»

Весел был их путь далекий
По холмам и по долинам,
По горам и по ущельям,
В тишине лесов дремучих!
Быстро время пролетало,
Хоть и тихо Гайавата
Шел теперь — для Миннегаги,
Чтоб она не утомилась.

На руках через стремнины
Нес он девушку с любовью, —
Легким перышком казалась
Эта ноша Гайавате.
В дебрях леса, под ветвями,
Он прокладывал тропинки,
На ночь ей шалаш построил,
Постелил постель из листьев
И развел костер у входа
Из сухих сосновых шишек.

Ветерки, что вечно бродят
По лесам и по долинам,
Путь держали вместе с ними;
Звезды чутко охраняли
Мирный сон их темной ночью;
Белка с дуба зорким взглядом
За влюбленными следила,
А Вабассо, белый кролик,
Убегал от них с тропинки
И, привстав на задних лапках,
Из норы глядел украдкой
С любопытством и со страхом.

Весел был их путь далекий!
Птицы сладко щебетали,
Птицы звонко пели песни
Мирной радости и счастья.
«Ты счастлив, о Гайавата,
С кроткой, любящей женою!» —
Пел Овейса синеперый.
«Ты счастлива, Миннегага,
С благородным, мудрым мужем!» —
Опечи пел красногрудый.

Солнце ласково глядело
Сквозь тенистые деревья,
Говорило им: «О дети!
Злоба — тьма, любовь — свет солнца,
Жизнь играет тьмой и светом, —
Правь любовью, Гайавата!»

Месяц с неба в час полночный
Заглянул в шалаш, наполнил
Мрак таинственным сияньем
И шепнул им: «Дети, дети!
Ночь тиха, а день тревожен;
Жены слабы и покорны,
А мужья властолюбивы, —
Правь терпеньем, Миннегага!»

Так они достигли дома,
Так в вигвам Нокомис старой
Возвратился Гайавата
Из страны Дакотов диких,
Из страны красивых женщин,
С Миннегагою прекрасной.
И была она в вигваме
Огоньком его вечерним,
Светом лунным, светом звездным,
Светлым солнцем для народа.

СВАДЕБНЫЙ ПИР ГАЙАВАТЫ

Стану петь, как По-Пок-Кивис,
Как красавец Йенадиззи
Танцевал под звуки флейты,
Как учтивый Чайбайабос,
Сладкогласный Чайбайабос
Песни пел любви-томленья
И как Ягу, дивный мастер
И рассказывать и хвастать,
Сказки сказывал на свадьбе,
Чтобы пир был веселее,
Чтобы время шло приятней,
Чтоб довольны были гости!

Пышный пир дала Нокомис,
Пышно праздновала свадьбу!
Чаши были все из липы,
Ярко-белые и с гляncем,

Ложки были все из рога,
Ярко-черные и с глянцем.

В знак торжественного пира,
Приглашения на свадьбу,
Всем соседям ветви ивы
В этот день она послала;
И соседи собралися
К пиру в праздничных нарядах,
В дорогих мехах и перьях,
В разноцветных ярких красках,
В пестром вампуме и бусах.

На пиру они сначала
Осепра и щуку ели,
Приготовленных Нокомис;
После — пимикан олений,
Пимикан и мозг бизона,
Горб быка и ляжку лани,
Рис и желтые лепешки
Из толченой кукурузы.

Но радушный Гайавата,
Миннегага и Нокомис
При гостях не сели к пище:
Только потчевали молча,
Только молча им служили.
А когда обед был кончен,
Хлопотливая Нокомис
Из большого меха выдры
Тотчас каменные трубки
Табакон набила южным,
Табакон с травой пахучей
И с корою красной ивы.

После ласково сказала:
«Протанцуй нам, По-Пок-Кивис,
Танец Нищего веселый,
Чтобы пир был веселее,
Чтобы время шло приятней,
Чтоб довольны были гости!»

И красавец По-Пок-Кивис,
Беззаботный Йенадиззи,
Озорник, всегда готовый
Веселиться и буянить,
Тотчас встал среди собрания.
Ловок был он в плясках, в танцах,
В состязаньях и забавах,
Смел и ловок в разных играх,
Даже в самых трудных играх!
На деревне По-Пок-Кивис
Сбыл пропащим человеком,
Игроком, лентяем, трусом;
Но насмешки и прозванья
Не смущали Йенадиззи:
Ведь зато он был красавец
И большой любимец женщин!

Он стоял в одежде белой
Из пушистой ланьей шкуры,
Окаймленной горностаем,
Густо вампумом расшитой
И ежовою щетиной;
В головном его уборе
Кольхался пух лебязий;
На козловых мокасинах
Красовались иглы, бисер
И хвосты лисиц — на пятках,
А в руках держал он трубку
И большое опахало.

Краской желтою и красной,
Краской алою и синей
Все лицо его сияло;
В косы, смазанные маслом,
И с пробором, как у женщин,
Вплетены гирлянды были
Из пахучих трав и листьев.
Вот как убран и наряжен
Встал красавец По-Пок-Кивис,
Встал при звуках флейт и песен,
Голосов и барабанов
И свой дивный танец начал.

Танцевал он прежде важно,
Выступая меж деревьев —
То под тенью, то на солнце —
Мягким шагом, как пантера;
После — все быстрее, быстрее
Закружился, завертелся,
Вкруг вигвама начал прыгать
Через головы сидящих
Так, что ветер, пыль и листья
Понеслись за ним кругами!

А потом вдоль Гитчи-Гюми,
По песчаному побережью,
Как безумный, он помчался,
Ударяя с дикой силой
Мокасинами о землю
Так, что ветер стал уж бурей,
Засвистал песок, вздымаясь,
Словно вьюга по пустыне,
И покрылося побережье
Все холмами Нэго-Воджу!
Так веселый По-Пок-Кивис
Танец Нищего окончил
И, окончив, возвратился
К месту пира, сел с гостями,
Сел, спокойно улыбаясь
И махая опахалом.

После друга Гайаваты,
Чайбайабоса, просили:
«Спой нам песню, Чайбайабос,
Песню страсти, песню неги,
Чтобы пир был веселее,
Чтобы время шло приятней,
Чтоб довольны были гости!»

И прекрасный Чайбайабос
Спел им нежно, сладкозвучно,
Спел в волнении глубоком
Песню страсти, песню неги;

Все смотря на Гайавату,
Все смотря на Миннегагу,
Тихо пел он эту песню:

«Онэвэ! Проснись, родная!
Ты, лесной цветочек дикий,
Ты, лугов зеленых птичка,
Птичка дикая, певунья!

Взор твой кроткий, взор косули,
Так отраден, так отраден,
Как роса для нежных лилий
В час вечерний на долине!

А твое дыханье сладко,
Как цветов благоуханье,
Как дыханье их зарею
В Месяц Падающих Листьев!

Не стремлюсь ли я всем сердцем
К сердцу милой, к сердцу милой,
Как ростки стремятся к солнцу
В тихий Месяц Светлой Ночи?

Онэвэ! Трепещет сердце
И поет тебе в восторге,
Как поют, вздыхают ветви
В ясный Месяц Земляники!

Загрустишь ли ты, родная, —
И мое темнеет сердце,
Как река, когда над нею
Облака бросают тени!

Улыбнешься ли, родная, —
Сердце вновь дрожит и блещет,
Как под солнцем блещут волны,
Что рябит холодный ветер!

Пусть улыбкою сияют
Небеса, земля и воды, —
Не могу я улыбаться,
Если милой я не вижу!

Я с тобой, с тобой! Взгляни же,
Кровь трепещущего сердца!
О, проснись! Проснись, родная!
Онэвэ! Проснись, родная!»

Так прекрасный Чайбайабос
Песню пел любви-томленья;
И хвастливый, старый Ягу,
Удивительный рассказчик,
Слушал с завистью, как гости
Восторгались сладким пеньем;
Но потом, по их улыбкам,
По глазам и по движениям
Увидал, что все собрание
С нетерпеньем ожидает
И его веселых басен,
Непомерно лживых сказок.

Очень был хвастлив мой Ягу!
В самых дивных приключениях,
В самых смелых предприятиях —
Всюду был героем Ягу:
Он узнал их не по слухам,
Он воочию их видел!

Если б только Ягу слушать,
Если б только Ягу верить,
То нигде никто из лука
Не стреляет лучше Ягу,
Не убил так много ланей,
Не поймал так много рыбы
Иль речных бобров в капканы.

Кто резвее всех в деревне?
Кто всех дальше может плавать?
Кто ныряет всех смелее?
Кто постранствовал по свету
И диковин насмотрелся?
Уж, конечно, это Ягу,
Удивительный рассказчик.

Имя Ягу стало шуткой
И пословицей в народе;
И когда хвастун-охотник
Чересчур охотой хвастал
Или воин завирался,
Возвратившись с поля битвы,
Все кричали: «Ягу, Ягу!
Новый Ягу появился!»

Это он связал когда-то
Из коры зеленой липы
Люльку жилами оленя
Для малютки Гайаваты.
Это он ему позднее
Показал, как надо делать
Лук из ясеня упругий,
А из сучьев дуба — стрелы.
Вот каков был этот Ягу,
Безобразный, старый Ягу,
Удивительный рассказчик!

И промолвила Нокомис:
«Расскажи нам, добрый Ягу,
Почудесней сказку, басню,
Чтобы пир был веселее,
Чтобы время шло приятней,
Чтоб довольны были гости!»

И ответил Ягу тотчас:
«Вы услышите сегодня
Повесть — дивное сказанье
О волшебнике Оссэо,
Что сошел с Звезды Вечерней!»

СЫН ВЕЧЕРНЕЙ ЗВЕЗДЫ

То не солнце ли заходит
Над равниной водяною?
Иль то раненый фламинго
Тихо плавает, летает,

Обагрят волны кровью,
Кровью, падающей с перьев,
Наполняет воздух блеском,
Блеском длинных красных перьев?

Да, то солнце утопает,
Погружаясь в Гитчи-Гюми;
Небеса горят багрянцем,
Воды блещут алой краской!
Нет, то плавает фламинго,
В волны красные ныряя;
К небесам простер он крылья
И окрасил волны кровью!

Огонек Звезды Вечерней
Таает, в пурпуре трепещет,
В полумгле висит над морем.
Нет, то вампум серебрится
На груди Владыки Жизни,
То Великий Дух проходит
Над темнеющим закатом!

На закат смотрел с восторгом
Долго, долго старый Ягу;
Вдруг воскликнул: «Посмотрите!
Посмотрите на священный
Огонек Звезды Вечерней!
Вы услышите сказанье
О волшебнике Оссэо,
Что сошел с Звезды Вечерней!

В незапамятные годы,
В дни, когда еще для смертных
Небеса и сами боги
Были ближе и доступней,
Жил на севере охотник
С молодыми дочерьми;
Десять было их, красавиц,
Стройных, гибких, словно ива,
Но прекрасней всех меж ними
Овини была, меньшая.

Вышли девушки все замуж,
Все за воинов отважных,
Овини одна не скоро
Жениха себе сыскала.
Своенравна и сурова,
Молчалива и печальна
Овини была — и долго
Женихов, красавцев юных,
Прогоняла прочь с насмешкой,
А потом взяла да вышла
За убогого Оссэо!
Нищий, старый, безобразный,
Вечно кашлял он, как белка.

Ах, но сердце у Оссэо
Было юным и прекрасным!
Он сошел с Звезды Заката,
Он был сын Звезды Вечерней,
Сын Звезды любви и страсти!
И огонь ее, и чары,
И краса, и блеск лучистый —
Все в груди его таилось,
Все в речах его сверкало!

Женихи, любовь которых
Овини отвергла гордо, —
Иенадиззи в ожерельях,
В пышных перьях, ярких красках
Насмехались над нею;
Но она им так сказала:
«Что за дело мне до ваших
Ожерелий, красок, перьев
И насмешек непристойных!
Я счастлива за Оссэо!»

Раз в ненастный, темный вечер
Шли веселою толпою
На веселый праздник сестры, —
Шли на званый пир с мужьями;
Тихо следовал за ними
С молодой женой Оссэо.

Все шутили и смеялись —
Эти двое шли в молчанье.

На закат смотрел Оссэо,
Взор подняв, как бы с мольбою;
Отставал, смотрел с мольбою
На Звезду любви и страсти,
На трепещущий и нежный
Огонек Звезды Вечерней;
И расслышали все сестры,
Как шептал Оссэо тихо:
«Ах, шовэн нэмэшин, Ноза! —
Сжался, сжался, о отец мой!»

«Слышишь? — старшая сказала. —
Он отца о чем-то просит!
Право, жаль, что старикашка
Не споткнется на дороге,
Головы себе не сломит!»
И смеялись сестры злобно
Непристойным, громким смехом.

На пути их, в дебрях леса,
Дуб лежал, погибший в бурю,
Дуб-гигант, покрытый мохом,
Полустгнивший под листвою,
Почерневший и дуплистый.
Увидав его, Оссэо
Испустил вдруг крик тоскливый
И в дупло, как в яму, прыгнул.
Старым, дряхлым, безобразным
Он упал в него, а вышел —
Сильным, стройным и высоким,
Статным юношей, красавцем!

Так вернулась к Оссэо
Красота его и юность;
Но — увы! — за ним мгновенно
Овини преобразилась!
Стала древнею старухой,
Дряхлой, жалкою старухой,
Поплелась с клюкой, согнувшись,

И смеялись все над нею
Непристойным, громким смехом.

Но Оссэо не смеялся,
Овини он не покинул,
Нежно взял ее сухую
Руку — темную, в морщинах,
Как дубовый лист зимою,
Называл своею милой,
Милым другом, Нинимуша,
И пришел с ней к месту пира,
Сел за трапезу в вигваме.
Тот вигвам в лесу построен
В честь святой Звезды Заката.

Очарованный мечтами,
На пиру сидел Оссэо.
Все шутили, веселились,
Но печален был Оссэо!
Не притронулся он к пище,
Не сказал ни с кем ни слова,
Не слышал речей веселых;
Лишь смотрел с тоской во взоре
То на Овини, то кверху,
На сверкающие звезды.

И пронесся тихий шепот,
Тихий голос, зазвучавший
Из воздушного пространства,
От далеких звезд небесных.
Мелодично, смутно, нежно
Говорил он: «О Оссэо!
О возлюбленный, о сын мой!
Тяготели над тобою
Чары злобы, темной силы,
Но разрушены те чары;
Встань, приходи ко мне, Оссэо!

Яств отведай этих дивных,
Яств вкуси благословенных,
Что стоят перед тобою;
В них волшебная есть сила:

Их вкусив, ты станешь духом;
Все твои котлы и блюда
Не простой посудой будут;
Серебром котлы заблещут,
Блюда — в вампум превратятся.
Будут все огнем светиться,
Блеском раковин пурпурных.

И спадет проклятье с женщин,
Иго тягостной работы:
В птиц они все превратятся,
Засияют звездным светом,
Ярким отблеском заката
На вечерних нежных тучках».

Так сказал небесный голос;
Но слова его понятны
Были только для Оссэо,
Остальным же он казался
Грустным пеньем Вавонэйсы,
Пеньем птиц во мраке леса,
В отдаленных чащах леса.

Вдруг жилище задрожало,
Зашаталось, задрожало,
И почувствовали гости,
Что возносятся на воздух!
В небеса, к далеким звездам,
В темноте ветвистых сосен,
Плыл вигвам, минуя ветви,
Миновал — и вот все блюда
Засияли алой краской,
Все котлы из сизой глины —
Вмиг серебряными стали,
Все шесты вигвама ярко
Засверкали в звездном свете,
Как серебряные прутья,
А его простая кровля —
Как жуков блестящих крылья.

Поглядел кругом Оссэо
И увидел, что и сестры

И мужа сестер-красавиц
В разных птиц все превратились:
Были тут скворцы с дроздами,
Были сойки и сороки,
И все прыгали, порхали,
Охорашивались, пели,
Щеголяли блеском перьев,
Распускали хвост, как веер.

Только Овини осталась
Дряхлой, жалкою старухой
И в тоске сидела молча.
Но, взглянувши вверх, Оссэо
Испустил вдруг крик тоскливый,
Вопль отчаянья, как прежде,
Над дуплистым старым дубом,
И мгновенно к ней вернулась
Красота ее и юность;
Все ее лохмотья стали
Белым мехом горносталя,
А клюка — пером блестящим,
Да, серебряным, блестящим!

И опять витвам поднялся,
В облаках поплыл прозрачных,
По воздушному теченью,
И пристал к Звезде Вечерней, —
На звезду спустился тихо,
Как снежинка на снежинку,
Как листок на волны речки,
Как пушок репейный в воду.

Там с приветливой улыбкой
Вышел к ним отец Оссэо,
Старец с кротким, ясным взором,
С серебристыми кудрями,
И сказал: «Повесь, Оссэо,
Клетку с птицами своими,
Клетку с пестрой птичьей стаей,
У дверей в моем витваме!»

У дверей повесив клетку,
Он вошел в вигвам с женою,
И тогда отец Оссэо,
Властелин Звезды Вечерней,
Им сказал: «О мой Оссэо!
Я мольбы твои услышал,
Возвратил тебе, Оссэо,
Красоту твою и юность,
Превратил сестер с мужьями
В разноперых птиц за шутки,
За насмешки над тобою.
Не сумел никто меж ними
Оценить в убогом старце,
В жалком образе калеки
Сердца пылкого Оссэо,
Сердца вечно молодого.
Только Овини сумела
Оценить тебя, Оссэо!

Там, на звездочке, что светит
От Звезды Вечерней влево,
Чародей живет, Вэбино,
Дух и зависти и злобы;
Превратил тебя он в старца.
Берегись лучей Вэбино:
В них волшебная есть сила —
Это стрелы чародея!»

Долго, в мире и согласье,
На Звезде Вечерней мирной
Жил с отцом своим Оссэо;
Долго в клетке над вигвамом
Птицы пели и порхали
На серебряных шесточках,
И супруга молодая
Родила Оссэо сына:
В мать он вышел красотою,
А в отца — дородным видом.

Мальчик рос, мужал с годами,
И отец, ему в утеху,
Сделал лук и стрел наделал,

Отворил большую клетку
И пустил всех птиц на волю,
Чтоб, стреляя в теток, в дядей,
Позабавился малютка.

Там и сям они кружились,
Наполняя воздух звонким
Пеньем счастья и свободы,
Блеском перьев разноцветных;
Но напруг свой лук упругий,
Запустил стрелу из лука
Мальчик, маленький охотник, —
И упала с ветки птичка,
В ярких перышках, на землю,
Насмерть раненная в сердце.

Но — о, чудо! — уж не птицу
Видит он перед собою,
А красавицу младую
С роковой стрелою в сердце!

Кровь ее едва упала
На священную планету,
Как разрушился чары,
И стрелок отважный, юный
Вдруг почувствовал, что кто-то
По воздушному пространству
В облаках его спускает
На зеленый, злачный остров
Посреди Большого Моря.

Вслед за ним блестящей стаей
Птицы падали, летали,
Как осеннею порою
Листья падают, пестрея,
А за птицами спустился
И вигвам с блестящей кровлей,
На серебряных стропилах,
И принес с собой Оссэо,
Овини принес с собою.

Вновь туп птицы превратились,
Получили образ смертных,
Образ смертных, но не рост их:
Все Пигмеями остались,
Да, Пигмеями — Пок-Вэджис,
И на острове скалистом,
На его прибрежных мелях
И доныне хороводы
Водят летними ночами
Под Вечернею Звездою.

Это их чертог блестящий
Виден в тихий летний вечер;
Рыбаки с побережья часто
Слышат их веселый говор,
Видят танцы в звездном свете».

Кончив свой рассказ чудесный,
Кончив сказку, старый Ягу
Всех гостей обвел глазами
И торжественно промолвил:
«Есть возвышенные души,
Есть непонятые люди!
Я знавал таких немало.
Зубоскалы их нередко
Даже на смех поднимают,
Но насмешники должны бы
Чаще думать об Оссэо!»

Очарованные гости
Повесть слушали с восторгом
И рассказчика хвалили,
Но шептались друг с другом:
«Неужель Оссэо — Ягу,
Мы же — тетушки и дяди?»

После снова Чайбайабос
Пел им песнь любви-томленья,
Пел им нежно, сладкозвучно
И с задумчивой печалью
Песню девушки, скорбящей
Об Алгонкине, о милome.

«Горе мне, когда о милом,
Ах, о милом я мечтаю,
Все о нем томлюсь-тоскую,
Об Алгонкине, о милом!

Ах, когда мы расставались,
Он на память дал мне вампум,
Белоснежный дал мне вампум,
Мой возлюбленный, Алгонкин!

«Я пойду с тобой, — шептал он, —
Ах, в твою страну родную;
О, позволь мне», — прошептал он,
Мой возлюбленный, Алгонкин!

«Далеко, — я отвечала, —
Далеко, — я прошептала, —
Ах, страна моя родная,
Мой возлюбленный, Алгонкин!»

Обернувшись, я глядела,
На него с тоской глядела,
И в мои глядел он очи,
Мой возлюбленный, Алгонкин!

Он один стоял под ивой,
Под густой плакучей ивой,
Что роняла слезы в воду,
Мой возлюбленный, Алгонкин!

Горе мне, когда о милом,
Ах, о милом я мечтаю,
Все о нем томлюсь-тоскую,
Об Алгонкине, о милом!»

Вот как праздновали свадьбу!
Вот как пир увеселяли:
По-Пок-Кивис — бурной пляской,
Ягу — сказкою волшебной,
Чайбайабос — нежной песней.
С песней кончился и праздник,
Разошлись со свадьбы гости

И оставили счастливых
Гайавату с Миннегагой
Под покровом темной ночи.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОЛЕЙ

Пой, о песнь о Гайавате,
Пой дни радости и счастья,
Безмятежные дни мира
На земле Оджибуэв!
Пой таинственный Мондамин,
Пой полей благословенье!

Погребен топор кровавый,
Погребен навеки в землю
Тяжкий, прозный томагаук;
Позабыты клики битвы, —
Мир настал среди народов.
Мирно мог теперь охотник
Строить белую пирогу,
На бобров капканы ставить
И ловить сетями рыбу;
Мирно женщины трудились:
Гнали сладкий сок из клена,
Дикий рис в лугах собирали
И выделявали кожи:

Вкруг счастливого селенья
Зеленели пышно нивы, —
Вырастал Мондамин стройный
В гляцевитых длинных перьях,
В золотистых мягких косах.
Это женщины весною
Обрабатывали нивы, —
Хоронили в землю маис
На равнинах плодородных;
Это женщины под осень
Желтый плащ с него срывали,
Обрывали косы, перья,
Как учил их Гайавата.

Раз, когда посев был кончен,
Рассудительный и мудрый
Гайавата обратился
К Миннегаге и сказал ей:
«Ты должна сегодня ночью
Дать полям благословенье;
Ты должна волшебным кругом
Обвести свои посевы,
Чтоб ничто им не вредило,
Чтоб никто их не коснулся!

В час ночной, когда все тихо,
В час, когда все тьмой покрыто,
В час, когда Дух Сна, Нэпавин,
Затворяет все вигвамы,
И ничье не слышит ухо,
И ничье не видит око, —
С ложа встань ты осторожно,
Все сними с себя одежды,
Обойди свои посевы,
Обойди кругом все нивы,
Только косами прикрыта,
Только тьмой ночной одета.

И обильней будет жатва;
От следов твоих на ниве
Круг останется волшебный,
И тогда ни ржа, ни черви,
Ни стрекозы, Куо-ни-ши,
Ни тарантул, Соббикаши,
Ни кузнечик, Па-пок-кина,
Ни могучий Вэ-мок-квана,
Царь всех гусениц мохнатых,
Никогда не переступят
Круг священный и волшебный!»

Так промолвил Гайавата;
А ворон голодных стая,
Жадный Кагаги, Царь-Ворон,
С шайкой черных мародеров
Отдыхали в ближней роще
И смеялись так, что сосны

Содрогались от смеха,
От зловещего их смеха
Над словами Гайаваты.
«Ах, мудрец, ах, заговорщик!» —
Говорили птицы громко.

Вот простерлась ночь немая
Над полями и лесами;
Вот и скорбный Вавонэйса
В темноте запел тоскливо,
Притворил Дух Сна, Нэпавин,
Двери каждого вигвама,
И во мраке Миннегага
Поднялась безмолвно с ложа;
Все сняла она одежды
И, окутанная тьмою,
Без смущенья и без страха
Обошла свои посеы,
Начертала по равнине
Круг волшебный и священный.

Только Полночь созерцала
Красоту ее во мраке;
Только смолкший Вавонэйса
Слышал тихое дыханье,
Трепет сердца Миннегаги;
Плотно мантией священной
Ночи мрак ее окутал,
Чтоб никто не мог хвастливо
Говорить: «Ее я видел!»

На заре, лишь день забрезжил,
Кагаги, Царь-Ворон, скликал
Шайку черных мародеров —
Всех дроздов, ворон и соек,
Что шумели на деревьях,
И бесстрашно устремился
На посеы Гайаваты,
На зеленую могилу,
Где покоился Мондамин.

«Мы Мондамина подыдем
Из его могилы тесной! —
Говорили мародеры. —
Нам не страшен след священный,
Нам не страшен круг волшебный,
Обведенный Миннегагой!»

Но разумный Гайавата
Все предвидел, все обдумал:
Слышал он, как издевались
Над его словами птицы.
«Ко, друзья мои, — сказал он, —
Ко, мой Кагаги, Царь-Ворон!
Ты с своею шайкой долго
Будешь помнить Гайавату!»

Он проснулся до рассвета,
Он для черных мародеров
Весь посев покрыл сетями,
Сам же лег в сосновой роще,
Стал в засаде терпеливо
Поджидать ворон и соек,
Поджидать дроздов и галок.

Вскоре птицами все поле
Запестрело и покрылось;
Дикой, шумною ватагой,
С криком, карканьем нестройным,
Принялись они за дело;
Но, при всем своем лукавстве,
Осторожности и знанье
Разных хитростей военных,
Не заметили, что скрыта
Недалеко их погибель,
И неожиданно очутились
Все в тенетах Гайаваты.

Грозно встал тогда он с места,
Грозно вышел из засады, —
И объял великий ужас
Даже самых храбрых пленных!

Без пощады истреблял он
Их направо и налево,
И десятками их трупы
На шестах высоких вешал
Вкруг посевов освященных
В знак своей кровавой мести!

Только Кагаги, Царь-Ворон,
Предводитель мародеров,
Пощажен был Гайаватой
И заложником оставлен.
Он понес его к вигваму
И веревкою из вяза,
Боевой веревкой пленных,
Привязал его на кровле.

«Кагаги, тебя, — сказал он, —
Как зачинщика разбоя,
Предводителя злодеев,
Оскорбивших Гайавату,
Я заложником оставляю:
Ты порукою мне будешь,
Что враги мои смирились!»

И остался черный пленник
Над вигвамом Гайаваты;
Злобно хмурился он, сидя
В блеске утреннего солнца,
Дико каркал он с досады,
Хлопал крыльями большими, —
Тщетно рвался на свободу,
Тщетно звал друзей на помощь.

Лето шло, и Шавондази
Посылал, вздыхая страстно,
Из полдневных стран на север
Негу пламенных лобзаний.
Рос и зрел на солнце маис
И во всем великолепии,
Наконец, предстал на нивах:
Нарядился в кисти, в перья,
В разноцветные одежды;

А блестящие початки
Налились сладким соком,
Засверкали из подсохших,
Разорвавшихся покровов.

И сказала Миннегага
Престарелая Нокомис:
«Вот и Месяц Листопада!
Дикий рис в лугах уж собран,
И готов к уборке маис;
Время нам идти на нивы
И с Мондамином бороться —
Снять с него все перья, кисти,
Снять наряд зелено-желтый!»

И сейчас же Миннегага
Вышла весело из дома
С престарелою Нокомис,
И они созвали женщин,
Молодежь к себе созвали,
Чтоб собирать созревший маис,
Чтоб лущить его початки.

Под душистой тенью сосен,
На траве лесной опушки
Старцы, воины сидели
И, покуривая трубки,
Важно, молча любовались
На веселую работу
Молодых людей и женщин,
Важно слушали в молчанье
Шумный говор, смех и пенье:
Словно Опечи на кровле,
Пели девушки на ниве,
Как сороки, стрекотали
И смеялись, точно сойки.

Если девушке счастливой
Попадался очень спелый,
Весь пурпуровый початок,
«Нэшка! — все крутом кричали. —

Ты счастливица — ты скоро
За красавца замуж выйдешь!»
«Уг!» — согласно отзывались
Из-под темных сосен старцы.

Если ж кто-нибудь на ниве
Находил кривой початок,
Вялый, ржавчиной покрытый,
Все смеялись, пели хором,
Шли, хромая и согнувшись,
Точно дряхлый старикашка,
Шли и громко пели хором:
«Вагэмин, степной воришка,
Пэмосэд, ночной грабитель!»

И звенело поле смехом;
А на кровле Гайаваты
Каркал Кагаги, Царь-Ворон,
Бился в ярости бессильной.
И на всех соседних елях
Раздавались, не смолкая,
Крики черных мародеров.
«Уг!» — с улыбкой отзывались
Из-под темных сосен старцы.

ПИСЬМЕНА

«Посмотри, как быстро в жизни
Все забвенью поглощает!
Блекнут славные преданья,
Блекнут подвиги героев;
Гибнут знания и искусство
Мудрых Мидов и Вэбинов,
Гибнут дивные виденья,
Грезы вещей Джосакидов!

Память о великих людях
Умирает вместе с ними;
Мудрость наших дней исчезнет,
Не достигнет до потомства,

К поколениям, что сокрыты
В тьме таинственной, великой
Дней безгласных, дней грядущих.

На гробницах наших предков
Нет ни знаков, ни рисунков.
Кто в могилах, — мы не знаем,
Знаем только — наши предки;
Но какой их род иль племя,
Но какой их древний тотем —
Бобр, Орел, Медведь, — не знаем;
Знаем только: «это предки».

При свиданье — с глазу на глаз
Мы ведем свои беседы;
Но, расставшись, мы вверяем
Наши тайны тем, которых
Посылаем мы друг к другу;
А посланники нередко
Искажают наши вести
Иль другим их открывают».

Так сказал себе однажды
Гайавата, размышляя
О родном своем народе
И бродя в лесу пустынном.

Из мешка он вынул краски,
Всех цветов он вынул краски
И на гладкой на бересте
Много сделал тайных знаков,
Дивных и фигур и знаков;
Все они изображали
Наши мысли, наши речи.

Гитчи Манито могучий
Как яйцо был нарисован;
Выдающиеся точки
На яйце обозначали
Все четыре ветра неба.
«Вездесущ Владыка Жизни» —
Вот что значил этот символ.

Гитчи Манито могучий,
Властелин всех Духов Злобы,
Был представлен на рисунке,
Как великий змей, Кинзэбик.
«Пресмыкается Дух Злобы,
Но лукав и изворотлив» —
Вот что значит этот символ.

Белый круг был знаком жизни,
Черный круг был знаком смерти;
Дальше шли изображения
Неба, звезд, луны и солнца,
Вод, лесов, и горных высей,
И всего, что населяет
Землю вместе с человеком.

Для земли нарисовал он
Краской линию прямую,
Для небес — дугу над нею,
Для восхода — точку слева,
Для заката — точку справа,
А для полдня — на вершине.
Все пространство под дугою
Белый день обозначало,
Звезды в центре — время ночи,
А волнистые полосы —
Тучи, дождь и непогоду.

След, направленный к вигваму,
Был эмблемой приглашенья,
Знаком дружеского пира;
Окровавленные руки,
Грозно поднятые кверху, —
Знаком гнева и угрозы.

Кончив труд свой, Гайавата
Показал его народу,
Разъяснил его значенье
И промолвил: «Посмотрите!
На могилах ваших предков
Нет ни символов, ни знаков.
Так пойдите, нарисуйте

Каждый — свой домашний символ,
Древний прадедовский тотем,
Чтоб грядущим поколениям
Можно было различать их».

И на столбиках могильных
Все тогда нарисовали
Каждый — свой фамильный тотем,
Каждый — свой домашний символ:
Журавля, Бобра, Медведя,
Черепашу или Оленя.
Это было указанием,
Что под столбиком могильным
Погребен начальник рода.

А пророки, Джосакиды,
Заклинатели, Вэбины,
И врачи недугов, Миды,
Начертали на бересте
И на коже много страшных,
Много ярких, разноцветных
И таинственных рисунков
Для своих волшебных гимнов:
Каждый был с глубоким смыслом,
Каждый символом был песни.

Вот Великий Дух, Создатель,
Озаряет светом небо;
Вот Великий Змей, Кинэбик,
Приподняв кровавый гребень,
Извиваясь, смотрит в небо;
Вот журавль, орел и филин
Рядом с вещим пеликаном;
Вот идущие по небу
Обезглавленные люди
И пронзенные стрелами
Трупы воинов могучих;
Вот поднявшиеся грозно
Руки смерти в пятнах крови,
И могилы, и герои,
Захватившие в объятья
Небеса и землю разом!

Таковы рисунки были
На коре и ланьей коже;
Песни битвы и охоты,
Песни Мидов и Вэбинов —
Все имело свой рисунок!
Каждый был с глубоким смыслом,
Каждый символом был песни.

Песнь любви, которой чары
Всех врачебных средств сильнее,
И сильнее заклинаний,
И опасней всякой битвы,
Не была забыта тоже.
Вот как в символах и знаках
Песнь любви изображалась:

Нарисован очень ярко
Человек багряной краской —
Музыкант, любовник пылкий.
Смысл таков: «Я обладаю
Дивной властью надо всеми!»

Дальше — он поет, играя
На волшебном барабане,
Что должно сказать: «Внемли мне!
Это мой ты слышишь голос!»

Дальше — эта же фигура,
Но под кровлею вигвама.
Смысл таков: «Я буду с милой.
Нет преград для пылкой страсти!»

Дальше — женщина с мужчиной,
Стоя рядом, крепко сжали
Руки с нежностью друг другу.
«Все твое я вижу сердце
И румянец твой стыдливый!» —
Вот что значил символ этот.

Дальше — девушка средь моря,
На клочке земли, средь моря;
Песня этого рисунка
Такова: «Пусть ты далеко!

Пусть нас море разделяет!
Но любви моей и страсти
Над тобой всеильны чары!»

Дальше — юноша влюбленный
К спящей девушке склонился
И, склонившись, тихо шепчет,
Говорит: «Хоть ты далеко,
В царстве Сна, в стране Молчанья,
Но любви ты слышишь голос!»

А последняя фигура —
Сердце в самой середине
Заколдованного круга.
«Вся душа твоя и сердце
Предо мной теперь открыты!» —
Вот что значил символ этот.

Так, в своих заботах мудрых
О народе, Гайавата
Научил его искусству
И письма и рисованья
На бересте глянцевиной,
На оленьей белой коже
И на столбиках могильных.

ПЛАЧ ГАЙАВАТЫ

Видя мудрость Гайаваты,
Видя, как он неизменно
С Чайбайабосом был дружен,
Злые духи утрашились
Их стремлений благородных
И, собравшись, заключили
Против них союз коварный.

Осторожный Гайавата
Говорил нередко другу:
«Брат мой, будь всегда со мною!
Духов Злых остерегайся!»

Но беспечный Чайбайабос
Только встряхивал кудрями,
Только нежно улыбался.
«О, не бойся, брат мой милый:
Надо мной бессильны Духи!» —
Отвечал он Гайавате.

Раз, когда зима покрывала
Синим льдом Большое Море
И метель, кружась, шипела
В почерневших листьях дуба,
Осыпала снегом ели,
И в снегу они стояли,
Точно белые вигвамы, —
Взявши лук, надевши лыжи,
Не внимая просьбам брата,
Не страшась коварных Духов,
Смело вышел Чайбайабос
На охоту за оленем.

Как стрела, олень рогатый
По Большому Морю мчался;
С ветром, снегом, словно буря,
Он преследовал оленя,
Позабыв в пылу охоты
Все советы Гайаваты.

А в воде сидели Духи,
Стерegli его в засаде,
Подломили лед коварный,
Увели певца в пучину,
Погребли в песках подводных.
Энктаги, владыка моря,
Вероломный бог Дакотов,
Утопил его в студеной,
Зыбкой бездне Гитчи-Гюми.

И с побережья Гайавата
Испустил такой ужасный
Крик отчаянья, что волки
На лугах завывали в страхе,
Встрепенулися бизоны,

А в горах раскаты грома
Эхом грянули: «Бэм-Вава!»

Черной краской лоб покрыл он,
Плащ на голову накинул
И в вигваме, полный скорби,
Семь недель сидел и плакал,
Однозвучно повторяя:

«Он погиб, он умер, нежный,
Сладкогласный Чайбайабос!
Он покинул нас навеки,
Он ушел в страну, где льются
Неземные песнопенья!
О мой брат! О Чайбайабос!»

И задумчивые пихты
Тихо веяли своими
Опахалами из хвои,
Из зеленой, темной хвои,
Над печальным Гайаватой;
И вздыхали и скорбели,
Утешая Гайавату.

И весна пришла, и рощи
Долго-долго поджидали,
Не придет ли Чайбайабос?
И вздыхал тростник в долине,
И вздыхал с ним Сибовиша.

На деревьях пел Овейса,
Пел Овейса синеперый:
«Чайбайабос! Чайбайабос!
Он покинул нас навеки!»

Опечи пел на вигваме,
Опечи пел красногрудый:
«Чайбайабос! Чайбайабос!
Он покинул нас навеки!»

А в лесу, во мраке ночи,
Раздавался заунывный,
Скорбный голос Вавонэйсы:

«Чайбайабос! Чайбайабос!
Он покинул нас навеки,
Сладкогласный Чайбайабос!»

Собрались тогда все Миды,
Джосакиды и Вэбины,
И, построив в чаще леса,
Близ вигвама Гайаваты,
Свой приют — Вигвам Священный,
Важно, медленно и молча
Все пошли за Гайаватой,
Взяв с собой мешки и сумки, —
Кожу выдр, бобров и рысей,
Где хранились корни, травы,
Исцелявшие недуги.

Услыхав их приближенье,
Перестал взывать он к другу,
Перестал стенать и плакать,
Не промолвил им ни слова,
Только плащ с лица откинул,
Смыл с лица печали краску,
Смыл в молчании глубоко
И к Священному Вигваму,
Как во сне, пошел за ними.

Там его поили зельем,
Наколдованным настоем
Из корней и трав целебных:
Нама-Вэск — зеленой мяты
И Вэбино-Вэск — сурепки,
Там над ним забили в бубны
И запели заклинанья,
Гимн таинственный запели:

«Вот я сам, я сам с тобою,
Я, Седой Орел могучий!
Собирайтесь и внимайте,
Белоперые вороны!
Гулкий гром мне помогает,
Дух незримый помогает,

Слышу всюду их призывы,
Голоса их слышу в небе!
Брат мой! Встань, исполнись силы,
Исцелись, о Гайавата!»

«Ги-о-га!» — весь хор ответил,
«Вэ-га-вэ!» — весь хор волшебный.

«Все друзья мои — все змеи!
Слушай — кожей соколиной
Я тряхну над головою!
Манг, нырок, тебя убью я,
Прострелю стрелою сердце!
Брат мой! Встань, исполнись силы,
Исцелись, о Гайавата!»

«Ги-о-га!» — весь хор ответил,
«Вэ-га-вэ!» — весь хор волшебный.

«Вот я, вот пророк великий!
Говорю — и сею ужас,
Говорю — и весь трепещет
Мой вигвам, Вигвам Священный!
А иду — свод неба гнется,
Содрогаясь подо мною!
Брат мой! Встань, исполнись силы,
Говори, о Гайавата!»

«Ги-о-га!» — весь хор ответил,
«Вэ-га-вэ!» — весь хор волшебный.

И, мешками потрясая,
Танцевали танец Мидов
Вкруг больного Гайаваты, —
И вскочил он, встрепенулся,
Исцелился от недуга,
От безумья лютой скорби!
Как уходит лед весною,
Миновали дни печали,
Как уходят с неба тучи,
Думы черные сокрылись.

После к другу Гайаваты,
К Чайбайабосу зывали,
Чтоб восстал он из могилы,
Из песков Большого Моря,
И настолько властны были
Заклинанья и призывы,
Что услышал Чайбайабос
Их в пучине Гитчи-Гюми,
Из песков он встал, внимая
Звукам бубнов, пенью гимнов,
И пришел к дверям вигвама,
Повинуясь заклинаньям.

Там ему, в дверную щелку,
Дали уголь раскаленный,
Нарекли его владыкой
В царстве духов, в царстве мертвых
И, прощаясь, приказали
Разводить костры для мертвых,
Для печальных их ночлегов
На пути в Страну Понима.

Из родимого селенья,
От родных и близких сердцу,
По зеленым чащам леса,
Как дымок, как тень, безмолвно
Удалился Чайбайабос.
Где касался он деревьев —
Не качались деревья,
Где ступал — трава не мялась,
Не шумела под ногами.

Так четыре дня и ночи
Шел он медленной стопою
По дороге всех усопших;
Земляникою усопших
На пути своем питался,
Переправился на дубе
Через печальную их реку,
По Серебряным Озерам
Плыл на Каменной Пироге,

И в Селения Блаженных,
В царство духов, в царство теней,
Принесло его течение.

На пути он много видел
Бледных духов, нагруженных,
Истомленных тяжелой ношей:
И одеждой, и оружием,
И горшками с раздавали
Что друзья им надавали
На дорогу в край Понима.

Горько жаловались духи:
«Ах, зачем на нас живые
Возлагают бремя это!
Лучше б мы пошли нагими,
Лучше б голод мы терпели,
Чем нести такое бремя! —
Истомил нас путь далекий!»

Гайавата же надолго
Свой родной вигвам оставил,
На Восток пошел, на Запад,
Поучал употребленью
Трав целебных и волшебных.
Так священное искусство
Врачевания недугов
В первый раз познали люди.

ПО-ПОК-КИВИС

Стану петь, как По-Пок-Кивис,
Как красавец Йенадиззи
Вздоражил всю деревню
Дерзкой удалью своею;
Как, спасаясь только чудом,
Он бежал от Гайаваты
И какой конец печальный
Был чудесным приключеньям.

На побережье Гитчи-Гюми,
Светлых вод Большого Моря,
На песчаном Нэго-Воджу
Жил красавец По-Пок-Кивис.
Это он во время свадьбы
Гайаваты с Миннегагой
Так безумно и разгульно
Танцевал под звуки флейты,
Это он в безумном танце
Накидал песок холмами
На побережье Гитчи-Гюми.

Заскучавши от безделья,
Вышел раз он из вигвама
И направился поспешно
Прямо к Ягу, где собиралась
Слушать сказки и преданья
Молодежь со всей деревни.

Старый Ягу в это время
Забавлял гостей рассказом
Об Оджиге, о кунице:
Как она пробила небо,
Как вскарабкалась на небо,
Лето выпустила с неба;
Как сначала подвиг этот
Совершить пыталась выдра,
Как барсук с бобром и рысью
На вершины гор взбирались,
Бились в небо головами,
Бились лапами, но небо
Только трескалось над ними;
Как отважилась на подвиг,
Наконец, и росомаха.

«Подскочила росомаха, —
Говорил гостям рассказчик, —
Подскочила — и над нею
Так и вздулся свод небесный,
Словно лед в реке весной!
Подскочила снова — небо
Гулко треснуло над нею,

Словно льдина в половодье!
Подскочила напоследок —
Небо вдребезги разбила,
Скрылась в небе, а за нею
И Оджиг в одно мгновенье
Очутилася на небе!»

«Слушай! — крикнул По-Пок-Кивис,
Появляясь на пороге. —
Надоели эти сказки!
Надоели хуже мудрых
Поучений Гайаваты!
Мы отыщем для забавы
Кое-что получше сказок».

Тут, торжественно раскрывши
Свой кошель из волчьей кожи,
По-Пок-Кивис вынул чашу
И фигуры Погасэна:
Томагаук, Поггэвогон,
Рыбку маленькую, Киго,
Пару змей и пару пешек,
Три утенка и четыре
Медных диска, Озавабик.
Все фигуры, кроме дисков,
Темных сверху, светлых снизу,
Были сделаны из кости
И покрыты яркой краской, —
Красной сверху, белой снизу.

Положив фигуры в чашу,
Он встряхнул, перемешал их,
Кинул наземь пред собою
И выкрикивал, что вышло:
«Красным кверху пали кости,
А змея, Кинэбик, стала
На блестящем медном диске;
Счетом сто и тридцать восемь!»

И опять смешал фигуры,
Положил опять их в чашу,
Кинул наземь пред собою

И выкрикивал, что вышло:
«Белым кверху пали змеи,
Белым кверху пали пешки,
Красным — прочие фигуры;
Пятьдесят и восемь счетом!»

Так учил их По-Пок-Кивис,
Так, играя для примера,
Он метал и объяснял им
Все приемы Погасэна.
Двадцать глаз за ним следили,
Разгораясь любопытством.

«Много игр, — промолвил Ягу, —
Много игр, опасных, трудных,
В разных странах, в разных землях
На своем веку я видел.
Кто играет с старым Ягу,
Должен быть на редкость ловок!
Не хвались, По-Пок-Кивис!
Будешь ты сейчас обыгран,
Жестоко наказан мною!»

Началась игра, и дико
Увлечлись игрою гости!
На одежду, на оружие,
До полночи, до рассвета,
Старики и молодые —
Все играли, все метали,
И лукавый По-Пок-Кивис
Обыграл их без пощады!
Взял все лучшие одежды,
Взял оружие боевое,
Пояса и ожерелья,
Перья, трубки и кисеты!
Двадцать глаз пред ним сверкали,
Как глаза волков голодных.

Напоследок он промолвил:
«Я в товарище нуждаюсь:
В путешествиях и дома

Я всегда один, и нужен
Мне помощник, Мэшинова,
Кто б носил за мною трубку.
Весь мой выигрыш богатый —
Все меха и украшения,
Все оружие и перья —
Все в один я кон поставлю
Вот на этого красавца!»
То был юноша высокий
По шестнадцатому году,
Сирота, племянник Ягу.

Как огонь сверкает в трубке,
Под седой золой краснея,
Засверкали взоры Ягу
Под нависшими бровями.
«Уг!» — ответил он свирепо.
«Уг!» — ответили и гости.

И, костлявыми руками
Стиснув чашу роковую,
Ягу с яростью подбросил
И рассыпал вокруг фигуры.

Красным кверху пали пешки,
Красным кверху пали змеи,
Красным кверху и утята,
Озавабики — все черным,
Белым только рыбка, Киго;
Только пять всего по счету!

Улыбаясь, По-Пок-Кивис
Положил фигуры в чашу,
Ловко вскинул их на воздух
И рассыпал пред собою:
Красной, белой, черной краской
На земле они блестели,
А меж ними встала пешка,
Встал Инайнивэг, подобно
По-Пок-Кивису красавцу,
Говорившему с улыбкой:
«Пять десятков! Всё за мною!»

Двадцать глаз горели злобой,
Как глаза волков голодных,
В тот момент, как По-Пок-Кивис
Встал и вышел из вигвама,
А за ним племянник Ягу,
Стройный юноша высокий,
Уносил оленье кожи,
Горностаевые шубы,
Пояса и ожерелья,
Перья, трубки и оружие!

«Отнеси мою добычу
В мой вигвам на Нэго-Воджу!» —
Властно молвил По-Пок-Кивис,
Пышным веером играя.

От игры и от куренья
У него горели веки,
И отраднo грудь дышала
Летней утренней прохладой.
В рощах звонко пели птицы,
По лугам ручьи шумели,
А в груди у Йенадиззи
Пело сердце от восторга,
Пело весело, как птица,
Билось гордо, как источник.
Гордо шел он по деревне
В сером сумраке рассвета,
Пышным веером играя,
И прошел по всей деревне
До последнего вигвама,
До жилища Гайаваты.

Тишина была в вигваме.
На порог никто не вышел
К По-Пок-Кивису с приветом;
Только птицы у порога
Пели, прыгали, порхали,
Там и сям собирая зерна;
Только Кагаги с вигвама
Встретил гостя хриплым криком,

С криком крыльями захопал,
Взором огненным сверкая.

«Все ушли! Жилище пусто! —
Так промолвил По-Пок-Кивис,
Замышляя злую шутку. —
Нет ни глупой Миннегаги,
Ни хозяина, ни бабки;
Тут теперь что хочешь делай!»

Стиснув ворона за горло,
Он вертел им, как трещоткой,
Как мешком с травой целебной,
Придушил его и бросил,
Чтоб висел он над вигвамом,
На позор его владельцу,
На позор для Гайаваты.

А потом вошел в жилище,
Раскидал кругом порога
Всю хозяйственную утварь,
Раскидал куда попало
Все котлы, горшки и миски,
Мех бобров и горностаев,
Шкуры буйволов и рысей,
На позор Нокомис старой,
На позор для Миннегаги.

Беззаботно напевая
И посвистывая белкам,
Шел он по лесу, а белки
Грызли желуди на ветках,
Шелухой в него кидали;
Беззаботно пел он птицам,
И за темною листвою
Так же весело и звонко
Отвечали пеньем птицы.

Со скалистого побережья
Он смотрел на Гитчи-Гюми,
Лег на самом видном месте
И с злорадством дожидался
Возвращения Гайаваты.

На спине, раскинув руки,
Он дремал в полдневном зное.
Далеко под ним плескались,
Омывали берег волны,
Высоко над ним сияло
Голубою бездной небо,
А кругом носились птицы,
Стаи птиц носились с криком
И почти что задевали
По-Пок-Кивиса крылами.

Он убил их много-много,
Он десятками швырял их
Со скалистого побережья
Прямо в волны Гитчи-Гюми.
И Кайошк, морская чайка,
Наконец вскричала громко:
«Это дерзкий По-Пок-Кивис!
Это он нас избивает!
Где же брат наш, Гайавата?
Известите Гайавату!»

ПОГОНЯ ЗА ПО-ПОК-КИВИСОМ

Гневом вспыхнул Гайавата,
Возвратившись на деревню,
Увидав народ в смятенье,
Услыхавши, что наделал
Дерзкий, хитрый По-Пок-Кивис.

Задыхался он от гнева;
Злобно стискивая зубы,
Он шептал врагу проклятья,
Бормотал, гудел, как шершень.
«Я убью его, — сказал он, —
Я убью, найду злодея!
Как бы ни был путь мой долог,
Как бы ни был путь мой труден,
Гнев мой все преодолееет,
Месть моя врага достигнет!»

Тотчас кликнул он соседей
И поспешно устремился
По следам его в погоню, —
По лесам, где проходил он
На побережье Гитчи-Гюми;
Но никто врага не встретил:
Отыскали только место
На траве, в кустах черники,
Где лежал он, отдыхая,
И примял цветы и травы.

Вдруг на Мускодэ зеленой,
На долине под горами,
Показался По-Пок-Кивис:
Сделав дерзкий знак рукою,
На бегу он обернулся,
И с горы, ему вдогонку,
Громко крикнул Гайавата:
«Как бы ни был путь мой долог,
Как бы ни был путь мой труден,
Гнев мой все преодолеет,
Месть моя тебя настигнет!»

Через скаль, через реки,
По кустарникам и чащам
Мчался хитрый По-Пок-Кивис,
Прыгал, словно антилопа.
Наконец остановился
Над прудом в лесной долине,
На плотине, возведенной
Осторожными бобрами,
Над разлившимся потоком,
Над затоном полусонным,
Где в воде росли деревья,
Где кувшинчики желтели,
Где камыш шептал, качаясь.

Над затоном По-Пок-Кивис
Стал на гать из пней и сучьев;
Сквозь нее вода сочилась,
А по ней ручьи бежали;

И со дна пруда к плотине
Выплыл бобр и стал большими,
Удивленными глазами
Из воды смотреть на гостя.

Над затоном По-Пок-Кивис
Пред бобром стоял в раздумье,
По ногам его струились
Ручейки серебристой влагой,
И с бобром заговорил он,
Так сказал ему с улыбкой:
«О мой друг Амик! Позволь мне
Отдохнуть в твоём вигваме,
Отдохнуть в воде прохладной, —
Преврати меня в Амика!»

Осторожно бобр ответил,
Помолчал и так ответил:
«Дай я с прочими бобрами
Посоветуюсь сначала».
И, ответив, опустил ся,
Как тяжёлый камень, в воду,
Скрылся в чаще темно-бурых
Тростников и листьев лилий.

Над затоном По-Пок-Кивис
Ждал бобра на зыбкой гати;
Ручейки с невнятным плеском
По ногам его бежали,
Серебристыми струями
С гати падали на камни
И спокойно разливались
Меж камнями по долине;
А кругом листвою зеленой
Лес шумел, качались ветви,
И сквозь ветви свет и тени,
По земле скользя, играли.

Не спеша, поодиночке
Собрались бобры к плотине;
Осторожно показалась
Голова, потом другая,

Наконец весь пруд широкий
Рыльца черные покрыли,
Лоснясь в ярком блеске солнца.

И к бобрам с улыбкой хитрой
Обратился По-Пок-Кивис:
«О друзья мои! Покойно,
Хорошо у вас в вигвамах!
Все вы опытные и мудры,
Все на выдумки искусны,
Превратите же скорее
И меня в бобра, Амика!»

«Хорошо! — Амик ответил,
Царь бобров, Амик, ответил. —
Опускайся с нами в воду,
Опускайся в пруд с бобрами!»

Молча в тихий пруд с бобрами
Опустился По-Пок-Кивис.
Черной, гладкой и блестящей
Стала вся его одежда,
А хвосты лисиц на пятках
В толстый черный хвост слилися,
И бобром стал По-Пок-Кивис.

«О друзья мои, — сказал он, —
Я хочу быть выше, больше,
Больше всех бобров на свете». —
«Хорошо, — Амик ответил, —
Вот когда придем в жилище,
В наш вигвам на дне потока,
В десять раз ты станешь больше».

Так под темною водою
Шел с бобрами По-Пок-Кивис,
Под водою, где лежали
Ветви, пни и груды корма,
И пришел с бобрами к арке,
Что вела в вигвам обширный.

Там опять он превратился,
В десять раз стал выше, больше,
И бобры ему сказали:
«Будь у нас вождем отныне,
Будь над нами властелином».

Но недолго По-Пок-Кивис
Мог почетом наслаждаться:
Бобр, поставленный на страже
В чаще шпажников и лилий,
Вдруг воскликнул: «Гайавата!
Гайавата на плотине!»

Вслед за этим раздалися
На плотине крики и топот,
Треск валежника и топот,
А вода заволновалась,
Стала падать, понижаться,
И бобры поняли в страхе,
Что плотина прорвалась.

С треском рухнула и крыша
Их просторного вигвама;
В щели крыши засверкало
Солнце яркими лучами,
И бобры поспешно скрылись
Под водой, где было глубже;
Но могучий По-Пок-Кивис
Не пролез за ними в двери:
Он от гордости и пищи,
Как пузырь, распух, раздулся.

В щели крыши Гайавата
На него смотрел и громко
Восклидал: «О По-Пок-Кивис!
Тщетны все твои уловки,
Бесполезны превращенья, —
Не спасешься, По-Пок-Кивис!»

Без пощады колотили
По-Пок-Кивиса дубины,
Молотили, словно маис,
На куски разбили череп,

Шесть охотников высоких
Положили на носилки,
Повесли его в деревню;
Но не умер По-Пок-Кивис,
Джиби, дух его, не умер.

Он барахтался, метался,
Изгибаясь и качаясь,
Как дверные занавески
Изгибаются, качаясь,
Если ветер дует в двери,
И опять собрался с силой,
Принял образ человека,
Встал и в бегство устремился
По-Пок-Кивисом лукавым.

Но от взоров Гайаваты
Не успел в лесу он скрыться;
В голубой и мягкий сумрак
Под ветвями дальних сосен,
К светлой просеке за ними
Вихрем мчался По-Пок-Кивис,
Нагибая ветви с шумом,
Но сквозь шум ветвей он слышал,
Что его, как бурный ливень,
Настигает Гайавата.

Задыхаясь, По-Пок-Кивис,
Наконец, остановился
Перед озером широким,
По которому средь лилий,
В тростниках, меж островами,
Тихо плавали казарки,
То скрываясь в тень деревьев,
То сверкая в блеске солнца,
Подымая кверху клювы,
Глубоко ныряя в воду.

«Пишнэкэ! — воскликнул громко
По-Пок-Кивис. — Превратите
Поскорей меня в казарку,
Только в самую большую, —

В десять раз сильней и больше,
Чем другие все казарки!»

Но едва они успели
Превратить его в казарку —
В исполинскую казарку
С круглой лоснящейся грудью,
С парой темных мощных крыльев
И с большим широким клювом, —
Как из леса с громким криком
Стал пред ними Гайавата!

С громким криком поднялся
И казарки над водою,
Поднялся шумной стаей
Из озерных трав и лилий
И сказали: «По-Пок-Кивис!
Будь теперь поосторожней —
Берегись смотреть на землю,
Чтобы не было несчастья,
Чтоб беды не приключилось!»

Смело путь они держали,
Путь на дальний, дикий север,
Пролетали то в тумане,
То в сиянье ярком солнца,
Ночевали и кормились
В камышах болот пустынных
И с зарей пустились дальше.
Плавню мчал их южный ветер,
Дул свежо и сильно в крылья.

Вдруг донесся к ним неясный,
Отдаленный шум и говор,
Донеслись людские речи
Из селения под ними:
То народ с земли дивился
На невиданные крылья
По-Пок-Кивиса-казарки, —
Эти крылья были шире,
Чем дверные занавески.

По-Пок-Кивис слышал крики,
Слышал голос Гайаваты,
Слышал громкий голос Ягу,
Позабыл совет казарок,
С высоты взглянул на землю —
И в одно мгновенье ветер
Подхватил его, смял крылья
И понес, вертя, на землю.

Тщетно справиться хотел он,
Тщетно думал удержаться!
Вихрем падая на землю,
Он порой то землю видел,
То казарок в синем небе,
Видел, что земля все ближе,
А простор небес — все дальше,
Слышал громкий смех и говор,
Слышал крики все яснее,
Потерял из глаз казарок,
Увидал внизу вигвамы
И с размаху пал на землю, —
С тяжким стуком средь народа
Пала мертвая казарка!

Но его лукавый Джиби,
Дух его, в одно мгновенье
Принял образ человека,
По-Пок-Кивиса красавца,
И опять пустился в бегство,
И опять за ним в погоню
Устремился Гайавата,
Воскликая: «Как бы ни был
Путь мой долог и опасен,
Гнев мой все преодолет,
Мечь моя тебя настигнет!»

В двух шагах был По-Пок-Кивис,
В двух шагах от Гайаваты,
Но мгновенно закружился,
Поднял вихрем пыль и листья
И исчез в дупле дубовом,

Перекинулся змеєю,
Проскользнул змеей под корни.

Быстро правою рукою
Искрошил весь дуб на щепки
Гайавата, — но напрасно!
Вновь лукавый По-Пок-Кивис
Принял образ человека
И помчался в бурном вихре
К Живописным Скалам красным,
Что с побережья озирают
Всю страну и Гитчи-Гюми.

И Владыка Гор могучий,
Горный Манито могучий
Распахнул пред ним ущелье,
Распахнул широко пропасть, —
Скрыл его от Гайаваты
В мрачном каменном жилище,
Ввел его с радушной лаской
В тьму своих пещер угрюмых.

А снаружи Гайавата,
Пред закрытым входом стоя,
Рукавицей, Минджикэвон,
Пробивал в горе пещеры
И кричал в великом гневе:
«Отопри! Я Гайавата!»
Но Владыка Гор не отпер,
Не ответил Гайавате
Из своих пещер безмолвных,
Из скалистой мрачной бездны.

И простер он руки к небу,
Призывая Эннэмики
И Вэвэссимо на помощь,
И пришли они во мраке,
С ночью, с бурей, с ураганом,

Пронеслись по Гитчи-Гюми
С отдаленных Гор Громовых,
И услышал По-Пок-Кивис
Тяжкий грохот Эннэмики,
Увидал он блеск огнистый
Глаз Вэвэссимо и в страхе
Задрожал и притаился.

Тяжкой палицей своею
Скалы молний разбила
Над преддверием пещеры,
Грянул гром в ее средину,
Говоря: «Где По-Пок-Кивис?» —
И рассыпались утесы,
И среди развалин мертвым
Пал лукавый По-Пок-Кивис,
Пал красавец Йенадиззи.

Благородный Гайавата
Вынул дух его из тела
И сказал: «О По-Пок-Кивис!
Никогда уж ты не примешь
Снова образ человека,
Никогда не будешь больше
Танцевать с беспечным смехом,
Но высоко в синем небе
Будешь ты парить и плавать,
Будешь ты Киню отныне —
Боевым Орлом могучим!»

И живут с тех пор в народе
Песни, сказки и преданья
О красавце Йенадиззи;
И зимой, когда в деревне
Вихри снежные гуляют,
А в трубе вигвама свищет,
Завывает буйный ветер, —
«Это хитрый По-Пок-Кивис
В пляске бешеной несется!» —
Говорят друг другу люди.

СМЕРТЬ КВАЗИНДА

Далеко прошел по свету
Слух о Квазинде могучем:
Он соперников не ведал,
Он себе не ведал равных.
И завистливое племя
Злобных Гномов и Пигмеев,
Злобных духов Пок-Уэджис,
Погубить его решило.

«Если этот дерзкий Квазинд,
Ненавистный всем нам Квазинд,
Поживет еще на свете,
Все губя, уничтожая,
Удивляя все народы
Дивной силою своею, —
Что же будет с Пок-Уэджис? —
Говорили Пок-Уэджис. —
Он растопчет нас, раздавит,
Он подводным злобным духам
Всех нас кинет на съеденье!»

Так, пылая лютой злобой,
Совещались Пок-Уэджис
И убить его решили,
Да, убить его — избавить
Мир от Квазинда навеки!

Сила Квазинда и слабость
Только в темени таилась:
Только в темя можно было
Насмерть Квазинда поранить,
Но и то одним оружием —
Голубой еловой шишкой.
Роковая тайна эта
Не была известна смертным,
Но коварные Пигмеи,
Пок-Уэджис, знали тайну,
Знали, как врага осилить.

И они набрали шишек,
Голубых еловых шишек
По лесам над Таквамино,
Отнесли их и сложили
На ее высокий берег,
Там, где красные утесы
Нависают над водою.
Сами спрятались и стали
Поджидать врага в засаде.

Было это в полдень летом;
Тих был сонный знойный воздух,
Неподвижно спали тени,
В полусне река струилась;
По реке, блестя на солнце,
Насекомые скользили,
В знойном воздухе далеко
Раздавалось их жужжанье,
Их напевы боевые.

По реке плыл мощный Квазинд,
По теченью плыл лениво,
По дремотной Таквамино
Плыл в березовой пироге,
Истомленный тяжким зноем,
Усыпленный тишиною.

По ветвям, к реке склоненным,
По кудрям берез плакучих,
Осторожно опустился
На него Дух Сна, Нэпавин;
В сонме спутников незримых,
Во главе воздушной рати,
По ветвям сошел Нэпавин,
Бирюзовой Дэш-кво-ни-ши,
Стрекозою, стал он тихо
Над пловцом усталым реять.

Квазинд слышал чей-то шепот,
Смутный, словно вздохи сосен,
Словно дальний ропот моря,
Словно дальний шум прибоя,

И почувствовал удары
Томагауков воздушных,
Поражавших прямо в темя,
Управляемых несметной
Ратью Духов Сна незримых.

И от первого удара
Обняла его дремота,
От второго — он бессильно
Опустил весло в пирогу,
После третьего — окрестность
Перед ним покрылась тьмою:
Крепким сном забылся Квазинд.

Так и плыл он по теченью, —
Как слепой, сидел в пироге,
Сонный плыл по Таквамино,
Под прибрежными лесами,
Мимо трепетных березок,
Мимо вражеской засады,
Мимо лагеря Пигмеев.

Градом сыпались шишки,
Голубые шишки елей
В темя Квазинда с побережья.
«Смерть врагу!» — раздался громкий
Боевой крик Пок-Уэджис.

И упал на борт пироги
И свалился в реку Квазинд,
Головою вниз, как выдра,
В воду сонную свалился,
А пирога, кверху килем,
Поплыла одна, блуждая
По теченью Таквамино.

Так погиб могучий Квазинд.
Но хранилось долго-долго
Имя Квазинда в народе,
И когда в лесах зимою
Бушевали, выли бури,
С треском гнули и ломали

Ветви стонущих деревьев, —
«Квазинд! — люди говорили. —
Это Квазинд собирает
На костер себе валежник!»

ПРИВИДЕНИЯ

Никогда хохлатый коршун
Не спускается в пустыне
Над пораненным бизоном
Без того, чтоб на добычу
И второй не опустился;
За вторым же в синем небе
Тотчас явится и третий,
Так что вскорости от крыльев
Собирающейся стаи
Даже воздух потемнеет.

И беда одна не ходит;
Сторожат друг друга беды;
Чуть одна из них нагрянет, —
Вслед за ней спешат другие
И, как птицы, вьются, вьются
Черной стаей над добычей,
Так что белый свет померкнет
От отчаянья и скорби.

Вот опять на хмурый север
Мощный Пибоан вернулся!
Ледяным своим дыханьем
Превратил он воды в камень
На реках и на озерах,
С кос стряхнул он хлопья снега,
И поля покрылись белой,
Ровной снежной пеленою,
Будто сам Владыка Жизни
Сгладил их рукой своею.

По лесам, под песни вьюги,
Зверолов бродил на лыжах;

В деревнях, в вигвамах теплых,
Мирно женщины трудились,
Молотили кукурузу
И выдывали кожи;
Молодежь же проводила
Время в играх и забавах,
В танцах, в беганье на лыжах.

Темным вечером однажды
Престарелая Нокомис
С Миннегагою сидела
За работою в вигваме,
Чутко слушая в молчанье,
Не идет ли Гайавата,
Запоздавший на охоте.

Свет костра багряной краской
Разрисовывал их лица,
Трепетал в глазах Нокомис
Серебристым лунным блеском,
А в глазах у Миннегаги —
Блеском солнца над водою;
Дым, клубами собираясь,
Уходил в трубу над ними,
По углам вигвама тени
Изгибались за ними.

И открылась тихо-тихо
Занавеска над порогом;
Ярче пламя запылало,
Дым сильней заволновался —
И две женщины безмолвно,
Без привета и без зова,
Чрез порог переступили,
Проскользнули по вигваму
В самый дальний, темный угол,
Сели там и притаились.

По обличью, по одежде
Это были чужеземки;
Бледны, мрачны были обе,

И с безмолвною тоскою,
Содрогаясь, как от стужи,
Из угла они глядели.

То не ветер ли полночный
Загудел в трубе вигвама?
Не сова ли, Куку-кугу,
Застонала в мрачных соснах?
Голос вдруг изрек в молчанье:
«Это мертвые восстали,
Это души погребенных
К вам пришли из Стран Понима,
Из страны Загробной Жизни!»

Скоро из лесу, с охоты,
Возвратился Гайавата,
Весь осыпан белым снегом
И с оленем за плечами.
Перед милой Миннегагой
Он сложил свою добычу
И теперь еще прекрасней
Показался Миннегаге,
Чем в тот день, когда за нею
Он пришел в страну Дакотов,
Положил пред ней оленя,
В знак своих желаний тайных,
В знак своей любви сердечной.

Положив, он обернулся,
Увидал в углу двух женщин
И сказал себе: «Кто это?
Странны гости Миннегаги!»
Но спрашивать не стал их,
Только с ласковым приветом
Попросил их разделить с ним
Кров его, очаг и пищу.

Гости бледные ни слова
Не сказали Гайавате;
Но когда готов был ужин
И олень уже разрезан,

Из угла они вскочили,
Завладели лучшей долей,
Долей милой Миннегаги,
Не спросясь, схватили дерзко
Нежный, белый жир оленя,
Съели с жадностью, как звери,
И опять забились в угол,
В самый дальний, темный угол.

Промолчала Миннегага,
Промолчал и Гайавата,
Промолчала и Нокомис;
Лица их спокойны были.
Только Миннегага тихо
Прошептала с состраданьем,
Говоря: «Их мучит голод;
Пусть берут, что им по вкусу,
Пусть едят, — их мучит голод».

Много зорь зажглось, погасло,
Много дней стряхнули ночи,
Как стряхают хлопья снега
Сосны темные на землю;
День за днем сидели молча
Гости бледные в вигваме;
Ночью, даже в непогоду,
В ближний лес они ходили,
Чтоб набрать сосновых шишек,
Чтоб набрать ветвей для топки,
Но едва светало, снова
Появлялись в вигваме.

И всегда, когда с охоты
Возвращался Гайавата,
В час, когда готов был ужин
И олень уже разрезан,
Гости бледные бесшумно
Из угла к нему кидались,
Не спросясь, хватали жадно
Нежный, белый жир оленя, —
Долю милой Миннегаги, —
И скрывались в темный угол.

Никогда не упрекнул их
Даже взглядом Гайавата,
Никогда не возмутилась
Престарелая Нокомис,
Никогда не показала
Недовольства Миннегага;
Все они терпели молча,
Чтоб права святые гостя
Не нарушить грубым взглядом,
Не нарушить грубым словом.

В полночь раз, когда печально
Догорал костер, краснея,
И мерцал дрожащим светом
В полусумраке вигвама,
Бодрый, чуткий Гайавата
Вдруг услышал чьи-то вздохи,
Чьи-то горькие рыданья.

С ложа встал он осторожно,
Встал с косматых шкур бизона
И, отдернувши над ложем
Из оленьей кожи полог,
Увидал, что это Тени,
Гостьи бледные, вздыхают,
Плачут в тишине полночной.

И промолвил он: «О гостьи!
Что так мучит ваше сердце?
Что рыдать вас заставляет?
Не Нокомис ли вас, гостьи,
Ненароком оскорбила?
Иль пред вами Миннегага
Позабыла долг хозяйки?»

Тени смолкли, перестали
Горько сетовать и плакать
И сказали тихо-тихо:
«Мы усопших, мертвых души,
Души тех, что жили с вами;

Мы пришли из Стран Понима,
С островов Загробной Жизни,
Испытать вас и наставить.

Вопли скорби достигают
К нам, в Селения Блаженных:
То живые погребенных
Призывают вновь на землю,
Мучат нас бесплодной скорбью;
И вернулись мы на землю,
Но узнали скоро, скоро,
Что везде мы только в тягость,
Что для всех мы стали чужды:
Нет нам места, — нет возврата
Мертвецам из-за могилы!

Помни это, Гайавата,
И скажи всему народу,
Чтоб отныне и вовеки
Вопли их не огорчали
Отошедших в мир Понима,
К нам, в Селения Блаженных.

Не кладите тяжкой ноши
С мертвецами в их могилы —
Ни мехов, ни украшений,
Ни котлов, ни чаш из глины, —
Эта ноша мучит духов.
Дайте лишь немного пищи,
Дайте лишь огня в дорогу.

Дух четыре грустных ночи
И четыре дня проводит
На пути в страну Понима;
Потому-то и должны вы
Над могилами усопших
С первой ночи до последней
Жечь костры неугасимо,
Освещать дорогу духам,
Озарять веселым светом
Их печальные ночлеги.

Мы идем, прости навеки,
Благородный Гайавата!
И тебя мы искушали,
И твое терпенье долго
Мы испытывали дерзко,
Но всегда ты оставался
Благородным и великим.
Не слабей же, Гайавата,
Не слабей, не падай духом:
Ждет тебя еще труднее
И борьба и испытанье!»

И внезапно тьма упала
И наполнила жилище,
Гайавата же в молчанье
Услыхал одежды шорох,
Услыхал, что кто-то поднял
Занавеску над порогом,
Увидал на небе звезды
И почувствовал дыханье
Зимней полночи морозной,
Но уже не видел духов,
Теней бледных и печальных
Из далеких Стран Понима,
Из страны Загробной Жизни.

ГОЛОД

О, зима! О, дни жестокой,
Бесконечной зимней стужи!
Лед все толще, толще, толще
Становился на озерах;
Снег все больше, больше, больше
Заносил луга и степи;
Все грозней шумели выюги
По лесам, вокруг селенья.

Еле-еле из вигвама,
Занесенного снегами,
Мог пробраться в лес охотник;

В рукавицах и на лыжах
Тщетно по лесу бродил он,
Тщетно он искал добычи, —
Не видал ни птиц, ни зверя,
Не видал следов оленя,
Не видал следов Вабассо.
Страшен был, как привиденье,
Лес блестящий и пустынный,
И от голода, от стужи,
Потеряв сознание, падал,
Погибал в снегах охотник.

О, Всесильный Бюкадэвин!
О, могучий Акозивин!
О, безмолвный, грозный Пожок!
О, жестокие мученья,
Плач детей и вопли женщин!

Всю тоскующую землю
Изнурил недуг и голод,
Небеса и самый воздух
Лютым голодом томились,
И горели в небе звезды,
Как глаза волков голодных!

Вновь в вигваме Гайаваты
Поселился два гостя:
Так же мрачно и безмолвно,
Как и прежние два гостя,
Без привета и без зова
В дом вошли они и сели
Прямо рядом с Миннегагой,
Не сводя с нее свирепых,
Впалых глаз ни на минуту.

И один сказал ей: «Видишь?»
Пред тобою — Бюкадэвин». —
И другой сказал ей: «Видишь?»
Пред тобою — Акозивин!»

И от этих слов и взглядов
Содрогнулось, сжалось страхом
Сердце милой Миннегаги;

Без ответа опустилась,
Скрыв лицо, она на ложе
И томилась, трепетала,
Холодея и сгорая,
От зловещих слов и взглядов.

Как безумный, устремился
В лес на лыжах Гайавата;
Стиснув зубы, затаивши
В сердце боль смертельной скорби,
Мчался он, и капли пота
На челе его смерзались.

В меховых своих одеждах,
В рукавицах, Минджикэвон,
С мощным луком наготове
И с колчаном за плечами,
Он бежал все дальше, дальше
По лесам пустым и мертвым.

«Гитчи Манито! — вскричал он,
Обращая взоры к небу
С беспредельною тоскою. —
Пощади нас, о Всесильный,
Дай нам пищи, иль погибнем!
Пищи дай для Миннегаги —
Умирает Миннегага!»

Гулко в дебрях молчаливых,
В бесконечных дебрях бора,
Прозвучали вопли эти,
Но никто не отозвался,
Кроме отклика лесного,
Повторявшего тоскливо:
«Миннегага! Миннегага!»

До заката одиноко
Он бродил в лесах печальных,
В темных чащах, где когда-то
Шел он с милой Миннегагой,
С молодой женою рядом,
Из далеких стран Дакотов.

Весел был их путь в то время!
Все цветы благоухали,
Все лесные птицы пели,
Все ручьи сверкали солнцем,
И сказала Миннегага
С беззаветною любовью:
«Я пойду с тобою, муж мой!»

А в вигваме, близ Нокомис,
Близ пришельцев молчаливых,
Карауливших добычу,
Уж томилась пред кончиной,
Умирала Миннегага.

«Слышишь? — вдруг она сказала. —
Слышишь шум и гул далекий
Водопадов Миннегаги?
Он зовет меня, Нокомис!»

«Нет, дитя мое, — печально
Отвечала ей Нокомис, —
Это бор гудит от ветра».

«Глянь! — сказала Миннегага. —
Вон — отец мой! Одинок
Он стоит и мне кивает
Из родимого вигвама!»

«Нет, дитя мое, — печально
Отвечала ей Нокомис, —
Это дым плывет, кивает!»

«Ах! — вскричала Миннегага. —
Это Погока сверкают
Очи грозные из мрака,
Это он мне стиснул руку
Ледяной своей рукою!
Гайавата, Гайавата!»

И несчастный Гайавата
Издадека, издадека,
Из-за гор и дебрей леса,
Услыхал тот крик внезапный,
Скорбный голос Миннегаги,
Призывающий во мраке:
«Гайавата! Гайавата!»
По долинам, по сугробам,
Под ветвями белых сосен,
Нависавшими от снега,
Он бежал с тяжелым сердцем,
И услышал он тоскливый
Плач Нокомис престарелой:
«Вагономин! Вагономин!
Лучше б я сама погибла,
Лучше б мне лежать в могиле!
Вагономин! Вагономин!»

И в вигвам он устремился
И увидел, как Нокомис
С плачем медленно качалась,
Увидал и Миннегагу,
Неподвижную на ложе,
И такой издал ужасный
Крик отчаянья, что звезды
В небесах затрепетали,
А леса с глубоким стоном
Потряслись до основанья.

Осторожно и безмолвно
Сел он к ложу Миннегаги,
Сел к ногам ее холодным,
К тем ногам, что никогда уж
Не пойдут за Гайаватой,
Никогда к нему из дома
Уж не выбегут навстречу.

Он лицо закрыл руками,
Семь ночей и дней у ложа
Просидел в оцепененье,
Без движенья, без сознанья:
День царит иль тьма ночная?

И простились с Миннегагой;
Приготовили могилу
Ей в лесу глухом и темном,
Под печальною цикутой,
Обернули Миннегагу
Белым мехом горностая,
Закидали белым снегом,
Словно мехом горностая, —
И простились с Миннегагой.

А с закатом на могиле
Был зажжен костер из хвои,
Чтоб душе четыре ночи
Освещал он путь далекий,
Путь в Селения Блаженных.
Из вигвама Гайавате
Видно было, как горел он,
Озаряя из-под низу
Ветви черные цикуты.
И не раз в час долгой ночи
Подымался Гайавата
На своем бессонном ложе,
Ложе милой Миннегаги,
И стоял, следил с порога,
Чтобы пламя не погасло,
Дух во мраке не остался.

«О, прости, прости! — сказал он. —
О, прости, моя родная!
Все мое с тобою сердце
Схоронил я, Миннегага,
Вся душа моя стремится
За тобою, Миннегага!
Не ходи, не возвращайся
К нам на труд и на страданья,
В мир, где голод, лихорадка
Мучат душу, мучат тело!
Скоро подвиг свой я кончу,
Скоро буду я с тобою
В царстве светлого Понима,
Бесконечной, вечной жизни!»

СЛЕД БЕЛОГО

Средь долины, над рекою,
Над замерзшею рекою,
Там сидел в своем вигваме
Одинокий, грустный старец.
Волоса его лежали
На плечах сугробом снега,
Плащ его из белой кожи,
Вобивайон, был в лохмотьях,
А костер среди вигвама
Чуть светился, догорая,
И дрожал от стужи старец,
Ослепленный снежной вьюгой,
Оглушенный свистом бури,
Оглушенный гулом леса.

Угли пеплом уж белели,
Пламя тихо умирало,
Как неслышно появился
Стройный юноша в вигваме.
На щеках его румянец
Разливался алой краской,
Очи кроткие сияли,
Как весенней ночью звезды,
А чело его венчала
Из пахучих трав гирлянда.
Улыбаясь и улыбкой
Все, как солнцем, озаряя,
Он вошел в вигвам с цветами,
И цветы его дышали
Нежным, сладким ароматом.

«О мой сын, — воскликнул старец, —
Как отрадно видеть гостя!
Сядь со мною на циновку,
Сядь сюда, к огню поближе,
Будем вместе ждать рассвета.
Ты свои мне порасскажешь
Приключения и встречи,
Я — свои: свершил я в жизни
Не один великий подвиг!»

Тут он вынул Трубку Мира,
Очень старую, чудную,
С красной каменной головкой,
С чубуком из трости, в перьях,
Наложил ее корою,
Закурил ее от угля,
Подав гостю-чужеземцу
И повел такие речи:

«Стóбит мне своим дыханьем
Только раз на землю дунуть,
Остановятся все реки,
Вся вода окаменеет!»

Улыбаясь, гость ответил:
«Стóбит мне своим дыханьем
Только раз на землю дунуть,
Зацветут цветы в долинах,
Запоют, заплещут реки!»

«Стоит мне потряхнуть во гневе
Головой своей седою, —
Молвил старец, мрачно хмурясь, —
Всю страну снега покроют,
Вся листва спадет с деревьев,
Все поблекнет и погибнет,
С рек и с тундр, с болотных топей
Улетят и гусь и цапля
К отдаленным, теплым странам;
И куда бы ни пришел я,
Звери дикие лесные
В норы прячутся, в пещеры,
Как кремь, земля твердеет!»

«Стоит мне потряхнуть кудрями, —
Молвил гость с улыбкой кроткой, —
Благодатный теплый ливень
Оросит поля и доли,
Воскресит цветы и травы;
На озера и болота
Возвратятся гусь и цапля,
С юга ласточка примчится,

Запоют лесные птицы;
И куда бы ни пришел я,
Луг колышется цветами,
Лес звучит веселым пеньем,
От листвы темнеют чащи!»

За беседой ночь минула;
Из далеких стран Востока,
Из серебряных чертогов,
Словно воин в ярких красках,
Солнце вышло и сказало:
«Вот и я! Любуйтесь солнцем,
Гизисом, могучим солнцем!»

Онемел при этом старец.
От земли теплом пахнуло,
Над вигвамом стали сладко
Опечи петь и Овейса,
Зажурчал ручей в долине,
Нежный запах трав весенних
Из долин в вигвам повеял,
И при ярком блеске солнца
Увидал Сэгвон яснее
Старца лик холодный, мертвый:
То был Пибоан могучий.

По щекам его бежали,
Как весенние потоки,
Слезы теплые струями,
Сам же он все уменьшался
В блеске радостного солнца —
Паром таял в блеске солнца,
Влагой всачивался в землю,
И Сэгвон среди вигвама,
Там, где ночью мокрый хворост
В очаге дымился, тлея,
Увидал цветок весенний,
Первоцвет, привет весенний,
Мискодит в зеленых листьях.

Так на север после стужи,
После лютой зимней стужи,

Вновь пришла весна, а с нею
Зацвели цветы и травы,
Возвратились с юга птицы.

С ветром путь держа на север,
В небе стаями летели,
Мчались лебеди, как стрелы,
Как большие стрелы в перьях,
И скликались, как люди;
Плыли гуси длинной цепью,
Изгибавшейся, подобно
Тетиве из жил оленя,
Разорвавшейся на луке;
В одиночку и попарно,
С быстрым, резким свистом крыльев,
Высоко нырки летели,
Пролетали на болота
Мушкодаза и Шух-шух-га.

В чащах леса и в долинах
Пел Овейса синеперый,
Над вигвамами, на кровлях,
Опечи пел красногрудый,
Под густым наметом сосен
Ворковал Омими, голубь,
И печальный Гайавата,
Онемевший от печали,
Услыхал их зов веселый,
Услыхал — и тихо вышел
Из угрюмого вигвама
Любоваться вешним солнцем,
Красотой земли и неба.

Из далекого похода
В царство яркого рассвета,
В царство Вебона, к Востоку,
Возвратился старый Ягу,
И принес он много-много
Удивительных новинок.

Вся деревня собралась
Слушать, как хвалился Ягу
Приключеньями своими,
Но со смехом говорила:
«Уг! Да это точно — Ягу!
Кто другой так может хвастать!»

Он сказал, что видел море
Больше, чем Большое Море,
Много больше Гитчи-Гюми
И с такой водою горькой,
Что никто не пьет ту воду.
Тут все воины и жены
Друг на друга поглядели,
Улыбнулись друг другу
И шепнули: «Это враки!
Ко! — шепнули, — это враки!»

В нем, сказал он, в этом море,
Плыл огромный челн крылатый,
Шла крылатая пирога,
Больше целой рощи сосен,
Выше самых старых сосен.
Тут все воины и старцы
Поглядели друг на друга,
Засмеялись и сказали:
«Ко, не верится нам что-то!»

Из жерла ее, сказал он,
Вдруг раздался гром, в честь Ягу,
Стрелы молнии сверкнули.
Тут все воины и жены
Без стыда захохотали.
«Ко, — сказали, — вот так сказка!»

В ней, сказал он, плыли люди,
Да, сказал он, в этой лодке
Я сто воинов увидел.
Лица воинов тех были
Белой выкрашены краской,
Подбородки же покрыты
Были густо волосами.

Тут уж все над бедным Ягу
Стали громко издеваться,
Закричали, зашумели,
Словно вóроны на соснах,
Словно серые ворбóны.
«Ко! — кричали все со смехом, —
Кто ж тебе поверит, Ягу!»

Гайавата не смеялся, —
Он на шутки и насмешки
Строго им в ответ промолвил:
«Ягу правду говорит нам;
Было мне дано виденье,
Видел сам я челн крылатый,
Видел сам я бледнолицых,
Бородатых чужеземцев
Из далеких стран Востока,
Лучезарного рассвета.

Гитчи Манито могучий,
Дух Великий и Создатель,
С ними шлет свои веленья,
Шлет свои нам приказанья.
Где живут они, — там выются
Амо, делатели меда,
Мухи с жадами роются.
Где идут они — повсюду
Вырастает вслед за ними
Мискодит, краса природы.

И когда мы их увидим,
Мы должны их, словно братьев,
Встретить с лаской и приветом.
Гитчи Манито могучий
Это мне сказал в виденье.

Он открыл мне в том виденье
И грядущее — все тайны
Дней, от нас еще далеких.
Видел я густые рати
Неизвестных нам народов,

Надвигавшихся на Запад,
Переполнивших все страны.
Разны были их наречья,
Но одно в них билось сердце,
И кипела неустанно
Их веселая работа:
Топоры в лесах звенели,
Города в лугах дымились,
На реках и на озерах
Плыли с молнией и громом
Окрыленные пироги.

А потом уже иное
Предо мной прошло виденье, —
Смутно, словно за туманом:
Видал я, что гибнут наши
Племена в борьбе кровавой,
Восставая друг на друга,
Позабыв мои советы;
Видал с грустью их остатки,
Отступавшие на Запад,
Убегавшие в смятенье,
Как рассеянные тучи,
Как сухие листья в бурю!»

ЭПИЛОГ

На побережье Гитчи-Гюми,
Светлых вод Большого Моря,
Тихим, ясным летним утром
Гайавата в ожиданье
У дверей стоял вигвама.

Воздух полон был прохлады,
Вся земля дышала счастьем,
А над нею, в блеске солнца,
На закат, к соседней роще,
Золотистыми роями
Пролетали пчелы, Амо,
Пели в ярком блеске солнца.

Ясно глубь небес сияла,
Тихо было Гитчи-Гюми;
У побережья прыгал Нама,
Искрясь в брызгах, в блеске солнца;
На побережье лес зеленый
Возвышался над водою,
Созерцал свои вершины,
Отраженные водою.

Светел взор был Гайаваты:
Скорбь с лица его исчезла,
Как туман с восходом солнца,
Как ночная мгла с рассветом;
С торжествующей улыбкой,
Полный радости и счастья,
Словно тот, кто видит в грезах
То, что скоро совершится,
Гайавата в ожиданье
У дверей стоял вигвама.

К солнцу руки протянул он,
Обратил к нему ладони,
И меж пальцев свет и тени
По лицу его играли,
По плечам его открытым;
Так лучи, скользя меж листьев,
Освещают дуб могучий.

По воде, в дали неясной,
Что-то белое летело,
Что-то плыло и мелькало
В легком утреннем тумане,
Опускалось, подымалось,
Подходя все ближе, ближе.

Не летит ли там Шух-шух-га?
Не ныряет ли гагара?
Не плывет ли Птица-баба?
Или это Во-би-вава
Брызги стряхивает с перьев,
С шеи длинной и блестящей?

Нет, не гусь, не цапля это,
Не нырок, не Птица-баба
По воде плывет, мелькает
В легком утреннем тумане:
То березовая лодка,
Опускаясь, подымаясь,
В брызгах искрится на солнце,
И плывут в той лодке люди
Из далеких стран Востока,
Лучезарного рассвета;
То наставник бледнолицых,
Их пророк в одежде черной,
По воде с проводниками
И с друзьями путь свой держит.

И, простерши к небу руки,
В знак сердечного привета,
С торжествующей улыбкой
Ждал их славный Гайавата,
Ждал, пока под их пирогой
Захрустит прибрежный щебень,
Зашуршит песчаный берег
И наставник бледнолицых
На песчаный берег выйдет.

И когда наставник вышел,
Громко, радостно воскликнув,
Так промолвил Гайавата:
«Светел день, о чужеземцы,
День, в который вы пришли к нам!
Все селенье наше ждет вас,
Все вигвамы вам открыты.

Никогда еще так пышно
Не цвела земля цветами,
Никогда на небе солнце
Не сияло так, как ныне,
В день, когда из стран Востока
Вы пришли в селенье наше!
Никогда Большое Море
Не бывало так спокойно,

Так прозрачно и свободно
От подводных скал и мелей:
Там, где шла пирога ваша,
Нет теперь ни скал, ни мелей!

Никогда табак наш не был
Так душист и так приятен,
Никогда не зеленели
Наши нивы так, как ныне,
В день, когда из стран Востока
Вы пришли в селенье наше!»

И наставник бледнолицых,
Их пророк в одежде черной,
Отвечал ему приветом:
«Мир тебе, о Гайавата!
Мир твоей стране родимой,
Мир молитвы, мир прощенья,
Мир Христа и свет Марии!»

И радушный Гайавата
Ввел гостей в свое жилище,
Посадил их там на шкурах
Горностаев и бизонов,
А Нокомис подала им
Пищу в мисках из березы,
Воду в ковшиках из липы
И зажгла им Трубку Мира.

Все пророки, Джосакиды,
Все волшебники, Вэбины,
Все врачи недугов, Миды,
С ними воины и старцы
Собрались пред вигвамом,
Чтоб почтить гостей приветом.
Тесным кругом у порога
На земле они сидели
И курили трубки молча,
А когда к ним из вигвама
Вышли гости, так сказали:
«Всех нас радует, о братья,
Что пришли вы навестить нас
Из далеких стран Востока!»

И наставник бледнолицых
Рассказал тогда народу,
Что пришел он им поведать
О святой Марии-Деве,
О ее предвечном Сыне.
Рассказал, как в дни былые
Он сошел на землю к людям,
Как он жил в посте, в молитве,
Как учил он, как евреи,
Богом проклятое племя,
На кресте его распяли,
Как восстал он из могилы,
Вновь ходил с учениками
И с земли вознесся в небо.

И народ ему ответил:
«Мы словам твоим внимали,
Мы внимали мудрой речи,
Мы должны о ней подумать.
Всех нас радует, о братья,
Что пришли вы навестить нас
Из далеких стран Востока!»

И, простясь, все удалились,
Разошлись к своим вигвамам,
Рассказали на деревне
Юным воинам и женам,
Что прислал Владыка Жизни
К ним гостей из стран Востока.

От жары, в затишье полдня,
Тяжким воздух становился;
В полусне шептались сосны
Позади вигвамов душных,
В полусне плескались волны
На песчаное побережье,
А на нивах, не смолкая,
Пел кузнечик, Па-пок-кина.
Спали гости Гайаваты,
Истомленные жарою,
В душном сумраке вигвама,

Тихо вечер приближался,
Освежая знойный воздух,
И метало солнце стрелы,
Пробивая чащи леса,
В тайники его врываясь,
Все осматривая зорко.
Спали гости Гайаваты
В тихом сумраке вигвама.

С мягких шкур встал Гайавата
И простился он с Нокомис,
Тихим шепотом сказал ей,
Чтоб гостей не потревожить:

«Ухожу я, о Нокомис,
Ухожу я в путь далекий,
Ухожу в страну Заката,
В край Кивайдина родимый.
Но гостей моих, Нокомис,
На тебя я оставляю:
Сохраняй их и заботься,
Чтоб ни страх, ни подозренье,
Ни печаль их не смущали;
Чтоб в вигваме Гайаваты
Им всегда готовы были
И приют, и кров, и пища».

Так сказав ей, он покинул
Отчий дом, пошел в селенье
И простился там с народом,
Говоря такие речи:

«Ухожу я, о народ мой,
Ухожу я в путь далекий:
Много зим и много весен
И придет и вновь исчезнет,
Прежде чем я вас увижу;
Но гостей моих оставил
Я в родном моем вигваме:
Наставленьям их внимайте,
Слову мудрости внимайте,
Ибо их Владыка Жизни
К нам прислал из царства света».

На побережье Гайавата
Обернулся на прощанье,
На сверкающие волны
Сдвинул легкую пирогу,
От кремнистого побережья
Оттолкнул ее на волны, —
«На закат!» — сказал ей тихо
И пустился в путь далекий.

И закат огнем багряным
Облака зажег, и небо,
Словно прерии, пылало;
Длинным огненным потоком
Отражался в Гитчи-Гюми
Солнца след, и, удаляясь
Все на запад и на запад,
Плыл по нем к заре огнистой,
Плыл в багряные туманы,
Плыл к закату Гайавата.

И народ с побережья долго
Провожал его глазами,
Видел, как его пирога
Поднялась высоко к небу
В море солнечного блеска —
И сокрылась в тумане,
Точно бледный полумесяц,
Потонувший тихо-тихо
В полумгле, в дали багряной.

И сказал: «Прости навеки,
Ты прости, о Гайавата!»
И лесов пустынных недра
Содрогнулись — и пронесся
Тяжкий вздох во мраке леса,
Вздох: «Прости, о Гайавата!»
И о берег волны с шумом
Разбивались и рыдали,
И звучал их стон печальный,
Стон: «Прости, о Гайавата!»

И Шух-шух-га на болоте
Испустила крик тоскливый,
Крик: «Прости, о Гайавата!»

Так в пурпурной мгле вечерней,
В славе гаснущего солнца,
Удалился Гайавата
В край Кивайдина родимый.
Отошел в Страну Понима,
К Островам Блаженных, — в царство
Бесконечной, вечной жизни!



Словарь

индейских слов, встречающихся в поэме

Аджидóмо — белка.

Амик — бобр.

Амо — пчела.

Бимáлут — виноградник.

Бэм-вáва — звук грома.

Вабáссо — кролик; север.

Вáва — дикий гусь.

Ва-ва-тáйзи — светляк.

Вáвбик — утес.

Вавонэйса — полуночник (птица).

Вагонóмин — крик горя.

Вáмпум — ожерелья, пояса и различные украшения из раковин и бус.

Во-би-вáва — белый гусь.

Вобивáйо — кожаный плащ.

Вэбино — волшебник.

Вэбино-Вэск — сурепка.

Вэ-мок-квáна — гусеница.

Гитци-Гюми — Верхнее озеро.

Дагинда — гигантская лягушка.

Джиби — дух.

Джосакиды — пророки.

Дэш-кво-нэ-ши — стрекоза.

Иза — стыдись!

Ина́йнивэз — пешка (в игре в кости).

Ишкудá — огонь, комета.

Иенадиззи — щеголь, франт,

Кáгаги — ворон.

Кáго — не тронь!

Кайбóшк — морская чайка.

Кивáйдин — северо-западный ветер.

Кинэбик — змея.

Киню — орел.

Ко — нет.

Куку-кугу — сова.

Куо-ни-ши — стрекоза.

Кенóва, Маскеноза — щука.

Мани — нырок.

Ман-го-тáйзи — отважный.

Маномони — дикий рис.

Месяц Светлых Ночей — апрель.

Месяц Листьев — май.

Месяц Земляники — июнь.

Месяц Падающих Листьев — сентябрь.

Месяц Лыж — ноябрь.

Миды — врачи.

Минáга — черника.

Минджикэвон — рукавицы.

Минни-вáва — шорох деревьев.

Мискодит — «След Белого» (цветок).

Мише-Мóква — Великий Медведь.

Мише-Нáма — Великий Осетр.

Мондáмин — маис.

Мушкодáза — глухарка.

Мэдвэй-óшка — плеск воды.

Мэма — зеленый дятел.

Мэшинóва — прислужник.

Нáма — осетр.

Нáма-Вэск — зеленая мята.

Нинимуша — милый друг.

Нóваз — отец.

Нэго-Воджу — дюны Верхнего озера.

Нэпáвин — сон, дух сна.

Нэшка — смотри!

Овэйса — сивоворонка (птица).

Одáмин — земляника.

Озавабик — медный диск (в игре в кости).

Окайáвис — речная сельдь.

Олими — голубь.

Онэвэ — проснись, встань!

Опечи — красногрудка (птица).

Па-пок-кина — кузнечик.

Пибоан — зима.

Пимикан — высушенное оленьё мясо.

Пишнэкэ — казарка (птица).

Погэвбгон — палица.

Пóрок — смерть.

Пок-Уэджис — пигмей.

Понима — загробная жизнь.

Сáва — окунь.

Сибовиша — ручей,

Соббика́ши — тарантул.

Сон-джи-тэгэ — сильный.

Сэвбн — весна.

Тэмрак — лиственница.

Уг — да.

Угодвош — самглав, луна-рыба.

Читовэйк — звук.

Шабомин — крыжовник.

Ша-ша — далекое прошлое.

Шингебис — нырок.

Шишэбвэ — утенок (фигурка в игре в кости).

Шовэн-нэмэшин — сжался!

Шогаши — морской рак.

Шогодáйя — трус.

Шóшо — ласточка.

Шух-шух-га — цапля.

Энктаги — Бог Воды.

Эннэмике — гром.

Эпбква — тростник.

О, как я помню тот день! — жизнь спасла мне однажды
в сраженье.

Вот на ней посредине видна и метка от пули,
Прямо нацеленной в грудь мне испанским аркебузиром.
Если б не крепкая сталь, то забытые майлзовы кости,
Верно, сгнили б давно в непролазных фламандских
болотах».

Глаз не подняв от работы, ему Джон Олден ответил:
«Истинно, божье дыханье замедлило лёт этой пули.
Он в милосердьи своем нам тебя сохранил для защиты».
Но капитан продолжал, товарища будто не слыша:
«Как они ярко сверкают! Ну точно висят в арсенале!
Дело все в том, что их чистил я сам, не доверив другому.
«Лучший слуга твой ты сам!» — не напрасно гласит

поговорка.
Так я смотрю за оружием, как ты за чернильницей
смотришь.

Должен я помнить еще о войске, о храбрых солдатах.
Их двенадцать, и каждый снабжен мушкетом и сошкой.
Всем по осьмнадцати шиллингов в месяце, паек и добыча.
И, как Цезарь, тебе назову я любого солдата!»
Это сказал он с улыбкой, мелькнувшей в глазах, словно
искры,

Что на волнах среди моря блеснут и погаснут мгновенно.
Олден со смехом писал, но слушал речь капитана:
«Выгляни в это окно! Там видна моя медная пушка,
С крыши церковной она проповедовать будет недурно —
Логикой несокрушимой, прямою, ясной и сильной,
В сердце язычнику сразу познание правды внедряя.
Что же, пожалуй, теперь мы готовы к набегам индейцев.
Явятся пусть, коль хотят, и притом чем скорее, тем лучше!
Явятся пусть, коль хотят, сагамор, сахем,¹ пау-вау,
Аспинет, Самосет, Корбитант, Скванто иль Токамахамон!»

Долго стоял у окна он, задумчиво глядя на местность,
Серой омытую мглою, дыханьем восточного ветра.
Лес, и луга, и холмы, и вдали синева океана
Мягко сливались в игре предвечернего солнца и тени.
Вот по грубым чертам легчайшая тень промелькнула:
Сумрак, пронизанный светом; и голос вонтеля Майлза

¹ Вождь.

Вдруг он воскликнул, тяжелой рукою ударив по книге:
«Да, удивительный муж он был, этот римлянин Цезарь!
Ты вот писатель, а я — я воин, но этот искусник
И воевал, и писал, и силен был в обоих занятиях!»
Быстро ответил ему Джон Олден, красивый и юный:
«В этом ты прав, ибо он был с пером и с оружием ловок.
Где-то я вычитал, помню, что будто бы мог диктовать он
Сразу семь писем, а сам в это время писал мемуары».
«Да, — продолжал капитан, этих слов будто вовсе

не слыша, —
Да, удивительный муж он был, этот Гай Юлий Цезарь!
Лучше быть первым, — сказал он, — в глухой иберийской
деревне,

Нежели в Риме вторым, и, мне кажется, мыслил он верно.
Дважды женат к двадцати был годам и много раз позже,
В битвах бывал раз пятьсот и тысячу взял поселений.
Он и во Фландрии бился, как сам о том повествует,
Но потом был заколот он другом — оратором Брутом!
Знаешь ли ты о том, как во Фландрии раз поступил он?
Войска его арьергард отступал, да и фронт уже дрогнул,
А бессмертный его легион сгрудился так тесно,
Что мечам не хватало простора. Тут Цезарь внезапно
Щит у солдата схватил и, кликнув центурионов,
Бросился с ними отважно навстречу вражеской рати.
Вывести знамя вперед он велел и немедля
Строй расширить, чтоб дать оружию больше свободы.
Так он выиграл битву, не помню я точно — какую.
Вот и я постоянно твержу: если хочешь, чтоб дело
Было в порядке, сверши его сам, не вверяя другому!»

Вновь воцарилось молчанье, и Майлз продолжал свое
чтение.

Тихо в комнате, только перо под рукою скрипело.
Завтра «Майский цветок» увезет на родину письма,
Полные жарких похвал молодой пуританке Присцилле.
Что ни строчка, то снова и снова имя Присциллы.
Даже перо, не стерпев, решило Олдена выдать:
Петь пыталось оно и выкрикивать имя Присциллы!
Чтение, однако, прервав и хлопнув тяжелою крышкой,
Резко, скрипуче, как будто он чистил мушкетное дуло,
Юноше бросил Майлз Стендиш, Плимута военачальник:
«Кончив работу, послушай: сказать мне важное надо

Но торопиться нет нужды, я ждать готов терпеливо!»
Тотчас Джон Олден ответил, сложив последние письма,
В сторону сдвинув бумаги и весь превратясь во вниманье:
«Жду, чтоб хочешь поведать ты мне; говори же немедля.
Слушать готов я всегда, коль чем озабочен Майлз
Стендиш».

Начал тут капитан, выбирая в смущении фразы:
«Плохо быть одному человеку» — нас учит писанье.
Так и я говорил и еще и еще повторяю;
Вечером, утром и днем это думаю, чувствую, помню.
С той поры, как скончалась жена, моя жизнь опустела.
Нет от подобной сердечной тоски спасенья и в дружбе.
Часто, в печали своей, я о девушке думал Присцилле.
В мире она одинока: и мать, и отец, и сестренка
Вместе скончались зимой, и она беспрестанно ходила
То к могилам умерших, а то к одру умиравших,
Столь терпелива, стойка и сильна, что себе говорил я:
Если ангелы есть на земле, как в обителях неба,
Двух я видел и знал; и тот ангел, чье имя Присцилла,
Занял в жизни моей опустевшее место другого.
Долго мечту я свою лелеял, не смея открыться,
Будучи трусом в любви, хотя в остальном и отважен.
Так ступай же к Присцилле, прелестнейшей Плимута деве,
И скажи, что бесхитрый старый вояка хотел бы
Руку отдать ей и сердце, руку и сердце солдата.
Как-то иначе, конечно, но скажешь ей именно это.
Мастер в науке войны, я не мастер на гладкие речи.
Ты же вырос на школьной скамье и сумеешь изящно
Все изъяснить, как в книгах читал о любовных признаньях
И как лучшим найдешь, чтобы тронуть девичье сердце».
Выслушав это, Джон Олден, светловолосый и тихий,
Был поражен, озадачен, повергнут в большое смятенье,
Страх пытался под маскою скрыть напускного веселья,
Под улыбкою горе, но замерло сердце внезапно,
Как с часами бывает, коль молния в крышу ударит.
И в ответ произнес он, иль, лучше мы скажем, —

прямаямил:

«Я с таким порученьем не справлюсь и только испорчу.
Если ты хочешь, чтоб дело — я твой лишь совет

повторяю —

Было в порядке, сверши его сам, не вверяя другому!»

Но на это с упорством людей, непреклонных в решениях,
Лишь покачал головою Плимута военачальник:
«Правда, совет мой хорош, и не мне от него отрекаться.
Все ж надо быть осторожным и порох не тратить впустую.
Как я раньше сказал, я не мастер на гладкие речи.
К стенам крепости я подойду с предложением сдаться, —
К женщине я подойти с таким предложением не смею.
Пуль не страшусь я и ядер из грозных жерл орудийных,
Но мне не вынести «Нет!» из уст безжалостных

женских, —

Вот что, признаюсь, мне страшно, и этого я не скрываю.
Так уважь мою просьбу, ведь ты образованный малый,
Даром владеешь словесным и фразы искусно сплетаешь».
Взявши за руку друга, который в сомнении медлил,
Долго держал он ее и, тихонько сжимая, добавил:
«Хоть и легко говорил я, мной движет глубокое чувство;
Ты не откажешь, ведь я прошу тебя именем дружбы!» —
«Имя дружбы священно, — ему Джон Олден ответил. —
Если именем этим ты просишь, могу ль отказать я!»
Вот как сильная воля над слабою верх одержала,
Дружба верх над любовью взяла, и отправился Олден.

III

ВЛЮБЛЕННЫЙ ПОСЛАНЕЦ

Так сильнейший верх одержал, и отправился Олден.
С улицы сельской свернув, он пошел тропинкой тенистой
В глубь спокойных лесов, где строят дрозды и синицы
Мирно свои города в зеленых кущах воздушных,
В кущах висячих садов — города веселья, свободы.
Тихо все было вокруг, но в душе его буря кипела.
Юноша тяжело страдал от разлада дружбы с любовью.
Страстные чувства, враждуя, в груди его бились, метались,
Как в погибающем судне при каждом новом наклоне
Горькая бьется волна, океанская страшная гостья!
«Должен ли бросить я все? — восклицал он в неистовом
горе. —

Должен ли бросить я все — мечту свою, радость, надежду?
Разве затем я любил, и ждал, и без слов поклонялся?
Разве затем я летел за ножкою быстрой, за тенью

Через холодное море к земле суровой и дикой.
О, как обманчиво сердце! Встают в его недрах греховных,
Точно болот испаренья, туманные призраки страсти.
С виду ангелы света, они Сатаны наваждение.
Все мне ясно теперь; я чувствую, явственно вижу!
Это во гневе меня десница господня коснулась,
Слишком я, значит, внимал желаньям и зовам сердечным,
Слепо Астарте служа и нечистым кумирам Ваала.
Крест этот должен нести я — свой грех и быстрю кару!»

Так сквозь плимутский лес Джон Олден шел с порученьем.
Вброд он ручей пересек, бурливший на камешках гладких,
Рвал по дороге цветы, — их было множество в чаще.
Благоуханием дивным они весь лес наполняли,
Дети, что сбились с пути и в траве задремали душистой.
«Эти цветы, — он сказал, — похожи на дев пуританских:
Так же скромны, и просты, и нежны, как улыбка

Присциллы.

Плимута майский цветок — Присцилла, и ей отнесу их,
Скромной, нежной, простой их снесу я в прощальный
подарок.

Молча дохнут пусть «прости» и поблекнут, в тоске увядая,
Скоро их выбросят вон, как и сердце того, кто дарил их!»

Так сквозь плимутский лес Джон Олден шел с порученьем.
Вот, на прогалину выйдя, увидел он ширь океана,
И — ни паруса в мрачной пустыне, бичуемой ветром.
Новый увидел он дом и людей на лугах за работой.
Слуха коснулся его мелодичный голос Присциллы:
Сотый псалом она пела, старинный гимн пуританский.
Лютер мелодию эту сложил на слова псалмопевца;
Благостны звуки ее и душе несут утешенье.
Дверь Джон Олден открыл и милую деву увидел.
Белым облаком шерсть на полу у скамейки клубилась.
К жадному веретену Присцилла нить подводила,
Мерным нажимом ноги колеса управляя вращеньем.
Эйнсворта старый псалтырь лежал у нее на коленях.
Вместе с музыкой он напечатан давно в Амстердаме:
Грубые нотные знаки — как камни ограды кладбища,
Сверху же строки стихов — как плюща нависшие ветки.
Вот из книги какой одинокая юная дева
Пела гимн пуритан, нарушая безмолвье лесное,

Скромный покой озарив и его простое убранство
Пышной своей красотой и всем своим обликом светлым.
Вихрем холодным и злобным у Джона в мозгу закружились
Мысли о счастье мелькнувшем, о взятом им порученье.
Канули в вечность мечты, угасли былые надежды.
Жизнь его станет теперь с опустелой усадьбою сожа,
Миром пустых сожалений и скорбных призрачных ликов.
Все же сказал он себе, и сказал это даже сердито:
«Руки на плуг возложив, оборачивать незачем взора,
Хоть бы прошла борозда по цветам и корням нашей жизни,
Взрыла могилы усопших, рассекла сердца тех, что живы.
Воля господня над нами; да будет он к нам милосерден!»

В дом он вошел, и жужжание прялки и голос певуньи
Смокли, ибо Присцилла, заслышав шаги на пороге,
Встала навстречу и руку дала приветливо гостю,
Молвив: «Тебя по шагам, как вошел ты, я сразу узнала:
Думала я о тебе, когда здесь пряла, напевая».
Джон онемел, восхищенный: ведь мысли о нем примешались
К пенью святого псалма, что трогал девушки сердце!
Молча стоял он и подал цветы ей вместо ответа,
Слов не найдя подходящих. И вспомнился день ему зимний:
Первый прошел снегопад, и Джон сюда из деревни
Еле добрался, бредя сквозь густую метель и сугробы.
В дверь он вошел, топоча, и Присцилла тогда улыбнулась
Кудрям его снеговым и его к очагу усадила,
Гордая мыслью о том, что он вспомнил о ней в эту бурю.
Что ж оробел он тогда! Отчего ей тогда не открылся!
Ну, а теперь уже поздно: ушло золотое мгновенье!
Вот и молчал он и подал цветы ей вместо ответа.

Сели. Беседа зашла о птицах, весне благодатной,
Дальних друзьях и о том, что «Майский цветок» отплывает.
«Я вспоминала весь день, — задумчиво молвила дева, —
Ночью минувшей и днем об английском вереске нашем.
Там все в цвету, и страна раскинулась садом душистым.
Шла я по свежему лугу, где пели стрижи, коноплянки,
Видела улицу нашу, знакомые лица соседей.
То спешили они по делам, то стояли, болтая.
Дальше церковь виднелась. По серым стенам колокольни
Цепко карабкался плющ, а в ограде дремали могилы.
Здесь я среди добрых людей, и наша мне дорога вера.

Все ж мое сердце болит: я тоскую по Англии милой.
Можешь меня осудить: что делать, меня потянуло
В старую Англию. Здесь не размыкать тоску одинокой». —
Юноша тотчас в ответ: «Осуждать тебя я не стану.
Даже у многих мужчин зимою дрогнуло сердце,
Ты же сердцем нежна и нуждаешься в твердой опоре.
Вот и пришел я к тебе, принес предложение брака
С честным, прямым человеком: начальником войск наших,
Майлзом!»

Так изложил свою весть искусный строчитель посланий,
Тему не стал украшать, не растекся в затейливых фразах.
Слов понапрасну не тратя, он выпалил все, точно школьник.
Этого сам капитан не сделал бы так неуклюже.
С горьким, немым изумленьем слушала Джона Присцилла,
Глядя в упор на него, и глаза раскрыла широко,
Ибо неожиданным ударом известье ее поразило.
Тягость молчанья прервав, воскликнула вскоре Присцилла:
«Если великий начальник так жаждет стать мне супругом,
Что ж не явился он сам руки моей домогаться?
Если не стою того, что стоит тогда и победа?»
Олден тут стал объяснять, пытаясь загладить свой промах,
Но увяз еще хуже, сказав, что Майлз очень занят,
Времени нет у него. Разъяснение такое резнуло
Слух Присциллы, и дева ответила молниеносно:
«Времени нет — говоришь? И это еще до женитьбы!
Где ж ему время найти для супруги своей после свадьбы?
Все вы, мужчины, такие и нас понять не хотите.
Втайне к решению придя, подумав о разных девицах,
Выбрав, прикинув, сравнив достоинства той или этой,
Вы о желанье своем внезапно нам говорите,
Гневом обиды вскипая на девушку, что не находит
Отклика тотчас в душе на любовь, о которой не знала,
Смелым прыжком не взлетает на гору, куда вы взобрались.
Мало хорошего в том. Неужели первая просьба
Сразу должна пробуждать у женщин ответное чувство?
Тот, кто искренне любит, дает нам это заметить.
Если бы он не спешил и любовь свою показал мне,
Твой капитан мне, быть может, признаньем и тронул бы
душу,
Стар хотя он и груб. Но теперь того уж не будет!»

Олден все ж продолжал, речам не внимая П̄рисциллы.
Другу стремясь услужить, убеждал, распинался и спорил.
Храбрость его восхвалял, вспоминал про фламандские
битвы,

Как делил он затем все страданья народа господня,
Как за усердие он капитаном был в Плимуте избран.
Он джентльмен по рождению, его родословное древо
Корнем имеет сэра Хью Стендиша в Даксбюри-Холле,
Сына известного Ралфа и внука Терстона де Стендиш,
Был он обманом лишен всех прав на поместья большие,
Но и в скитаниях долгих герб сохранил свой фамильный,
Где начертан петух на алом с серебряным поле.
Муж незапятнанной чести, пример благородной природы,
Груб, это правда, но добр. И знает она, как зимою
Он за больными ходил усерднее ловкой сиделки.
Несколько крут и горяч, — нельзя отрицать, — и упрямец,
Строг, как бывает солдат, но сердечен и очень отходчив.
Стыдно смеяться над ним за то, что не вышел он ростом,
Ибо велик он душою, приветлив, щедр и отважен.
Каждая женщина здесь, да что там — в Англии даже —
Счастьем должна почитать за Майлза Стендиша выйти!

Видя, как он разгорался в наивном своем красноречье,
С полным забвеньем себя соперника лишь восхваляя,
Дева с лукавой улыбкой и смехом, плясавшим во взоре,
Тихо промолвила: «Что же ты, Джон, о себе
не хлопчешь?»

IV

ДЖОН ОЛДЕН

Прочь, сам не зная куда, Джон Олден, смущенный,
смятенный,
Словно безумный бежал и направился к берегу моря
Мерить шагами пески, подставив голову ветру,
Чтобы огонь охладить, жестоко в нем бушевавший.
Медленно, как нисходил в Апокалипсиса виденье
Божий город с небес перед павшим ниц Иоанном,
Так в стенах облаков из яшмы, рубинов, сапфиров
Солнце багровое село за мглистые башни, а выше

Трость золотая сверкала, которой измерен был город.
«Славный ветер востока! — Джон воскликнул в волнение. —
Славный ветер востока из недр Атлантики бурной,
Дуешь ты над пучиной, качающей стебли сухие,
Дуешь над горным простором пещер и садов океана.
Влажной, холодной рукой пылающий лоб освежи мне,
Тканью тумана окутай, развей в душе моей пламя!»

Море стонало, металось, как вдруг пробужденная совесть,
С громким и горестным гулом в прибрежный песок ударяя.
В сердце у Джона кипела борьба враждебных стремлений:
Радость победной любви и печаль искалеченной дружбы,
Страстные крики желанья, призывы сурового долга!
«Я ль виноват, — он сказал, — что выбор свой сделала дева?
Я ль виноват, если Майлз неудачник, а я победитель?»
Тут внутри у него громовый голос раздался:
«Господа ты прогневил!» И он преступную вспомнил
Страсть Давида к Вирсавии, друга-воителя вспомнил.
Стыд, и сознание вины, и гнев на свое поведение
Вдруг одолели его, и он сокрушенно воскликнул:
«Божья немилость на мне! Сатана меня искушает!»

Тут он голову поднял, на море взглянул и увидел
Смутно, как марево, «Майский цветок». На якоре мерно
Он на приливных волнах качался, готовый к отплытью.
Были в тумане слышны голоса, на палубе грохот
Цепи, и боцманский окрик, и следом матросское «Есть,
сэр!» —

Явственно, но заглушенно в белесой мгле морозящей.
Джон постоял и послушал, уставясь взором на судно,
Двинулся дальше. Вот так человек, увидевший призрак,
Медлит мгновенно и шаг ускоряет за тенью манящей.
«Да, все мне ясно, — вздохнул он, — меня десница господня
Вывести хочет из мрака, юдоли моих заблуждений,
Через пучину; она пропустит меня невредимым,
Скроет и даст избавление от гнета мыслей жестоких.
За океан я уеду и край унылый покину,
Ту, чью любовь потерял, того, кто мною обижен.
Лучше в могилу мне лечь на зеленом английском погосте,
Рядом с матерью милой, среди мне близких усопших,
Лучше быть мертвым, забытым, чем жить в стыде
и бесчестье!»

Свято, надежно, незримо в безмолвии кельи подземной
Тайна пребудет со мной, как алмаз, что мерцает на пальце,
Прахом истлевшем давно в тех кельях молчанья и мрака,
Да, как перстень венчальный, залог обрученья в грядущем!»
Вымолвив все это, Джон повернулся, решимости полный,
Берег покинул морской и в сумерках быстро пустился
Лесом, приятным ему полутьмой и безмолвием хмурым.
Вот уже Олден огни в семи домиках Плимута видит,
Что, семи звездам подобны, мерцают в вечернем тумане.
Вскоре в свой дом он вошел и застал там грозного Майлза.
Тот одиноко сидел, поглощенный воинственной книгой,
С Цезарем вместе в Брабанте иль Фландрии храбро
сражаясь.

«Долго ходил ты с моим порученьем! — он весело начал,
Словно вполне был уверен в благоприятном ответе. —
Дом от нас недалеко, хотя и стоит он за лесом.
Ты же промешкал так долго, что я, тебя дожидаясь,
Десять проделал боев и город взял и разрушил.
Ну-ка, садись, расскажи по порядку, как было дело!»

Тут Джон Олден поведал о странном своем приключенье,
Выложил начисто все без прикрас, безо лжи, без утайки:
Как посетил он Присциллу и как передал предложенье,
Только сгладил чуть-чуть и смягчил отказ ее резкий.
Но когда, наконец, он до слов Присциллы добрался,
Нежно-жестоких: «Что же ты, Джон, о себе

не хлопчешь?» —

С места вскочил капитан и затопал о пол ногами
Так, что доспехи на стенах зловеще вдруг загремели.
Весь накопившийся гнев разрядил внезапным он взрывом,
Точно ручная граната, что сеет вокруг разрушенье.
Яростно он закричал: «Джон Олден, ты меня предал!
Майлза, ближайшего друга! Схитрил, обошел меня подло!
Предок мой поразил Уота Тайлера в сердце.
Кто же мне помешает казнить предателя так же?
Хуже измена твоя, потому что предал ты дружбу.
Ты, с кем делил я свой кров, кого любил я, как брата;
Ты, кто ел и пил за моим столом и кому я
Честь доверил свою, свои сокровенные мысли, —
Ах, и ты, Брут! Позор самому названию дружбы!
Брут был Цезаря другом, а ты был моим, но отныне
Ляжет меж нами вражда и ненависть без примиренья!»

Так говорил капитан, по комнате грузно шагая.
Он задыхался от злобы, на шее жилы надулись.
Но в разгар этой сцены в дверях человек показался.
Спешную, важную весть торопился он Майлзу доставить:
Слух о нависшей угрозе вторженья враждебных индейцев!
Вмиг перестав бушевать, капитан без лишних вопросов
Снял с гвоздя на стене свой меч в ножнах из железа,
Туже ремень подтянул и, свирепо нахмурившись, вышел.
Олден остался один. Он слышал бряцанье металла
Тише и тише, пока не замер звук в отдаленье.
Джон поднялся тогда, во мрак поглядел, ощущая
Холод ночной на щеках, пылавших от горькой обиды,
Поднял он к небу глаза и, сложив, как в детстве, ладони,
Стал молиться в тиши отцу, который все видит.

Воин гневный меж тем шагал туда, где собрались
Члены совета, в беседе его поджидая прихода;
Зрелого возраста люди, степенные, с важной осанкой.
Стар был только один — вершина, ближайшая к небу:
Снегом увенчан, но прям был Плимута кроткий пресвитер.
«Бог просеял три царства, в поисках доброй пшеницы.
Эту пшеницу просеяв, зерно взрастил он живое.
Так возник наш народ», — говорится в старинных

преданьях.

Тут же огромный индеец стоял с выраженьем надменным.
Голый до пояса, мрачный, со злобой глядел он на белых.
Библии том нераскрытый лежал на столе перед ними,
С медной застежкой, тяжелый, старинной голландской
печати.

Рядом блестящая кожа гремучей змеи протянулась —
Стрелами полный колчан, объявление войны означавший.
Он принесен был индейцем как символ красноречивый.
Вот что увидел Майлз Стендиш, войдя, и услышал он споры,
Как им достойно теперь ответить на эту угрозу.
То предлагали да се, судили, рядили, искали, —
Голос один был за мир, и то был пресвитера голос.
Он считал, что велит и мудрость и долг христианский,
Не убивая врагов, наставить их в истинной вере.
Слово тут взял Майлз Стендиш, Плимута военачальник.
Глухо из горла его вырывались гневные звуки:
«Что! Здесь хотят воевать молоком и сладкой водицей?
Разве белок стрелять на церкви поставлена пушка?»

Нынче пора из нее нам дьяволов бить краснокожих!
Есть один лишь язык, дикарям неразумным понятный,
Это язык нашей пушки, язык огня и железа!»
С ним согласиться не мог почтенный старый пресвитер,
Он удивлен был изрядно такой несдержанной речью.
«Павел мыслил иначе, другие апостолы тоже.
Огненным был их язык, но вещал он не пушек устами!»
Мягкий этот упрек не достиг ушей капитана.
Майлз к столу подошел и конец положил пререканьям:
«Мне предоставлено право решать такие вопросы.
Страшное дело — война, но в битве за правое дело
Сладок пороха запах, и так я отвечу на вызов!»

Резким презрительным жестом он вдруг из кожи змеиной
Вырвал индейские стрелы, на место их порох и пули
Всыпал до самого верха и отдал обратно индейцу,
Голосом бросив громовым: «Возьми! Вот тебе и ответ
наш!»

Молча из комнаты людной скользнул лоснящийся дикий,
Кожу змеи унося, и, сам со змеею столь схожий,
Бегом извилистым скрылся он в темные дебри лесные.

V

ОТПЛЫТИЕ «МАЙСКОГО ЦВЕТКА»

С первым проблеском дня, чуть встал туман над лугами,
Звуки нарушили тишь дремавших плимутских улиц:
Лязг и бряцанье оружия. Команды слова прозвучали:
«Шагом марш!» — а за этим — топот и снова молчанье.
Десять неясных теней бесшумно покинули город:
Доблестный Стендиш и восемь солдат его армии славной;
Вел в леса их Гоббмек, индеец, друг бледнолицых.
Путь их на север лежал, навстречу мятежным индейцам.
Воинов мгла превращала в гигантов, а впрочем и были
Сердцем гиганты они, с их верой в святое писанье.
И, как Давидова фать, шли они разгромить филистимлян.
В выси сверкали пред ними знамена алые утра,
С моря, шумя по песку, шли волны, сгрудясь, в наступленье,
В берег стреляя шеренгой, в порядке затем отступая.

Воины много отмерили миль, и тогда только Плимут
Встал ото сна, чтобы вновь за обычные взяться работы.
Ласков и нежен был воздух; над каждой соломенной крышей
Медленно вился дымок и тянулся упорно к востоку.
Дверь отпирая, соседи хвалили друг другу погоду.
Ветер, они говорили, для плаванья благоприятный;
Майлза уход обсуждали и то, в какую опасность
Этим повергнут их город и что оставшимся делать.
С пением птичьим сливалось звонкое пение женщин;
Гимном они освящали работы свои по хозяйству.
Солнце встало из моря под волн приветственный рокот,
Дивно руки простерло к багряным горным вершинам,
Дивно и «Майский цветок» на якоре вмиг озарило,
Снасти его, паруса, пострадавшие в зимних метелях.
Хлопал о мачты лениво тяжелый холст почернелый,
Штормов немало видал он и был многократно залатан.
Вдруг над одним из бортов, лишь солнце от вод отделилось,
Дым за клубился, поплыл в открытое море, и тотчас
Гулко над полем и лесом ударила пушка, и эхо,
Звук услышав, повторило сигнальный выстрел отплыть!
Отзвуком, более громким, сердца отвечали людские.
Голос понизив, читали в жилищах главу из писанья;
Чтение смиренно начав, кончали страстной мольбою.
Вот из домов, торопясь, пилигримы Плимута вышли,
Взрослые люди и дети спешили к берегу моря
Слезно проститься с «Майским цветком», который сегодня
За океан уплывет, а их оставит в пустыне.

Первый меж ними был Олден. Всю ночь не мог он забыться,
Тщетно ворочаясь, жаром томясь своей лихорадки.
Юноша видел, как Майлз, с собранья старейшин

вернувшись,

В комнате начал шагать, бормоча невнятные фразы.
То в них звучала молитва, то будто проклятья звучали.
Раз подошел он к постели, помедлил мгновение, молча,
Но, отвернувшись, промолвил: «Будить его я не стану.
Пусть себе спит. Так лучше. Что толку в пустых
разговорах!»

Свет потушив, он, одетый, как был, улегся на койку,
Чтобы с лучами рассвета готовым быть к выступленью,
Только накрылся плащом, что носил во фламандских
походах,

Спал по привычке он чутко, как спит солдат на биваке,
Чуть забрезжило — встал, и в сумраке Олден увидел,
Как облачился он в панцырь стальной и другие доспехи,
Меч свой дамасский достал, опоясался им торопливо,
Взял мушкет из угла и тотчас из комнаты вышел.
Сердце юноши жаждой пылало сжать Майлза в объятьях,
Губы пытались не раз говорить, молить о прощенье.
Старая дружба воскресла, нахлынуло теплое чувство,
Но заглушила в нем гордость порыв его благородный,
Гордость, сознание вины и жгучая боль от обиды.
Так отпустил он гневного друга, ни слова не молвив.
Да, отпустил и, может быть, на смерть, но слова не молвил!
Позже, с постели поднявшись, послушал соседские толки,
Сам поболтал у дверей с Ричардом, Гилбертом, Джеймсом,
Вместе с другими молитвы прочел и главу из писанья,
Вместе с другими поспешно направился к берегу моря,
К плимутскому утесу, что был для ног их ступенькой
В новый, неведомый мир, оплотом нации новой.

С лодкою шкипер там был и уже проявлял нетерпенье:
Вдруг он упустит прилив, не то переменится ветер.
Кряжистый, бодрый и сильный, пропитанный запахом моря,
Он говорил то с одним, то с другим и запикивал письма
В свой просторный карман и такую смесь поручений —
В свой узковатый умишко, что вскоре совсем растерялся.
Олден стоял возле лодки, на борт опираясь ногою,
Но другой на земле, и смотрел на храбрых матросов.
Прямо сидели они и ждали только приказа.
Жаждал и Джон отплыть, конец положить тревоженьям,
Мысля бежать от тоски, быстрейшей, чем киль или парус,
Мысля в волнах утопить тот призрак, что снова восстал бы.
Тут, обернувшись, он вдруг в толпе заметил Присциллу.
С горестным видом она, ничему вокруг не внимая,
Взор вперяла в него, как будто прочла его думы, —
Взор, столь печальный и кроткий, полный мольбы, укоризны,
Что от решений ночных его отторгнулось сердце,
Как от обрыва скалы, где еще один шаг — и гибель.
Странно сердце людское — добыча смутных желаний!
Странна жизнь человека: придет роковое мгновенье,
И, как на петлях, на нем повернется стена из алмаза!
«Здесь я останусь! — он молвил, на небо взглянув
над собою,

Бога возблагодарив, что развеял туманы безумья,
Средь которых блуждал он, слепой, одинокий, несчастный. —
Белое облако, вижу, в лазури несется, и словно
Это рука, и она все манит, зовет меня в море,
Вот и другая рука, не похожая на руку духа,
Тянет меня назад, держась за мою для защиты.
Облако, мимо лети, растворяйся в небесном эфире!
Даже если, меняясь, в кулак ты сожмешься с угрозой,
Милой я не покину, останусь, презрев все знаменья.
Нет священной земли, нет воздуха чище и лучше,
Воздуха, где она дышит, земли, по которой ступает.
Здесь останусь я ради нее и невидимым стражем
Буду витать близ нее, защищая, храня ее слабость.
Да, как я первым ступил на эту скалу в день приезда,
Так, если бог мне поможет, последним ее и покину!»

Шкипер меж тем торопливо, но с видом достойным
и важным,
Бдительным оком следя за приливом, ветром, погодой,
Всех обходил, а они плотнее его обступили
Молвить прощальное слово, о чем-либо снова напомнить.
Руку каждому сжав, как будто хватался за румпель,
В лодку затем он вскочил и не мешкая к судну отчалил,
Рад, что ушел, наконец, от этой возни и докуки,
Рад, что покинет страну болот, и болезней, и бедствий,
Где так мало еды и много лишь текстов библейских!
С плеском вёсел смешался последний привет пилигримов.
Смелые, стойкие люди! Никто не стремился обратно.
Вспять не глядел ни один из тех, кто пахал эту ниву!

Вот на борту прозвучала команда, запели матросы,
Шпиль тяжелый вертя и якорь со дна поднимая.
Отдали шкоты, все паруса наполнились ветром,
Ровным и крепким, и «Майский цветок» из гавани вышел.
Гарнетский мыс обогнув, он к югу далеко оставил
Остров песчаный, и косу, и «Поле первого боя»,
Ветер попутный приняв, лег курсом в открытое море,
Легкой волной провожаем, биеньем сердец пилигримов.

Долго в молчании люди следили за парусом судна,
Им дорогого, как нечто свое и почти что живое.
Тут, грядущее будто увидя пророческим оком,

Шляпу сняв с головы седовласой, почтенный пресвитер
Всех к молитве призвал, и это вернуло им бодрость.
Скорбно волны шумели, о крепкий утес разбиваясь,
А на холме погребальном, клонясь, шепталась пшеница,
Словно мертвые встали, примкнуть желая к молитве.
Солнце вдали озаряло на самом краю океана
Белый тающий парус, похожий на мрамор надгробный,
Все надежды на лучший удел под собой схоронивший.
Вдруг, обернувшись, увидели все фигуру индейца.
С мыса смотрел он на них, но пока они совещались,
Вытянув руку, кричали «Гляди!» — дикарь уже скрылся.
Так разошлись они по домам, но Олден остался
Грезить, бредя одиноко, любуясь игрою прибоя,
Искристой белою пеной и солнечным ярким сверканьем;
Духу господню подобно, скользило оно над водами.

VI ПРИСЦИЛЛА

Так он бродил и стоял в раздумье у берега моря.
Думал о многом Джон Олден, но больше всего о Присцилле.
И, как если бы мысли могли, подобно магниту,
Мощно притягивать то, к чему они прикасались, —
Только решил он уйти, глядит — с ним рядом Присцилла!

«Разве ты так оскорблен, что и слова сказать мне
не хочешь?» —

Молвила дева. — Вчера, когда за другого просил ты
Так горячо, а мое непослушное сердце в тревоге
Стало просить за тебя, я, быть может, забыла приличья.
Право, ты можешь простить, что тогда я так прямо сказала
Как бы нечаянно то, чего уж не взять мне обратно!
В жизни бывают минуты, когда так наполнено сердце,
Что при малейшем толчке иль если падет в него слово
Камешком легким, оно готово уже расплескаться,
Тайну свою, точно воду, на землю пролить невозвратно.
Да, меня поразило, когда говорил ты про Майлза,
Все в нем хваля, недостатки — и те возводя в добродетель,
Силу хваля его, храбрость и даже фламандские битвы, —
Будто одним удалством покоряют женское сердце! —

И забывал о себе, своего прославляя герой.
Вот почему не могла устоять я пред властным порывом.
Знаю, простишь ты меня во имя связавшей нас дружбы,
Верной и слишком священной, чтоб так легко быть
разбитой!»

Быстро ответил Джон Олден, ученый друг капитана:
«Я на тебя не сердился, себя одного осуждал я,
Плохо исполнив то дело, которое мне поручили». —
«Нет! — перебила она, отстраняя все возраженья. —
Нет, на меня ты был зол за мою откровенность и смелость.
Каюсь, была неправа. Такова наша женская участь —
Долго, покорно молчать и ждать, как призрак безгласный,
Чтоб вопрошающий голос разрушил безмолвия чары.
Вот почему сердечная жизнь у множества женщин
Так глубока и бессолнечна, словно подземные реки,
Что во мрачных пещерах струятся, неслышны, незримы,
Камень бесплодно точа, с бесконечным глухим бормотаньем».
Юный Джон Олден, женщин поклонник, немедля ответил:
«Бог нас помилуй, Присцилла! Я нахожу эти реки
Схожими больше с теми, что сад орошали Эдема;
Схожими больше с Евфратом, что воды несет по пустыне,
Землям блаженство дая и память о саде прекрасном!» —
«Вижу по этим речам я, — вновь его дева прервала, —
Низко ты ставишь меня и к печали моей равнодушен.
Сердце тебе открывая, в тоске, затаенной тревоге,
Жду от тебя я всего лишь сочувствия, доброго слова.
Ты же, взяв то, что я говорила так просто и прямо,
Смысл его изменяешь, бросая любезные фразы.
Этим ты лучшее в сердце твоём без нужды принижаешь.
Я тебя знаю давно и к тебе уваженья питаю.
Ты благороден душой, она и мою возвышает.
Вот за что я ценю твою дружбу, и мне тем большее,
Если из слов твоих видно, что я лишь одна среди многих,
Если меня угощать способен ты лестью пустою.
Ею мужчины гордятся, ее сберегают для женщин,
Мы ж отвергаем, как пошлость, в ней видя почти
оскорбленье».

Олден в немом изумленье внимал и смотрел на Присциллу.
Он еще никогда не видел ее столь прекрасной.
Только вчера горячо стоял он за дело чужое,
Нынче, смущеньем объятый, робел и не знал, что и думать.

Видя его затрудненье, но смутно себе представляя,
Что в его сердце творится, добавила ласково дева:
«Будем же тем, что мы есть, говорить, не таясь, то,
что мыслим,
Правды держаться во всем и помнить о святости дружбы!
Тайны особой в том нет, и громко готова сказать я:
Быть мне приятно с тобой, разговаривать, часто встречаться.
И, конечно, мне было обидно, когда ты старался
Сватать меня твоему приятелю Стендишу Майлзу.
Ибо, скажу между нами, дружба твоя мне дороже
Всей любви капитана, будь он и вправду героем».
Руку она протянула, и Джон, почувствовав сразу,
Как в душе его боль от мучительных ран утоляет
Прикосновение это, растроганным голосом молвил:
«Да, мы будем друзьями, и с кем бы ты ни дружила,
Буду я первым всегда, самым преданным, верным
и близким!»

Бросив прощальный взгляд на мерцавший маленький парус,
Что, виднеясь вдали, исчезал за чертой горизонта,
Джон и Присцилла ушли, и странно им чудилось, будто
Отплыли все их друзья, вдвоем их оставив в пустыне.
Но среди полей, озаренных улыбкою солнечной, легче
Стало у них на душе, и Присцилла лукаво сказала:
«Раз капитан твой грозный в индейском походе, где, верно,
Он счастливей, чем если б семейным командовал домом,
Можешь мне смело поведать, не очень ли гневно был принят
Твой вчерашний доклад о том, как я честь оценила».
Олден тогда описал, что вышло у них с капитаном,
Тяжкое горе свое и Майлза дикую ярость.
Дева на это с милой улыбкой заметила в шутку:
«Майлз похож на печурку и вмиг разгорается жарко!»
Но как только с мягким упреком Джон рассказал ей,
Как он страдал и, с «Майским цветком» задумав уехать,
Ради нее лишь остался, узнав, что грозила опасность,
Сразу, веселость отбросив, она, запинаясь, сказала:
«Я благодарна тебе; всегда ко мне ты был добрым!»

Так, уподобясь паломнику в Землю Святую, который,
Сделав вперед три шага, отступает нехотя на два, —
Движимый жаром в груди, но скованный совестью строгой,

Медленно, но неуклонно, то пятясь, то вновь приближаясь,
Шел молодой пуританин к земле своих упований,
Движимый пылом любви, но скованный тяжким сомнением.

VII

ПОХОД МАЙЛЗА СТЕНДИША

В это же время шагал Майлз Стендиш все дальше на север,
То болотом и лесом, то берегом шумного моря,
Редко отдых давая солдатам. И гневное пламя
В нем клокотало, бурлило, а едкий пороха запах
Был ноздрям его слаще, чем все ароматы лесные.
Молча, угрюмо шел Майлз, исполненный мыслей обидных.
Он, привыкший давно к успеху и легким победам,
Был посрамлен, отвергнут, осмеян, и кем же — девчонкой,
Был неожиданно предан, и кем же — любимейшим другом!
Ох, это тяжкое бремя! Он ежился в жестких доспехах.

«Сам я во всем виноват! — ворчал он. — Какое безумство!
Мне ли, седому бойцу, загорбелому в ляжке военной,
В лагерной жизни тревожной, — вздыхать по юным
девицам?»

Это был сон. Пусть пройдет он, развеется вслед за другими!
То, что мнил я цветком, увял, было сорной травой!
Вырву из сердца ее, отброшу и буду отныне
Только войнами жить, любить лишь опасность и битвы!»
Так он ворочал в уме все те же докучные мысли,
Днем шагая вперед, а ночью в лесу отдыхая,
Глядя на ветви деревьев и на созвездья над ними.

Сделав три перехода, пришел он к селенью индейцев.
К пастбищу сбоку прижалось оно меж морем и лесом.
Жены трудились у хижин, а воины, лица ужасно
По-боевому раскрасив, на корточках сидя, курили
Вкруг костра за беседой. Белых нежданно увидев,
Солнца увидев сверканье на латах, саблях, мушкетах,
Разом вскочили они и двоих отрядили навстречу.
К Майлзу они подошли и меха предложили в подарок;
Дружба была в их глазах, но лютая ненависть в сердце.
Храбростью яростной славились оба — братья-гиганты,

Ростом, как Голиаф или страшный Ог, царь васанский.
Звался один Пексуот, другой же был Ватава́мат,
С шеи свисал в чехле из вампума нож у индейцев,
Острый с обеих сторон, на конце же — точно иголка.
Больше оружия братья, коварство замыслив, не взяли.
«Здравствуй, инглиш!» — сказали они, переняв это слово
От заезжих купцов, что скупают меха за бесценок.
Дальше к речи туземной пришлось обратиться индейцам.
Выручил тут переводчик Гобомок, друг бледнолицых.
Им нужны одеяла, но больше — порох, мушкеты.
Белый, они говорили, их прячет с чумою в подвалах,
Чтобы потом напустить на красного брата. Когда же
Стендиш в том отказал, посулив, что библию даст им,
Сразу их тон изменился и стал задорно-хвастливым.
Прыгнул внезапно вперед Ватава́мат и, став перед братом,
С видом надменным такую речь кичливую начал:
«Знай, Ватава́мат увидел по искрам в глазах капитана
Злобу в сердце его. Не испуган лихой Ватава́мат
Этим ничуть, ибо он не из женского чрева родился,
Но на горé, в ночи из грозой расщепленного дуба
Выскочил мощным прыжком и в полном вооруженье,
С криком: «Где вы, враги? Зовет вас на бой Ватава́мат!»
Выхватив нож и его поточив на левой ладони,
С женским лицом рукоять он поднял над головою
И, угрожающе глядя, промолвил зловеще и глухо:
«Есть еще дома другой, с лицом мужчины на ручке.
Им пора пожениться, и много детей у них будет!»

Вышел за ним Пексуот и начал глумиться над Майлзом.
Он то вытаскивать нож из чехла на груди принимался,
То его снова вдвигал, цедя угрюмо сквозь зубы:
«Вот он посмотрит, попьет он, — ха-ха! — говорить он
не станет!
Это ли воин могучий, который послан сгубить нас?
Больно он мал. Пусть идет и садится работать средь
женщин!»

Майлз уж давно замечал, как фигуры и лица индейцев
В чаще лесной и в кустах мелькали и прятались глубже.

Будто бы в поисках дичи, стрелу к тетиве прижимая,
Крались все ближе они, сужая петлю засады.
Все ж бесстрашно стоял он, беседа ровни и мягко, —
Так старинные хроники наших отцов повествуют.
Но когда услышал он смешки, похвальбу, оскорбленья,
Предков горячая кровь, сэра Хью и Терстона Стендиш,
Бурно в нем закипев, на висках его жилы надула.
Ринулся к дерзкому он и, нож рванув с его шеи,
В сердце ему вонзил. Отшатнулся индеец и рухнул
К небу лицом, на котором свирепая ярость застыла.
Тотчас бешеный клич боевой огласил всю округу.
Точно взвихренный снег, декабрьским ветром гонимый,
Быстрые стрелы, свистя, промчались роем пернатым.
Клубом вырос дымок, и молния резко сверкнула,
Гром ударил ей вслед, и незримая смерть зашагала.
В страхе индейцы искали убежища в топях и чаще
От наседавших солдат. Но сахем их, лихой Ватавамат,
Тот не бежал; он был мертв. Беспощадная

быстрая пуля

Череп пробила его, и в траву он впился ногтями,
Будто землю отцов и в смерти врагу не оставил.

Смяв цветы луговые, лежали бойцы, а над ними,
Руки скрестив, стоял проводник бледнолицых Гобомок.
Долго молчал он, потом обратился с улыбкою к Майлзу:
«Громко болтал Пексуот про рост, и храбрость,

и силу,

Над капитаном смеясь, его «малышом» называя.
Ты ж оказался велик и его уложил бездыханным!»

Вот как в первом бою победил отважный Майлз Стендиш.
Весть об этом доставили в Плимут и вместо трофея
Голову павшего недруга. Мрачно лихой Ватавамат
С крыши строенья взирал, что было и храмом и фортом.
Все, кто видел его, ликовали и бога хвалили.
Только Присцилла глаза отводила от маски ужасной,
Радуясь втайне тому, что не стала женой капитана,
Но с опасением все ж, что вдруг, возвратясь, победитель
Вздумает требовать руку ее, как награду за доблесть.

VIII ПРЯЛКА

Месяцы шли, и к зиме на купеческих шхунах приплыло
Много родных и друзей со скотом и зерном к пилигримам.
Мир в селенье царил. Прилежные жители были
Заняты рубкой и стройкой, посадкой плодовых деревьев,
Пахотой на целине, покосом травы в луговинах,
Рыбною ловлею в море, охотой в лесах на оленя.
Мир в селенье царил. И все же тревожные слухи
Часто сердца волновали сознанием опасности грозной.
Храбрый и ревностный Стендиш в лесах со своими
стрелками

Рыскал, готовя погибель враждебным индейским отрядам.
Звук его имени вскоре внушать стал ужас народам.
Гнев еще жил в его сердце, но вместе с ним угрызенья, —
Как у натур благородных бывает за бурною вспышкой, —
Шли, подобно приливу, который в споре с рекою
Воду держит на месте и делает горько-соленой.

Олден меж тем для себя построил другое жилище,
Прочный бревенчатый дом из грубо отесанных сосен.
Дверь с деревянным засовом, вверху камышовая кровля.
Частый окон переплет был затянут вошеной бумагой;
Свет пропускала она, но от ветра, дождя защищала.
Вырыл Джон также колодезь, вскопал огородные грядки.
(Ныне еще сохранились следы и колодца и грядок.)
К дому хлев примыкал, и в нем, надежно укрытый,
Бык, белоснежный рэггорн, доставшийся Джону на долю
При дележе скота, мог ночью жевать свою жвачку,
Луг вспоминая, где днем срывал он душистую мяту.

Часто, окончив работу, поспешным шагом мечтатель
Шел по тропинке лесной к жилищу юной Присциллы,
Самообманом влекомый, иллюзией воображенья,
Радостью в облике долга, любовью под маскою дружбы.
Только о ней он и думал, срубая сосны для дома,
Только о ней он и думал, копая землю для сада,
Только о ней он и думал при чтенье воскресном писанья,
Где добродетельных жен совершенства описаны в притчах:
Как жене своей муж всегда и во всем доверяет,
Как печется она весь день о мужнином благе,

Как она запасает шерсть и лен домовито,
Как неустанно за прялкой она сидит вечерами,
Как не боится она ни зимней стужи, ни снега,
Зная, что хватит про всех того, что соткано ею.

Осенью как-то под вечер сидела Присцилла за прялкой,
Олден же, сидя напротив, следил за движением пальцев,
Словно нить жизни его и счастья те пальцы свивали.
Выждав заминки в беседе, сказал он под пение прялки:
«Право, Присцилла, когда я гляжу, как прядешь
и прядешь ты,
Вечно в усердном труде, в бескорыстной о ком-то заботе,
Преображенной на миг тебя внезапно я вижу:
Ты уже не Присцилла, но Берта, прекрасная пряха!»
Тут ее ножка сильнее нажала дощечку, сердито
Веретено заворчало, и нить ускользнула из пальцев.
Юноша все ж, не заметив беды, продолжал с увлеченьем:
«Пряха прекрасная ты, королева Гельвеции Берта,
Чью историю видел я как-то в саутгемптонской лавке.
Часто верхом развезжала она по горам и долинам,
Нить неустанно прядя из кудели, к седлу прикрепленной.
Имя женщины этой достойной стало присловьем.
То же самое будет с твоим, когда перестанет
Прялка фермерский дом наполнять мелодичным жужжаньем.
Матери с грустью похвалят, о детстве своем вспоминая,
Доброе старое время и годы пряхи Присциллы!»
Встала тут со скамьи пуританская милая дева.
Сладко ей слушать хвалу от того, чья хвала ей всех слаще!
Пряжи моток белоснежный спешит она снять с мотовила,
Так отвечая меж тем на лестные Олдена речи:
«Праздным не будь же и ты! Если я образец для хозяек,
Должен себя показать и ты как примерный хозяин.
Вот поддержи эту пряжу, клубок для вязанья мне нужен.
Ибо, кто знает, быть может, когда переменятся нравы,
Будут отцы сыновьям хвалить и Олдена время!»
Так среди шуток она ему на руки пряжу надела.
Джон неуклюже сидел, раздвинув руки, а дева
Стройная стала пред ним, свивая нить с его пальцев,
То его мягко журуя, смеясь, что плохо он держит,
То к руке его прикасаясь, когда распускала
Ловко она узелок, а сама и не знала, что этим
Шлет мгновенную дрожь по нервам всего его тела.

Скромный праздник, достойно закон воплощая и веру,
Благословение неба и разрешение земное.
Краток и прост был обряд, как древле у Руфи с Воозом.
Тихо жених и невеста слова повторяли обета,
Взяв отныне друг друга в супруги, в присутствии мэра,
Как пуританам велит похвальный голландский обычай.
После в горячей молитве призвал почтенный пресвитер
Счастье на новый очаг, в любви основанный нынче,
Жизни и смерти коснулся, просил о защите господней.
Вдруг к окончанию службы неслышно для всех на пороге
В тяжелых стальных доспехах сумрачный некто явился.
Что же вздрогнул жених, уставясь на это явление?
Что ж побледнела невеста, прильнув к жениху головою?
Призрак ли это бесплотный — мираж непонятный
воздушный?

Дух ли, восстав из земли, запретить явился венчанье?
Долго стоял у дверей незванный гость, нежеланный.
Взор его мрачный подчас смягчался, и всякий мог видеть,
Что под суровостью внешней таится горячее сердце.
Так бывает, когда, скользя по ненастному небу,
Тучи на миг поредеют и солнца сиянье покажут.
Руку подняв, он губами пошевелил, но без звука,
Словно железная воля сдержала стремление чувства.
Лишь окончены были молитва и брачная запись,
Ближе он подошел, и увидели все с изумленьем,
Что перед ними Майлз Стендиш, Плимута военачальник!
Руку сжав жениха, с волненьем сказал он: «Прости мне!
Я был обижен и зол, — слишком долго мечту я делая.
Я был груб и жесток, но теперь — слава богу! —

все в прошлом.

Кровь унаследовал я от страстных и вспыльчивых предков,
Гневом вскипаю легко, но скор и в признание ошибки.
Более искренним другом для Джона Майлз еще не был!» —
«Все, что случилось, забудь! — жених на это ответил. —
Дружба же старая наша пускай лишь стареет и крепнет!»
Тут церемонный поклон капитан отвесил Присцилле
В английской, ныне забытой, манере бывших джентльменов;
В ней и лагерь, и двор, и деревня, и город смешались.
Счастья в браке он ей пожелал, похвалил ее выбор,
Молвил с улыбкой затем: «Я напрасно забыл поговорку:
«Лучший слуга твой ты сам!» да еще и такое присловье:
«Вишен о рождестве никто не собрал еще в Кенте!»

С недоумением великим, но с еще бóльшим восторгом
Люди столпились, дивясь загорелым чертам капитана,
Ибо уже он оплакан был ими. И каждый стремился
Видеть и слышать его, забыв жениха и невесту.
Наперебой отовсюду посыпались шутки, расспросы.
Бедный Майлз Стендиш не мог разобраться среди шума
и только
Крикнул, что он предпочел бы в индейский вторгнуться
лагерь,
Чем еще раз на свадьбу явиться без приглашенья.

Тихо жених и невеста вышли и стали у двери,
Пряный воздух впивая прекрасного теплого утра.
В блеклых красках осенних, унылая в солнечном блеске,
Вдаль простиралась пред ними земля трудов и лишений.
Здесь и могилы усопших и берег пустынного моря,
Здесь им знакомые нивы, сосновые рощи и выгон.
Их же взорам все это представилось садом эдемским,
Полным дыхания бога, чей голос был гул океана.
Вскоре видение их пропало от шума людского.
Вышли из дома друзья; им больше нельзя было мешкать.
Каждый вернуться спешил к намеченным на день работам.
Тут из ближайших ворот, под хор восклицаний веселых,
Олден, заботливый, нежный, счастливый и гордый
Присциллой,

Вывел быка своего белоснежного. Шел он послушно,
Взнузданный в ноздри продетым железным кольцом
и покрытый

Алою тканью и сверху подушкой, седло заменявшей.
«Ей не придется брести в пыли и полуденном зное! —
Джон объявил. — Пусть она королевой поедет отсюда!»
С легкой тревогой сперва, но затем подбодренная всеми,
Мужу ступив на ладонь и крепко держась за подушку,
Села Присцилла, смеясь, на свою небывалую лошадь.
«Все готово, — сказал он с улыбкой. — Теперь не хватает
Только кудели. Тогда ты была бы прекрасною Бертой!»

Тронулся свадебный поезд к Олдена новой усадьбе.
Муж, жена и друзья вели все вместе беседу.
Ласково им лепетал ручей у брода лесного.
Он был доволен виденьем, по лону его проскользнувшим,
Трепетным ликом любви, коснувшимся бездны лазурной.

Солнце сквозь золото листьев с высот проливало щедроты,
В пурпурных гроздьях горя, которые, с веток свисая,
Свой аромат сливали с бальзамом сосен и елей,
Сладкие, как виноград, созревший в долине Есхола.
Вновь возродились, казалось, века пастухов первобытных,
Юный нетронутый мир времен Исаака с Ревеккой,
Старой и вечно новой любви, простой и прекрасной,
Непобедимой любви бесконечной смены влюбленных.
Медленно плимутским лесом двигался свадебный поезд.



СТИХОТВОРЕНИЯ

1858—1882





ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ

ПЕРЕЛЕТ ПЕРВЫЙ

ПРОМЕТЕЙ

Знают все века и страны
О герое Прометее.
Славят подвиги титана
Мифы древности туманной,
В наших песнях не тускнея.

Он в борении с богами
Вдохновлен порывом сердца,
Дерзновенными руками
Для людей похитил пламя
Из чертогов громовержца.

Олимпийцам вызов брошен:
Людям свет! Прочь ваших стражей!
К далям горним путь проложен, —
И не страшен злобный коршун
На зубцах кавказских кряжей!

Это — символ ваш, поэты:
Только тот венца достоин,
Кто, огнем мечты согретый,
Ищет путь к свободе, к свету,
В бой со злом идя как воин.

В лихорадке ликований
Вы — надежд народных знамя,
В беспредельности дерзаний,
В единении исканий —
Прометея блещет пламя.

Неужель они бесплодны —
Мысли смелые усилья?
И, пройдя сквозь мрак холодный,
Над скалой земли безводной
Мы увидим злые крылья?

Данте, вестник откровений,
Изнывая по отчизне,
Кончил дни в глухой Равенне.
Слеп был Мильтон. Гнет мучений
Испытал Сервантес в жизни.

Но идет, как спутник, Слава
За поэтом и в изгнанье, —
И, свой путь свершая правый,
Предстает он величаво
В ослепительном сиянье.

Слышен зов его далекий
Сквозь столетий мрак суровый,
Мыслей в нем родник глубокий...
Сердцу внятные намеки
Оживают в тайнах слова.

Вся душа полна томленья,
Вся в безмолвном содроганье.
Струны жизни — в напряженье, —
То в порыве вдохновенья,
То в восторге созиданья!

Прометей, — о дух могучий!
В миг таинственный экстаза
Даже слабый видит тучи,
Крылья коршуна над кручей,
Скал заоблачных Кавказа.

Пусть в полете вдохновенном
Мысль предел себе встречает.
Там, в безмерности вселенной, —
Все ж от искры сокровенной
Сердце дерзкое пылает.

И таинственные знаки
Вняты чуткому поэту:
Поднимая выше факел,
Он идет — к векам — во мраке
Все вперед, как вестник Света!

КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК

В сказаньях «Магналия Кристи»
О давних временах
Прочел я в прозе легенду, —
И вот она здесь в стихах.

Корабль из Нью-Хэвена вышел
Осенним утром сырым.
Как ветер, наполнивший парус,
Молитвы неслись за ним.

«О боже! — молил священник, —
К тебе взываю я.
Коль им суждено погибнуть,
Да будет воля твоя!»

Но Ламбертон, шкипер брига,
Сквозь зубы пробормотал:
«Эх, как бы бриг дырявый
Могилою нам не стал!»

Зима прошла, и вернулись
Из Англии корабли.
Что случилось с отплывшим бригом,
Сказать моряки не могли.

И люди опять поднимали
В селениях руки с мольбой,
Чтоб все отплывшие в море
Вернулись скорей домой.

И бог услышал молитвы.
Однажды июньским днем
За час до захода солнца,
При ветре береговом

Встал парус на горизонте,
Белея в шири морской.
То Ламбертон возвращался
На корабле домой.

Окутанный парусами,
Бриг против ветра плыл.
И каждый лица матросов
На палубе различил.

Но вот упала грот-стенга,
Разломлена пополам,
И паруса разорвались,
Подобные облакам.

Обрушились, спутав снасти,
Мачты одна за другой,
А бриг на глазах растаял,
Как утром туман густой.

Люди, узревшие чудо,
Глядели тревожно во тьму,
И каждый, вспомнив о друге,
Подумал: конец ему!

А деревенский пастор
Бога благодарил
За то, что корабль-призрак
До родины все же доплыл.

ТЕНИ ПРОШЛОГО

Дома, где кто-то жил и опочил,
Населены тенями прошлых дней.
Невидимый, неслышный старожил
Здесь проскользнет к вам вдруг из-за дверей.

То на пороге, то у кладовой,
То в коридоре — вам в лицо дохнет
Жилец незримый и над головой
Прозрачной тенью тихо промелькнет.

Среди гостей за праздничным столом
Сидят они, а в зале, где горят
Огни хрустальные под потолком,
Скользит теней безмолвный, тихий ряд.

В моем дому пришелец не найдет
Того, что слышу и что вижу я:
Он видит то, что есть. Но в свой черед
Бывшее встретит вновь душа моя!

Нет прав у нас на землю и на дом:
Владельцы прежние их унесли
С собою, и, грозя немим перстом,
К нам тянется рука из-под земли.

Над миром чувств души бесплотный мир
Витает всюду, влажный дым земной
Пронизывая тонкой, как эфир,
Прозрачной, освежающей струей.

Борение враждующих страстей
Всем жизням равновесье придает:
С желаньем жить спокойно, без затей,
Ведет войну большой мечты полет.

Волненья эти, вечный гул вражды
Земных желаний и стремлений ввысь
Идут к нам от неведомой звезды,
И мыслью мы почти к ней донеслись.

И как луна бросает из-за туч
На ширь морскую зыбкий мост лучей
И мы, вступив на серебристый луч,
Шагаем в царство сказочных теней, —

Так в область чувств из тайных сфер души
Нисходит мост из света. По нему
Стремятся мысли из земной глуши,
Одолевая призрачную тьму.

ДНЕВНОЙ СВЕТ И СВЕТ ЛУННЫЙ

В полдень, стоя у окна,
Я увидел, как луна
Вялым, бледным лепестком
Стыла в небе голубом.

В полдень я сонет прочел.
В мир таинственный увел
Нас поэт стихом своим,
Смутным, призрачным, как дым.

В лихорадке слов и дел
День поблек и отгорел.
Вновь укрыл ночной покой
Дол и горы свежей мглой.

И теперь луна взошла,
Величава и светла,
Озарив простор полей
Волшебством своих лучей.

И понятен стал поэт,
И таинственный сонет
Вновь раскрылся предо мной
Чистой музыкой ночной.

ЕВРЕЙСКОЕ КЛАДБИЩЕ В НЬЮПОРТЕ

Как странно здесь: еврейские гробницы,
А рядом порт, суда из дальних стран. . .
Здесь — вечный сон, там — улицам не спится,
Здесь — тишина, там — ропщет океан.

Деревья дремлют, наклоня кроны,
К ним полог пыли, колыхаясь, льнет;
Шатры ветвей в своей тени зеленой
Скрывают смерти медленный исход.

Полны глубокой вековой печали,
Лежат надгробья много тысяч дней,
Как древние тяжелые скрижали,
Что бросил в гнев наземь Моисей.

Все чуждо здесь: и начертанья знаков,
И странное сплетение имен:
Альварес Иосиф и Рибейра Яков —
Смешенье стран, и судеб, и времен.

«Бог создал смерть, конец земным тревогам, —
Хвала ему!» — скорбящий говорил
И добавлял, простираясь перед богом:
«Он вечной жизнью нас благословил!»

Умолкли в темной синагоге споры,
Псалмы Давида больше не слышны,
И старый рабби не читает торы
На языке пророков старины.

Лишь мертвецы остались на кладбище,
Но кто-то добрый, словно дождь весной,
Убрал их молчаливое жилище
Веселыми цветами и травой.

Откуда здесь могилы этих парий?
Кто, разжигая злобу христиан,
Всех этих Измаилов и Агарей
Бежать заставил через океан?

Они в зловонных улочках ютились,
В угрюмом гетто, на житейском дне,
И азбуке терпения учились —
Как в скорби жить, как умирать в огне.

И каждый до последнего дыханья
Неутоленный голод в сердце нес,
И пищей был ему лишь хлеб изгнанья,
Питьем была лишь горечь едких слез.

«Анафема!» — звучало над лугами,
Неслось по городам, из края в край.
Затоптан христианскими ногами,
Лежал в пыли гонимый Мордухай.

Исполнены смиренья и гордыни,
Они брели, куда судьба вела,
И были зыбки, как пески пустыни,
И тверды, как гранитная скала.

Видения пророков, величавы,
Сопровождали странников в пути,
Шепча о том, что блеск угасшей славы
Они в грядущем смогут вновь найти.

И, глядя вспять, они весь мир читали,
Как свой талмуд, с конца к началу дней,
И стала жизнь сказаньем о печали,
Вместилищем страданий и смертей.

Но не текут к своим истокам воды.
Земля, не в силах стона подавить,
Рождает в муках новые народы,
И мертвых наций ей не оживить.

ОЛИВЕР БАССЕЛИН

Там, где вьется Вир в долине,
В роще мельница видна.
Подойдя, прочесть и ныне
Можно надпись у окна:

Там гранит
Слова хранит
О поэте Басселине.

Древний замок виден рядом
Весь в руинах на холме,
Башни высятся над садом —
Кров для путника во тьме.
И весь год
На небосвод
Смотрит замок тусклым взглядом.

Монастырь уединенный
Здесь стоял недалеко,
Шли фронтоны, и колонны,
И порталы вниз к реке,
Где поток
В городок
Мчался, солнцем озаренный.

Здесь над пропастью отвесной,
Где шумит немолчный вал,
Басселин, поэт безвестный,
Песнь веселую слагал.
И была
Жизнь светла
Для него в каморке тесной.

Никогда тревога властно
Вдаль поэта не влекла,
Для него всегда прекрасна
Жизнь спокойная была.
Не был он
Упоен
Славой, зыбкой и опасной.

Может быть, высокий гений
Не блистал в его стихах,
Пробуждающий волненье
И ответ в любых сердцах.
Но он пел,
И звенел
Смех в его стихотворенье.

А в таверне соберется
В час вечерний сельский люд,
Звон стаканов раздается,
Здесь танцуют и поют...
 Всех нежней
 И веселей
Басселина песня льется.

В Азенкуре песня спета;
В замке рыцари сошлись,
В звонких шпорах, в сталь одеты...
Вдруг к ним звуки донесли:
 Весь народ
 Вдали поет
Песнь любимого поэта.

Затаясь по тесным кельям,
Ждут монахи дней иных...
Лишь одни молитвы — цель им!
Но поэт далек от них:
 И в стихах —
 Не в небесах,
Дышит он земным весельем!

Нет давно баронов смелых,
Время рыцарей прошло...
Нет аббатов поседелых,
След их прахом замело.
 Блеск имен
 Погребен
В глубине могил замшелых.

Только память сохранится
О поэте навсегда:
Песня звонкая струится
В нашем сердце, как вода,
 Там, где плес
 И шум колес,
Там, где Вир в долине мчится.

УТРАЧЕННАЯ ЮНОСТЬ

Часто я в думах встречаюсь с тобой,
Город причудливых зданий,
Часто я вижу простор голубой
Города, ставшего нашей судьбой,
Города юных мечтаний.
И песня Лапландии вновь
В сердце и память стучится:
«Юность промчится, как ветер, как птица,
Но память о юности вечно жива».

Вижу я: ветви раскинул каштан
Там, где мальчишки играли,
Блещущий в красных лучах океан
И острова, где неведомых стран
Чудились синие дали.
И песни старинный припев
Снова и снова мне снится:
«Юность промчится, как ветер, как птица,
Но память о юности вечно жива».

Помню, как гордый полощется флаг,
Как натянулись канаты,
Как бородатый испанец-моряк
Смотрит в далекий таинственный мрак,
Где море качает фрегаты...
А песенка снова звенит,
И в песенке той говорится:
«Юность промчится, как ветер, как птица,
Но память о юности вечно жива».

Помню я вал, обступивший кругом
Крепость у самого моря,
Проблески утра на небе ночном,
Дробь барабанов и пушечный гром,
Трубы, игравшие зорю.
А старая песня звенит,
Звенит и не может забыться:
«Юность промчится, как ветер, как птица,
Но память о юности вечно жива».

Помню я бой, бушевавший вдали
С дьявольским громом и воем;
Пали в сраженье, веда корабли,
Два капитана и в землю легли,
Рядом легли над прибоем.
И старый печальный напев
Опять надо мною кружится:
«Юность промчится, как ветер, как птица,
Но память о юности вечно жива».

Вижу оленя размашистый след
В пасмурной Роше Оленьей,
Дружбу, влюбленность умчавшихся лет
Вновь узнаёт одинокий поэт
В стае голубок весенней.
И грустная песня опять
В душу проникнуть стремится:
«Юность промчится, как ветер, как птица,
Но память о юности вечно жива».

Помню мечтаний моих волшебство,
Детскую ярость исканий,
Сердца безмолвие, песню его,
Помню прозрения и торжество
Дерзостных юных желаний.
И песня далеких времен
Не хочет со мной разлучиться:
«Юность промчится, как ветер, как птица,
Но память о юности вечно жива».

Разве могу подыскать я слова,
Чтобы поведать о думах,
Тех, от которых горит голова,
Тех, без которых и юность мертва
В этих пределах угрюмых.
А неугасимый мотив
Не может не литься, не виться:
«Юность промчится, как ветер, как птица,
Но память о юности вечно жива».

Зданий старинных причудливый вид
Дорог и мил мне поныне.

Ветер прибрежный со мной говорит,
Каждый каштан, наклонясь, твердит
 Песнь об ушедшей святые, —
 Поет он бессмертный напев,
 Не в силах со мною проститься:
 «Юность промчится, как ветер, как птица,
Но память о юности вечно жива».

И Роща Оленья свежа и темна,
 И этой природой родною
Бредить душа моя вечно должна:
Мною здесь юность обретена,
 Та, что утрачена мною.
 И странный, печальный напев
 В задумчивой роще струится:
 «Юность промчится, как ветер, как птица,
Но память о юности вечно жива».

ЗОЛОТАЯ ВЕХА

Голый лес, где пурпурные ветви,
Словно разветвления кораллов,
Протянулись
В красном море зимнего заката.

Словно джины из арабских сказок,
Чуть колышутся в янтарном небе
Над поселком
Серые столбы густого дыма.

Отсветы огня дрожат на стеклах,
Кое-где вдали мерцают лампы, —
Это люди
Свой привет друг другу посылают.

А в дровах вздыхает пленный воздух
И стремится вырваться, подобно
Ариэлю,
Сжатою сосною расщепленной.

У каминов старики седые
Смотрят в пламя, как на пепелище,
И в раздумье
Ждут, что невозвратное вернется.

У каминов юноши в мечтаньях
Строят лестницы воздушных замков
И наивно
Ждут, что невозможное свершится.

У каминов — сцены из трагедий,
Где лишь два актёра — муж с женою,
А над ними
Зритель и судья один всевышний.

У каминов матери и дети
В нетерпенье ждут шагов знакомых,
И прекрасны
Их спокойные простые лица.

Их очаг — как Веха Золотая,
От которой каждый измеряет
Расстоянья
До любого места в этом мире.

И в чужих краях скиталец слышит
Речь огня и возраженья ветра,
Будто снова
Он вернулся к тем, кого покинул.

Счастлив тот, кто с детства чужд наживе,
Глух к призывам города большого!
Не оставит
Он очаг своих отцов и дедов.

Можно редкие купить картины
И великолепные усадьбы,
Что угодно,
Но не прежних дней воспоминанья!

МОРЯК, ОТКРЫВШИЙ НОРДКАП

Оттар, моряк с Гельгоганда,
Рыжебородый старик,
Принес королю Альфреду,
Торжествуя свою победу,
Белоснежный моржовый клык.

Старик был высок и строен,
В усмешке горел задор,
Голова его поседела,
В бороде седина блестела,
Но отваги был полон взор.

Был, как юноша, крепок Оттар,
В сражениях неустрашим;
Он, смеясь раскатистым смехом
Богатырским своим потехам,
Говорил с королем своим.

Альфред же, король-правдолюбец,
В книгу свою писал
Рассказ того, кто впервые
Вышел в моря штормовые,
Мимо арктических скал.

«Дальше меня на север
Не жил никто никогда.
На восток от нас — дикие горы,
Потом — снеговые просторы,
А на запад от нас вода.

Так далёко ко мне на север
От гавани Скерингхэль,
Что месяц по волнам мутным
Ты пройдешь под ветром попутным,
Пока не увидишь цель.

У меня оленей — шесть сотен,
И овцы и свиные есть,
Финны в дар мне приносят тюленей,
Ус китовый и шкуры оленей,
Всего и не перечестъ.

Я пахал свою землю плугом,
Но сердце рвалось от тоски:
Сколько мне рассказали
Про океанские дали
Заезжие моряки!

И гренландские льды и скалы,
И Гебридские острова,
И снега в невиданных странах...
От названий, веселых и странных,
Кружилась моя голова.

На север простерлось море,
Наверно, до края земли.
Три дня я плыл вдоль пустыни,
Где одни бывали доньше
Китобойные корабли.

На запад от судна — море,
Направо — безлюдный берег.
Еще мы три дня проплыли,
А справа по-прежнему были
Пустыня, и лед, и снег.

А дни становились длиннее...
Однажды на севере вдруг,
Где небо светилось багрово,
Мы увидели солнца ночного
Угрюмый кровавый круг.

И вот поднялись перед нами,
Словно из водных глубин,
Скалистые, черные горы
Этого мыса, который
Похож на огромный клин.

Волны вздымались всё выше,
И ветер свирепо выл;
Даже валы в океане
Исчезли в густом тумане,
А я все плыл и плыл.

Пять суток мы шли к востоку,
А ночи все нет и нет.
Огромное наше светило
Круглые сутки струило
Свой алый, зловещий свет».

Приподнялся король англо-саксов,
Отодвинула книгу рука,
Король недоверчивым взглядом
Посмотрел на стоявшего рядом
Бородатого моряка.

Но старый Оттар спокойно
Свой продолжал рассказ.
И, послушав, король стал снова
Записывать каждое слово,
Не поднимая глаз.

«А берег, — промолвил Оттар, —
Повернул внезапно на юг.
И вот наше судно вскоре
Вошло в безымянное море,
Описав большой полукруг.

О, там морякам раздолье!
И морж, и нарвал, и тюлень!
Мы мастера в этом деле!
Гарпуны в них так и летели.
Мы охотились целый день.

Нас, с Гельгоlanda норвежцев,
Было всего-то шесть.
Посудите о нашей силе:
Шестьдесят моржей мы убили,
А всяких тюленей — не счесть!»

Тут Альфред, король-правдолюбец,
Оторвавшись от дневника,
Посмотрел недоверчивым взором,
С сомнением и укором,
На могучего старика.

Но Оттар, моряк с Гельгоlanda,
Усмехнулся ему в ответ.
И провел он рукою правой
По своей бороде кудрявой,
И смутился король Альфред.

И тогда королю англо-саксов
Гордо сказал старик,
Сказал, подняв, как поручу,
Громадную смуглую руку:
«Взгляни же на этот клык!»

РАССВЕТ

Повеял бриз над океаном.
«Рассейтесь!» — он сказал туманам.

Он крикнул морякам: «Вперед!
Глядите, утро настает!»

И поспешил в луга, на нивы,
Крича: «Гоните сон ленивый!»

И к лесу он воззвал: «Шуми,
Как знамя листья подними!»

Сказал пичуге робкой: «Птица!
Проснись, чтоб в поднебесье взвиться!»

И петуху на ферме: «Эй!
Вставай, горнист, буди людей!»

Шепнул колосьям: «Утро близко,
Ему вы поклонитесь низко!»

На башне колокол толкнул:
«Пора! Пусть твой раздастся гул».

Шуршит на кладбище травою:
«А вас я не зову с собою...»

ДЕТИ

Ко мне, я жду вас, дети:
Игры веселой шум
В душе моей рассеет
Туманы тяжких дум.

Открыли вы окошко
На солнце, на восток,
Поют там мысли-птицы,
Сверкает ручеек.

В сердцах у вас луч солнца
И в мыслях струи рек.
В моих — осенний ветер
И первый в хлопьях снег.

Ах, грустно жить на свете
Без ласковых детей —
Пустыня за плечами
И мрак грядущих дней!

Как для деревьев листья,
Чья жизнь — в лучах, в тепле,
Пока не затвердеет
Прозрачный сок в стволе, —

Так и для мира дети;
Их дни в лучах, светлы, —
Сквозь них тепло струится
В суровые стволы.

Ко мне, я жду вас, дети:
Шепните тихо мне
Про песни птиц и ветра
В прозрачной вышине.

Зачем тому вся мудрость,
Вся изощренность книг,
Кто тайну вашей ласки,
Ваш ясный взор постиг?

Вы лучше, чем баллады,
И лучше песен вы.
Ведь вы — стихи живые,
Другие все мертвы!

ПЕРЕЛЕТ ВТОРОЙ

ЧАС ДЕТЕЙ

Меж светом дневным и тьмою,
Лишь алый закат угас,
Наступает недолгий отдых,
Долгожданный детский час.

Я слышу тогда издалека
Топот маленьких ног,
И стук распахнутой двери,
И звонкий голосок.

Я вижу при свете лампы —
По лестнице тройка летит:
Алиса, и Аллегра,
И в золоте кос Эдит.

Шепот, затем молчанье...
То смех я слышу, то вздох:
Девчухи готовят планы
Застигнуть меня врасплох.

С лестницы натиск внезапный,
Сигнал к атаке — взгляни!
Через три беззащитные двери
В мой замок ворвались они.

Карабкаются на башни,
По спинке кресла — вперед!
И мне бежать бесполезно,
От них никто не уйдет.

Объятыя и поцелуи...
Теснят со всех сторон.
И мне вспоминается в башне
На Рейне епископ Гаттон.

Синеглазые вы мышата!
Вы в голову вбили себе,
Что я, старик бородатый,
Не справлюсь с вами в борьбе.

Вы — пленники в крепости грозной.
Не сделать вам ничего!
Вы замкнуты в круглой башне
Сердца моего!

И там вы будете долго,
До самого страшного дня,
Когда рассыплется башня
И в прах превратит меня.

ЭНКЕЛАД

Лежит он под Этной на дне,
То лишь сон, а не смерти мгла, —
И вздохи слышны в глубине,
И весь небосвод в огне, —
Ярость вздохов его зажгла.

Под скалами он погребен...
Гнетут они, грудь сдавив,
И доносится дикий стон, —
Он неясен и заглушен,
Но титан все еще жив.

Вдали толпится народ,
И с тревогой люди глядят...
То и дело кто-то шепнет:
«Наступает его черед,
Пробуждается Энкелад!»

Сбились древние боги в круг,
Поблещать тиранам пришлось:
Слышны грохот, и стон, и стук,
И богов объемлет испуг,
И лепечут они: «Началось!»

О горе! Земля сожжена,
Всходы покрыты золой...
Тучей взлетает она
С губ титана, с черного дна,
И вокруг все оделось мглой.

Груды пепла на город легли,
На поля, где созрел виноград...
Там, из-под гнета земли,
Сквозь скалы, в песке и пыли,
Пробивается Энкелад.

Вот гневно взглянул исполин, —
Алым светом глаза зажглись,
И вихрь ревет вдоль теснин,
На Альпах, в лесах Апеннин:
«Энкелад, пробудись!»

КАМБЕРЛЕНД

Мы стояли на якоре в Хэмптон-Род —
«Камберленд» звался наш корвет,
А с берега гулко над гладью вод
Звучал барабанный бой,
Иль рожок порой
На форту пел в ответ.

Внезапно с зюйда издалека
Белой струйкой взвился дымок —
То был железный корабль врага:
Шел он прямо в залив,
Проверить решив,
Тверд ли дубовый бок.

И перед нами тут как тут
Мрачный пловучий форт, —
Ощерясь, пушки его ревут,
И смерти шквал —
Огонь и металл —
Бьет сквозь люки в наш борт.

Но мы не дремлем и шлем назад
Дерзкий салют боевой, —
Словно по шиферу хлещет град:
То чугун стучит,
Дробясь, как о щит,
О панцырь зверя стальной.

Наглых плантаторов слышится крик:
«Флаг долой!» Но, в огне и дыму,
«Нет! — молвит Моррис, храбрый старик. —
Лучше смерть, чем позор!»
И, как мощный хор,
Все матросы вторят ему.

Тогда, как огромный осьминог,
Сталью враг опоясал нас, —
И «Камберленд» устоять не мог...
Он погиб, а над ним
Стлался пушек дым
В его смертный час.

Наутро над волнами солнце взошло,
И флаг наш плавал на них.
Стало тихо вновь и светло, —
Скорбью был напоён
Ветра слабый стон —
Дань тем, кого нет в живых.

Смелые духом, кто пал в бою,
Спите мирно во глуби вод!
Родина, вижу славу твою:
Исчезнет разрыва знак —
Будет сшит твой флаг,
И рубец заживет!

ХЛОПЬЯ СНЕГА

Из ложа сумрачных небес,
Из хмурых туч неспешно, осторожно
На черный, обнаженный лес,
На пашню, спящую тревожно,
На гладь уснувших рек
Слетает снег.

Как мы в сплетенье тихих слов
Даем излиться сумрачным тревогам,
Наполнившим нас до краев, —
Так изливает слог за слогом
Небес туманных даль
Свою печаль.

То тайные стихи небес,
То повесть давней и безвестной муки,
Из глуби сумрачных завес
Летящие неслышно звуки
К невидимой во мгле
Немой земле.

СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ

О, безусловно ясный день!
Меня охватывает лень,
И безраздельно полон я
Одним блаженством бытия!

Биенье жизни все сильнее,
Все радостней в груди моей. . .
Меня пронизывает дрожь, —
О, как избыток сил хорош!

И вздохи ветра мне слышны,
Чудесной музыки полны:
В ветвях, склоненных до земли,
Деревья струны обрели.

Как на волшебном полотне,
Сияет небо в вышине,
И солнце в бездне голубой
Скользит галерой золотой. . .

Туда, к закатным облакам,
К обетованным островам,
Где горный кряж в уступах скал,
Увенчанный снегами, встал!

В раздолье, ветер, увлеку
Черешен белых лепестки!
И алый персика цветок
Дай мне потрогать, ветерок!

Какое счастье — жизнь вокруг!
Таится в мысли песни звук. . .
О сердце, не тебе ль под стать
Природы вольной благодать?

НЕСВЕРШЕННОЕ

Сколь упорно ни работай,
Дел и к вечеру — гора;
Незаконченное что-то
Остается ждать утра.

С затаенною мольбою,
Словно нищий у ворот,
Встречи утренней с тобою
Неотступно что-то ждет. . .

Все маячит это «что-то»,
Неотвязное, как тень.
Дня вчерашнего заботы
Оттягчают новый день.

Превосходит наши силы
Этот тяжкий груз подчас;
От рожденья до могилы
Он не покидает нас.

Обременены трудами
Мы, как сказочный народ
Троллей северных, плечами
Подпиравших небосвод.

ПЕРЕЛЕТ ТРЕТИЙ

ФАТА-МОРГАНА

О виденья Песни моей,
Вы тревожите мой покой
В тишине безлюдных полей
И в шуме толпы городской!

Я ловлю вас, бросаюсь вам вслед
И... хватаю рукой пустоту.
Но конца этой Песне нет,
Она вновь рождает мечту.

Средь песчаных зыбей манят
Усталого путника взор
Деревьев зеленый наряд
И гладь голубых озер.

Город видит он вдалеке,
Спешит к куполам золотым,
Но вязнут ноги в песке...
Подойдет — все исчезло, как дым.

Скитанья и мне суждены,
И мне отовсюду видна
Столица прекрасной страны —
Силой песенной создана.

Я взбираюсь по склону горы,
Заповедные вижу врата...
Но тут меркнет все... до поры,
Пока вновь не забрезжит мечта.

СТРОИТЕЛЬ ЗАМКОВ

Мечтатель-мальчик в локонах густых,
Строитель замков, чьи зубцы, и шпильи,
И башенки из кубиков простых
В воображенье облако пронзили;

Наездник на коленях у отца,
У Круглого Стола в уютной детской
Готовый сказки слушать без конца
Об удали и славе молодецкой, —

Другие башни будешь строить ты,
Других коней седлать для путешествий,
Услышишь сказки большей красоты
И более чудесных происшествий.

Прилежно строй. Пусть этой башни край
Коснется неба. К звукам высшей сферы
Прислушивайся и наивной веры —
В таинственное веры не теряй!

ПЕРЕМЕНА

Из предместья выхожу я
На старинную межу...
Как чужой пришлец, тоскую
И на зелень рощ густую,
На заветный лес гляжу.

Что же с ним, со мною стало?
Клены юны, как тогда...
Но с друзьями — их немало
В этих рощах побывало —
Я в разлуке навсегда.

Так же ярко плещет море,
Так же ясен солнца свет...

Но мне кажется — о горе! —
Что иными стали зори,
И что прежних волн уж нет.

ВЫЗОВ

Я смутно вспоминаю:
Прочел я как-то раз
В старинной испанской книге
Из древних времен рассказ.

Близ Заморы король дон Санчес
Был убит ударом клинка,
И город кольцом железным
Окружили его войска.

Дон Дьего подъехал к воротам,
Привстал на стременах
И громко бросил вызов
Латникам на стенах.

И всех людей Заморы,
Даже тех, кто еще не рожден,
За предательское убийство
Предал проклятью он.

Он проклял всех живущих
И тех, кто в могиле давно,
Проклял воду их рек и колодцев,
Их масло, хлеб и вино.

Но толпы еще грознее
Стучатся у наших дверей,
Легионы угнетенных,
Голодных, нищих людей.

Они бросают нам вызов,
Проклинают наш хлеб и вино,

Проклинают еще живущих
И тех, кто в могиле давно.

И я на пирах веселых,
Средь музыки и стихов
Слышу, как нарастает
Зловещий вопль бедняков.

Глядят изможденные люди
В залу, что так светла,
И подбирают крохи,
Упавшие со стола.

Внутри — и свет и роскошь,
Ликование без стыда;
Снаружи — голод и холод,
Отчаянье и нужда.

И в мрачном лагере смерти,
Где хлещут ветер и дождь,
Лежит забытый и мертвый
Христос, этой армии вождь.

РУЧЕЙ И МОРСКОЙ ВАЛ

Как песенка древнего барда,
С горы прибежал ручеек,
Серебряными ногами
Топча золотой песок.

Далёко в соленом море
Катился мятежный вал,
Шипя на отмелях низких,
Ревя в расщелинах скал.

Покинув разлучницу-сушу,
С тем валом слился ручей
И горькую, бурную душу
Смягчил чистотой своей.

ПЕРЕЛЕТ ЧЕТВЕРТЫЙ

ЧАРЛЗ САМНЕР

Он спит в земле сырой,
Навеки он затих.
Тому, кто прям и чист душой,
Я посвящаю стих.

Он бурной жизнью жил,
Он горе знал порой,
Но чести он не изменил
В своей борьбе святой.

И он, как Винкельрид,
Подставил копьям грудь.
Он жертвой пал — но был убит,
Открыв победе путь.

И словом и мечом
Он долг исполнил свой,
На боевом посту своем
Он умер как герой.

Смерть нас врасплох берет,
Рвет славных жизней нить,
Великих дел замедлив ход,
Не дав их завершить.

Но в будущих годах
Они дадут свой плод.
Пусть мост недвижим на быках —
Но вдаль река течет.

Смерть сильных не страшит —
В веках живет герой;
И смелый подвиг вдохновит
Других людей на бой.

К нам льется с высоты
Звезды погасшей свет,

Хотя давно самой звезды
Уж и в помине нет.

Так славной жизни свет
К отваге нас зовет.
Не гаснет он во мраке лет
И нас ведет вперед.

ПУТЕШЕСТВИЯ У КАМИНА

Шумят дожди — их не унять!
И флюгер, сквозь туман
Блестая, обращен опять
Туда, где океан.

Мне в душу этот зов проник...
В камине — взлет огня,
А надо мною — полка книг,
Мечты томят меня.

И про заморские края
Мне говорит поэт,
И юность вспоминаю я —
Виденья прошлых лет.

В воображенье промелькнул
Поток с альпийских гор,
И в бубенцах испанский мул,
И мрачный Эльсинор.

В сосновой роще предо мной
Вновь монастырь встает,
Зубчатый замок над волной
И храм у рейпских вод.

Как будто рядом — вся земля:
Тень сумрачных аллей,
И в маках огненных поля,
И дальний блеск морей.

Не страшны мне ни пыль, ни зной,
И я не утомлен...
Я обхожу весь шар земной
В стихах любых времен.

Иных манят пустынь пески,
Скитанья в вечных льдах...
А мне — движением руки
Весь мир открыт в стихах.

Всю землю, все, что есть на ней,
Покажет мне поэт,
И в зеркале стихов ясней
Я вижу белый свет,

РЕКА СОНГО

Голубой поток скользит,
За деревьями сквозит,
Изгибается пролив,
Жизнь озер соединив.

Он скользит в голубизне,
Как в мечте или во сне.
И в раздумье погружен,
Словно застывает он.

Даже, позабывший страх,
Рыцарь, странствуя в лесах,
Не был на пути своем
В одиночестве таком.

Даже, убежав от книг,
Беззаботный озорник,
Птичьих гнезд упорный враг,
Не петлял по лесу так.

В зыбком зеркале волны
Заросли отражены,
Окунувшись с головой
В неба купол голубой.

Только стриж перечеркнет
Отраженный небосвод,
Только чомги резкий крик
Потревожит тишь на миг.

О поток! Ты горд своим
Именем индейским, с ним,
Молчалив и одинок,
Славою ты пренебрег.

Но в тиши твоей, ручей,
Мудрость тысячи речей,
И не знаешь суеты
В медленном теченье ты.

Ты не движешь жернова,
Да и слышен ты едва,
Путнику твой ясный вид
И молчаньем говорит:

«Ты устал и не спеши,
Вольным воздухом дыши,
Дни свои не торопи,
В праздном шуме не топи.

Не к лицу нам шум и плеск,
Мелких водопадов блеск.
Вдаль иди, нетороплив,
Жизнь сердец соедини».

ПЕРЕЛЕТ ПЯТЫЙ

ГОЛЛАНДСКАЯ КАРТИНА

Симон Данса встречает родная земля.
Был он грозным пиратом, прославленным в мире,
Сжег в Испании бороду у короля,

Заманил он аббата на борт корабля,
Чтоб продать его в рабство в Алжире.

В доме возле Мааса, где флюгер перо
Среди крыш островерхих развеял, как пламя,
Есть награбленных кубков и блюд серебро,
Кладовых монастырских и замков добро,
И ковры, что расшиты шелками.

А в саду, где алеет над грядкой тюльпан,
У реки с величавым и тихим теченьем,
В шапке мавра, в загаре полуденных стран,
Коренастый и крепкий старик капитан
Предается воскресшим виденьям.

Вспоминает с усмешкой, как ввергнут в беду
Был испанский король, побледневший от страха, —
И на турок похожи тюльпаны в саду,
А безмолвный садовник, копавший грядку,
Чем-то сразу напомнил монаха.

Эти мельницы там, средь болотных лугов,
В сероватом тумане вечернего часа —
Словно башни испанских приморских холмов
С бородатую стражей средь острых зубцов, —
Хоть пред ним только воды Мааса.

В дни, когда все затянет осенним дождем,
С трубкой длинной он долго сидит у камина,
И друзья-моряки собираются в дом —
В эспаньолках, седые, с суровым лицом,
В кольцах, блещущих каплей рубина.

Так сидят они в мраке, в дождливые дни
Иль в мерцающем отблеске ночи осенней.
По рисунку, по цвету в неясной тени
На полотна Рембрандта похожи они
Пред камином в игре светотени.

О счастливых, несчастных сраженьях давно
Их беседа ведется, как прежде бывало.
Таррагоны янтарное цедят вино —
При набегах у грандов добыто оно
Иль из тьмы монастырских подвалов.

Беспокойно шагает он взад и вперед
В низком зале, вечернею мглою объят,
Как корабль, что, тоскуя, на якоре ждет,
И колышется в мерном движении вод,
И скрипит напряженным канатом.

Вновь таинственный зов долетает сквозь тьму,
Голос ветра и глухо шумящего моря;
Он зовет его, мзнит и шепчет ему:
«Симон Данс! Что же медлишь ты здесь? Почему?
В путь со мной собирайся, не споря!»

И пирату уже ненавистна земля.
Гул морской перед ним все вольнее и шире.
Вспомнил он, как пришлось подпалить короля,
Взять обманом аббата на борт корабля
И продать его в рабство в Алжире.

МЕСТЬ ИНДЕЙЦА ДОЖДЬ-В-ЛИЦО

Там, где войной разорена
Сиуксов древняя страна,
Где в пять обхватов ели, —
Там, подавляя гнев и стон,
Вожди воинственных племен
Вокруг костров сидели.

И Дождь-в-лицо промолвил им:
«Мы отомстим! Мы отомстим
Вождю их с желтой гривой!»
И эхо темно-синих гор
Гремело, вторило, как хор,
Той клятве горделивой.

Река клокочет и кипит,
А там, на берегу, стоит
 Индеецкое селенье.
Вокруг вигвамов — тишина,
И только пенится волна,
 Да слышно птичье пенье.

Раскрашенный, врагам на страх,
Залег бизоном в камышах
 Индеецкий вождь великий...
Три тысячи — его отряд;
Они за скалами лежат,
 Неукротимы, дики...

В ловушку эту, через дол,
Три сотни воинов привел
 Вождь белых с желтой гривой,
И там все триста полегли,
Мечтавших из чужой земли
 Прийти домой с поживой.

Как клубы дыма, смерти мгла
Глаза людей заволокла,
 Бойцы прильнули к травам...
На берегу и там, в тени,
Где скалы высятся, они
 Лежат в песке кровавом.

Спасайся, шкура дорога!
Но Дождь-в-лицо настиг врага,
 И рухнул враг спесивый.
Индеец обнажил кинжал
И мертвым сердце показал
 Вождя их с желтой гривой.

Но кто же прав, кто виноват?
О, пусть об этом говорят
 Надгробной песни звуки...
Мы наш нарушили обет,
И мы должны держать ответ.
 Пусть помнят это внуки!

РУКАВИЦА ИМПЕРАТОРА

Combien faudrait-il de
peaux d'Espagne pour fai-
re un gant de cette gran-
deur? ¹ Игра слов: gant —
перчатка, рукавица и
Gand — французское на-
именование города Гента.

Император горделиво
С башни замка озирал
Фландрии луга и нивы;
У перил, со свитой льстивой,
Венценосца Альба ждал.

Как старинный лист гравюры —
Город у большой реки,
Колоннады и фигуры,
Шпили, своды, амбразуры,
Черепичных крыш коньки...

Там внизу — людей скопление:
Тек по улицам народ;
То, казалось, ополчение
Снова, после поражения,
Собирается в поход.

Альба рек с усмешкой злою:
«Вот гнездо еретиков!
Надо Гент сровнять с землею,
Твердой истребить рукою
Всех ткачей-бунтовщиков!»

Но, решив повеселиться,
Государь спросил вельмож:
«Чтоб на свет могла явиться
Впору Генту рукавица,
Хватит ли испанских кож?»

¹ Сколько пошло бы испанских кож на перчатку такого размера?
(франц.).

ПРЫЖОК РУШАН-БЕКА

Белоногий конь Кират,
Быстрый, крепкий, как булат,
Мчал Рушана Курроглу,
Мчал разбойников вождя,
От погони уходя,
На высокую скалу.

Бег Кирата был так скор,
Что угнаться до сих пор
Даже вихрь не мог за ним.
Больше золотой казны,
Больше молодой жены
Конь разбойником любим.

В Трапезунд и Эрзерум
Путь опасен и угрюм.
Там Рушана дом и сад.
Он ограбит караван
По дороге в Курдистан,
Вот и сыт он и богат.

Восемь сотен человек
Днем и ночью Рушан-бек
Мог послать в суровый бой.
А теперь их господин
Наугад скакал один
По стране, ему чужой.

Но, тропу перерубив,
Круто падает обрыв,
А на дне ревет поток.
Тридцать фут из края в край, —
Хоть по небу поезжай
Иль ищи других дорог.

Вот и недруги толпой
Показались под скалой:
Сам Рейхан, шейх из Орфа,
И в сто сабель с ним отряд.
Крикнул он, удаче рад:
«Ла илла, илла алла!»

Шею гнет Кират дугой.
Бек прильнул к нему щекой,
В глаз поцеловал коня
И ему стал тихо петь.
Птица, прежде чем лететь,
Так поет в сиянье дня.

«О Кират, о мой конек,
Круглый, стройный, как дубок,
Смертную расторгни мглу!
Будешь в сетке из шелков
Золотом звенеть подков.
Выручай же Курроглу!

Кожа у тебя — атлас,
Зорок, верен ясный глаз.
Не предашь ты Курроглу!
Тверд копыт твоих агат.
Ты отважен. О мой брат,
Прыгни же на ту скалу!»

У Кирата гордый нрав.
Силы все свои собрав,
Лишь на миг застыл скакун.
Взглядом смерил он провал
И... копыта оторвал.
Так на риф летит бурун.

Как пловца волны порыв
Переносит через риф, —
Всадника Кират донес.
И с тропинки все быстрее
С шумом пригоршня камней
Покатилась под откос.

Алой феской Рушан-бек
Не тряхнул и, взяв разбег,
Мчался, вольный и прямой.
Даже глазом не моргнув,
Головы не повернув,
Вновь исчез он за горой.

Лишь мерцающим огнем
Панцырь просверкал на нем,
Словно боевой клинок.
И, как призрак, бек пропал,
Только тень, что он бросал,
Прыгнула через поток.

Подвиг увидав такой,
Шейх Рейхан был сам не свой.
Он воскликнул: «Алла-гу!
В Курдистане нет людей
Безрассудней и храбрей,
Чем разбойник Курроглу!»

ДЕЛИЯ

Прекрасна, как чудесный аромат
Цветов душистых, гибнущих от жажды,
Как песня, боль смягчившая однажды,
Чьи звуки вновь уже не прозвучат, —
Прекрасна память о тебе, друг мой.
Спи, мирно спи! К тебе пришел покой.





РАССКАЗЫ ПРИДОРОЖНОЙ ГОСТИНИЦЫ

ВСТУПЛЕНИЕ

В гостинице в ту ночь из окон
Струился свет во тьме глубокой
На почерневшие луга.
Сквозь занавес листвы осенней
Мелькали в ярких окнах тени,
Багровый отблеск очага.

Наверное, в стране моей
Гостиниц не найти древней,
В колониальном старом стиле.
Когда-то здесь богаче жили,
И стол ломился для гостей.
Здесь, в этом здании старинном,
Где крыты кафелем камины, —
Ветшают стены, и на них
Есть пятна сырости осенней,
Неровен пол, скрипят ступени, —
Ну, словом, дом для домовых.
Такой спокойный и чудесный
Здесь уголок среди холмов,
Безмолвных и поросших лесом,
Вдали от шума поездов —
С клубами дыма, с фонарями,
Что в ночь врезаются огнями.

Здесь только бег упряжек слышен;
На подоконники и крыши
Ложится тень больших дубов;
В открытых стойлах пахнет сеном,
Шагают петухи надменно,
Здесь легкий бриз влетает в дом
И треплет вывеску в ненастье,
Где, полустертая дождем,
Гарцует лошадь красной масти.

Вокруг царившее молчанье
Лишь ветра нарушал порыв,
Своим отчаянным дыханьем
Сухие листья подхватив, —
И в пляске смерти и печали
Они кружились и дрожали,
И стоном проносился зов
Непостижимых голосов.

И будто бы издалека
Был слышен разговор в гостиной, —
Так плещет, сжатая плотиной,
У тихой мельницы река.
Когда же речь и смех стихали,
Все замолкали и внимали
Певучей магии смычка.
Пылал огонь в большом камине
И освещал панели ряд
Вдоль стен, старинный циферблат
Часов угрюмых, на картине
Лицо принцессы, светлый взгляд.
И цветом бронзы озарило
Под низким потолком стропила.
Теней колеблющийся рой
Касался клавишей спинета
Своей беззвучною игрой.
Окрашен красноватым светом
Старинный герб, девиз на нем,
Где под стеклом сверкало снова
Не стертые годами слово.
И вспыхивал девиз огнем
Веселых рифм в стихе задорном,

Написанном давным-давно
Тем знаменитым Молино,
Который был воспет Готорном.

В гостиной Музыкант стоял,
Камином ярко освещенный,
И, голову склонив, играл
Проникновенно, увлеченно.
Казалось, скрипки звук он слушал,
Пытаясь угадать в ней душу,
Ее признанья уловить,
Дать ей излить волненье чувства...
И, наконец, своим искусством
Ее страданья утолить.

Своей чудесною игрой
Он всех растрогал и увлек.
Здесь каждый отдыхал душой,
От жизни города тревожной
Укрывшись в тихий уголок
С гостиницею придорожной,
С дубовой рощей. О былом
Хотелось вспомнить в час досуга,
Хотелось им развлечь друг друга,
И было рассказать о чем,
С друзьями сидя у камина.
Теперь собравшихся в гостиной
Обрисовать позвольте мне, —
Нечетко, может быть, как пламя
Всегда неясными штрихами
Рисует тени на стене.

Портрет Хозяина вначале
Запечатлеть хотел бы я.
Хозяин — мировой судья,
И в Сэдбери его все знали,
Обычно «сквайром» величали.
Хранил он этот старый дом,
Гордился именем, родством,
Происхождением и честью,
И герб в гостиной под стеклом
Повесил он на видном месте.

Там разглядеть могли бы вы
Три серых волчьих головы
И блеск серебряного фона —
Щита с малиновой каймой,
Крылатого над ним дракона
И свиток с надписью простой.
А над гербом, где меркнет свет,
Хозяин меч повесил гордо,
Как память тех мятежных лет,
Когда его покойный дед
С мечом сражался у Конкорда.

Здесь был Студент, немного странный, —
Он вырос в мире старых книг,
Любил все языки и страны,
Но больше — свой родной язык.
В обычном добром настроенье
Предпочитал уединенье;
Он вещи тонко понимал,
Всё знал, о чем бы ни был спрошен,
И даже лучшее считал
Всегда не очень уж хорошим.
И страсть одна владела им:
Имел он дома книг собранье,
Хранил редчайшие издания —
В пергаменте, в тисненой коже
Или с обрезом золотым, —
Напоминавшие, быть может,
Ему Флоренцию и Рим.
Любил он в рыцарских романах
Дыханье старины туманной —
И звуки труб и стук подков,
Блестящий панцырь, шлем, и пики,
И воинов могучих лики,
Прекрасных всадниц на охоте,
Ручного ястреба в полете
И песни в сумерках веков.
Смешались в голове названья,
Герои хроник Шарлеманя,
Герои разных глав и сцен,
Мерлин-волшебник из преданий,
Сэр Фьерабрас, сэр Эгламур,

Сэр Ланселот, сэр Моргадур,
Сэр Гай, сэр Бевис, сэр Гавэн.

Был Сицилиец молодой,
Что вырос возле склонов Этны.
Вулкана жаркое дыханье
Таилось в нем. И беззаветно
Он в бурях рисковал собой.
Когда пришел конец восстанью
(Был осажден и взят Палермо),
От короля, что Бомбой прозван,
Спасался он через моря.
Осталась тень тоски безмерной,
Остался отблеск ночи звездной,
В глазах по-прежнему горя.
Он был силен, как дуб; в движеньях
Был гибок. Кисти рук — малы.
В улыбке зубы так белы!
Всегда был выбрит, как священник,
И лишь над верхнею губой
Росли усы — в ладонь длиной
И крыльям ласточки подобны.
Он перечитывал подробно
Певцов Италии родной
И сердцем полюбил горячим
Бессмертных Четверых. Порой
Читал Декамерон в придачу,
Связавший с именем Боккаччо
Тосканы шумное приволье,
На Фьезоле холмов раздолье.
Любил он музыки порыв
И, воздухом и светом полный,
Мелодий радостный прилив,
С которым набегали волны
У сицилийских берегов.
Всегда он слушать был готов
Те песни, что по селам пели,
И те, что пел Джованни Мели,
Питомец сицилийских муз.
Твердили все: «С его стихами

На землю возвращен богами
Нам Феокрит из Сиракуз!»

Здесь был Еврей из Аликанте,
Что привозил издалека
Товары знойного Леванта —
Цветные ткани и шелка.
И так он важен был тогда,
Что показаться мог похожим
На патриарха, — смуглокожий,
С таинственно сверкавшим взглядом,
Со щек струилась водопадом
Всклобоченная борода.
Его одежда навевала
Корицы запах и сандала, —
Как дуновенье ветерка,
Встречающее моряка
У дальних островов чудесных:
Молукк, Борнео, Целебеса.
Он обладал счастливым даром
Истории запоминать
И даже притчи Сандабара,
Наверно, мог бы рассказать.
Он наизусть прекрасно знал
И то, что Пьер Альфонс писал,
И мудрость иудейских книг;
Он изучил талмуд и тору,
Ученье каббалы постиг.
Теперь, задумавшись едва,
Глядел он вдаль туманным взором,
Казалось, видел он, как в сказке,
Обряды, игры, торжества
И девушек еврейских пляски.

Здесь проповедник был умелый —
Гарвардский богослов. Всецело
Во власти Правил Золотых,
Твердил о помыслах святых
Словами Нового завета —
Тем, кто не думает об этом,
А только о делах своих.

Не отрицал он сил природы,
Но изучал с большим стараньем,
Мечтая здание создать
Единой Церкви, чтоб народу
Единой верой обладать,
Возвышенной, как благодать,
И необъятной, как желанья.

Здесь был восторженный Поэт.
И все в его твореньях было:
И выразительность, и сила,
И мысль, и музыка, и свет;
Внезапных образов явленье
Всегда казалось откровеньем.
Писал он, зависти не зная,
Его не омрачало сон
Ни то, что где-то по соседству
Играет музыка чужая,
Ни шелест лавров. Он рожден
Оставить нам стихи в наследство,
Умрет — и скажут, наконец,
Что честь ему была по праву, —
Он принимал спокойно славу,
Но не цеплялся за венец!

А вот и Музыкант со скрипкой,
Пылавшим озарен огнем,
Высокий ростом, стройный, гибкий, —
И словно все светилось в нем;
Светловолосый, синеглазый,
Норвежец в нем был виден сразу;
Вокруг лучился ореол,
Когда глаза его горели —
Как будто ангел Рафаэля
С холста бессмертного сошел.
Был для него родным язык
Не слов, а звуков. Где-то рядом
Кружились эльфы; водопады
Свергались с высоты, встречая
Ущелье; доносился крик
Летавших над водою чаек,
Катило море шумный вал,

И голос старины звучал,
И пел у быстрины речной
Неугомонный Водяной,
Шептались дикие леса. . .
Вокруг смешались голоса
Ветров заблудших, и баллад,
И тех неистовых мелодий,
Что сквозь туман и мрак звучат,
Как горных речек половодье.

Играл на скрипке он, рожденной
В одной из мастерских Кремоны,
Когда божественно умели
Творить из клена или ели —
Из тех деревьев, что росли
В лесах гористого Тироля,
Где прежде ветры их бороли
И пригибали до земли.
Великий мастер прошлых дней —
Создатель скрипки той. На ней,
Как память о бесценном даре,
О том, что мастер жил такой,
Начертано его рукой:
«Антонио Страдивари».

Играла скрипка, затихая. . .
Она, как арфа золотая,
Околдовала бы любого, —
И замерла бы лань лесная,
И бросился бы вспять ручей,
И птицы рвались бы с ветвей,
А мертвецы — со дна морского,
И девушка с душою чистой
Склонилась бы у ног арфиста.

Когда же звуки оборвались, —
Все хлопали и восхищались,
И даже языки огня
Рукоплесканьем показались;
На стенах шевелились тени,
И в клавишках с одобреньем
Дрожали струны, чуть звеня,

Подобно перелетным птицам,
Что кличут в воздухе ночном...
Все замолчали. А потом
Припомнили, что поделиться
Хозяин обещал давно
Воспоминаниями, но
Он был застенчив и несмел;
И все-таки на этот раз
Он отказаться не сумел
И начал первым свой рассказ.

СКАЧКА ПОЛЯ РЕВИРА

(Рассказ Хозяина)

Запомните, дети, — слышал весь мир,
Как в полночь глухую скакал Поля Ревир...
То было в семьдесят пятом году,
В восемнадцатый день апреля, — в живых
Уж нет свидетелей лет былых.

Он другу сказал: «Я сигнала жду.
Когда из города наступать
Начнут британцы, ты дай мне знать,
На Северной церкви зажги звезду, —
Одну, если сушей, а морем — две.
Я буду с конем бродить в траве
На том берегу, и, увидев сигнал,
Коня бы я в бешеной скачке погнал,
Чтоб всюду с оружием народ вставал!
Спокойной ночи!» И вот в челноке
К Чарлстону он поплыл по реке.
Всходила луна, и прозрачный свет
Залив серебрил, где стоял «Сомерсет»,
Британский военный корабль, как фантом.
Скрещение мачт и рей среди тьмы
Казалось железной решеткой тюрьмы,
А черный корпус, расплывшись пятном,
Дрожал, отраженный в приливе морском.

Бродил по улицам верный друг,
Чутко внимая всему вокруг.

В тишине ночной он слышит вдруг
У ворот казармы какой-то стук,
Оружия звон, размеренный шаг.
Это идут гренадеры сквозь мрак
К судам, где британский реет флаг.
На колокольню при свете звезд,
Мерцающих в бездне черных небес,
По лесенке он осторожно полез,
И голуби в страхе взлетели с гнезд
На пыльных балках темных стропил.
И рой теней его обступил.
Он слышал ступенек скрип и треск,
Крыл голубиных тревожный всплеск,
И всюду была ночная тишь,
И лишь по скатам соседних крыш
Струился холодный лунный блеск.
Внизу, словно лагерь мертвецов,
Стояли шатрами холмы могил,
Где каждый мертвец, как солдат, почил,
Улегшись навеки в глубокий ров.

А ветер, заняв караульный пост,
Дозором обходит ночной погост
И шепчет всем спящим: «Тревоги нет!»
На миг словно в белый саван одет,
И он почувствовал чары луны
И мертвой кладбищенской тишины.
Когда же очнулся, взглянул туда,
Где узким потоком речная вода
Втекала в широкий морской залив, —
Уже поднимал океанский прилив
Готовые с якоря сняться суда.

Условного знака на том берегу
Все ждет Поль Ревир на росистом лугу.
В ботфортах, шпорами тихо звеня,
Пройдетя, погладит по шее коня,
Потом в нетерпении топнет ногой
И пристально смотрит на берег другой.
Подтянет подпругу, поправит седло.
Уже от месяца стало светло,

А башня Северной церкви во тьме
Над кладбищем мрачно стоит на холме.
Все ждет он и смотрит. Уж время прошло,
Вдруг видит — звездой огонек замигал,
То дан с колокольни желанный сигнал!
В седло он вскочил, — повод в ладонь.
Заржал и храпит в нетерпенье конь.
Второй сигнал! Он коня погнал!

Еще деревушка спокойно спит,
Но в лунном свете промчалась тень,
Да искру метнул дорожный камень
У скачущей лошади из-под копыт,
И под подковой звенит тропа.
Сейчас народа решится судьба.
Та искра, что высек копытом конь,
Повсюду зажгла восстанья огонь.

Вот он на холме, и Мистик-река,
Встречая прилив, блестит, широка.
Он слышит, как ветер в ушах свистит,
Как мягко бьют под ольхой по песку
И звонко о камень бьют на скаку
Удары быстрые конских копыт.

На башне пробило двенадцать часов,
Когда проскакал он Медфордский мост.
Он слышал первый крик петухов
И яростный лай цепных собак.
С реки повеял холодный мрак,
И саван тумана одел погост.

На башне гулко пробило час,
Когда прискакал Поль Ревир в Лексингтон,
И флюгер дремал, позолотой лучась,
Когда по улице мчался он.
Окошки Дома Собраний, пусты,
Мерцали мертвенно из темноты,
Как будто той крови страшась, что тут
На площади утром еще прольют.

Пробило два, когда, наконец,
У Конкорда он проскакал через мост.
Он слышал на фермах бляенные овец
И щебет проснувшихся птиц среди ветвей.
Заря над лугами блеснула светлей,
Померкло мерцанье последних звезд.
Храбрец не один еще мирно спал,
Кто в этот памятный день на мосту
От пули мушкетов британских пал
В бою за свободу на славном посту.

Остальное по книгам известно вам:
Как пришлось британцам бежать по полям,
Как фермеры гнали наемных солдат,
Сражая их пулями из засад,
И били без промаха в красный мундир,
Огнем прицельным со всех сторон
Врагу нанося тяжелый урон
И на ходу вбивая заряд.

Так в полночь глухую скакал Поль Ревир.
Его тревожный призывный крик
До каждой деревни и фермы достиг,
Нарушив дремотный покой и мир.
Вдруг голос из тьмы, в дверь удар кулака
И слово, что эхом несется в века.
То слово из Прошлого ветер ночной
Разносит над нашей большою страной,
То в час тревоги, нарушившей мир,
Народ, поднявшись, слышит сквозь тьму,
Как в полночь с призывом несется к нему
На скачущей лошади Поль Ревир.

СОКОЛ СЬЕРА ФЕДЕРИГО

(Рассказ Студента)

Однажды утром, перед знойным днем,
Усердно потрудясь в саду своем,
Вблизи от дома, на скамье простой
Сидел сьер Федерико под листвою,

Где виноградник на извивах лоз
Тяжелый груз янтарных гроздьев нес
Внизу — долина светлая. По ней,
Как змейка, Арно вился средь полей,
А если дальше берег проследишь,
Виднелись скаты флорентийских крыш.
Но граф там видел только мавзолей
Своих надежд, любви минувших дней.
Был он в любовном споре побежден,
И хоть в пирах и на турнирах он
И страсть и деньги в горе сжег дотла,
Когда в мужа другого избрала
Она, Джованна, — чистый идеал
Он в сердце неизменно сохранял.

Познав тоску и бедности удел,
На уцелевшей мызе он засел
И там трудолюбиво лозы стриг,
Возился с саженцами груш и фиг.
Один лишь друг с ним вместе ныне жил:
Лишь сокол графу верность сохранил,
А те друзья, что медного кольца
Тяжелым не считали у дворца,
Здесь не могли толкнуть простой засов,
Чтобы войти под этот скромный кров.
Ему, товарищу суровых дней
И деревенских праздничных затей,
Печальный наш отшельник посвятил
Нетронутый запас душевных сил.

Но годы не несли ему даров,
В них прошлого дышал далекий зов.
И нынче утром, вздумав отдохнуть,
Присел он, голову склонив на грудь,
И вскоре незаметно задремал,
И нежный образ перед ним витал.
А рядом птица, сев на свой шесток,
Дремала тоже, слыша звонкий рог,
И снова взмах серпообразных крыл
Ее в просторах голубых носил.
Вдруг встрепенулся сокол, сон стряхнул,
Пытливо на хозяина взглянул,

Как бы сказал он, звякнув бубенцом!
«Мы разве на охоту не пойдем?»

Но нынче не охотой занят ум,
Граф полон о Джованне горьких дум,
И не в мечтаниях, а наяву
Её в тени он видит сквозь листву.
Она — и не она! Дитя пред ним,
Кудрявый большеглазый херувим.
Идет бесстрашно по дорожке он,
И светлый взгляд на птицу устремлен.
«Чудесный сокол, как бы я хотел,
Чтоб в небо ты с моей руки взлетел!»
И звуки голоса его в тиши
Рождают эхо в тайниках души.
Так ветер средь руин, смирив полет,
Эоловою арфою поет.

«Кто мать твоя?» — ребенка граф спросил
И руку на головку положил.
«Джованною моя зовется мать!
Мне с вашей птицей можно поиграть?
Живем мы близко: там наш дом стоит,
За вашим садом, тополями скрыт».

Звучали как издалека слова,
И граф их различал едва-едва.
Над ним кружил воспоминаний рой,
И граф унесся в прошлое мечтой,
Как мореход на корабле своем,
Когда волна чуть плещет за бортом
И слышит он прибоя гул вдали
И голоса невнятные с земли.
Очнувшись, крошку граф на руки взял
И долго мальчику повествовал
О соколиных подвигах лихих,
Пока не стал он третьим в дружбе их.

В те дни Джованна юною вдовой
Приехала в пустынный замок свой,
Где из окна Флоренция видна,
Где красота холмов и тишина,

Чугун ворот в узорах кружевных,
За ним аллеи сосен вековых
И сад с террасами из белых плит,
Где в зной фонтан струится и журчит,
Где мраморных богов таит лесок
И вся долина стелется у ног.
Здесь замкнутую жизнь вела она, —
Как по обычаю вдова должна, —
Гуляя в соболях вдоль галерей,
Всех изваяний строже и статней.
А сын ей втайне радость доставлял:
Все больше он отца напоминал.
И улыбалась вновь она слегка,
И отступала далеко тоска.
Весь день малыш, не ведая забот,
Носился по террасам взад, вперед.
Павлина донимал погоней он,
За грушами взбирался на балкон,
Но все забавы вмиг позабывал,
Как только сокол вдалеке взмывал
Из-за деревьев, окаймлявших сад,
И падал вновь стремительно назад.
Чья это птица, мальчик знать хотел.
Он стал искать. Он был упрям и смел.
И вот однажды, утренней порой,
Увидел графа он перед собой.

Но вскоре ужас мраком день застлал.
Как будто с башни колокол звучал
И в доме полнил каждый зал пустой
Благоговеньем и могильной тьмой.
Любимец общий расхворался вдруг.
Гнезвился в нем загадочный недуг,
И матери уже казалось: он
Неумолимой смерти обречен.
«Ну, чем тебя развлечь или занять?» —
Не раз больного спрашивала мать.
Он долго ничего не отвечал,
Но, видя мать в слезах, пролепетал,
С молящим выраженьем синих глаз:
«Хочу, чтоб сокол графа жил у нас!»

От изумленья онемела мать.
Она боялась графу докучать —
Ему, кто был отвергнут, и не раз.
Ведь просьба означала бы приказ!
Ведь ей рассказывал старик сосед,
Что лучше сокола в округе нет.
Граф так любил его, гордился им,
Единственным товарищем своим!
Но, совладать с тревогой не вольна,
Дала согласие мальчику она.
И, убедившись, что не шутит мать,
Ребенок начал тихо засыпать.

Сентябрьский день, овеянный теплом!
Казалось обновленным все кругом.
Полей, лугов сияла красота.
Была повсюду радость разлита.
В такие дни усталый пешеход
Невольно встречному привет пошлет.
Две дамы в легких шляпах и плащах,
Из сада выйдя, скрылись в тополях.
То пропадут они в тени густой,
То вновь мелькнут в просветах меж листвою.

Одна из них прекрасна и бледна,
И на лице ее печаль видна,
А темные глаза увлажнены,
Они мечтами страстными полны.
Как золотистый нимб над головой,
Сверкали кудри вольные другой,
И на щеках расцвет зари алел,
И в юном сердце жаворонок пел.
Так среди смены света и теней,
Одна другой прекрасней и милей,
Джованна и ее подруга шли,
Куда их важные дела влекли.

А сьер, не зная о приходе дам,
Копал гряды, как изгнанный Адам.
Но чуть он поднял на вошедших взгляд,
Как бы сияньем озарился сад.

Потерянный Эдем был возвращен,
И та река, что сверху видел он,
Уже не Арно: сквозь цветущий край
Евфрат струился, орошая рай.

На Федерико бросив быстрый взор,
Джованна начинает разговор:
«Сьер Федерико, с вами мы друзья,
Решила прошлое загладить я.
Вы помните: меня никто б не мог
Заставить ваш переступить порог!
Не посещала ваши я пиры
И отвергала ваши все дары.
Но вот, хоть в гости не звана, опять
Хочу любезность вашу испытать,
У вас в саду позавтракав хоть раз!»
Ответил он: «Я недостоин вас!
И не корите вы себя за спесь!
Ведь если есть хорошее вот здесь,
Во мне, оно — от вас, оно важней
Всех бед, всех огорчений прежних дней!»
Промолвив несколько любезных слов,
Он посетительниц среди цветов
Оставил и, когда вернулся в дом,
Вновь вспомнил о величии былом,
Когда сверкали золото, хрусталь...
Об этом думать было как-то жаль.
Уколы самолюбия больней
Он ощутил средь бедности своей.
Граф стал искать поспешно тут и там,
Чем угодить нечаянным гостям.
Он осмотрел все полки и буфет,
Служанку кликнул, ну, а толку нет:
Синьор-де не охотился давно,
И только хлеб есть в доме да вино!

Но сокол тут бубенчиком потрянул,
И так на Федерико он взглянул,
Как будто молвил: «В чем нужда твоя?
Могу ли быть тебе полезен я?» —
«Да, велика нужда! А ну-ка, друг!..»
Без лишних слов тебя хозяин вдрут

Схватил и завертел. Увы и ах!
Соколей жизни удалой размах,
Бубенчики и алый колпачок,
Полеты в небе, яростный наскок,
Восторг борьбы — всему конец настал:
Ты, победитель, ныне жертвой пал!
На белоснежной скатерти поднос
Поставлен с хлебом. Вслед за тем принес
Хозяин виноград, и с ним кладет
Он спелый персик, сочный бергамот.
Большая чаша, полная вина,
Цветами осени окружена.
Ах, разве стол не мог бы быть красив
Без сокола с начинкою из слив?

Когда ж готово было все и в дом
Вошли подруги милые вдвоем,
Мозг сьера Федерико, как угар,
Объяло наважденье странных чар.
Покой убогий низок был и мал,
Но вдруг он вырос в пиршественный зал.
Фанфарами весь дом был оглашен,
И кресло гости превратилось в трон.
Еда была изысканно вкусна,
И сладок вкус у сельского вина.
А сокол пряный запах источал:
Он райской птицей иль павлином стал!

Но вот окончен завтрак, и назад
Все вышли в прилежавший к дому сад.
Джованна молвит: «Память старины
Еще жива, и вы удивлены, —
Хотя б и не признались никогда, —
Что я так запросто пришла сюда.
Бездетны вы, и трудно вам понять,
В какой тоске, в какой тревоге мать,
Когда болеет сын, как важно ей
Его желанья выполнить скорей.
Теперь вы видите, какой порыв
Велит мне, гордость прежнюю забыв,
Вас попросить о самом дорогом:

Я говорю о соколе, о том,
Что если птицу сыну подарить,
Еще, быть может, он и будет жить!»

Сьер Федерико слушал, и глаза
Ему застала жалости слеза.
«Сударыня, — сказал он, — верьте, вам
Все, что могу, я с радостью отдам.
Будь раньше я о том предупрежден,
Желанье ваше было бы закон!
Но, озабоченный, как мне пышней
Почтить приход столь дорогих гостей,
Решил я угостить вас, чем богат,
Решил отдать свой самый ценный клад!
Так в жертву был мой сокол принесен.
И вот к столу сегодня подан он».

Слегка рассержена и смущена,
Глаза невольно отвела она.
Ей было жаль, что не сдержал он пыл
И сокола любимого убил.
Но все-таки была она горда:
Ей граф не отказал бы никогда!
Простясь, она с тяжелою душой
Немедленно ушла к себе домой.

Прошло три дня, и скорбный мерный звон
По всей долине ветром разнесен.
Бьют семь ударов — друг за другом вслед.
И понял граф: ее ребенка нет!..
Прошло три месяца. И снова — звон.
Как в праздник рождества, был весел он!
А в тесном домишке забита дверь:
Здесь Федерико нет уже теперь.
У графа нынче много новых слуг,
И то теперь им часто недосуг.
В старинном замке пышный стол накрыт,
И граф с гостями за столом сидит.
Его Джованна, милая жена,
Как никогда прекрасна и ясна,

Сидит с ним рядом. За ее спиной
Над креслом сокол высится резной.
А ниже надпись можно прочитать:
«Лишь тот дождется, кто умеет ждать!»

САГА О КОРОЛЕ ОЛАФЕ

(Из рассказа Музыканта)

ВОЗВРАЩЕНИЕ ОЛАФА

Олаф слышит Тора крик,
В небе вспыхнул красный блик,
Он стоит, склонясь на борт,
Пальцы на мече застыли,
А суда всё плыли, плыли
К северу, в Дронтхейм-фиорд.

И стоит он как во сне.
Отсвет алый на броне
Озарил ее узор.
В небе плещут волны света,
И звенят слова ответа:
«Принял я твой вызов, Тор!»

Чтоб отец был отомщен,
Чтоб вернуть отцовский трон,
Юный Олаф плыл домой.
В ночь он плыл все дале, дале,
Волны прозно грохотали,
Ветер выл во тьме ночной.

И свою родную мать,
Астрид, стал он вспоминать.
Детства беды вспомнил он:
Бегство, трудные дороги
Через горные отроги
К замку, где царил Хакон.

Вспомнил Олаф, помрачнев,
Королевы Гунхильд гнев,
Снова бегство по волнам,

И пиратов нападение,
И в бою морском плененье,
И как тяжело жить рабам.

Вспомнил он, как на торгу,
На эстонском берегу,
Рыцарь глянул на раба
И вскричал: «Открой объяття!
Сигурд я — мы с Астрид братья.
Ты — сын Астрид. Вот судьба!»

Как опять обрел он дом,
Как был в Киеве пажом
У княгини Ольги он.
И как, слыша поминутно
Ропот робкий, ропот смутный,
Князь был ревностью смущен.

Как он вновь в морях блуждал
Около Гебридских скал.
Там, будя в нем много дум,
Муж святой к Христовой вере
Приобщил его в пещере
Под немолчный моря шум.

Светом в сумрачную жизнь
Эти мысли пролились.
Так и ярких звезд лучи
Алый пламень победили,
А суда всё плыли, плыли
К северу в глухой ночи.

При дворе и на войне,
На коньках и на коне,
Юный, статный, полный сил,
На охоте с пылкой сворой
И на лыжной гонке скорой —
Олаф всюду первым был.

Над пучиною морской,
На челне, борясь с волной,
Он как птица пролетит,

Он, взойдя гропою горной
На вершину Смолсор-Горна,
Там повесил солнце-щит.

Бился он любой рукой,
Наносил удар двойной,
Сразу два копья послав.
И с дружиной чашу эля
Пил монарх в часы веселья,
Первым сев, последним встав.

Кто в Норвегии сильней,
Величавей и стройней?
Он прекрасен. Он велик.
И на нем наряд богатый,
С золотой насечкой латы,
Плащ — как пламени язык.

Держит Олаф путь домой.
И сквозь ветра шум ночной
Тора крик рассек простор.
В небе плещут волны света,
И звенят слова ответа:
«Принял я твой вызов, Тор!»

ТОРА РИМОЛЬ

«Тора Римоль! Спрячь нас! Спрячь нас!
Ждут и смерть, и стыд, и плач нас.
По топям, полям, напрямик по лесам
Сам Олаф летит по моим следам».
Так ярл Хакон умолял
Тору, что краше всех женщин.

«Хакон, моей любовью вечной
Отведу я смерть и позор бесконечный.
Но скройся, супруг мой, с рабом своим
В погребе темном под хлевом свиным», —
Сказала Хакону
Тора, что краше всех женщин.

Хакон и Каркер, чтоб схорониться,
Лежали в погребѣ, в душной темнице,
Когда в Оркадэл путем лесным
Примчался Олаф с войском своим
И потребовал выдачи мужа
У Торы, что краше всех женщин.

«Кто ярла голову мне доставит,
Много злата получит, свой род прославит».
Хакон и слуга слышат эти слова
Во мраке, где свет мерцает едва.
Одна в своей спальне
Плачет Тора, что краше всех женщин.

«Пусть что хочет сулит мне король тороватый,
Я тебя не убью за презренное злато!» —
«Почему побелел ты, это сказав?» —
Спросил лицемера испуганный граф.
Снега белее
Тора, что краше всех женщин.

Сон видел Каркер в полночь глухую:
«Мне Олаф на шею дал цепь золотую».
Хакон ответил: «Страшись короля:
Кольцом твою шею сдавит петля».
На кольце обручальном
Взгляд Торы, что краше всех женщин.

Под утро забылся ярл утомленный,
Но вскоре послышались дикіе стоны:
Во тьме предатель вонзает кинжал —
И ярл вовек уже больше не встал.
Нет сна, нет покоя
Для Торы, что краше всех женщин.

В Нидерхольме хором священники пели.
Два тела в петлях, качаясь, висели.
С крыш, из окон, со всех сторон
Глазеет народ: вот — раб, вот — Хакон.
Без чувств в своей спальне
Тора, что краше всех женщин.

КОРОЛЕВА СИГРИД НАДМЕННАЯ

Надменная Сигрид сидит у окна.
Видна королеве родная страна.

Любимая,
Что так печальна ты?

Пол устлан ветвями, смолистой сосной,
И запахом свежим наполнен покой.

Слышит птиц, видит ясное солнце она,
И летний воздух слаще вина.

Как меч обнаженный, слепяще ярка,
На границе с Норвегией блещет река.

Быть в ножнах клинку пограничной реки —
Сам Олаф просит Сигрид руки.

И юные девы у ног ее
Наносят на ткань золотое шитье.

И славит рун старинных напев
Брунгильды любовь и Гудруны гнев.

И непрерывно звенит водопад
Сквозь шелест, сквозь шорох, сквозь песенный
лад.

В руках у Сигрид обруч златой,
Сиявший встарь на двери храмовой.

Это свадебный дар король послал,
Но ум королевы остер, как кинжал.

Она вызывает своих мастеров —
Те обруч вернули с улыбкой, без слов.

Надменно спросила она: «Почему
Вы улыбаетесь? Я не пойму»,

«Что ж, если правдивым быть должен ответ —
Кольцо из меди, в нем золота нет».

Молнией гнева озарена,
Так, задыхаясь, шепнула она:

«В дарах обманул он, обманет и впредь...
В любви твоей, Олаф, не золото — медь!»

На лестнице гулко шаг прозвучал —
Король величаво вступает в зал.

Он руку целует и шепчет ей
О вечной, как звезды, любви своей.

У Сигрид презренье горит на лице:
«Как некогда Один, клянись на кольце!»

«Не надо об Одине мне говорить —
Супруге моей христианкою быть».

Сказала, взглянув из-под ровных бровей:
«Я верной останусь вере моей».

Поднялся Олаф, лицом потемнев,
Бушует в душе его сдавленный гнев.

«Не свататься надо, а выставить рать! —
Любви языческой шлюхи искать!»

В нем вера сильней, чем страх иль любовь.
Лицо ей рассек он перчаткою в кровь.

И, гневом пылая, из зала ушел.
От грузных шагов содрогается пол.

И в ярости Сигрид вослед хрипит:
«За эту обиду ты будешь убит!»
Любимая,
Что так печальна ты?

ГУДРУН

В ночь венчанья короля
В лунном свете спит земля,
Нежен свет, струится он,
И сладок сон.

Полночь тихо подошла.
Час коварства, козней, зла.
Гудрун встала ото сна.
Горит луна.

Дышит Гудрун тяжело.
Что в руке ее зажгло
Синий блеск и что, как лед,
Ей тело жжет?

Гудрун на курган глядит —
Там отец ее убит.
Призрачный ей слышен зов,
И он суров.

Свадебная ночь тяжка.
Хладен поцелуй клинка,
Смерть — дыхание твое,
О лезвие!

Гудрун, ты как снег бледна,
Ты над мужем склонена.
Вздвогнув, он вперил в упор
В нее свой взор.

«Что там, — Олаф говорит, —
В поднятой руке горит?
Почему, восстав от сна,
Ты так бледна?»

«Пряжка выпала моя —
Заколола кудри я —
Разбудил паденья стук
Меня, мой друг».

«Гудрун! Уши есть у стен!
И не змеи ли измен
Под волной волос сплелись?
Остерегись!»

Веет утра ветерок.
Олаф дует в гнутый рог.
Разлучила их вражда,
И навсегда.

ПАТЕР ТАНГБРАНД

Толстомордый богослов,
Невысок, но полон сил,
Приковал он взоры вдов,
Лишь в Исландию приплыл.
«Вот, взгляни, —
Твердят они, —
Тангбранд, патер короля».

Знал молитвы на зубок,
Бойко проповедь читал,
Толковать писанье мог,
Даже в Риме побывал —
Был учен
И одарен
Тангбранд, патер короля.

Он, задира из задир,
Возражений не сносил,
Нарушал, горланя, пир,
На торгу буяном был,
Много пил,
Божбу любил
Вздорный патер короля.

Олафу он стал немил
Из-за всех своих причуд
И в Исландию поплыл,
Где язычники живут,

Набирать
Христову рать,
Шумный патер короля.

Там родные письма
Сберегал и чтит народ,
Песни пела вся страна,
Но ворчал: «Заткните рот!
Свет! Заря! —
Все это зря»
Грубый патер короля!

Издевался в пьяный час
Он в таверне над певцом.
Были ссоры, и не раз —
Мудрено ль: то подлецом
Обзовет,
То подмигнет
Пьяный патер короля.

В Альтафьорде весь народ
Восклидал: «Что за страна!
Нашей родине почет!
Омывала ли волна
Лучший край?
Нет, это — рай!»
Фыркал патер короля.

«Ох, — твердил, — я уморюсь:
Чем хвалиться? Экий жар!
Кучка баб да тощий гусь —
Вот и весь у вас базар!»
Точит скальд
Насмешки сталь —
Бедный патер короля!

Патер Тангбранд разъярен,
Разобиженный вдвойне:
Видит — намалеван он
В глупом виде на стене.
Внизу вилась
Литер вязь:
«Это — патер короля».

Не стерпев таких обид,
Рубит Тангбранд всех плеча.
Торвальд Вейл и Ветерлид
Им убиты споряча.

«Нынче князь,
А завтра грязь», —
Шепчет патер короля.

Чтоб спастись от топора,
Он в Норвегию плывет.
«О король, путем добра
Не пойдет такой народ».

Был смущен,
Растерян он —
Тангбранд, патер короля.

ПОСТРОЙКА «ДЛИННОГО ЗМЕЯ»

Торберг Skefтинг втихомолку
Свистнул, гордость затая:
«Всякий туп собьется с толку,
Всякий, но не Торберг Skefтинг,
Кто-то, да не я».

На песке останки змея
Стройки Рауда давних дней.
Дан приказ, чтоб поскорее
Он построил судно — вдвое
Шире и длинней.

Потому-то свистнул мастер,
И в задумчивости он
Чертит в мыслях корпус, снасти,
Руль и мачты. Так родился
Сказочный дракон.

Мушкеля, топор и молот —
Отовсюду стук и звон.
Песней звонкою расколот
Шум колес, прядущих быстро
Золотистый лен.

Лучшей музыки для уха
Мастера на свете нет,
Про себя он шепчет глухо:
«Славен будет Торберг Skeфтинг
Добрых двести лет».

Горн раздув, кузнец, потея,
Болт, засовы мастерит.
Как в пещере чародея,
Там котел с кипящим варом
Пенится, бурлит.

Колдуны ли шутят шутку,
Торберг Skeфтинг, над тобой? —
Отлучишься на минутку,
Глядь — уж сторожит несчастье,
Пахнет злой бедой.

Вихрь приносит возглас горя
Из дому — печальный знак.
К близким мастер прочь от моря
Отбыл с точным наставленьем —
«Так, мол, строй, и так».

День он посвятил заботе,
Скоро — ночь. Назад пора.
Он поскует по работе,
Он спешит — и в темной¹ верфи
Пробыл до утра.

А наавтра видят судно
Двор и свита короля:
«Змей готов, построен чудно,
Лучшего в моих владеньях
Нету корабля!»

Но с глубокою печалью
Плотник на корабль глядит:
Беспощадной острой сталью
Весь корабль избит, изранен,
Что за жалкий вид!

«Где злодей, исчадь ада?
Смерть ему! — вскричал король. —
Кто найдет его — награда».
Он лицом плаща пурпурней,
Все в нем — гнев и боль.

Но строитель знаменитый
Вдруг, смеясь, заговорил:
«Не кляни, король сердитый,
Я, строитель Торберг Skefтинг,
Это натворил».

Он рубанком и пилою
Ну водить, и, восхищен,
Олаф молвил с похвалою:
«Стал еще пышней и краше,
Мастер, твой дракон».

В семьдесят локтей был мерой
Киль, лежавший на траве.
На носу была химера,
У нее из светлой стали
Шлем на голове.

Судно на воду спустили.
Хоть простор морей
Часто люди бороздили —
Не видал еще норвежец
Корабля пышней.

Был он назван «Змеем Длинным»,
Радости предела нет.
Кто к сказаниям старинным
Слух склонял, тот имя «Скефтинг»
Слышал двести лет.

*КОРОЛЕВА ТИРИ
И ПОЛЕВЫЕ ЦВЕТЫ*

С юга над Дронтхеймом
Мчатся с криком чайки.
Скромной коноплянки
Песнь в лугах звучна.

Плакала в светлице
Грустно, одиноко
Королева Тири,
Олафа жена.

Голубок воркует,
В комнату струится
Ласкового солнца
Золотистый свет.

Голубкá не слышит,
Солнышка не видит —
Замечталась Тири. . .
О любимом? — Нет.

Вот приходит Олаф,
Точно утро, ясный.
Точно солнце мая,
Блещет красотой.

Он цветы приносит,
Стебли полевые,
Запахом чудесным
Напоен покой.

Словно ночь в ненастье
Королева Тири:
Ни улыбка мужа
Злой не тешит взгляд,

Ни цветы, что дал он
Ей с поклоном низким
И с улыбкой, нежной,
Как их аромат.

По зеленым листьям
Пальцы в кольцах ярких
Медленно скользили
Утренней росой.

Но она бросает
На пол эти стебли

С яростным презреньем
И с насмешкой злой:

«Поценней подарки,
Чем трава простая,
Делал Харальд Гормсон
Матери моей.

Покорил норвежцев,
Разорил их земли,
Множество сокровищ
Преподнес он ей.

За мои владенья,
Край богатый вендов,
Биться с Бориславом
Не решился ты,

Чтобы Свенд-датчанин,
Брат мой двубородый,
Не рассеял флот твой,
Словно вихрь листы!»

Прянул с места Олаф
Раненым оленем,
Крикнул королеве,
Гнева не тая:

«Бороду двойную
Собственной рукою
Вырву с корнем. Свенда
В прах низвергну я!»

Так сказал и вышел,
Хлопнул крепко дверью,
По ступенькам гневный
Шаг звучал, как гром.

Затаив обиду,
Он прошел весь Дронтхейм,
Статный и надменный,
С яростным лицом.

Корабли собрал он,
Он собрал все силы,
В царстве многолюдном
Произвел набор.

И от скал норвежских,
Точно стая чаек,
Выплыл флот могучий
На морской простор.

Сам король бесстрашно
Правил Длинным Змеем,
Сам он крепкий парус
К рее привязал.

Он причалил к вендам,
Одержал победу,
И владенья Тири
Силой Олаф взял.

Он сказал с усмешкой:
«Волос женский легче
За собой нас тянет,
Чем семь пар волов.

Я теперь согласен:
Блеск алмазов больше
Украшает женщин,
Чем букет цветов».

*КОРОЛЬ ОЛАФ
И ЯРЛ СИГВАЛЬД*

Прибой грохотал.
Олаф молчал.
Он властной рукою
На юг указал.

Бурлит и ревет
Водоворот
И Сигвальда пенной
Волной обдает.

Ликует моряк:
Уж плещется флаг,
Он поднят на мачте —
К отплытию знак.

Рога войны
Все громче слышны,
Как бабочка — парус
На гребне волны.

Гладь моря — свинец,
Залив — как мертвец,
Что выброшен морем
В пески наконец.

В этот день роковой
Ветер треплет морской
Семьдесят флагов
Над пучиной седой.

Корабли разбрелись,
Швыряет их ввысь,
Но Сигвальд и Олаф
Борт о борт неслись.

Ярл крикнул: «За мной!
Я — лоцман твой.
Я знаю проливы
С большой глубиной».

Так в узкий проход,
Где враг его ждет,
Смерти навстречу
Олаф плывет.

В туман вошли
Его корабли,
Час мщенья, Сигрид,
Забрезжил вдали

«Отдай паруса! — Олаф вскричал. —
В любом сраженье я насмерть стою,
Я никогда с поля битв не бежал,
 Никогда не боялся врагов
 И богу без слов
 Жизнь вручаю в бою!»

«Трубите, рога!» — воскликнул король, —
И туман пронзают громом суда.
В раскатах грома ярость и боль,
 Будто труб ужасающий глас
 Весь мир потряс
 В день страшный Суда.

Громче и громче рогов голоса,
Над морем поют они вновь и вновь,
Упали разорванные паруса,
 И красный диск в небесах,
 Рождая страх,
 Сквозь туман льет кровь.

Вот, наступая на датский флот,
Три связанных вместе идут корабля,
Ни один не отступит, назад не свернет,
 Впереди полировкой гребней
 Сверкает Змей,
 Оплот короля.

Сам Олаф-король на шканцах стоит.
Из дуба стрела, из ясеня лук,
Как солнце, горит сверкающий щит,
 Позолоченный шлем блестящ,
 Алым пламенем плащ
 Загорается вдруг.

Улф Красный глядел, как сцепились суда.
«Ну, скоро яростной битве конец:
Наш Змей впереди, и грозит нам беда.

И охота ж идти напролом! —
Сказал со смешком
Косматый боец.

И Олаф стрелу на лук кладет:
«Не надо мне трусов в смертельной борьбе!» —
«Не туда ты стрелы направляешь полет, —
Сказал и угрюмо примолк
Старый волк, —
Пригожусь я тебе».

Навстречу сам Свенд, король датчан,
Мчится, и с ним пятьдесят гребцов,
С ним рядом шведы — и ярл и тан,
И Эрик на своем корабле,
Подобен скале.
Он к мести готов!

Король сказал: «Изнеженный швед
С трусливым датчанином дома б сидел:
Ужалит мой Змей — их сгинет и след.
Но раз Эрик бойцов ведет,
Немало нас ждет
Героических дел».

Столкнулись суда, и скрипят, и трещат.
Армада норвежцев как прежде сильна,
Но Эрик буксирный рубит канат,
И суда короля сквозь туман
Опять в океан
Относит волна.

Средь хаоса звуков рог — властелин,
Драконы всё жалят, всё злее боль,
Так Эрик, ярла Хакона сын,
Кубок смерти тебе наливал,
Так твой враг ликовал,
Олаф-король.

НАПИТОК СМЕРТИ ОЛАФА

Весь день не стихала война,
Весь день багровела волна,
Но все не утолена
Ярла Эрика мечь.

Стрелы мчатся во все концы,
Копья звонкие — смерти гонцы,
В лужах крови дерутся бойцы,
А мертвых — мертвых не счесть.

Люди — щепки на гребнях валов.
Гнется сталь абордажных крюков.
Враг на палубе. К схватке готов,
Став насмерть, норвежец притих.

Норвегия, увы!
Сыны твои! Где вы?
Все ранены, мертвы
Иль спят в волнах голубых.

Длинный Змей — короля приют.
Кругом свистят и поют
Копья — их недруги шлют,
И Кóлбьорна крепкий щит

Звенит под ударами стрел.
Воитель, предан и смел,
У груды поверженных тел
Он с Олафом рядом стоит.

На палубе разгром.
Средь обломков скользя с трудом,
Весь бледный, в гневе слепом,
Ярл Эрик на судно влез.

Топор засверкал в руках.
Грот падает, весь в парусах,
Как сосна в серебристых снегах,
Там, где скрыт туманами лес.

Он Олафа ищет. И вот
Команду дает он: «Вперед!»
И, как ловчий на зверя, идет
И, бросив сверкающий взгляд,

«Припомни Хакона!» — кричит.
И вдруг... Он на царственный вид
Двух воинов дико глядит, —
Два Олафа рядом стоят.

С воем рухнул на палубу вал,
И никто в этот миг не слышал,
Что Олафу Колборн сказал
С улыбкой на бледных губах.

Два взмаха плащей огневых,
Два взлета волос золотых,
Два всплеска щитов боевых, —
Два воина в синих волнах.

Щит Колборна в пене волны,
Из глоток косматых слышны
Слова, торжества полны:
«Смотрите — вот Олаф плывет».

А там, далеко в стороне,
Щит другой горит на волне,
Как алмаз на большой крутизне,
На гребне крутящихся вод.

Король, по рассказу молвы,
Броню сбросил и шлем с головы,
Словно стебли морской травы,
И нырнул под встречный вал.

Дни и ночи слагались в года,
У юнца теперь борода,
Но Олафа никогда
И никто с тех пор не видал.

ТОРКВЕМАДА

(*Рассказ Богослова*)

В Испании, от страха онемелой,
Царили Фердинанд и Изабелла,
Но властвовал железною рукой
Великий Инквизитор над страной...
Он был жесток, как повелитель ада,
Великий Инквизитор Торквемада.

Старинный замок близ Вальядолида
Стоял в лесу и был угрюмым с вида...
Там жил, как явствует из старых книг,
Идальго, гордый, замкнутый старик.
О нем забыли все уже давно,
Но сохранилось в памяти одно,
Одно его ужасное деянье —
Почти легенда и почти преданье.
А может быть, увидеть можно в нем
Победу покаянья над грехом...
Здесь как бы сочетание двойное:
Лучи зари, блеснувшие над тьмою.
Старик всегда потерянным считал
Тот день, когда он в церкви не бывал...
На улицах распятие встречая,
Молился он, колени преклоняя...
Соблазны мира отгоняя прочь,
Он к исповеди шел в святую ночь,
Плоть бичевал в посту, залитый кровью,
Горя к обрядам пламенной любовью.

Была отрада у него одна:
Охотиться в лесах на кабана,
На бой быков он прямо от обедни
Спешил порою в городок соседний.
Всегда в толпе стоял он со свечой,
От радости бывал он сам не свой,
Когда евреев на кострах сжигали
Иль из страны навеки изгоняли.
Казалось, демон, дух уничтоженья,
Его в такое повергал смятенье,
Что он гремел, в экстазе озверев:
«Смерть грешникам! Да грянет божий гнев!»

А в старом замке, от тревог подале,
Две дочери идадьго расцветали.
Румянцем нежной юности горя,
Они вернулись из монастыря.
На мать свою покойную похожи,
Они цвели, скромны, милы, пригожи...
Лелея их, он вспоминал жену —
На миг меж туч блеснувшую луну.
Она ушла — его любви мечта,
Но дочерей осталась красота.
И тайный голос, смутен и тревожен,
Нашептывал ему: «Будь осторожен!»
Как призраков шуршащие следы,
Гнездилося в нем предчувствие беды.
Подсказывал отцу неясный страх,
Что смерть их стережет во всех углах.
Душой его овладевали черти,
И жизнь ему казалась хуже смерти.

За дочками следил он с подозреньем,
Ему шпионство стало наслажденьем...
Скользя неслышно в бархатных туфлях,
Внезапно появлялся он в дверях,
То в комнате, то в лестничном пролете.
Он к новой приохотился охоте —
Подслушивал, когда они болтали,
Подглядывал, когда они гуляли,
То замечал цыгана в камышах,
То видел, как в саду бродил монах...
Терзаемый загадкой и сомненьем,
Гонялся он везде за привиденьем...
За дочерьми и в церкви он следил
И до таких уловок доходил,
Что даже слуг допрашивал при этом,
Внимая с недоверьем их ответам:
Цыган? В лесу лишь хищный ветер свищет!
Монах? Лишь нищий забредал за пищей!
Но, наконец, блеснуло откровенье...
Все в бездну рухнуло в одно мгновенье,
Все, чем гордился он: величье, блеск...
Как будто бы раздался громкий греск

И башня замка вся, до основанья,
Распалась и разрушила все зданье.
Под вечер, притаившись у дверей,
Подслушал он беседу дочерей,
И в этот миг ему, как бы случайно,
Вдруг леденящая открылась тайна.
И он из замка выбежал во двор,
К безжалостному небу поднял взор
И крикнул злобно, в ярости ощерясь,
Так, что деревья повторили: «Ересь!»

С незримым властелином в споре жарком
Всю ночь он проблуждал в аллеях парка,
То шагом пробираясь, то бегом,
Надвинув шляпу, скрывшись под плащом.
Все тот же демон, сердце в нем терзая
И в ненависть любовь переплавляя,
Шептал украдкой про заблудших дев:
«Смерть грешникам! Да грянет божий гнев!»

А утром рано, только солнце встало,
Когда роса в траве еще блистала
И птицы славили сиянье дня,
Идальго, всю вселенную кляня,
Привел священника, и в мрачном зале
Пред ними обе дочери предстали.
На обвиненья краток был ответ,
Они на всё ответствовали: «Нет!»
Не помогли мольбы и увещанья,
Ничто у них не вырвало признанья.
Напрасно поп заблудших клял овец,
Напрасно угрожал им сам отец. . .
Идальго, наконец, пришлось признаться:
«Здесь инквизиция должна вмешаться!»

Вальядолид смятением объят:
Сто всадников по улицам летят,
Гремят вокруг как бы фанфары ада:
«Великий Инквизитор Торквемада!»
Еретиков ждут пытки и позор,
Одно из двух: изгнанье или костер.

Идальго на прием явился смело,
Проя по государственному делу
Принять его немедленно, и он
Был в тайный кабинет препровожден.
Там ждал старик, покрытый сединами,
В чьем взоре грозное сверкало пламя...
Был в клобуке он, в рясе, как монах,
И сразу он внушал невольный страх.
В руке чудесный рог — его отрада,
От злобных чар спасавший и от яда.
Он молча выслушал рассказ отца,
Глаз не спуская с бледного лица,
Затем сказал: «Мой сын, когда велению
Внял Авраам о жертвоприношении,
Он был покорен и без лишних слов
Приказ был тотчас выполнить готов.
Вот подвиг благочестья беспримерный...
Так действуй же, служитель церкви верный!»

Священный гнев в идальго запылал,
Он жалости отныне не внимал.
Ах, кто поверит этому рассказу?
Донос готов на дочерей, и сразу
Бросают их в холодный мрак тюрьмы —
Преддверье страшное могильной тьмы.
Их ожидают пытки и мученья
И на костре позорное сожженье.

Идальго снова на прием спешит
И Торквемаде с жаром говорит:
«Сам Авраам, готовя гибель сыну,
Сам для костра носил дрова, лучину.
Позволь и мне для казни дочерей
Набрать в пролеске сучьев и ветвей!»
И слышит он в ответ без промедленья:
«На это церковь даст соизволение,
А ты, вернейший из ее рабов,
Получишь отпущенье всех грехов!»

Идальго от блаженства замирает...
Вот он в лесу, что замок окружает,

Где дочери его в былые дни
Гуляли с юной матерью в тени.
В осеннем вихре листья облетали,
И глухо ветви голые стонали...
В ответ на стон неслось со всех сторон
В свинцовом небе карканье ворон.
И хвороста вязанки под кустами
Он собственными наломал руками,
Навьючил груз, и в город повернул
В кистях и с колокольчиками мул.
Идальго полоумный плелся сзади...
А в городе сказал он Торквемаде:
«Вот для костра я хворост приношу!
И о последней милости прошу:
Позволь зажечь костер в минуту казни...
Я это сам исполню без боязни!»
Здесь Торквемада встал и произнес:
«О церкви сын! Ты в жертву все принес!
Иди! Тебя потомство не забудет,
И подвиг твой в веках прославлен будет!»

Близ рынка, где стекается народ,
На площади воздвигнут эшафот,
И статуи на выступе высоком,
Как памятники четверем пророкам,
Стоят сурово в четырех углах
С бесстрастным равнодушием в глазах.
Вокруг, стремясь на площадь с ближних улиц,
Огромная толпа гудит, как улей...
Любая крыша, каждое окно —
Все зрителями жадными полно.

Звучат колокола, поют монахи,
И гром фанфар умолк, как будто в страхе,
Цепь факелов — как огненный венок...
Вдруг слышен шепот, шум и топот ног,
И, в воздухе знамена развевая,
Процессия змеится роковая.
И вскоре каждый ужасом объят:
Две жертвы в груди хвороста стоят...
Опять фанфары грозно зазвучали,
И хор монахов начал песнь печали.

А в этот миг идалго, горд и строф,
В толпе пробился, факел свой зажег
И бросил в хворост... Заметалось пламя...
И он бежал, пронзенный их глазами.

Безжалостное небо! Как же ты
В мир не швырнуло ливень с высоты?
А ты, земля, виновных в злодеянье
Зачем не поглотила в наказанье?

Но в ту же ночь, огонь до неба взвив,
Весь замок вспыхнул, небо озарив,
И стало вдруг, за гранью башен тесных,
Светло, как днем, в селениях окрестных.
Был пламенем весь замок освещен,
И в ужасе народ со всех сторон
Смотрел туда, где феодал жестокий,
На выступ башни кинувшись высокой,
Глядел, объят безумьем, из окна...
И смерть преступника была страшна:
Пол рухнул от неистовства пожара,
А с ним идалго... Так свершилась кара!

Склеп образуя, камни триста лет
Лежат, сокрыв обугленный скелет...
Погиб идалго с дочерьми своими,
И навсегда его забылось имя.
Но имя Торквемады — страшный сон! —
Маячит в дальнем сумраке времен,
Как башня, где в зубцах пылает пламя,
Зажженное жестокими кострами!

ПТИЦЫ КИЛЛИНГВОРТА

(Рассказ Поэта)

Была пора, когда и там и тут
Дрозды себе возводят новый дом
И песенки задорные поют.
Взбухают почки на ветвях кругом,

Флажки весны, — а ручейки бегут,
Резвятся на обрыве скал крутом,
Играют, мчатся, делают прыжки,
И пенные сверкают гребешки.

Малиновка с синичкою в сады
Роняли трели песенок своих,
И воробьи чирикали, горды, —
Ведь поминает библия о них, —
Но жалобно твердил на все лады
Голодный хор ворон унылый стих,
А воронов синклит молился весь:
«Насущный хлеб нам дай, о боже, днесь!»

Через пролив в обратный перелет
Стремилась птицы с милой болтовней
О знойных островах, — летучий флот
Приветствовал селенья, — а порой
Сводили птицы меж собою счет —
Как моряки, что прибыли в чужой
Далекий порт, бранятся и гадают,
Пугая тарабарщиной ребят.

Так в Киллингворт, смеясь, пришла весна
Лет сто назад от нынешних времен,
И фермеры, бросая семена,
Внимали в страхе карканью ворон,
И был подобен в эти времена
Пророчеству Кассандры птичий стон,
И в ярости жестокой без границ
Они на гибель обрекли всех птиц.

Был создан городской совет тогда,
Чтоб головы злодеев оценить,
Поля опустошающих всегда
И не согласных пошлину платить,
Привыкших без тревоги и стыда
За взмахом крыльев пугала следить, —
В присутствии скелета птицам был
Греховный пир вдвойне, пожалуй, мил.

И вот из дома, светлого как храм,
В колоннах, с красной кровлей — славный вид! —

Величественный сквайр выходит сам.
Он, с лестницы спускаясь, не спешит,
И не глазет он по сторонам,
А важным видом как бы говорит:
«Раз в городе живу я много лет,
То ни к чему совсем нам высший свет!»

Явился пастор, строгий человек
И склонный все губить и убивать.
О гневе божьем он твердил весь век,
«О Воле» Эдвардса любил читать
И на оленей был не прочь набег
В холмах Адирондака совершать.
Вот и сейчас, шагая вдоль полей,
Сбивал он ландыш тросточкой своей.

Из Академии, что холм Наук
Венчала колокольной с флюгерком,
Пришел наставник, — он глядел вокруг,
Мечтаньями неясными влеком,
То в облака, то на зеленый луг.
Эльмира — вот поэт мечтал о ком!
Он написал в сонете, что она
Нежна, как влага, и как хлеб нужна.

За ним и дьякон, в бомбазин одет.
Огромный белый галстук он носил,
Но выдержан был в платье черный цвет.
Толстяк обычно медленно бродил,
И он, кого мудрей не видел свет,
Был воплощенным «Я вам говорил!»
Его решили славой увенчать
И переулоч в честь его назвать.

И фермеры явились в городок.
Вся ратуша наполнилась толпой.
Сквайр вел собрание, важен и высок,
Всех покоря логикой простой.
Враждебный птицам плыл речей поток,
В защиту не звучало ни одной,
И нет злодейств — был общий приговор, —
Каких не совершил бы птичий хор.

Но вот наставник с места тихо встал,
Желая злобный замысел пресечь.
Как перед бегом конь, он задрожал
И произнес взволнованную речь
И в этот час Эльмиру вспоминал.
Ему хотелось всю толпу увлечь,
Улыбку вызвать или гнев у всех,
Но только не презренья полный смех.

«Предвосхищая критиков, изгнал
Поэтов из республики Платон,
А вами здесь, хоть город ваш и мал,
На вечное изгнание осужден
Хор трубадуров, чьих у вас звучал
Пленительных баллад веселый звон,
Птиц, что в часы, когда наш дух убит,
Поют, как для Саула пел Давид.

Нам на заре и песнь дрозда слышна
В густых лесах, и сойка за едой
Болтает, говорлива и шумна,
А на верхушке дерева крутой
Задорный клест качается, — полна
Окрестность вся мелодией простой,
И коноплянка с жаворонком тут
В уютных гнездах сладостно поют.

Всех истребить певуний золотых
За горсточку пшеницы, их еду,
Иль за щепотку зернышек иных,
Что топчем мы небрежно на ходу?
Они червей съедают земляных
И вредных долгоносиков в саду!
Пусть вишен несколько они склюют,
Зато ведь песни нам они поют!

Вот птичий хор... Все необычно в нем!
Кто создал птиц и одарил навек
Чудесным мелодичным языком,
Что дум их тайных выражает бег?
Не повторит их песен на своем
Искусном инструменте человек.

И в высоте ветвей их домик сам
На полпути воздвигнут к небесам.

Лишь солнце утром в рощу бросит взор,
В просветы через лиственную сеть,
Петь мадригал начнет немолчный хор.
Как радостно опять его запеть!
Он улетает в голубой простор,
Во всех лесах теперь ему звенеть,
Сквозь пробужденный мир во все концы!
Не устают воздушные певцы!

Подумайте, — без птиц и лес и сад,
Пустые гнезда меж сухих сучков.
Так в сумрачном мозгу слова висят
В туманной паутине грез и снов.
Заменил разве бляение стад
Напевы их умолкших голосов?
Когда сберете урожай с полей,
Вас не проводят птицы до дверей.

Что ж, разве взор ваш более влечет
Рой насекомых в сене или жук?
Неужто воздаете вы почет
Их скучному жужжанию вокруг?
Ужель не лучше жаворонка взлет
И песенки его чудесный звук
Иль щебетанье трясогузок в час,
Когда в тени кустов ждет завтрак вас?

Вы их клеймите прозвищем воров,
А птицы ваши фермы сторожат...
Опекуны с крылами от врагов
Хранят поля, покуда хлеб не сжат,
И самый черный ворон вам готов
Всегда служить исправно как солдат,
Давя одетых панцырем жуков
И ужас наводя на слизняков.

Как мне учить детей не делать зла,
Быть к слабым милосердными везде?
Жизнь свыше нам дарована была —

И в роскоши и в сумрачном труде,
И смерть, пусть темной кажется, светла,
В ней тот же свет, что теплится в звезде.
Но ваш закон, дела, слова идут
Вразрез со всем, чему учил я тут».

Он кончил речь, и шепот пробежал,
Как шелест мертвых листьев, среди толпы,
И кое-кто из фермеров кивал,
Их головы склонялись, как снопы,
Но те, кто поместил свой капитал
В скотину, на отзывчивость скупы.
Птиц осудили, даже род ворон,
Как летопись гласит, был осужден.

Но слушателей круг вне зала был, —
Решать судьбу законов он не мог, —
Но, речь прочтя в газетах, возложил
На голову заступника венок:
И побежденный все же победил,
И многих за собою он увлек!
Но похвалу, что слаще всех похвал,
Он от тебя, Эльмира, услышал!

Вот начался невиданный разгром...
В полях, садах и рощах без конца
Шальной пальбы не прекращался гром,
И птиц губил разящий гнев свинца,
И раненые прочь ползли тайком,
И голод убивал в гнезде птенца.
Слова? Нет, стоны льются со страниц!
Варфоломеевская ночь для птиц!

Настало лето, — в лиственной тени
Птиц не было, их род совсем зачах.
Как раскаленный уголь тлели дни,
Земля золою стала, а в садах
Тьмы гусениц роились, и они
Ордою жадной ползали в полях.
Никто теперь им путь не преграждал,
Пустыней выжженной весь округ стал.

Как Ирод, весь изглодан город был
Червями, — ведь рукой жестокой сам,
Как Ирод, он невинных истребил,
И сыпался с ветвей на шляпки дам
Дождь гусениц; он свет почти затмил.
И вопли дам не утихали там.
Нашествие червей — вот был предмет,
Неисчерпаемый для всех бесед.

И постепенно раздраженным стал,
Не признаваясь в этом, весь народ.
Что толку в жалобах? Ведь каждый знал:
Раз брызнул дождь — что ж делать?
Пусть он льет!

Закон был отменен, хоть понимал
Любой, что мертвых это не вернет.
Так школьники, ошибок сделав ряд,
Стереть их влажной губкою спешат.

В тот год уныло осень шла туда...
Не пламенели жарко лепестки —
Страницы книги Страшного суда.
Лишь жалкие и скудные листки
На ветках багровели от стыда,
Бросаясь с горя в глубину реки.
Стонали ветры над округой всей,
Оплакивая воздуха детей.

Но вот иное зрелище весной!
Не пел певец ни разу о таком, —
Чудесное, как если б зверь немой
Заговорил понятным языком:
Фургон, обвитый зеленью лесной!
Висели ивовые клетки в нем,
Катился он, любой пленяя взор,
В нем песни щебетал крылатый хор.

Со всех сторон собрали этих птиц
По спешному заказу; вскоре там,
Освободясь из ивовых темниц,
Они в полет пустились по полям.

Казалась многим песня тех певец
Сатирой, адресованной властям,
Иные же, в аллеях внемля ей,
Клялись, что нету песен веселей.

Но был наутро птичьих песен звук
Еще звончей, как будто он венчал
Эльмиры брачный день, когда сам-друг
С невестой шел наставник, — и звучал
Везде и всюду, рядом и вокруг,
И, напоенный радостью, взмывал
Туда, где с юным солнцем небосвод
Над Киллингвортом засиял в тот год.

АТРИЙСКИЙ КОЛОКОЛ

(Рассказ Сицилийца)

В Абрुццо есть прелестный уголок;
Зовется Атри древний городок.
Таких там много, и в палящий зной
Бегут они дорогою крутой
К вершине, но, устав на полпути,
Как будто шепчут: «Нет, нам не дойти!»
Когда-то занимал атрийский трон
Король Джованни, и задумал он
Повесить медный колокол литой
На площади, высоко над толпой,
С навесом для защиты от дождей.
Затем король со свитой своей
По улицам проехал, и народ
Оповещал трубивший скороход:
«Пусть всякий, кто унижен, зазвонит
На рынке в колокол, и от обид
Найдет у синдика он правый суд.
Таков, по воле короля, статут!»

Не знаю я, как в Атри жизнь текла
И много ль удалось исправить зла.
Ничто не вечно — знает то весь свет:
Истлев, веревка через много лет

Так измочалилась, за прядью прядь,
Что и в руках ее не удержать.
Пастух однажды мимо рынка брел,
Плющом веревку эту он оплел,
И стебли, пурпурной листвою горя,
Свисали, как гирлянда с алтаря.

В те годы в Атри некий рыцарь жил.
Он шпоры, шлем и длинный меч носил.
Любил за вепрем гнаться он в лесах
И соколов лихих спускать в полях,
И псов борзых любил, и жеребцов,
И блеск дворца, и шумный гул пиров.
Но это — в прошлом. В старости же он
Ценил одних червонцев блеск и звон.

Он соколов распродал и коней,
В аренду сдал сады и часть полей,
И только конь один остался цел.
Он худ был, как скелет, и одряхлел.
А рыцарь, сидя в кресле, размышлял,
Как лучше золотом набить подвал.
И он решил: «Не хватит ли с меня
Кормить овсом ленивого коня?
Зачем ему бездельничать, когда
Доходов нет и дорога еда?
Пускай, где хочет, ищет сам траву,
Я без него отлично проживу!»
Прогнали старого коня, и в зной
Побрел он тихо улицей пустой.
Его пугали тени, лай собак,
Но он все плелся дальше кое-как.

Свой труд дневной исполнив поутру,
Как это полагается в жару,
Все в городе, за ставнями окон,
Вкушали, отобедав, сладкий сон.
И вдруг, будя и взрослых и ребят,
Раздался оглушительный набат.
Очнулся синдик, лоб себе потер,
Поспешно сполз с перины на ковер
И в тоге, соблюдая ритуал,

На площадь нехотя заковылял,
Где колокол, качаясь под шатром,
Твердил своим чугунным языком
Слова из песенки былых времен:
«Кто обойден, обижен, оскорблен?»
Был синдик поражен: в тени аркад
Упал его недоуменный взгляд
Не на старушку или паренька,
А на худого, бедного конька.
От голода всем телом трепеща,
Он жадно обрывал листы плюща.
«Помилуй боже! — синдик закричал. —
Конь рыцаря! Никак не ожидал!
Обиженный, он к нам пришел сюда
И громогласно требует суда!»

Меж тем из переулков и ворот
Толпой валит встревоженный народ.
О редком деле, не жалея слов,
Передают на тысячу ладов,
Руками машут и под шум и гам
Взывают к мертвым и живым богам.
И рыцарю пришлось держать ответ.
Но он не говорил ни «да» ни «нет»,
Отшучивался, выставял свой сан,
Шипел на синдика и горожан,
Настаивая, в общем, на одном:
Что он хозяин над своим добром.

И синдик важно, хоть и ростом мал,
Прочел статуты, а затем сказал:
«Спесь едет, в пышный облачась наряд,
Но с нищенской сумой бредет назад.
Достоин славы блеск геройских дел,
Бесславье — лицемерия удел.
Старо все это. Но, я вижу, вам
Не нравится внимать таким словам!
Какую можете стяжать вы честь,
Коню-бедняге не давая есть?
Кто весь свой век трудился и молчал,
Тот стоит больше, чем любой бахвал.»

Закон повелевает, чтоб коня,
Который вам до нынешнего дня
Слугой был верным, взяли вы в свой дом
И всячески заботились о нем!»

И за смущенным рыцарем народ
Коня домой торжественно ведет.
Всё доложили после королю,
И он сказал: «Вот это я люблю!
Церковные колокола ведут
До храма нас и остаются тут.
Мой сделал больше — ратовал в суде:
Безгласной твари он помог в беде.
И пусть всем угнетателям на страх
Гудит атрийский колокол в веках!»

КАМБАЛУ'
(Рассказ Еврея)

В город великий Камбалу
Дорогой, ведущей на Исфаган,
Ведя запыленный свой караван,
С которым прислали далекий дар
Бальдакка, Келат и Кандахар,
Въехал славный вождь Алау.
Хан во дворце из окна глядел
И видел — толпился внизу народ,
Над улицей узкой желтел закат,
В пыли шло войско, за рядом ряд,
Тут панцырь, там меч кривой мелькал;
Заметил он блеск алмазных шпор,
Заметил усталых верблюдов оскал:
Они вереницей в ворот раствор
Входили к нему на широкий двор.

Так в город великий Камбалу
Прославленный въехал вождь Алау
И речь перед ханом начал так:
«Враги господина сошли во мрак.
Халифы закатных твоих рубежей
Покорны малейшей воле твоей.

В равнинах шелковицы много густой,
Ткачи в Самарканде весь день за станком,
Рабы просевают песок золотой,
Пловцы добывают жемчуг морской, —
Мир и обилие в царстве твоём.

Халиф Бальдаки, и только он,
Восстал, на твой посягая трон.
Богатства его у твоих дверей:
Здесь ткани, мечи, горы ценных камней.
А прах его ветром пустынь разметен.

Приблизясь к Бальдакке, могучую рать
Я спрятал, велев приказаний ждать,
Под сенью лесов, за буграми песка,
И с горстью бойцов поскакал во всю прыть:
Я тигра седого решил заманить
Туда, где в засаде ждали войска.

И в городе вскоре забили в набат.
Раздался гонгов воинственный гул,
Под звуки цимбал распахнулись вдруг
Ворота, и мы помчались назад.
Они — за нами! Погоня! Бой!
Халиф престарелый неукротим,
И стят Магомета, как пламя, над ним.
Но мы их поймали, и город был мой!

Въезжая в крепость, увидели мы
Высоко зубцы «золотой тюрьмы».
Халиф в той башне червонцы копил,
Ссылая в лари, громоздя их стеной.
Так прячут мешки с пшеницей в амбар.
Украдкою скряга туда приходил
В сокровищах черпать запасы сил
И алчно рыться в своей кладовой,
Где камни сверкали, как светлячки,
Как блещут во мраке пантеры зрачки.

— Ты стар, Халиф, — я промолвил ему, —
И золота столько тебе ни к чему.
Хранил ты его бесполезной горой,
Пока не грянул под городом бой.

А посеи ты его в стране своей,
Оно взошло бы клинками мечей,
Достойно храня твою честь и покой.
Ты зерен златых в муку не сотрешь
И слитков серебряных не разжуешь,
А кольца, и жемчуг, и груды камней
Твоих не излечат старых костей,
Не помешают твоей судьбе
По лестнице башни проникнуть к тебе!

Я запер старого трутня там,
Пусть мед свой сосет со слезой пополам
В том улье златом, где он обитал.
И стонов не было слышно нам,
Когда он вверял их толстым стенам.
Живым его больше никто не видал!

Когда же открыли мы дверь наконец,
Лежал недвижим бездыханный скупец,
И кольца с иссохших пальцев сползли,
А зубы белели, как кости, в пыли.
Он умер, вцепившись когтями в свой клад.
Лежал он там, истукан золотой,
С волнистой серебряной бородой,
Раскинув руки, как будто распят!»

Великий хан был брат Алау,
И вот что ему, упреждая хулу,
Поведал наместник подвластных стран,
Вернувшись в город побед Камбалу
Дорогой, ведущей на Исфаган.

САПОЖНИК ИЗ ХАГЕНАУ

(Рассказ Студента)

Случалось, верно, здесь иль там
Про Хагенау слышать вам —
Старинный тихий городок
В Эльзасе, в зелени холмов,
Где много мельниц и ручьев,

Где замок Барбароссы, строг,
На темной крутизне залег.
Сквозь плесень стен глядят века
На лес, где весело стрелку,
На синей речки берега,
На изгороди и луга,
Что дали имя городку.

В те годы славные, когда
Хор мейстерзингеров звучал,
Пленяя и гильдейский зал
И мастерскую в дни труда,
Здесь, в Хагенау, как-то жил
Сапожник, смелых споров друг,
И часто говорил он вслух
То, что иной в душе таил;
Был дальновиден, и умен,
И добросовестен всегда,
Но в дни веселья, в дни труда
Не думал о небесном он.
Любил он Ганса Сакса стих,
Он Регенбогена читал:
Широкая молва о них
До Хагенау дотекла.
«Песнь горлицы» его влекла,
И «Плуга звонкого» металл
Не забывал он ни на миг.
И часто там, где он сидел,
Среди колодок, молотков,
«Рейнеке Лис», «Корабль глупцов»
Иль «Эйленшпигель» шелестел.
Ему милее был их вид
Всех схоластических томов.

Но, страха божьего полна,
Чуждалась книг мирских жена.
Стихи псалтырь ей заменял.
Пленялась музыкой она
Лишь в церкви, слушая хорал.
Пред ней — орган, где по бокам
Два ангела резных с трубой
Льют звуки чистою волной,

И, гулким эхом смущенá,
Бормочет, шепчет тишина,
Как дух, тайком проникший в храм.

Из дома выйдя, раз присел
Поклонник муз на свой порог.
Едва смягчала знойный день
Карниза узенькая тень.
Для бургомистра он сапог
Тачал и еле слышно пел:

«Мы явились в мир —
Голая орда;
Мы проходим мир
В тягостях труда;
Мы покинем мир —
И... невесть куда!
Но тот, кто здесь не плошал,
Не встретит и там вреда.
А большего я б не сказал,
Хотя б говорил года!»

Так пел с работою в руках
Сапожник у дверей своих.
Воценой дратвы быстрый взмах
Закатывал стежок и стих.
Его спокойная жена
Взглянула, прячась от лучей,
В окошко и, поражена,
В волненье чуть раскрыла рот.
Что там? Куда валит народ?
Проходит шествие пред ней
По улице, всегда пустой.
Звук рога, барабанный бой,
Хоругвей трепет, блеск свечей.
Растет и тает над толпой
Девичий хор — как сладок он!
И вдруг — колоколов трезвон!

В сутану облачен, монах
В повозке пестрой восседал.

Он то рукою правой ввысь
Тяжелый алый крест вздымал,
То припадал к нему в мольбах.
Скакала стража на конях,
И, дерзко глядя на народ,
Герольд проворный возглашал:
«Господня милость к вам идет!»
Так к церкви двигались они.
Сапожник, на скамье в тени,
Лишь головою покачал
И павшей ниц жене сказал:
«Да это Тетцель! Я знаком
С его вороньим голоском.
Чур, золота не отдавай:
Не продается доступ в рай!»

Был этой ночью полон храм.
Скользили тени по углам,
Плыл благовоний дым густой,
Священник пел, орган гудел
Неуголенною тоской,
На алтаре — пылающие свеч,
И рядом, как багровый меч,
Крест, вознесенный над толпой.
А пред амвоном, у стола,
Продажа индульгенций шла, —
Так песни продают весной.
Резной окованный сундук
В себя вбирал монет струю,
Со звоном падавших из рук
В уплату за места в раю.

А в это время бушевал
С высокой кафедры монах.
Он весь — порыв, огонь в глазах.
«О люди добрые, — он звал, —
Вот грамоты! Спешите брать!
Под каждой подпись и печать!
Вам все грехи они простят.
Считайте прибыль, трата — вздор!
Серебро и золото — тлен и сор,
А все же в рай вам путь мостят!

Взывают братья, слышно мне!
Они в чистилище, в огне!
Ужель напрасен муки глас?
Народ, чего, безумный, ждешь,
В ворота рая не идешь?
Входи же в них сей день, сей час!
Ведь завтра уж не попадешь!
С зарею я покину вас.
Взываю к вам в последний раз!»

Дрожали женщины, горя
Надеждой или впадая в страх.
Они со вздохами, в слезах
Теснились возле алтаря.
Все звонче падал дождь монет
На дно резного сундука,
Как камни в воду ручейка.
И вот уж грамот больше нет!
Жена сапожника с толпой
Дала, приблизясь, золотой
И быстро с грамотой ушла,
Прижав ее к груди рукой.
Она сквозь мрак домой бежит,
Нет, не бежит она, — летит,
Утешена и весела,
Как горлица в свой дом лесной,
Когда злой хищник навсегда
Отогнан от ее гнезда...

Шли дни. Монах исчез, как дух.
Угасло лето, снег лежит.
И жизнь, хоть и меняя вид,
Обычный совершает круг —
Свой тесный круг трудов, забот,
Молитвы, отдыха, невзгод.

Но тихая жена давно
Таит в душе бесценный клад.
Ей рай обещан, ей дано
Вкусить от неземных усад.
Увы! Вернется прах во прах!
Не кончился и зимний пост,

Ее останки взял погост,
Душа витала в небесах.

Осталось несколько вещей,
Что даже бедняжки хранят:
Колечки, бусы из камней,
Невесты шелковый наряд,
Увядший свадебный букет
И матери седая прядь —
Свидетели минувших лет.
Здесь из укрожных тайников
На свет вдруг выплыли опять
Лист пожелтый и печать
Под отпущением грехов.

Меж тем священник, возмущен,
Прождал напрасно день, другой,
Чтоб реквием за упокой
Исполнить, как велит канон.

Судье пожаловался он,
Что дни текут, а мессы нет
И прах покойной не отпет.
Сапожник церковь чтить отвык,
А может, хуже: еретик!
И вот к суду он привлечен.

Законов строгих не поняв,
Он все ж уверен был, что прав,
На кресле восседал судья
И взглядом как бы говорил:
«Не смей лукавить, стоя здесь,
И все, что скажешь, прежде взвесь!»
А вслух он холодно спросил:
«Скончалась ли жена твоя?»
Сапожник, горя не тая,
«Увы, — промолвил тихо, — да!»
Его слова судья тогда
В большую книгу записал
И, вновь подняв перо, сказал:
«А что же, знать хотел бы я,
Ты сделал для ее души?»

Ну, признавайся! Поспеши!»
Сапожник тут же дал ответ:
«Душе, по воле высших сил,
Уже дарован вечный свет,
Так в мессах надобности нет!»
В карман он руку опустил
И лист, что был жене так мил,
Судье спокойно предъявил.

Судья читал и, удивлен,
Чем дальше — больше веселел.
Подняв густые брови, он
На представителей сторон
С улыбкой легкой поглядел:
«Излишества земных утех,
Былые преступления, грех
Я днесь прощаю! Чистоту
Ты обретаешь вновь свою.
Тебе причастие даю
И к праведным тебя причту!
Клеймо порока и стыда
С тебя смываю навсегда.
Тебя средь сонма божьих слуг
От адских избавляю мук!
Когда настанет смертный день,
Под райскую войдешь ты сень!
Но сколь продлится жизнь твоя,
С тобою, возвещаю я,
Пребудет благодать сия!»

Поп злился, но судья сказал:
«Бумагу, вижу, подписал
Брат Тетцель: вот его печать!
А документ такой признать
Без спора должен суд любой.
Оправдан подсудимый мной!
Читал ты «Лиса»? Отвечай!» —
Вдруг задает вопрос судья.
«Читал!» — «Ну, так и думал я.
Смотри, конца не забывай!»

АЗРАИЛ

(Рассказ Еврея)

Царь Соломон однажды перед сном
По плитам расписным перед дворцом
Гулял с приезжим из далеких стран.
У гостя был двойной высокий сан:
Раджа он и ученый — Рунжит-Син,
Могучий Индустана властелин.
И вдруг заметил гость перед собой
Виденье белое во мгле ночной.
Оно глядело на него в упор,
Как на знакомого с давнишних пор.
И он спросил одним движеньем губ:
«Что там за призрак, бледный, точно труп?»
В мое лицо вперяет взор он так,
Как если бы узнал меня сквозь мрак!»

И царь в ответ ему проговорил:
«Его я знаю: это Азраил.
Он ангел смерти; чем ты утрашен?»
А гость ему: «Ко мне подступит он
И горло сдавит мертвенной рукой.
От Азраила, царь, меня укрой!
Над ветром властен ты. Меня вели
В столицу отнести моей земли!»

Царь посмотрел на чистый небосклон,
Шепнул магическое слово он,
И хризопраз на поднятом персте
Блеснул в непревзойденной красоте.
И вот с заката вихрь летит, крутясь.
Вмиг им окутан чужеземный князь
И вознесен высоко над землей.
Одежда, мощной взметена струей,
Над стенами, как знамя из парчи,
Сверкнула пурпуром, пропав в ночи.
И ангел, улыбаясь, так изрек:
«Коль Рунжит-Син был этот человек,
Мне лишь помог ты волшебством своим:
Я в Индустан как раз летел за ним!»

ЭММА И ЭГИНХАРД

(Рассказ Студента)

Был Карл Великий мудрый властелин;
Он повелел, чтоб сделал Алкуин,
Советник императора и друг,
Двор ахенский рассадником наук,
Чтоб научил он принцев — управлять,
А подданных — смиренье проявлять.
И в юношей вливал за годом год
Ученый сакс Писанья сладкий мед;
Иным давал напиток допьяна
Искристого истории вина;
Грамматикой одних он насыщал,
Других же к тайнам звезд он приобщал.

У всех почтенье вызывал монах,
Когда бродил он с книгою в руках
И шаг его размеренный был слит
С послушным эхом монастырских плит,
Или когда потоком дивных слов
Он пробуждал умы учеников.
Душою прост, осанкой величав,
Он кроток был, но строго блюл устав.

Блистая, словно солнце меж светил,
Всех сверстников своих превосходил
Франк юный, — Эгинхардом звался он.
Красив лицом, приветлив, добр, умен,
В короткий срок он с легкостью постиг
Громоздкую премудрость древних книг;
Над чем неделями корпел иной,
То было для него пустой игрой.

Плечами пожимал отец Смарагд:
Нет, видно с адом заключил контракт
Мальчишка, к дьяволу попавший в сеть!
Иначе, как сумел бы одолеть
Свой Тривиум без розог сей школяр?
Но Алкуин сказал: «То божий дар».

Грамматики и Логики знаток,
Риторика он сложность превозмог;

Он Счет и Геометрию постиг
И в тайны Астрономии проник,
Был в Музыке искусен юный Франк
И пел любовь, провидя миннезанг.

Об Эгинхарде толковал весь двор,
И, слушая похвал согласный хор,
Подумал император: «Отрок сей
Находка для империи моей.
Пусть учится всему, что должен знать
Тот, кто рожден державой управлять.
Его своим писцом я изберу».
Так Эгинхард был призван ко двору.
И, в честь войдя, любимец молодой
Стал государю правою рукой.
Располагал к себе он всех людей
И красотой и скромностью своей.
Он был отшельник в суете дворца;
Смягчал нередко грубые сердца
И, книжник сам, умел к себе привлечь
Баронов, чтивших лишь кулак да меч.
Он знанье приобрел державных дел, —
Все было, как монарх предусмотреть не мог
Но и король предусмотреть не мог
Того, что называют словом — рок.

Домой вернулась из монастыря
Прекрасная, как юная заря,
Принцесса Эмма. Часто Эгинхард
Слышал, как пел о ней придворный бард.
Писец смотрел из своего окна,
Как, рыцарей толпой окружена,
Она во двор въезжала поутру.
Потом ее он видел на пиру.
Он как-то встретил Эмму, выйдя в сад.
На юношу подняв лучистый взгляд,
Она невинный задала вопрос:
«Скажи, в чем тайный смысл прекрасных роз?»
Прихлынула к его ланитам кровь,
И он шепнул: «Их тайный смысл — любовь!»

Где я найду слова, чтоб объяснить,
Как страсть прядет невидимую нить,
Как сердце, к сердцу пролагая путь,
Умеет зоркость стражи обмануть.

Не нужен был принцессе ни один
Прославленный в сраженьях паладин,
Закованный в сверкающую сталь,
Ни знатный пэр, ни гордый сенешаль;
Их блеск, — о, таинство любви! — померк:
Их всех затмил безвестный скромный клерк.

Но минули дни света и тепла,
Цветы увяли, осень подошла.
С деревьев за листом срывался лист,
То рдян, как кровь, то нежно золотист.
Поэт, их видя, вспоминал о том,
Как громовержец золотым дождем
К Данае низвергался. Ведь поэт
Чтит лишь любовь и страстью лишь согрет.

Нет больше тайных встреч в тени аллей
Среди гвоздик, тюльпанов и лилей.
Осталась лишь одна из всех отрад:
По вечерам мерцаньем двух лампад,
В окне принцессы и в окне писца,
Друг с другом говорили их сердца.

Но, страсть свою не в силах превозмочь,
Раз Эгинхард, когда спустилась ночь,
Двор пересек широкий и пустой,
По лестнице поднялся винтовой,
Тихонько дверь к принцессе отворил
И перед ней колено преклонил.
Дотронувшись, как лезвием меча,
Своей рукою до его плеча,
Она шепнула: «Рыцарь, встань с колен!
Тебе сегодня сердце дам я в лен».

Часы текли... Вдруг в башню к ним проник
Ликующий и горделивый крик.
То пел петух, как будто говоря:
«Мир, пробудись! Забрехала заря!»

Пришла пора, — о время, скор твой бег! —
Расстаться им... Но за ночь — выпал снег!
И двор, покрытый белой пеленой,
Посеребрен холодною луной.
«Погибли мы! Не миновать беды! —
Воскликнул он. — Как скрыть мои следы?»
Но нет для женской хитрости преград,
Когда любви опасности грозят.

В ту ночь монарх, бессонницей томим,
Встал до рассвета. Пред окном своим
Он размышлял, смотря на сонмы звезд, —
Как божий мир разумен, как он прост,
Как много счастья и покоя тут,
Когда в его державе столько смут.
Но кто же это, крадучись, как вор,
Идет от башни Эммы через двор?
Под ношей тяжелой согнута спина.
То — женщина. Не видно, кто она,
Но император понял наконец,
Что ноша женщины — его писец.
Оставив клерка у его дверей,
Она вернуться хочет поскорей,
И в этот миг, — как сердце сжала боль! —
Свою родную дочь узнал король.

Отец стоял как громом поражен.
Не вырвался из уст ни крик, ни стон.
Он у окна застыл, окаменев.
В его душе теснились скорбь и гнев.
Но что природе до скорбей людских?
И над зубцами башен городских,
Всему живому новый день даря,
Победно встала алая заря.
Вдруг солнце показалось над землей,
Закутанной в свой саван снеговой,
И мертвая земля вновь ожила.
Блистают шпили, крыши, купола,
Пылает золотой пожар везде:
В дымках из труб, у аиста в гнезде.

Стоял все в той же позе государь,
Когда его любимый секретарь
Почтительно переступил порог,
Чтобы дневной свой получить урок.

Но с ласковой улыбкой властелин
Сказал ему: «Не торопись, мой сын.
Сейчас я должен, — медлить здесь не след, —
Созвать мой государственный совет;
А через час тебе я объявлю,
Чем послужить ты можешь королю».

Едва ушел влюбленный сей поэт,
Как государь велел созвать совет
И, пригласив всех пэров в тронный зал,
О том, что было ночью, рассказал.
«Что сделать с ним?» — свою спросил он знать.
И кто сказал — казнить, а кто — изгнать.

Но император им ответил: «Нет!
Я не приму жестокий ваш совет.
Казнить? Но жизнь — священный дар творца!
Изгнать? Но тайна выйдет из дворца!
Ваш суд неправ. Мудрейший Алкуин!
Однажды мой наследник, принц Пипин,
Спросил у вас: «Что значит человек?»
И ваш ответ запомнил я навек.
Сказали вы: «Он путник в мире сем,
И лишь в земле он обретет свой дом».
Любой из нас лишь глиняный сосуд;
И гордый сюзерен, творящий суд,
Из праха создан, как и низкий смерд.
Суд справедлив, когда он милосерд.
Сей бедный путник выкрал из дворца
Жемчужину монаршего венца;
Но горностаем царственным могу
Я скрыть следы ночные на снегу».

Тут Эгинхард был призван в тронный зал,
И государь при всех ему сказал:
«Мой милый сын — ведь я тебя люблю

Поистине как сына — королю
Усердно ты и преданно служил,
А он тебя ничем не наградил.
Клянусь перед лицом своих вельмож,
Что ныне ты награду обретешь.
Среди моих сокровищ есть одно, —
О нем мечтают многие давно;
Но, отказав князьям и королям,
Сегодня я тебе его отдам».

Тут распахнулись двери, и вошла,
Как майский день прекрасна и светла,
Принцесса Эмма. Каждый видеть мог
Ее смущенье по румянцу щек.
К ней добрый император подошел
И к Эгинхарду за руку подвел.
«Мой сын, — ему он молвил, — вот мой дар.
Пускай увидят все, и млад и стар,
Как, награждая верного слугу,
Я стер следы на девственном снегу».

МОНАХ ИЗ КАЗАЛЬ-МАДЖОРЕ

(Рассказ Сицилийца)

Давным-давно, столетия назад,
Два францисканца в летний солнцепек
Плелись усталые, потупя взгляд,
В свой монастырь, что впереди зажег
Сверканьем стен и шпилей горный скат.
Репей на их одежде, пыль дорог,
Нагружены они, тот и другой,
Эмблемой нищих странников — сумой.

Один — Антонио — был слаб и худ.
Молчальник бледный, долею своей
Избрал он покаянья тяжкий труд,
Постился и, молясь, не спал ночей.
Казалось, что в сухой груди приют
Нашел, как под золою, жар углей.
Простой монах, как многие в те дни,
Привычный к послушанью искони.

Иначе Тимотео скроен. Он
Здоровый и румяный был монах,
Сложеня коренастого, силен
И в поясице шире, чем в плечах.
Его шумливостью бывал смущен
Час трапезы, что свят в монастырях.
Но требника в руках он не держал,
Затем, что вовсе грамоты не знал.

Когда тропа к опушке привела,
Увидели монахи — вот так раз! —
Привязанного к дереву осла.
Моргали веки круглых влажных глаз.
Семья его хозяина жила
Поблизости. Гильберто ж сам сейчас
Подальше в лес за хворостом ушел,
Пока в прохладе нежился осел.

Завидя серого издалека,
Брат Тимотео крикнул: «Благодать!
Над нами провидения рука!
Навьючим на осла скорее кладь!»
Покончив с этим, отдохнув слегка,
Животное он вздумал разнуздать
И сбрую тут же на себя надел,
Как будто сам ослом стать захотел.

И крикнул, весело махнув рукой:
«Антонио! Живей собирайся в путь!
Ушастого гони перед собой,
А в монастырь придешь — не забудь,
Что у крестьян остался я, больной,
Денек от лихорадки отдохнуть.
Осла же нам хозяин дал взаймы,
Чтоб без нужды не надрывались мы».

Что толку препираться с чудаком?
Антонио с ним спорить и не стал,
Вздыхнул, пожал плечами, а потом
Безропотно домой он зашагал.
Лупя осла усердно посошком,
Его через холмы и лес пригнал

С поклажей к монастырским воротам,
А Тимотео вверил небесам.

Вот из лесу с валежником сухим
Крестьянин вышел. Смотрит — что за сон?!
Стоит монах пузатый перед ним,
Где давеча осла оставил он.
Застыл Гильберто, нем и недвижим,
Лишь крестится, удерживая стон:
Вообразил он — малый был простой, —
Что видит дьявола перед собой.

Пока его от страха дрожь трясла
И он глазел, вязанку уронив,
Изрек монах: «Не опасайся зла!
Я францисканец, с голоду чуть жив.
Не удивляйся, что, взамен осла,
Томлюсь в узде. Меня освободив,
Услышишь ты, какое вынес горе
Брат Тимотео из Казаль-Маджоре.

Я грешный человек, хоть мне дано
Носить святой монашеский наряд.
И в облике ином уже давно
Ты не ослом, а мной владел, мой брат!
А все — чревоугодьё и вино!
Был обречен я искупить разврат,
И, став ослом, одну траву жуя,
Терпел побои и трудился я.

Подумай, как без светлого луча
Я жизнь влачил, унижен и убог,
И как дубасили меня сплеча!
Жильё — сарай, где ветер дул мне в бок.
Мой скудный корм бросали мне ворча.
Моя постель — гнилой соломы клок.
Но наказанье было не навек —
Монах я снова, снова человек!»

Гильберто, эту повесть услышав,
Почувствовал раскаянье и стыд
И, пред монахом на колени пав,

Молил простить его. Тот сам дрожит,
Но, видя, что в своих расчетах прав,
С улыбкою прощение дарит
И даже на ночь гостем быть готов:
Час поздний, и страдальцу нужен кров.

На солнечном холме среди олив
Виднелся белый с росписью фасад
Простого дома. Дальше, где обрыв,
Гудели улы, словно водопад.
Там рай для тех, кто хочет жить, забыть
Шум городов, воздвигать свой сад
И по тому, когда цветет лимон,
Следить в тиши круговорот времен.

Ведет Гильберто шутника в свой дом.
Детишек рой, за ними виден стан
Цецилии пригожей с малышом.
А на скамье согбенный ветеран
Уж в сотый раз ведет рассказ о том,
Как в старину французов бил Милан.
Благоговейно вся семья встает
Духовному лицу воздать почет.

Когда же им Гильберто разъяснил,
Что гость их Тимотео с давних пор
Был их ослом и воду им возил,
Какой раздался изумленья хор!
И как горяч был состраданья пыл!
Доверчив был их простодушный взор.
Все дружно восклицали: «Ох!» и «Ах!»
Святым для них стал мученик-монах.

Спешит хозяйка приготовить снедь.
Наверно, гость покушать будет рад:
Пришлось ему суровый пост терпеть!
И вот уж сучья в очаге трещат.
Решили лучших птиц не пожалеть.
К ним подала Цецилия салат,
А между блюд расставила она
Бутылки деревенского вина.

Кто описать достойно бы сумел,
Как голоден был наш отец святой!
Как он причмокивал, и как блестел
Оскал зубов за рыжей бородой!
Как хитрыми глазами он вертел,
Разгоряченный сытною едой,
И пил кроваво-алое вино,
Как будто от святой лозы оно!

Велик у гостя рассказней запас.
Монах — и балагур и весельчак:
Гудел все громче зычный, пьяный бас.
То пел, то гоготал он, как гусак,
И клочковатой бородою тряс,
И на Цецилию косился так,
Что, наконец, Гильберто, не стерпев,
Излил во всеуслышанье свой гнев.

«Отец мой, — он промолвил, — видно мне,
Что плоть свою иным не превозмочь.
Ее смирять им надобно вдвойне.
Так распоясался ты в эту ночь,
Что сам, увы, мне доказал вполне:
Гнать искушение ты не в силах прочь.
Гнетет тебя соблазн мирских утех.
Смотри, опять впадешь в свой прежний грех!

С восходом солнца ты покинь мой кров
И в монастырь вернись. Не забывай
Ни самобичеванья, ни постов.
А то ослом вновь станешь невзначай:
Едина плоть монахов и ослов!
Так будь разумен и отсель ступай,
Не то возьмут другие руки плеть,
Ослиной шкуры незачем жалеть».

Услышав это, побелел монах,
Но вспыхнул, как зарниц тревожный свет,
Румянец тотчас на его щеках.
И лысина, утратив бледный цвет,
Зарделась в ярко-рыжих волосах.
Меж тем уснул в любимом кресле дед.

Ложатся все, семья погружена
В глубокое оцепененье сна.

Так ночь прошла. Алет небосвод.
И петуху пора бы петь. Увы,
Зарезанный певец не пропоет:
Он съеден, как о том слышали вы!
Монах встал рано, почесал живот,
Поел — и в путь через овраги, рвы,
Как будто утренний заслышав звон.
И, второпях, едва простился он.

В прохладном воздухе растворены
И запах сена и бальзам лесной —
Смолистое дыхание сосны.
Повисла дымка, предвещаая зной,
Над Апенниннами. И с вышины
Уже блестит лик солнца золотой.
А из долин, где искрится роса, —
Мычанье стад, людские голоса...

Все это Тимотео нипочем.
Он не был тронут зрелищем таким.
Он брел вперед и думал о другом.
Но, только забелела перед ним
Знакомая стена и встал столбом
Над кухонной трубою синий дым,
Он зашагал скорей, повеселев,
Как вол, почувявший знакомый хлев.

Вот он и в монастырский двор вошел.
И что ж! С тупой покорностью в глазах
Прядет ушами и жует осел,
Каким в лесу застал его монах.
Приору Тимотео тут наплел,
Что, мысля братии помочь в трудах,
Зажиточный и набожный гончар
Осла монастырю приносит в дар.

Приор нашел, что это не пустяк,
И втихомолку несколько ночей
Обдумывал вопрос и так и сяк,
Блюдя покой обителя своей.

Начнутся кривотолки: что да как? —
Немало ведь завистливых людей! —
Пристало ли держать осла, чтоб кладь
С ленивых спин монашских разгрузать?

Нет, надо клевете замазать рот!
В осле зародыш треволнений скрыт!
И решено — зачем смущать народ? —
Продать осла, чтоб не было обид.
Так можно лишний устранить расход,
И отложить кой-что не повредит!
Осла на ярмарку послал приор
И всю заботу позабыл с тех пор.

Случайно ли, как многие сочтут,
Иль провиденьем это назовем, —
Гильберто был на ярмарке, и тут
Он невзначай столкнулся вдруг с ослом
И на ухо шепнул ему: «Ах, шут!
Опять, я вижу, сделала скотом
Тебя бунтующая плоть. Беда!
Как я увещевал тебя тогда!»

Ослу щекотно стало. Головой,
Не оглянувшись, он потрянул слегка,
Как будто речью раздражен такой.
На все слова он возражал, пока
Гильберто громче не сказал: «Постой!
Тебя узнал я, рыжая башка!
Не отрицай, — ох, эти мне плуты! —
Что францисканец Тимотео ты!»

Осел, хотя и был изобличен,
Все головой мотал: он был упрям.
И вскорости толпа со всех сторон
Послушать странный спор сбежалась там.
Но лишь Гильберто, будучи смущен,
Стал объяснять, поднялся крик и гам,
И с хохотом и пеньем целый день
Над ним глумились все, кому не лень.

«Коль он монах, — кричал и стар и млад, —
Купи его, корми одним овсом!
Неужто ты смягчить удел не рад
Бедняге, что двукратно стал ослом?»
Простак Гильберто, хоть и не богат,
Купил осла и по холмам, леском
Повел домой, толкуя на ходу
О послушанье и любви к труду.

Навстречу ребяташки со двора.
Смеются, пляшут, рады все до слез.
Визжит, на шее виснет детвора
(Ослиной, не отцовской!). Лает пес.
Святую личность — детям все игра! —
Гирляндами украсили из роз.
Наивная любовь их не могла
От «серых братьев» отличить осла.

Его включили в тесную гурьбу,
Крича: «Брат Тимотео здесь опять!
А мы уж думали, что ты в гробу
И нам тебя вовеки не видать!»
Целуют дети звездочку на лбу, —
Хотя их останавливает мать, —
И хлопают по морде и спине,
И нет конца их милой болтовне.

Отныне до скончанья дней своих
Он в доме «братом Тимотео» слыл
И сытно ел, но на хлебах таких
Он разжирел и совесть позабыл.
И после многих дел его дурных
Сказал Гильберто, выбившись из сил:
«Раз ты любезность оценить не мог,
Пойдет, быть может, бичеванье впрок!»

Он был ленив, бесстыден и упрям
И всякому, кто не был вежлив с ним,
Дать норовил копытом по зубам;
Срывался с привязи и с ревом злым
Неистово носился по холмам.
Сказать короче — был неисправим,

А по ночам, когда весь дом уснет,
Он мчался за капустой в огород.

Итак, «брат Тимотео» вновь пришел
К постылой лямке будничной своей.
Бывал он бит, и воз бывал тяжел,
И, вместо ласки, бедный лиходей
Слышал попреки, что он глуп и зол.
Чем труд обильней — тем еда скудней.
И только смерть, как утешитель-друг,
Его страданий завершила круг.

И каждый неутешно горевал,
Что грешником осел ушел во мрак,
Прижавшись к матери, малыш рыдал,
А дед твердил про доблестных вояк.
Усопшего Гильберто восхвалял,
Но все-таки кончал обычно так:
«Прими, господь, его на небеси,
А нас от грешных мыслей упаси!»

СКАНДЕРБЕГ

(Рассказ Еврея)

Победителем в этом сраженье
Был венгерский король Владислав;
И османы в великом смятенье
С поля битвы бежали стремглав.
Обжигало их пламя ада,
Леденила их гибели тень,
И растаяло в Духов день
Побежденное войско Мурада.

Этой рати могучей герой,
Искандер, избалованный славой,
Бросил турок разрозненный строй,
Поредевший на жатве кровавой.
И покрыла ночная сень
Всех зарубленных в Духов день,
Всех убитых людей Мурада —

От бойцов головного отряда
До бойцов последнего ряда,
Пораженных уже на бегу
И упавших спиною к врагу.

О князьях, господарях, баронах
Он не думал, скитаясь в ночи;
Он следил, как играют лучи
Роковых созвездий, зажженных
Над опущенным пологом тьмы.
И ударил коня боевого
И сказал лишь четыре слова:
«Вот теперь посмеемся мы!»

И скакал он во мраке, с оглядкой...
И догнал его в полночь гонец:
То Мурада был главный писец,
Он носил его перстень с печаткой
И промолвил сурово и кратко:
«Берегись, Георг Кастриот,
Запятнал ты свой гордый род!
Как ты здесь очутился ныне,
Если войско Мурада, увы,
Средь багровой от крови травы
Бездыханным лежит на равнине?»

И ответил Георг Кастриот:
«Мертвецами все поле покрыто,
Мертвецов растоптали копыта...
Но любого сраженья исход
Предрешается волею бога—
Только богу подвластна война!
И рождается в тайне она!
Кто мы, с нашею силой убогой,
Чтобы действовать вопреки
Мановенью его руки?»

И охране своей приказал он,
Чтобы схвачен был дерзкий старик,
И железною цепью связал он
Человека пера и книг.
И взмолился писец с тоскою:

«В чем вина моя пред тобою?»
И сказал Искандер: «Ни в чем.
Я тебе не желаю худого,
Но, боясь, что в пути ночном
Ты уйдешь от меня тайком,
Я с тобой обошелся сурово.

А теперь садись и пиши,
Во спасенье своей души.
Сочини мне бумагу такую:
Пусть паша, занимающий Крую,
Окруженную рвом и стеной,
Сдаст мне крепость и город родной.
И султанской печатью, как надо,
Пусть приказ этот будет скреплен,
Ибо каждое слово Мурада
Для любого из смертных — закон».

И писец, преклонив колена,
Искандеру сказал смиренно:
«Справедлив и велик Аллах,
Мы же только пепел и прах.
Мне нельзя на подлог пуститься:
Я за этот сомнительный шаг
Головою могу полатиться!»

И взметнулся клинок кривой,
Занесенный рукой могучей
Над поникшею головой.
И быстрее звезды падучей
Он сверкнул, и в ночной тиши
Искандер загремел: «Пиши!»
Покорился писец. . . И посланье
Он писал, содрогаясь, в мерцанье
Бивуачных багровых огней,
А прохлада ночная студила
Влажный лоб, и холод могилы
Ощущал он в груди своей.

И сказал Искандер ему снова:
«А теперь последуй за мной
И забудь о дороге иной.

И не бойся. Даю тебе слово:
Возвеличу, как брата родного,
И почету не будет конца!»
Но, полные тайной тревоги,
Прозвучали слова писца:
«Мне с тобою не по дороге. . .»

Не успела замолкнуть речь,
Как обрушился острый меч,
И свалился писец молчаливо;
Так стремительный камень с обрыва
В черный омут срывается вдруг,
В неподвижную воду влетает
С легким плеском и пропадает...
Было пусто и тихо вокруг.
Все застыло в глубоком покое,
Лишь копыт доносился стук,
Нарушая молчанье глухое:
Искандер уходил на юг.

Триста воинов шло с Кастриотом
По тропинкам овечьих отар,
Через мрачный хребет Аргентар,
По горам, по лесам, по болотам.
Триста смелых забилося сердце:
Искандер увидал, наконец,
За последним речным поворотом
Белый замок отца — Ак-Гиссар,
Украшающий милую Крую,
Город Крую, что рвом окружен,
Город Крую, где был он рожден,
И над ним звезду молодую.

И в блестящие трубы свои
Затрубили горнисты. Толпою
Шли албанцы и турки к герою, —
Звуки горна их вместе свели.
А потом на пиру богатом
Он с друзьями пил заодно,
И когда их согрело вино,
Он ударил по кубку булатом
И сказал им: «Смотрите, друзья,

Какова провиденья стезя
И судеб какова награда!
Я вернулся по праву истца:
Есть приказ султана Мурада
Возвратить мне владенья отца».

И торжественно, с пышною свитой,
Но доспехов не сняв боевых,
Во главе храбрецов своих
В Белый замок вступил он открыто
И наместнику отдал тотчас
Именной султанский указ,
Его личной печатью скрепленный.
И ответил паша изумленный:
«Справедлив и велик Аллах,
Я всевышнего волю приемлю:
Будь правителем в этих краях,
Отдаю тебе город и землю».

И спускается с башни флаг
С полумесяцем. И над стенами
Искандера взвивается знамя,
Словно вольности вещей знак.
В синеву небес величавый
Взмыл орел, овеянный славой,
И албанского знамени взлет
С ликованием встречает народ, —
Слишком долго, подвластный османам,
Он страдал под ярмом чужестранным
От поборов и тяжелых работ. . .
И над скалами горного края,
Над простором равнин и рек,
Будто гром гремит, не стихая:
«Да здравствует Скандербег!»

Так на земли отцовские снова
Искандер возвратился. И вот
Весть о том, что пришел Кастриот,
Словно пламя пожара лесного,
Разнеслась далеко по стране,
И Албания мести и горя,
От угрюмых вершин и до моря,
Вскоре вся запылала в огне. . .

ПРИЗРАК МАТЕРИ

(Рассказ Музыканта)

Свенд Дириинг в долину помчался с гор...

Я сама когда-то юной была!

Пленил его девушки ясный взор...

С песней хорошей и жизнь светла!

Семь лет в любви он прожил с ней,
И шестеро было у них детей.

Но черная смерть над страной пролетела,
И блекнет венчик лилии белой.

Свенд Дириинг в долину мчится с гор,
И вновь его манит девичий взор.

Он снова невесту ведет к аналою,
Не зная, что спутался с ведьмою злою.

И вот он домой приводит жену,
А дети плачут, прижавшись к окну.

Она вошла, на детей взглянула
И сразу прочь их ногой оттолкнула.

И в шкаф заперла она хлеб и эль:
«Голодные ляжете вы в постель!»

Она голубые взяла одеяла,
А им на полу солому постлала.

Свечу от них отобрала она:
«Не нужен вам свет во время сна!»

Ночью от холода дети застыли,
Их стоны услышала мать в могиле.

Плач их услышала мать под землей:
«Я к детям должна вернуться домой!»

Она умоляет господа бога:
«Позволь мне с детьми побыть хоть немного!»

Она умоляет опять и опять,
И бог пожалел несчастную мать.

«Иди, если там страдают дети,
Но с петухами вернись на рассвете!»

И вот поднимается скорбный скелет,
Из темного склепа выходит на свет. . .

Она по деревне проходит во мраке,
И воют уныло цепные собаки.

К воротам замка подходит она,
Там старшая дочка стоит одна.

«Зачем ты стоишь здесь, дочка родная?
К братишкам, сестренкам твоим пришла я».

«На маму мою не похожа ты,
В тебе не видно ее красоты.

Была она бела и румяна,
А ты бледна и бездыханна».

«Как же быть красивою мне?
Давно я покоюсь в вечном сне.

Как же быть мне румяной и белой,
Если дыханье давно улетело?»

Дверь, отворяясь, тихо скрипит,
Дети стоят и плачут навзрыд.

Она подходит, всех обнимает,
Гладит, целует и нежно ласкает.

Малютку берет на колени она,
Как будто грудь ее снова полна.

И делает старшей знак рукою:
«Отца позови повидаться со мною!»

И вот он у двери стоит, побледнев,
В словах ее горе и сдавленный гнев:

«Я много оставила хлеба и эля,
А дети от голода побледнели.

Не вижу я голубых одеял, —
Кто им на полу солому постлал?

Свечей у нас груды — не скоро растают! —
А дети ночью во тьме засыпают.

Если еще раз сюда приду,
Ты пожалеешь, что ты не в аду!

Я слышу: красный петух запеваёт,
Он в землю мертвых обратно сзывает.

Я слышу: черный петух поет,
Я быть должна у небесных ворот.

Я слышу: петух запеваёт белый,
Я опоздаю, ночь пролетела!»

Теперь — лишь услышат собачий вой,
Стол для детей уставляют едой.

Едва заслышат ворчанье собаки,
Дрожат — не мать ли идет во мраке.

Если лают собаки во тьме ночей,
Я сама когда-то юной была!
Значит, мертвая мать охраняет детей!
С песней хорошей и жизнь светла!





ИРИС

ИРИС

У сонных вод цветешь ты, светлый ирис,
Над медленным ручьем,
Иль там, где реки образуют, ширясь,
Спокойный водоем.

На мельнице и гром, и шум, и спешка...
Там колесо и вал
Стучат, гремят, а ты глядишь с усмешкой
На пенистый канал.

Тебе, в шелках рожденному, не надо
Ни прясть, ни ткать, но ты
Несешь лугам чудесные наряды
Из голубой тафты.

Летит зефир, тебя, как флаг, колебля,
А вокруг тебя легли
Покорно тростников-вассалов стебли,
Склоняясь до земли.

Вокруг тебя стрекозы, словно слуги,
То ждут, то мчатся вдаль...
В косых лучах сверкают их кольчуги,
Как голубая сталь.

Прекрасен ты! Златой свой жезл подъявля,
Блестя лазурью крыл,
Ты вестником богов сошел на землю
И всех красой затмил.

Ты, невзлюбив столичные палаты
И в лес сойдя к реке,
Мотив играешь незамысловатый
На легком тростнике.

Ты — свет! Ты — песня! Стебель твой цела,
Ручьи бегут, журчат...
Цвети же вечно, в красоту земную
Внося свой светлый вклад!

ПАМЯТИ ГОТОРНА

Прошли дожди, разъяснилась погода,
Была прозрачна даль,
Но вешнее сиянье небосвода
Туманила печаль.

Цвели сады, при каждом дуновенье
Роняя свой убор,
И ткали вязы на полотнах тени
Сверкающий узор.

Вот старая усадьба, вот за лугом
Журчанье древних вод...
Как человек, охваченный недугом,
Я слепо шел вперед.

Я всматривался в дружеские лица,
Не узнавая их,
И, мнилось мне, особый смысл таится
В словах, совсем простых,

Затем, что кто-то, близкий и любимый,
Навеки замолчал.
Он был меж нас, как прежде, но, незримый,
На зов не отвечал.

Теперь закрылись мгlistой пеленою
Река, усадьба, луг...
Как сон во сне, встают передо мною
Лишь холм да сосен круг.

Я слышу над могилою зеленой
Их тихий перезвон, —
Томление души неутоленной,
Безмерной грусти стон.

Волшебник спит, а под холмом, в долине,
Цветы цветут пестро...
Он оборвал рассказ на середине
И выронил перо.

О, кто связать сумеет воедино
Разорванную нить?
Окnu цветному в башне Аладина
Неконченному быть!..

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КОЛОКОЛА

Кругом рождественская мгла,
Во мгле гудят колокола...
И с ними в лад
Слова звучат:
«Мир на земле и счастье всем!»

Я чувствовал, как в этот день,
Жизнь городов и деревень
Объединив,
Звучит призыв:
«Мир на земле и счастье всем!»

И шар земной сквозь толщу лет
Летит вперед, из тьмы в рассвет...
В ряду веков
Нет выше слов:
«Мир на земле и счастье всем!»

Но вдруг на Юге золотом
Орудий черных грянул гром...
И вот едва
Слышны слова:
«Мир на земле и счастье всем!»

Землетрясения страшный гул
Весь материк перевернул,
Вмиг заглушив
Святой призыв:
«Мир на земле и счастье всем!»

И я вздохнул в зловещей мгле;
«Нет больше мира на земле!»
Под игом Зла
Песнь замерла:
«Мир на земле и счастье всем!»

Но снова звон колоколов
Донес мне звук заветных слов:
«Довольно бед!
Придет рассвет:
Мир на земле и счастье всем!»

ВЕТЕР В КАМИНЕ

Посмотри, как гаснет пламя
Меж багровыми углями!
У камина — тишь и мгла...
У камина я мечтаю,
Поступь стрелок отмечаю:
Полночь только что прошла.

И в огне поет полено
Гимн весны благословенный,
Словно память дальних дней...
Для обоих в прошлом это,
Для камина и поэта:
Юность — помните о ней!

Вдруг порыв полночный ветра
Там, где стонам нет ответа,
Там, где мрак, и лед, и снег,
В дикой ярости разбега,
Как фанфары Скандербега,
Гулом тьму и тишь рассек.

Вспышки пламени в камине
Будто шепчут чье-то имя,
Будто шепчут мне: «Вперед!»
Но бушует ветер грозно:
«Прочь, мечты! Стремиться поздно!
Гаснет пламя — тьма и лед!»

Отсвет зыблется, мерцает,
Фолианты озаряет,
В них — творенья мастеров...
В каждой пламенной странице
Песнь бессмертная хранится —
Отблеск сердца в тьме веков.

И опять огонь в камине
Повторяет чье-то имя:
«Вот герой, пророк, поэт!
В гороскопе мирозданья,
Как созвездий сочетанье, —
Вот их след в потоке лет!»

Воет ветер в испугленье:
«Те, чья жизнь — одно мгновенье,
Нынче жили, завтра — нет...
В рока горне раскаленном,
В стуче молота бессонном
Жизнь их — только искры свет.

Труд и руки — прах забвенный,
Книги — склепы мысли тленной,
Вянут лавры тех, кто был...
Их минутный шорох, трепет —
Словно блеклых листьев лепет
Над холмами их могил!»

И внезапно гаснет пламя,
Меркнет слава с именами,
И лишь мрачный вихрь ночной
Воет гулко, дико, нагло:
«Головню Мелеагра
Гаснет факел под золой!»

Встал и ветру я ответил:
«Сдаться? Ни за что на свете!
Не напрасен смертных труд!
Бесконечное горенье,
Вдохновенье и стремление —
Смерть и мрак их не сотрут!»

УБИТЫЙ У БРОДА

Он погиб, прекрасный и молодой,
Умом благороден, сердцем герой,
Чей свет нам сиял во мраке дорог,
Чей голос звучал, как призывный рожок,
Чей горящий взгляд наш страх прогонял,
Чей звонкий смех, нас отваге уча,
Новые силы в нас пробуждал.

Еще вчера мы неслись средь тьмы
Патруль у брода сменить поскорей,
Подковами по ущелью стуча,
Не зная, что враг залег меж камней;
И юноши песню слушали мы:
«Две розы носил он на шляпе своей,
А третью — на острие меча».

Вдруг выстрел грянул — и голос затих,
И рухнуло наземь тело певца.
И кровь застыла в жилах моих.
Свинцовая смерть нашла храбреца.
Я тихо шепнул, подавляя страх,
Как шепчут при мертвых в глухой тишине —
Но было молчанье ответом мне.

Мы тело его укрепили в седле
И вернулись назад в тумане и мгле.
Лежал он так, словно спал в ночи,
Словно вся его жизнь была впереди.
И я увидел при свете свечи
Две белые розы на мертвых щеках
И кроваво-красную — на груди.

И мысленным взором я видел в тот час,
Как пуля, что юноше в сердце впилась,
В далекий северный город неслась;
И в маленьком домике там угас
Огонь других сияющих глаз.
И музыка в церкви была грустна,
Звучал кругом колокольный звон,
И дивились люди в час похорон,
Отчего умерла она.





КНИГА СОНЕТОВ

ЧОСЕР

Седой старик в сторожке парка пишет...
Картины на стенах уходят в тень:
Охотники, собаки и олень.
Он песню жаворонка в небе слышит.

А за окном весна бессмертьем дышит,
В цветные стекла бурно рвется день...
Но до ночи писать ему не лень,
И легкий смех бока ему колышет.

Поэт зари, оставил он векам
Свои Кентерберийские рассказы, —
О старине легенд чудесных ряд.

И пенье птиц в стихах доходит к нам.
С любой страницы ты вдыхаешь сразу
Лугов и пашен тонкий аромат.

ШЕКСПИР

Я вижу: толпы улицы залили,
Струится нескончаемый поток...
Трубит, к сраженьям призывая, рог,
И корабли из дальних стран приплыли.

В тавернах гул, божба в матросском стиле,
Церковный звон и детский голосок
За изгородью, где в траве цветок
Свои душистые раскинул крылья.

Виденье это вновь передо мной,
Когда я том поэта раскрываю...
Любимцем муз недаром назван он!

Он славит жизнь на лире золотой,
И, лаврами его чело венчая,
Возводят музы гения на трон.

МИЛЬТОН

Морским шумящим берегом иду...
Вздымаясь, рушась, волны-исполины
Бегут, и свет, пронзая их вершины,
Горит сквозь изумрудную слюду.

Но вот за гребнем гребень, всю орду
Бунтарских вод собирая воедино,
Девятый вал о берег бьет лавиной
И золотит песчаную гряду.

Так, бард слепой, Британии Гомер,
Твоих стихов торжественный размер
Напоминает рокот океанов.

И льются звуки, гимн твой зазвучал,
И ввысь возносится девятый вал
И души полнит музыкой титанов.

КИТС

Эндимион спит сном Эндимиона...
Лишь начал пастушок, и вот конец
Веселой песенке. Луны багрец
Встает над рощей золото-зеленой.

Чу... соловей! Но вихря вздох студень
Ворвался в зной, и замолчал певец.
Что это, смерть? Лежит среди овец
Разбитая свирель в углу загона.

Вот белый мрамор предо мной возник,
И в бледном свете надписи узор:
«Начертано водой здесь имя было».

Я напишу об этом так: «Тростник
Надломленный измяла смерть; костер,
Вот-вот готовый вспыхнуть, погасила».

ЛЕТНИЙ ДЕНЬ У МОРЯ

Уж солнце село. В сонме облаков
Одно, с еще горящими краями,
Растет в янтарном воздухе над нами,
Как пепельный таинственный покров.

С земли зардели точки маяков,
Чтоб стать для улиц моря фонарями...
И ночь свое разворачивает знамя,
День перейти в обитель сна готов.

О летний день у берегов морских,
О день, тоской и радостью объятый,
Исполненный сиянья колдовского!

Всегда, всегда ты будешь для одних
Виденьем счастья, бывшего когда-то,
А для других — преддверьем к дали новой.

ОТЛИВ И ПРИЛИВ

Отлив. Оголены лежат морские
Ракушки, травы... берег пуст и дик.
То здесь, то там нагого рифа пик...
Нет, не вернется водная стихия.

Но вот яснее услышал вдали я
Шум океана. Грозный вздох возник,
И вновь на беззащитный материк
Пошли походом волны бунтовские.

Я думал: и стихов пьянящий зов,
И мысли, и желаний голос властный
Ушли навек. Но снова поднялись

Они из тьмы подводных тайников,
Ко мне летят — смелы, сильны, прекрасны —
И, охватив меня, уносят ввысь.

БЕЗЫМЯННАЯ МОГИЛА

«Здесь спит американских войск солдат», —
Написано на камне безымянном
На берегу, над самым океаном,
Близ Ньюпорт-Ньюса. Был ли здесь отряд

Разведчиков в неравной схватке смят,
Иль полк отважных был в дыму багряном
Сметен артиллерийским ураганом,
Иль в штурме поразил бойца булат?

Герой безвестный! У морской черты
Ты спишь, забыт. . . И горько мне, и грудь
Сжимается, кровь бурно бьется в жилах

При мысли, что, безмолвный, отдал ты
Жизнь за меня, и я теперь вернуть
За это ничего тебе не в силах.

СТАРЫЙ МОСТ ВО ФЛОРЕНЦИИ

Меня построил Гадди. Я старик,
Мне пять веков. Над Арно вознесенный,
Пятой волну попрая я, как дракона
Архангел Михаил архистратиг.

Сверкает чешуей дракон. Велик
Его напор. Он дважды, разъяренный,
Ломал мосты. Но каменной препоной
Стоял я, и смирялся бунтовщик.

Шли гвельфы с гибеллинами на бой,
Я это видел, помню, как настал
Для Медичи кровавый час расправы.

Я убран флорентийскою резьбой.
Но то, что Микеланджело ступал
По этим плитам, — вот в чем отблеск славы!

НА КЛАДБИЩЕ В ТЭРРИТАУНЕ

Здесь похоронен юморист наш милый!
Он встретил в славе свой закатный час...
Вот имя с датой — лишь один для нас
Остался след над скромною могилой.

У волн любимой им реки унылой
В осенний день безмолвно он угас,
И здесь поэзия в последний раз
В нем вспыхнула с невиданною силой.

И в жизни счастлив был и в смерти он!
Живой, он окрылял весельем горе,
Нас к подвигам романтикой призывав.

И после смерти им весь мир пленен,
В его рассказах — солнце, ливни, зори...
Он грусть и радость слил в чудесный сплав.

ПОЭТЫ

Поэты мертвые, я к вам взываю,
Ваш стих бессмертен, жизнь одна ушла...
А вы, живые, вас покрыла мгла
Бесславия, молчаньем убивая.

Но все вы в самый тяжкий час, я знаю,
В венке колючих игл, когда с чела
Холодным потом ваша кровь текла,
Стояли гордо, долг свой выполняя.

Да, ибо стихотворца самый труд,
Само служение стиху — ограда
От зла земного, от невзгод приют.

Рукоплесканья улиц вам не надо!
Не в кликах толп, а в вас самих живут
И поражение ваше и награда!

НАСТРОЕНИЕ

О, если б в песню вылились слова,
В ту песню, где таится сердца взлет,
В ту, что сама природа создает,
Как море горькой, свежей как трава!

Страданием и горечью жива,
Пусть хлынет песнь бальзамом от невзгод
И, убыстряя крови оборот,
Отвергнет равнодушия права.

Увы, не в нашей воле песни путь,
Она как ветер над землей скользит,
Мелькнет и исчезает — не вернуть...

Мы слышим звук, но кто нам объяснит,
Как уловить изменчивую суть,
Откуда он возник, куда летит.

СЛОМАННОЕ ВЕСЛО

На берегу Исландии суровой
Стоял поэт. Он должен был найти —
И в труд, почти законченный, внести —
Еще одно, решающее слово.

Отхлынув, набегали волны снова...
Мелькнула чайка на его пути,
И солнце, прежде чем с небес уйти,
Рассыпало по скалам свет багровый.

Тогда обломок принесла волна...
На нем слова: «Не раз я уставал,
Пока окончил эту пару весел»...

И внял поэт, и эти письма
Он внес в свой труд, и в набежавший вал
Перо, уже ненужное, он бросил.





KERAMOS

«Вертись, мой круг, помощник верный,
Свершая путь свой равномерный:
Пример Земля тебе дает.
Покорна мне сырая глина;
Так, по приказу властелина,
Без слов, без жалобы единой
На гибель раб идет».

Так пел гончар, свой круг вращая
Под сенью заросли густой.
Листы зеленые качая,
Над ним боярышник густой
Шуршал от легких дуновений.
Скользят лучи и тени,
Как будто сетью огневой,
Одели плечи, грудь, колени,
И мне казалось, будто он
В ковер причудливый вплетен.
Простой гончар, усталый, пыльный,
Он был в тот миг как маг всемогущий.
Стоял я молча в стороне,
Смотрел, как он колдует что-то,
И волшебством казалась мне
Его искусная работа.
Рукам владыки своего
Безвольно глина подчинялась,
Вытягивалась и сжималась,
Как мыслящее существо,

А он работал осторожно,
О чем-то думал и вздыхал,
Насвистывал мотив несложный
Или тихонько напевал:

«Вертись, мой круг! Все в мире тленно.
Неуловимый лик вселенной
Меняется из года в год.
Во тьме погаснет день кипучий,
С небес дождем прольются тучи,
Дождь обратится в пар летучий,
Свершив круговорот».

Гончар трудился, напевая,
И песенка его простая
С моими мыслями слилась:
Так птица раннею весною
В гнездо из веток, мха и хвои
Вплетает пестрых нитей вязь.
И вот гончар в одежде рваной
На крыльях песни сквозь туманы,
Как чародей, меня несет
За океан, где лентой узкой
Неведомый мне край встает, —
К востоку от земли французской.

Что за страна передо мной?
Она всегда в борьбе с водой;
В ней рек и ручейков избыток;
Канав, каналов, дамб узор;
Сады, где за резьбой калиток
Сверкает радужный узор
Гвоздик, тюльпанов, маргариток;
Смягчает влага летний зной;
На улицы, на кафель плиток
Льет солнце свет неяркий свой;
Медлительно над головой
Плывут, как будто волны пашут,
Раскрашенные корабли,
И, словно чайки, плавно машут
Крылами мельницы вдали,

Что это за страна? Взгляни,
Ты видишь городок прелестный?
То Дельфт старинный, искони
Искусством гончаров известный.
В домах от глянцеви́тых блю́д
Ложатся блики там и тут;
Кувшины ждут, чтоб в них игриво
Фламандское вскипело пиво,
Блеснули искры рейнских вин;
Повсюду — на судах, на шляпках,
На флягах путников, на трубках —
Фигурки женщин и мужчин
И рой смеющихся личин;
Гостеприимно пляшет пламя
В печах, покрытых изразцами;
На стенах и на потолках,
На лестницах, во всех углах,
На пестром уличном бордюре —
Цветы и ветки, чей наряд
Не смеет мять ни град, ни буря
И вешние дожди щадят.

«Вертись, мой круг! Все преходяще:
Из почки глянет лист блестящий,
Потом завянет и умрет;
Подует ветер и умчится;
В яйце живой птенец таится,
Он вылупится, оперится
И ввысь легко вспорхнет».

Лечу, — полет уже не страшен, —
Все дальше уношусь на юг.
Простор полей, лугов и пашен
Шарантой голубой украшен.
Слегка колеблются вокруг
Кресты церквей и шпили башен,
Как будто здесь всегда готов
Развернуться земной покров.

Что за гончар в одежде нищей
В убогом сумрачном жилище

Трудится ночи напролет,
Забыв часам и суткам счет?
Сосуды, кружки, статуэтки
Едва на хлеб ему дают.
Безумец он — вот общий суд.
Он в печь столы и табуретки
Кидает, как сухие ветки,
И сам готов не есть, не пить,
Чтоб досыта ее кормить.
Чернеют смуглых щек провалы. . .
Кто он, алхимик исхудалый,
Который твердую, как сталь,
Пытается создать эмаль, —
Всей жизни цель и смысл единый, —
Из руд, песка и влажной глины?
О Палисси! Исканий пыл
В груди ты с юности носил.
Ты наделен был вдохновеньем,
Нечеловеческим прозреньем
Тех благороднейших сердец,
Что в поисках всю жизнь блуждают
И если все же не встречают
Своей мечты, то, наконец,
Ее из праха созидают.

«Вертись, мой круг! Я эту вазу,
Создав, могу разрушить сразу.
Она безропотно умрет. . .
А люди, смертные творенья,
Клянут благой судьбы веленья,
Хотя постигнуть провиденье
Людской не может род».

Звучит напев не умолкая,
Меня все дальше увлекая.
Вон цепи Пиренейских гор,
Полей Испании простор;
Вон — славное в Искусстве имя —
Майорка, светлый островок, —
На карте крошечный кружок, —
Алеет крышами своими.

Из огнедышащих печей
Взлетают ввысь снопы лучей,
И дым клубится к небосводу.
Скорее на восток, скорей!
Тиррены пенистые воды
Внизу колышутся слегка,
Уже темнеют Апеннины,
Где сосен шелестят вершины, —
Уже Италия близка.

В монастырях, в дворцовых залах,
На ослепительных порталах,
На улицах, внутри домов.
На стенах рынков оживленных
Букеты пышные цветов,
С полей Искусства принесенных.
Губбийская глазурь всегда
Блестит радужной игрою:
То снега чистой белизною,
То яркой синевой пруда.
Гербы, и вазы, и тарелки
Поспорить тонкостью отделки
С Фаэнцой могут без труда.

В Урбино свет узрел впервые
Тот юноша, кого родные
Назвали Рафаэлем. Он
Как светлый ангел был прекрасен,
А в живописи мудр и ясен.
Искусством гения пленен,
Потом Франческо Ксанто в глине
Благоговейно воскрешал
Гармонию воздушных линий.
Маэстро Джорджо сочетал
С рубином — золото, опал
И перламутра переливы,
Переплетая прихотливо
Над темной далью городов
Гирлянды листьев и плодов.

На эту чашу посмотри,
Прохожий, восхищенным оком:

Венок янтарных звезд внутри
На фоне, синем и глубоком,
И нежной женщины лицо:
Блестит янтарь на тонкой шее,
Под сеткой — желтых кос кольцо,
Небес прозрачней и синее,
Глаза струят лучистый свет. . .
«Прекраснейшая Кана» — четко
Подписано, — и нам портрет,
Стирая грань минувших лет,
О славе говорит короткой
Той женщины, кому свой пыл
Владелец чаши подарил.

Тосканы город лучезарный,
Где тихо плещут воды Арно,
Ты поклоненьем окружен!
Здесь делла Роббиа великий
Ваял — и мраморные лики
Зажег бессмертной жизнью он.
Трепещут изваяний губы,
Как будто гимны в честь творца
Они слагают без конца;
Христос из терракоты грубой, —
Но как чудесна, как чиста
Пропорций строгих красота!
На ангельских склоненных лицах
Такая кротость, доброта
И сострадание, что, мнится,
Не может горе вечно длиться,
Должна исчезнуть нищета.

В старинной церкви позабытой,
От взоров путника сокрытой,
На ложе гробовом лежит
И словно дремлет изваянье.
Одетый сумраком густым,
Епископ кажется живым.
Кругом — суровое молчанье. . .
В нем печи раскаленный зев
Сжег властолюбие и гнев,
Исправил желаний всеходы.

Незрячих глаз немая мгла
И бледность ясного чела
Гласят: «Нас утомили годы,
Отдохновенны смерти своды».

Но нет прекраснее гробниц,
Лепных плодов, листвы и птиц
В стране Авзония священной,
Чем те, чью красоту нетленной
Столетия берегла земля.
Теперь Апулии поля
Их возвратили: урны, вазы,
Как молчаливые рассказы,
Героев оживляют нам, —
Их битвы, подвиги, проказы, —
И воздают хвалу богам.
Движения фигур пластичны,
Понятен их простой язык.
В них прелесть Греции античной:
Геракл и рядом критский бык;
Лукавое лицо Силена;
Вот Афродита, вот Эрот,
Надменный Ахиллес, а вот
Прекрасная, как встарь, Елена.

«Вертись, мой круг! Закон единый
Ребенка сделает мужчиной,
Потом состарит и согнет.
Шагает юность по дороге,
Душа поет, крылаты ноги,
А старость, сидя на пороге,
К воспоминаньям льнет».

Но с дальних северных широт
Примчался ветер, влагой вея.
Я с ним лечу. Внизу течет
Ливийский Нил, богатство сея,
Неся обилье каждый год
Разливом необъятных вод.
Упавшим древом исполинским
Он и под небом абиссинским
И под египетским лежит.

По берегам, как часовые,
Стоят колеса водяные,
И что-то в них скрипит, скрипит,
Как будто там творят обеты
Воскресшие из тьмы времен
Фивейские анахореты
И за поклоном бьют поклон,
И ввысь летит их скорбный стон.

А вот Каир, где в ярком свете
Сверкают купола мечетей;
Там на базаре в первый раз
Вдыхает путник дуновенье
Аравии; там в упоенье
Глядит, не отрывая глаз,
Он на сосуды-великаны,
Похожие на тот сосуд,
Где отыскала Моргиана
Воров таинственный приют;
Там, пестротою теша взгляды,
Герои сказок Шахразады
Толпою перед ним встают.

Непроницаемы и строги
Египта каменные боги:
Вон Амон-Ра, и вдалеке
Озирис с лотосом в руке;
Изида в белом покрывале;
Огромный Скарабей застыл,
Раскрыв широкий траур крыл;
Сфинкс неподвижно смотрит в дали...
Вот украшения цариц, —
Ручные, тонкие изделия,
Эмаль браслетов, ожерелья, —
Похищенные из гробниц.

«Вертись, мой крут! Все люди братья
Без исключенья, без изъята!
Над всеми тот же небосвод,
Все созданы из той же глины —
И нищие, и властелины,
И житель гор, и сын равнины,
И копт, и готтентот».

Лечу, захвачен песней в плен.
Пески, залива синь густая,
А дальше Ганг и Гималаи.
За твердью их гранитных стен
Раскинулась земля Китая.
Я вижу город Джиньдэджен,
Он вечно полон гарью черной;
Багрово польхают горны
И тысячи больших печей;
Огонь неистовствует яро,
И зарево, как от пожара,
Всегда висит во тьме ночей.

Как желто-красных листьев рой
Осенней ветреной порою
Летит по влажной мостовой,
Чтоб у заборов лечь горою, —
Из тех печей во все края
Несется пестрая семья
Тончайших листьев из фарфора.
На желтизне прожилок сеть,
Игра оттенков, пурпур, медь,
Лазурь небесного простора,
Когда, омытая дождем,
Она чуть блещет серебром.

На каждом блюде и кувшине
Все тот же узнаем узор,
Но в детстве он пленял наш взор:
Ведет в неизвестность мостик синий,
Над ним, приплыв издалека,
Висят недвижно облака;
Прохожий смотрит, как струится
Под аркой белая река;
Повсюду кровель черепица;
По берегу гуляет птица. . .
Она восторг внушала нам
И часто снилась по ночам.

Есть чудо-пагода в Китае,
Фарфоровая, вся сквозная.

Прозрачны девять этажей
Ее изящных галерей,
И видят снизу богомольцы
Фарфоровые колокольцы;
Звучит с неведомых времен
Их мелодичный перезвон.
Вся пагода огнем объята,
Бежит по ней за бликом блик,
Как будто в зареве заката
Пылает радужный цветник.

«Вертись, мой круг! Гони дремоту,
Чтоб кончить к вечеру работу, —
Ведь утром новый день придет,
И глиняный сосуд узорный
Погибнет в алой пасти горна,
Отмечен трещиной позорной,
Иль прочность обретет».

Качает, как ребенка мать,
Японию морская гладь.
Озера — синей влаги капли;
Над ними журавли и цапли
В прозрачном воздухе кружат.
Я вижу холм в полях зеленых.
Имари на пологих склонах
Раскинул жарких горнов ряд;
Стремятся ввысь колонны дыма,
И град растет неповторимый,
Где блики странные скользят
И пламя плещется незримо.

Большие яркие цветы;
Созвездия, что с высоты
Глядят бессонно и упрямо;
Оснеженная Фудзияма;
Деревья посреди полян;
Тростник, шуршащий над рекою;
У скал — кипение прибоя;
Заката кровь, зари шафран

На стройных вазах оживают,
И снова тростники вдали,
И снова цапли, журавли
В лазурном небе проплывают —
Природы вечной бытие
В Искусстве, двойнике ее.

Искусство — детище Природы,
Но материнские черты,
Исполненные красоты,
Спокойной силы и свободы,
В нем грацией облечены,
Утончены и смягчены
И, словно искрой с небосвода,
Сознанием озарены.
Велик поэт, велик ваятель,
Прекрасных образов создатель,
Природе верный до конца.
Людские трогает сердца,
Волнует или услаждает
Не тот, кого всю жизнь питает
Капризных вымыслов родник,
А тот, кто к цели благородной
Избрал звездою путеводной
Изменчивой Природы лик.

Так, времени не замечая,
Весенним утром думал я,
Чужие, дальние края,
Как ясновидец, различая.
Но колокол ударил вдруг
И возвестил нам звон напевный,
Что отдых настает полдневный.
Гончар остановил свой круг
И снял передник в пятнах глины,
Потом, не поднимая глаз,
Он, просвистев мотив недлинный,
Тихонько спел в последний раз:

«Мой круг, пора остановиться!
День слишком скоро тьмой сменится,

И слишком скоро ночь пройдет.
Осколки, черепки былого
Напоминают нам сурово,
Что близок час, и глиной снова
Мы станем в свой черед!»





ULTIMA THULE

ЖЕЛЕЗНОЕ ПЕРО

*из обломка тех оков, которые носил Бонивар, Шильонский узник;
ручка — из куска дерева от фрегата «Конституция»; она опоясана
золотым кольцом, украшенным тремя драгоценными камнями —
из Сибири, с Цейлона и из Мэна*

Перо это, — думалось мне, —
Лежащее здесь в тишине,
Восстанет само и напишет
Про то, что я видел во сне.

Когда ты дала мне его,
Меня потрясло волшебство
Сибири, Цейлона и Мэна —
Каменьев в оправе его.

Я думал: хранит много лет,
В годину бесчисленных бед,
Железо те строки, в которых
Воспел Бонивара поэт.

Я думал, что мачты кусок
Напишет мне несколько строк,
Как песню о ветре и море
Среди океанских дорог.

Но нет, ему встать не дано.
Как мертвый епископ, оно
Лежит в золотой своей митре,
Сиянием окружено.

Мой друг, я молчать не могу.
Скажу, что в душе берегу
Тот летний сверкающий полдень
Под соснами на берегу.

Навеки запомню, мой друг,
Пожатие ласковых рук,
А солнце блестит в твоих косах
И все озаряет вокруг;

Твой голос, который, звеня,
В сиянии летнего дня
Сказал мне: «Прими мой подарок.
Прими, он тебе — от меня».

И, раб своего божества,
Я все повторяю слова:
К прекрасной Елене из Мэна
Моя благодарность жива.

Навеки в душе я сберег
Твой дар, осветивший мой рок,
Как капля росы животворной,
Упавшей на мертвый листок.

РОБЕРТ БЕРНС

Он землю плугом бороздит,
И песня издали звучит
Среди полей.
И этот голос свеж и чист,
Как нежный соловьиный свист
В тиши ночей.

Поэт воспел родимый край
И звонких песен урожай
Собрал в полях.
Колосьев шум, и ветра вой,
И шорох мыши полевой —
В его стихах.

Сорняк становится цветком,
Когда певец поет о нем;
 Камыш озер
Цветет в мелодиях живых,
Когда поэт слагает стих,
 Спускаясь с гор.

Он дружбу пел, он пел любовь,
Что заставляет в жилах кровь
 Бежать быстрее,
Что север превращает в юг
И освещает мрак лачуг
 Простых людей.

Борясь с неистойвой судьбой,
Он голос возвышал порой,
 И гнев звучал
В словах бичующих стихов,
Когда родной страны врагов
 Он обличал.

Досель стихи его живут;
Любовь и братство, мир и труд —
 Их лейтмотив.
Звучит все громче и слышней
К свободе, к равенству людей
 Его призыв.

Как рано он оставил свет!
А сколько песен мог поэт
 Еще сложить!
Но помнят люди стих его.
В сердцах народа своего
 Он будет жить.

Он — молодость земли родной;
Он каждый плуг своей рукой
 Ведет в полях,
Стоит над каждым ручейком
И перед каждым камельком
 Сидит в домах.

Сегодня ты пришел в мой дом,
Меня согреешь ты стихом
Средь бурь и выюг.
Привет! Ты посетил меня —
Так сядь у моего огня,
Мой гость и друг.





НАРОДНЫЕ ПЕСНИ

МЕЛЬНИЦА

Великаншей среди деревень
Я стою, крепка, высока.
Работа моя нелегка:
Пшеницу, и рожь, и ячмень
Грызу, и льется мука.

Вся в нивах страна моя,
Но скоро придется им
Урожаем лечь золотым.
Раскрываю объятья я,
Ибо знаю: все будет моим.

Я слышу за взмахом взмах
Удары цепов. Идет
На далеком току обмолот.
А ветер в моих парусах
Все громче и громче поет.

Я стою на утесе своем,
И с юга ли ветер летит,
Иль с севера мне он грозит,
Я врага встречаю лицом,
Упираясь ногой в гранит.

Мы бьемся, и вертится вал,
А мельник стоит с мешком
И кормит меня зерном.
Он знает, кто ему дал
Господство над всем кругом.

В воскресенье ему не служу,
Отдыхаю до новой зари.
А как станут звонить звонари,
На груди я руки сложу,
И покой у меня внутри.

ПРИЛИВ И ОТЛИВ

Прилив и отлив шумят и шумят,
Сумерки гуще, совы кричат.
Влажен и темен морской песок,
Путник спешит — ведь город далек. . .
А прилив и отлив шумят и шумят.

Вот уж не видно ни крыш, ни оград,
Море во мраке отходит назад,
Нежная белая пена воды
Лижет песок и шагов следы. . .
А прилив и отлив шумят и шумят.

Утро. Копытами кони стучат,
И каждый, встречая хозяина, рад.
День возвращается. Но никогда
Путник ночной не вернется сюда. . .
А прилив и отлив шумят и шумят.





В ГАВАНИ

ДЕНЬ ПАМЯТИ
ПАВШИХ В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ
1861—1865 гг.

Друзья, ваш минул час!
Вы спите под землей. . .
Враг далеко от вас,
Спокоен часовой!

Вы спали на земле,
Но просыпались вдруг
Под пушек рев во мгле,
Под барабана звук.

Но здесь на сотни лет
Вам тихий отдых дан:
Здесь лихорадок нет
И нет кровавых ран.

Здесь в тишине всегда
Несмятая трава,
И грохот битв сюда
Доносится едва.

Последний ваш приют
Невозмутимо тих. . .
И мысли наши тут,
Как тени часовых.

Поток цветов обвил
Зеленые холмы. . .
Велик ваш подвиг был!
Вас помним вечно мы!

ЧЕТЫРЕ ЧАСА УТРА

Четвертый час. . . Во тьме ночной
Летит в пространство шар земной.
Несет он земли и моря
Туда, где встретит их заря.

И лишь фонарь на корабле
Мерцает мне в прохладной мгле. . .
И лишь доносится ко мне
Дыханье моря в тишине.

К ЭЙВОНУ

Струись, поток, как легкий стих
Того, кто здесь навек затих.
Не жди его у грустных ив,
Ему не слышен твой призыв.

Он здесь играл у светлых вод. . .
И образ мальчика встает:
Я слышу топот детских ног
Вдоль тихих стрэтфордских дорог.

Я вижу ясно, как малыш
То вброд бредет в густой камыш,
То замечается слегка,
Следя, как зыблется река.

Он хочет знать ее пути
И с ней в широкий мир уйти,
Чтоб звонкий стих его звучал,
Пленяя театральный зал.

Струись, поток! Развей сон. . .
На берегу далеком он.
Пред ним бессмертия река,
И слава с ним идет в века.

ОТРЫВОК

Проснись! Вставай! Уж час не ранний.
И музы в дверь твою стучат.
Они не терпят ожиданья. —
Уйдут и не придут назад.

Вставай! Так долго отдыхая,
Утратишь силу ты сполна...
Ведь не приносит урожая
Невспаханная целина!

ПРЕЛЮДИЯ К СБОРНИКУ СТИХОТВОРНЫХ ПЕРЕВОДОВ

К жемчужинам нырни
Бесстрашно в глубь морскую!
Но прячутся они,
Заслышав речь людскую.

Так мысль уже мертва,
И песня станет тенью,
Когда твои слова
Приблизятся к значенью.

Не лучше ль от людей
Скрыть блеск необычайный
Бесценных тех камней,
Как чудеса и тайны?

Я лишь наметил след,
Я прошептал лишь слово...
А разгадать секрет
Уж будьте вы готовы!





СТИХИ О СЕБЕ

УТРАТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

Сравнить ли мне
Свои утраты с малым достиженьем,
Хоть и горел я неустанным рвеньем,
Гордиться нечем — право, грустный счет!

Как в страшном сне —
Теченье дней, растраченных напрасно.
О, путь стрелы неточный, но прекрасный —
Порыва неизменный недолет!

Тот смел вдвойне,
Кто счастья и беды познал границу —
Порой в победе гибель затаится,
А за отливом вновь прилив придет.

МОИ КНИГИ

Как дряхлый рыцарь в дни средневековья,
Бессильный, немощный, глядел с тоской
На медный щит, на меч тяжелый свой,
Висящие всегда у изголовья,

И вспоминал с волненьем и любовью
То рыцарский турнир, то грозный бой,

И память о былом, блеснув слезой,
В нем вспыхивала снова жаркой кровью, —

Так я гляжу на полку старых книг,
Как на оружие времени бывшего...
Оно теперь уже не нужно мне.

Но облик юности из мглы возник,
И жизнь во мне неистовствует снова,
Хоть я бреду в туманном, смутном сне.

ВОЗМОЖНОСТИ

Где тот поэт, кто мог достичь высот
Олимпа, чья звенящая стрела
Мгновенно в цель без промаха легла,
С тугого лука свой начав полет?

Где тот корабль, что песню нес вперед,
Взрезая волны, гордый, как стрела,
Кого к земле неведомой вела
Отважная рука над бездной вод?

Быть может, этот мальчик, чьи черты
Тверды, что учит жизнь не по складам, —
Творец еще неведомых поэм...

Он — адмирал, он в океан мечты
Флот поведет бесстрашно к островам,
На картах не означенных никем.

СНЕЖНЫЙ КРЕСТ

Когда во сне забвенья ночью нет,
Лицо умершей вновь передо мною
Там, на стене, где смутною волною
Бросает лампа отблеск на портрет.

Тому назад уж восемнадцать лет
Навек она рассталась здесь с землею,
И пытка пламенем в страну покоя
Родную душу унесла от бед.

Там есть гора на западе далеко,
Где снежный крест как будто врезан в склон
Зигзагами глубокого ущелья...

Такой же крест в унынии жестоком
Влачу и я, бредя сквозь вихрь времен,
Навек лишен блаженства и веселья.





ПОСЛЕДНИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН

I

Торжественно, грустно,
Как в час похорог,
Разносится светлый
Вечерний звон.

Очаг остывает,
И гаснут огни. . .
С утра ты работал,
Теперь отдохни.

Потухла лампада
В последнем окне,
Шаги отзвучали
В ночной тишине. . .

Ни голоса в доме,
Ни звука кругом. . .
Все здесь объято
Забвеньем и сном.

II

И книга, как день этот,
Завершена.
Отныне над нею
Стоит тишина.

Досказана сказка,
Мечта умерла,
Как уголь, который
Покрыла зола.

И песня умолкла,
Окончен рассказ,
Огонь в очаге
Отшумел и погас.

Сгущаются тени
За темным окном. . .
Все здесь объято
Забвеньем и сном.

ЗОЛОТОЙ ЗАКАТ

Сверкает море золотое
Под золотом небес,
Меж ними узкой полосой
Лежит тенистый лес.

На облака похожи скалы,
На скалы — облака,
А между ними лодка встала,
Воздушна и легка.

И можно с небом спутать море
И с морем — небосвод,
Как будто отражен во взоре
Весь мир наоборот.

Вот так и в жизни в час заката
Свершатся чудеса. . .
Сольются и для нас когда-то
С землею небеса.

Ты в мирную вступаешь небыль,
Ты замер, не дыша. . .
Где край земли, где грани неба —
Не ведает душа.

КОЛОКОЛА САН-БЛАС

Что значит их звон зовущий
Для кораблей, плывущих
Из гавани Мазатлан?
В нем слышат не что иное,
Как шум обычный прибоя,
Матросы и капитан.

Но мне, скитальцу по свету,
Мечтателю и поэту,
Сдружившему явь с мечтой,
Колокола Сан-Бласа —
Предвестье иного часа,
И гул их — не звук пустой.

То церкви голос суровый,
В котором таится слово
Для юных и стариков.
То меди глухое пенье,
Исполненное значенья
Для тех, кто внимать готов.

То голос того, что было:
Уже уходящая сила
Веков, обреченных пасть.
Над западными мирами
Тогда Испании знамя
И Церковь — простерли власть.

Часовне, смотревшей гордо
На скромный приморский город,
В пыли суждено истлеть,
И лишь на балках дубовых
Колоколов суровых
Взывает ржавая медь.

«Угасла вера былая, —
Они говорят, — иная
Приходит на смену ей.
А нам, бесприютным, голым,
Висеть под дождем тяжелым
В позоре бесславных дней!

Когда-то из башенной щели
Над крышами мы гудели
Призывами и мольбой.
И вслед за нашим звоном,
Подобно душам спасенным,
Взлетал голубиный рой.

Ужели святые забыли
О том, что в веках хранили,
Что канули в забвенье,
Как хижины миссионеров —
Развалины в травах серых,
Покинутое жильё.

Верните, верните снова
Нам славные дни бывшего,
Когда нам был каждый — друг.
Верните все то, что взяли:
Сердца из огня и стали
И силу творящих рук!

Тогда пронесем мы сами
Над странами и морями
Властительный голос свой,
И пусть узнают люди,
Что вера, как прежде, будет
Владыкою над землей!»

Зачем звучите с тоскою,
Зачем зовете бывшее?
Ведь жизнь его не вернет.
Земля, что мраком одета,
Выходит в просторы света,
И всюду Заря растёт!



ПЬЕСЫ



ИСПАНСКИЙ СТУДЕНТ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Викториан }
Ипполито } студенты из Алькалá.
Граф Лара }
Дон Карлос } мадридские дворяне.
Архиепископ толедский.
Кардинал.
Бельтран Крусато, цыганский граф.
Бартоломé Роман, молодой цыган.
Падре Кура ди Гвадаррама.
Педро Креспо, алькальд.
Панчо, альгвасил.
Франсиско, слуга Лары.
Чиспа, слуга Викториана.
Бальтасар, трактирщик.
Пресиоса, молодая цыганка.
Анхелика, бедная девушка.
Мартина, племянница падре Куры.
Долорес, служанка Пресиосы.
Цыгане, музыканты и др.

АКТ ПЕРВЫЙ

СЦЕНА I

Апартаменты графа Лары. Ночь. Граф в халате, курит и беседует с дон Карлосом.

Л а р а

В театре не было тебя, дон Карлос.
Я удивлен.

К а р л о с

Сегодня был я занят.
А кто там был?

Л а р а

Весь город и весь двор.
Был полный зал. Прилежно веера
Порхали меж красавиц раздушенных,
Как бабочки весною меж цветов.
Я видел издали Медину Сели,
Графиню-фею, с призраком влюбленным
В лице дон Дьего, видел донью Соль.
Была с кузиной донья Серафина.

К а р л о с

А пьеса как?

Л а р а

Скучнейшая стряпня;
Одна из тех комедий, где мы видим,
Словами Лопе, «всю судьбу вселенной
От хаоса до Страшного суда».
Там было три дуэли в первом акте,
И трое пало от смертельных ран,
Прижавши руку к сердцу и промолвив:
«Я умираю!» Был в шкафу любовник,
Старик идальго, юный дон Хуан,
И донья Инес в кружевной мантилье:
Ее искал влюбленный незнакомец
Во всех углах, где ей и быть нельзя,

Карлос

Конечно, танцевала Пресиоса?

Лара

Как никогда! Был каждый шаг ее
Как солнца луч, лежащий на воду.
Да, девушка на редкость хороша!

Карлос

Такая красота почти чрезмерна!
Вчера ее на Прадо видел я.
Какая поступь! Пава! А лицо
Прекрасно, как лицо святой в раю.

Лара

Случается ль святым упасть из рая
И святость потерять?

Карлос

Что за вопрос?

Лара

Я слышал, будто этот ангел пал.
Хотя она и девственница телом,
Душой — греховна, вроде монастырских
Алтарных врат старинных, где снаружи
Монахи малевали божью мать,
Всем напоказ, а изнутри — Венеру!

Карлос

О, ты неправ! Ты к ней несправедлив.
В ней добродетель спорит с красотой.

Лара

Как ты доверчив! Посмотри, мой друг,
Ты честных женщин не найдешь в Мадриде.
А ты меня уверить хочешь, будто
Танцовщицу, которая со сцены,
Полунагая, в час ночной, за деньги
Игрую сладострастной распялет
Кровь молодых повес, считать я должен
Чистейшим существом.

К а р л о с

Ты забываешь,

Она цыганка.

Л а р а

Значит, покорить

Ее тем легче.

К а р л о с

Нет, совсем нельзя!

Цыганке целомудрие милее
Других достоинств; часто их и нет!
Но это ей дорожке жизни. Помню
Одну бесстыдную и злую шельму.
Она чужим пороком торговала,
А вот ее не мог купить никто.
Когда высокий гранд, прельщенный ею,
Красою буйной дикого народа,
Сулил ей золото, чтоб стала тем,
Чем делала других, она ему
Пощечину влепила.

Л а р а

Это довод,

Что Пресиоса выше подозрений?

К а р л о с

Нет, доказательство, что нас нередко
Отказ взамен победы ждет. Я верю,
Что женщина и в крайнем униженье
Хранит в себе священную частицу
Чего-то высшего в ее природе
И, как алмаз во мраке, сберегает
Мерцание небесного огня!

Л а р а

Но Пресиоса золото взяла бы.

К а р л о с

(вставая)

Не думаю!

Л а р а

А я уверен в этом.
Что так спешишь? Побудь еще немного
И за свою поратуй Дульсинею.

К а р л о с

Уж поздно, мне пора. И все равно
Тебя не убедить.

Л а р а

Нет, убедил!

К а р л о с

Тот глух всегда, кто не желает слышать.

Л а р а

Тот слеп всегда, кто не желает видеть!

К а р л о с

Итак, спокойной ночи! Сладких снов
И больше веры в женщин!

(Уходит.)

Л а р а

Больше веры!

Я ею преисполнен, ибо верю,
Что у нее Викториа любовник,
А завтра буду я, а послезавтра
Еще какой-нибудь, за ним еще, —
Вслед друг за другом в круге Зодиака
Мчась, как Телец за Овном. . .

Входит Франсиско со шкатулкой.

А, Франсиско!

Как с Пресиосою?

Ф р а н с и с к о

Никак, сеньор!

Подарок шлет назад, велит сказать,
Что золотом не купите ее,

Л а р а

Тогда пути иные испытаю.
Викториана знаешь?

Ф р а н с и с к о

Да, сеньор!
Его у ювелира нынче видел.

Л а р а

Что он там делал?

Ф р а н с и с к о

Видел я, сеньор,
Он перстень золотой купил с рубином.

Л а р а

Был там другой, похожий?

Ф р а н с и с к о

Был похожий
Настолько, что не различить мне.

Л а р а

Хватит!
Ты завтра принеси мне этот перстень!
Да не забудь!.. Ну, посвети — я лягу.

(Уходят.)

СЦЕНА II

Улица в Мадриде. Входит Чиспа, за ним музыканты с волынкой, гитарами и другими инструментами.

Ч и с п а

Abernuncio, Satanas! ¹ Чума на всех влюбленных, которые шляются ночью и пьют воздух, вместо того чтобы мирно дрыхнуть в постели! Всяк мертвец знай свое кладбище, говорю я; и всякая сутана — свой монастырь! А вот мой хозяин Викториан вчера — скотовод, а нынче — студент;

¹ Изъиди, сатана! (лат.),

вчера — студент, а нынче — влюбленный. И я ложусь позже соловья, ибо, как аббату запевать, так и пономарю подтягивать. Дай боже, чтобы он скорее женился, тогда будет конец всем его серенадам. Эх, жениться, жениться, жениться! Матушка, что значит «выйти замуж»? Это значит — ткать, рожать детей и плакать, доченька! И вправду, женитьба — это тебе не просто обручальное колечко. (*Музыкантам.*) Ну, сеньоры, рах vobiscum,¹ как сказал осел капусте и редискам. Прошу вот сюда. И не вешать голов! Нечего стыдиться старого отца и рваной рубашки. А теперь послушайте, сеньоры! Вы ведете жизнь сверчков: наслаждаетесь голодом днем и шумом ночью. Но я умоляю вас, на этот раз постарайтесь, чтоб не громко было, а трогательно. Ведь это серенада для девицы в постели, а не для человека на луне. Ваша задача — не разбудить и напугать, а успокоить и убаюкать. А потому каждый из вас пусть откалывает на своем инструменте не так, словно это единственный на свете, а нежно и с должной скромностью, в согласии с остальными. Скажи, как мне звать тебя, мой друг?

Первый музыкант

Херонимо Хиль, ваш слуга!

Чиспа

Каждый бочонок пахнет своим вином. Послушай, Херонимо, суббота для тебя, кажется, несчастливый день?

Первый музыкант

Почему так?

Чиспа

Я, видишь ли, слышал, будто суббота несчастливый день для тех, у кого только одна рубашка. А кроме того, я видел тебя у таверны, и если ты бегаешь так же проворно, как пьешь, я бы поохотился с тобой на зайцев. Какой это инструмент?

Первый музыкант

Арагонская вольнка.

¹ Мир вам! (*лат.*).

Ч и с п а

А ты случайно не родня тому волынщику из Бухалансе, который брал мараведи за то, чтобы сыграть, и десять за то, чтобы перестать?

П е р в ы й м у з ы к а н т

Нет, ваша милость!

Ч и с п а

Очень рад. Какие у нас еще инструменты?

В т о р о й и т р е т и й м у з ы к а н т ы

Мы играем на мандолинах.

Ч и с п а

Приятный инструмент. А ты?

Ч е т в е р т ы й м у з ы к а н т

На флейте.

Ч и с п а

Люблю флейту. Она и бодрит и за душу хватает. Ее звук полетит к окну красавицы, как песня ласточки! А вы на чем играете?

О с т а л ь н ы е м у з ы к а н т ы

Мы, с разрешения вашей милости, певцы.

Ч и с п а

Слишком много вас. Вы думаете, мы собираемся петь мессу в кордовском соборе? На четверых одного башмака мало, и — я не вижу, как вы все можете петь одну песню. Однако ступайте за мной вдоль садовой стены! Через немой хозяин карабкается к окну красавицы. Задворками викария дьявол пробирается на колокольню. Следуйте за мной и не шумите!

СЦЕНА III

Комната Пресиосы. Она стоит у открытого окна.

Пресиоса

Как медленно спускается луна
В благоуханье ночи! Облака,
Как легкий пух, по небесам скользят.
А там, где своды темные дубов,
Так сладко льется песня соловья!
Но, чу! Как песнь, любви призыв
Ей вторит снизу? . .

СЕРЕНАДА

Звезды летних ночей!
Пусть в синеве не блеснит
Золото ваших лучей!
Милая спит!
Девушка милая спит!
Спит!

Месяц летних ночей!
Твой путь на запад лежит.
Спрячь серебро лучей!
Милая спит!
Девушка милая спит!
Спит!

Ветер летних ночей!
Замри меж тех ракил
И больше крылом не вей!
Милая спит!
Девушка милая спит!
Спит!

Грезы летних ночей!
Влюбленный к ней спешит.
И сладко спится ей!
Милая спит!
Девушка милая спит!
Спит!

Входит с балкона Викториа.

Викториан

Моя голубка! Ты дрожишь как лист!

Пресиоса

Я так боюсь! Я за тебя дрожу!
Не нравится мне этот путь! Тебя
Никто не видел?

Викториан

Нет, любовь моя!

Пресиоса

Когда уходишь ты, себя корю я
За то, что позволяю я тебе
Тайком являться ночью. Где ж ты был?
Я целый день известий не имела.

Викториан

Я целый день был занят в Алькалá.
Срок близок, дорогая Пресиоса,
Когда ничто не будет разделять нас
И я не стану лазить через стену,
Чтоб, как сейчас, похитить поцелуй.

Пресиоса

Ты честный вор: крадешь лишь то, что даришь.

Викториан

Мы будем вместе, нас не потревожат,
И полетят слова любви меж нами,
Как птички певчие с куста на куст.

Пресиоса

Мы победим завистливое Время!
Я знала, что ко мне придешь ты нынче.
Я видела тебя со сцены!

Викториан

Фея,

Мне не являлась ты еще в сиянье
Такой воздушной, нежной красоты!
Скажи мне, что ты сделала с собой?

Пресiosa

Я не всегда красива?

Викториан

О, всегда!

Ко всем глазам на свете я ревную,
Пусть все они ослепнут!

Пресiosa

Ну, а я,

Когда ты близко, их совсем не вижу.

Викториан

Все, что светло, прекрасно в нашем мире,
Лишь отражает красоту твою.

Пресiosa

Но от меня бежишь ты к пыльным книгам.

Викториан

Твой образ часто вижу над страницей,
Твое лицо всегда передо мной!
На фресках базилик — твои черты,
И гимны превратились в сарабанду,
И с докторами строгими наук
Танцуешь ты качучу.

Пресiosa

Так и есть:

Я с докторами строгими наук
Танцую завтра утром.

Викториан

С кем же это?

Пресiosa

С почтенным кардиналом и самим
Архиепископом толедским.

Викториан

Шутишь

Ты как-то странно!

Пресиоса

Нет, не шутка это!

Викториан

Так объясни же!

Пресиоса

Дело тут простое.

Ты знаешь, папа к нам сюда легата
Послал на сцене танцы запретить.

Викториан

Об этом слух идет.

Пресиоса

И кардинал,

Для этого сюда приехав, хочет
Сам увидеть теперь все эти танцы.
Архиепископ мне велит...

Викториан

Плясать?

Что ж, «viva la sachucha!»¹ Юный пыл
Она вдохнет в седины этих старцев.
Вот будет высшая победа!

Пресиоса

Кроме

Одной. Но танцы все же запретят,
И Пресиоса снова станет нищей.

Викториан

Прелестнейшей из нищих! Взор ее
Молящий я когда-то увидел
И отдал сердце.

Пресиоса

Помнишь, как впервые

Мы встретились?

¹ Да здравствует качуча! (исп.).

Викториан

Да, было то в Кордове,
В аллеях у собора. Ты сидела
Под деревом лимонным близ фонтана.

Пресиоса

Пасхальный праздник! Все кругом в цвету.
Благоуханье в воздухе и радость.
Сливалось пенье с музыкой органа.
И вдруг ударил колокол огромный —
Минута выноса святых даров.
И оба мы упали на колени
Под деревцом лимонным и молились.
Тогда впервые я узнала счастье!

Викториан

Мой ангел милый!

Пресиоса

А когда ушел ты,
Мне стало больно здесь. В тот день ни слова
Ни с кем я не сказала. Но с тех пор
Бартоломé стал ненавистен мне.

Викториан

Забудь о нем! Пусть тень его меж нами
Не выbleтся. Тебя я, Пресиоса,
Любил уже тогда, хотя молчал!

Пресиоса

Я не ждала тебя увидеть вновь.
В твоём прощании печаль звучала.

Викториан

Но то был первый звук любовной песни,
Еще безмолвие, но все же звук.
Когда невидимые руки духов
Касаются тончайших струн души,
Мы слышим музыку своей судьбы,
Как вещей голос, и — мы не одни.

Пресiosa

Я верую в предчувствия. А ты?

Викториан

Я знаю лишь, что наши чувства, мысли
Летят вперед, не медля в настоящем.
Как дождик, в черный падая колодезь,
Внизу рождает еле слышный плеск,
Так мысль, упав во мрак грядущих дней,
Таинственным до нас доходит эхом.

Пресiosa

Я это знала — слов лишь не нашла.
Не мыслю я, во мне есть только чувство,
Ты можешь чувство выразить и мысль.
Ученый ты, и думаю я часто,
Что в этом мире наш различен путь!
Да, велико меж нами расстояние!
Твой путь тебя уводит к звездным высям,
Я не должна тебя держать.

Викториан

Как можешь
Ты думать так? Я в женщине ценю
Привязанности силу, а не ум!
Ум ограничен. Чувство же не знает
Пределов, и его не исчерпать.
Сравни меня с великими земли.
Кто я такой? Пигмей среди гигантов!
Но если любишь ты, запомни — любишь! —
С тобою не сравниться никому!
Мир чувства — вот твой мир. Не мир дерзаний,
Мужчине данный. В мирной тишине,
Что подобает женам, ты спокойно
Сидишь одна у очага души,
Храня огонь. Чиста огня стихия.
Своей природы ей не скрыть, и так же
В цыганском таборе она пылает,
Как во дворце. Убеждена ли ты?

Пресiosa

В том, что тебя люблю, как любят рай,
Но сомневаюсь, что его достойна.
Как заслужить его?

Викториан

Люби сильнее!

Пресiosa

Сильней нельзя. Полно до края сердце.

Викториан

Пусть переполнится. Его я выпью,
Как знойным летом жадные пески
Впивают Мансанареса прохладу,
Прозя еще, еще!

Сторож

(с улыбки)

Ave Maria Purissima!¹ Полночный час, и ясно!

Викториан

Ты слышала?

Пресiosa

Несносен этот крик,
Тебя он гонит прочь.

Викториан

Как рог охоты —
Оленя робкого, как лай собак —
Бекаса от подруги.

Пресiosa

Не спеши!

Викториан

Я должен возвратиться в Алькалá.
Ты будешь думать обо мне?

¹ Хвала Марии пречистой! (лат.).

Пресноса

Не бойся!

Мои все думы только о тебе.

Викториан
(отдавая ей кольцо)

Возьми на память о моей любви!
Змея — эмблема вечности; рубин —
Пусть будет кровью сердца моего.

Пресноса

Есть старое поверье, что рубин
Приносит счастье и что сберегает
Он сердце чистым. Ночью, под подушкой,
Хранит от снов тяжелых. Но, увы,
Змий виноват в грехопаденье Евы!

Викториан

В каком монастыре у кармелитов
Училась богословью ты?

Пресноса
(зажимая ему рот рукой)

Тсс! Тсс!

Прощай! Пусть ангелы тебя хранят!

Викториан

Прощай! Прощай! Ты ангел мой хранитель!
Другим святым молиться я не стану!
(Спускается с балкона.)

Пресноса

Не ушибись! Ну, все благополучно?

Викториан
(из сада)

Как и в моей любви к тебе. Но ты! . .
Не влез бы кто другой на твой балкон!
Прошу тебя, закрой плотней окно,
Я к воздуху душистому ревную,
Твои уста целующему дерзко!

Пресiosa
(бросая вниз платок)

Ребенок глупый, завяжи глаза!
Мое напутствие тебе!

Викториан

Оно мне
Благоуханье уст твоих приносит.
Как легкий ветер моряку — дыханье
Родной земли, исчезнувшей в тумане.

Пресiosa

Пусть плаванье коротким будет!

Викториан

Завтра
Я невредимый возвращусь к тебе.
О ты, звезда, ведущая меня!
Моя звезда! Любовь! Покойной ночи!

Пресiosa

Покойной ночи!

Сторож
(вдали)

Ave Maria Purissima!

СЦЕНА IV

Гостиница на дороге в Алькалá. Бальтасар спит на скамье.
Входит Чиспа.

Чиспа

Вот мы здесь на полдороге в Алькалá, между полночью
и петухами. Ну и гостиница, прости господи! Свет потушен,
а хозяин спит. Эй, старичина Бальтасар!

Бальтасар
(просыпаясь)

Здесь я!

Ч и с п а

Да, ты здесь, как одноглазый алькальд в городе без жителей. Принеси свет и дай мне поужинать!

Б а л ь т а с а р

Где твой хозяин?

Ч и с п а

О нем не беспокойся. Мы остановились ненадолго — дать отдых лошадям. И если ему угодно прохаживаться на воздухе да поглядывать на небо, будто оттуда каплет, это, знаешь ли, не утоляет моего голода. Ну, поворачивайся! У меня времени мало — по одежке протягивай ножки. Что это у тебя?

Б а л ь т а с а р

(ставя на стол свечу)

Кроличье рагу.

Ч и с п а

(жуя)

Где твоя совесть? Ты хочешь сказать — кошачье?

Б а л ь т а с а р

И кувшин Педро Хименес. Я положил в него печеную грушу.

Ч и с п а

(пьет)

Старичина Бальтасар, дружок! Ты мастер выхвалять вино, а отпускать укус. Скажу тебе, что это просто *vino tinto*¹ из Ламанчи, с привкусом свиной кожи.

Б а л ь т а с а р

Клянусь тебе святым Симеоном и Иудой, что это именно Педро Хименес!

¹ Красное вино (исп.).

Ч и с п а

А я клянусь тебе святым Петром и святым Павлом, что это что угодно, но только не Педро Хименес. И весь твой ужин похож на обед идальго: очень мало мяса и много ска-терти.

Б а л ь т а с а р

Ха-ха-ха!

Ч и с п а

И больше шума, чем толку!

Б а л ь т а с а р

Ха-ха-ха! Вечно ты шутишь, приятель Чиспа! Не по-просить ли мне дон Викторiana войти и отведать вина?

Ч и с п а

С таким же успехом можешь спрашивать «Чего изво-лите?» у мертвеца.

Б а л ь т а с а р

Зачем он так часто ездит в Мадрид?

Ч и с п а

По той же причине, по какой он обходится без ужина. Влюблен! Ты был когда-нибудь влюблен, Бальтасар?

Б а л ь т а с а р

Я никогда не был не влюблен, любезный Чиспа! Это му-чение всей моей жизни.

Ч и с п а

Как! И ты пылаешь, старый ворох соломы? Да нам ни-когда не погасить тебя!

В и к т о р и а н
(за сценой)

Чиспа!

Ч и с п а

Ложитесь спать, Перогрульо! Уже петухи поют.

В и к т о р и а н

Эй, Чиспа! Чиспа!

Ч и с п а

Иду, сеньор! Пойдем со мной, старичина Бальтасар, напой лошадей! За ужин я заплачу завтра.

(Уходит.)

СЦЕНА V

Комната Викторiana в Алькалá. Ипполито спит в кресле.
Он медленно просыпается.

И п п о л и т о

Поспал я, видно, и поспал незрядно!
Нет больше грезы. Сон, о сладкий сон!
Меня облик, ты всегда прекрасен.
Ты нам подносишь кубок чистой влаги,
Забвения целебное питье!
Должно быть, поздно — свечи догорают.
А где Викторiana? Как брат Карильо,
И тут и там, где хочешь, но не дома.
Вот на стене его гитара. Редко
Рука хозяина ее ласкает.
Открой уста, нежнейший инструмент,
И скрась полуночную скуку песней!

(Играет и поет.)

Падре Франсиско!

Падре Франсиско!

Зачем тебе падре Франсиско?

Пришла молодая девица —

Желает в грехах повиниться.

Беги, скорее дверь открой,

Я отпущу ей грех любой!

Входит Викторiana.

Викториан
Падре Ипполито! Падре Ипполито!

Ипполито
Зачем тебе падре Ипполито?

Викториан
Мне отпущенье дай! Коль грех любовь,
Я величайший грешник на земле.
Признаюсь я в сладчайшем преступленье:
Я сердце девичье похитил.

Ипполито
Сказки
Опять про бабушку пред очагом,
Которая, под пенье котелка,
Свою описывает внучке свадьбу.

Викториан
Нет, слушай, у меня полна душа,
Я должен говорить.

Ипполито
Твоя душа —
Как сцена в старой пьесе, где мы видим
Под музыку торжественную выход
Одиннадцати тысяч кельнских дев!

Викториан
Сказал бы лучше — как Сивиллы книги:
Шесть сожжено, но те, что сохранились,
Считаются ценней всех девяти.
Однако слушай мой рассказ! Ты помнишь,
Цыганочку мы видели в Кордове,
Ромалис танцевавшую на рынке?

Ипполито
Ты говоришь о Пресносе?

Викториан

Верно!
Ее прелестный образ был со мной
И после возвращенья в Алькалá.
Она в Мадриде.

Ипполито

Знаю.

Викториан

Я влюблен.

Ипполито

И потому в Мадриде пропадаешь,
Забыв про Алькалá?

Викториан

Прости, мой друг,
Что тайну эту долго я скрывал.
Но волшебством молчанья охраняют
Сокровища такие. Молвишь слово
До срока, и они исчезнут вмиг.

Ипполито

Увы, увы! Я вижу, ты влюблен.
Любовь теплей плаща и заменяет
Питье и пищу. Дай испанцу мессу,
И олью, и сеньору молодую —
Ты знаешь поговорку. Но скажи,
Что слышно у тебя? Робка ли дева?
Ей песню сочини с началом «Ave»
И пой, как пел монах пречистой деве:
Ave! cujus calcem clare,
Nec centenni commendare
Sciret Seraph studio.¹

Викториан

Ах, не шути! Я говорю серьезно.

¹ Хвала тебе, чью стопу серафим не мог бы звонко прославить даже столетним усердием (лат.).

И п п о л и т о

И, говоришь, серьезно ты влюблен?
Вот это ново! Примус Алькалá
Влюблен в цыганку? Говори же прямо,
Чего ты хочешь?

В и к т о р и а н

Честного союза.

И п п о л и т о

Жениться, что ли?

В и к т о р и а н

Отчего же нет?

И п п о л и т о

Она была помолвлена с цыганом, —
Насколько помню я, — Бартоломé,
Плясавшим с ней в Кордове.

В и к т о р и а н

С ним она

Поссорилась, и все.

И п п о л и т о

Скажи по правде,
Ты женишься на ней?

В и к т о р и а н

По правде — да!

Хор ангелов пел в час ее рожденья.
Она алмаз, который найден мной
Средь мусора ихлама. Я за ним
Нагнулся, но когда его надену
И на челе моем звездой сверкнет он,
Дивиться будет мир, а не смеяться.

И п п о л и т о

Коль ты чело алмазом лишь украсишь,
То будет чудом.

Викториан
Постыдился б ты
Шутить столь неуместно! Неужели
Нет в мире добродетели?

Ипполито
Не много.
По-твоему, что делает она
Теперь, когда мы спорим?

Викториан
Сладко спит.
С полуоткрытых губ летит дыханье,
Как аромат с цветочных лепестков.
Она тиха, и только крест нагрудный,
Перед которым, спать ложась, молилась,
Кольщется в приливе сонных грез, —
Ладья на верном якорю.

Ипполито
Итак,
Словами прозы — спит с открытым ртом!

Викториан
Где зеркало волшебное мне взять?
Взглянул бы я на детский сон ее!

Ипполито
И ты не побоялся бы?

Викториан
Нисколько!

Ипполито
Ты не труслив. Но взвесил ты, как много
Таится в этих двух слогах: «те-перь»?

Викториан
Да, вся ужасная загадка жизни!
Я часто думал, милый Ипполито,
Когда б могли мы волшебством заставить

Мир и живущих в нем окаменеть
Внезапно в нынешнем их положении,
Как жутко было бы нам заглянуть
В глухие бездны человечьей жизни!
У смертного одра какие группы!
Они затмили б группу Ниобеи!
А сколько встреч друзей, прощаний грустных!
А сколько слез в глазах оледенелых!
А сколько страсти и тоски на лицах!
Веселых свадеб, грустных похорон!
Врагов и гладиаторов в бою!
Влюбленных, сливших мраморные губы!

И п п о л и т о

Все это так, но если б я влюбился,
Я б этого особенно боялся.
Ты в зеркале увидеть мог бы то,
Что лучше оставалось бы сокрытым.
Ну, например, прелестную твою
Кузину Виоланту, всю в слезах
Любви и гнева, как Колхиды деву,
Которую неверный аргонавт,
Любви руно взяв золотое, тотчас
Для этой Главки бросил.

В и к т о р и а н

О, ко мне
Она остыла, выйдет за другого
Иль, умерев в монастыре, возьмет
В Элизии в мужья себе Ахилла.

И п п о л и т о

(вставая)

Что ж, доброй ночи или... с добрым утром?

Часы бьют три.

Чу! Громко палицей тяжелой время
Стучится в золотые двери дня!
Итак, прощай! Поговорим еще
О Пресиосе мы при новой встрече.
Ложись в постель, и пусть чудесник сон

Ее в волшебном зеркале тебе
Покажет. Доброй ночи!

(Уходит.)

Викториан

Доброй ночи!

Но я не лягу. Лучше почитаю.

(Откидывается в кресле, в котором сидел Ипполито,
и кладет на колени большую раскрытую книгу.)

Читать иль тихо грезить, наблюдая,
Как волны переливчатые бьются
О праздный берег моего ума!
Виденья славы! Прежде вы в ночи
Являлись мне с улыбкой лучезарной.
Но вы ушли, и кто мне поднесет
Стеблей бессмертных сок, что на Олимпе
Цветут и нам бессмертие дарят?
Иль скажет, где найти мне мандрагору,
Чей корень, вырванный о полночь, стонет,
И власть имеет духов отгонять,
И тешит мозг богатствами видений?
Желанье мне дано, слаба лишь воля!
О, мертвые титаны, чьи слова
Дошли до нас через поток забвенья,
Как римские мечи из русла Тахо!
Где силы, чтоб владеть таким оружием?
В античности, сверкающей, как факел,
Свет отражается извечных истин,
Как в зеркале. Для творчества нам дан
Материал бесформенный, что всюду
Лежит вокруг. Нам нужен лишь огонь
Небесный, чтобы превратить камень
В кристалл прозрачный, искрометный, чистый.
Огонь — наш гений! Вечером крестьянин
В лачуге дымной углем на стене
Выводит неуклюжие фигуры.
Сын гения приходит, утомленный
Дорогой дальней, и ночлега просит.
Он уголь у крестьянина берет,
И магией его прикосновенья,
Являя все сокрытые в нем силы,

Он перед изумленной простотой
Алмазом блещет! Так преображает
Народные предания и сказки
В бессмертные поэмы нищий бард,
Слепой старик, безродный и бездомный,
Кому ночлег — вся плата за труды.
Но есть мечты заманчивее славы —
Мечты любви! Из сердца тайных недр
Встает мечтаний светлый идеал,
Как из ручья лесного дивный призрак,
И снова меркнет, прежде чем коснется
Влюбленный рыцарь мантии его!
Тот идеал, которого душа,
Как безутешный и влюбленный рыцарь,
На берегах потока жизни ищет
В надежде, что возникнет над волнами
Он в смертном облике! Увы, как часто
Напрасно ждет она! Поток струится,
И не встает из темной глуби призрак!
Но я, рожденный под звездой счастливой,
Нашел желанный идеал мечты.
Моя любимая всегда со мною,
И, сидя здесь в глухую ночь, я слышу
Ее дыханье легкое. На грудь мне
Она склонила голову. Да будет
С ней мир! И сон пусть милые глаза
Ее смежит, и нежные уста
Цветов ночных мое шепнут ей имя!

(Постепенно засыпает.)

АКТ ВТОРОЙ

СЦЕНА I

Комната Пресиосы. Утро. Пресноса и Анхелика.

Пресноса

Зачем спешить? Побудь еще со мною!
Пред бедняком, не дав и слова молвить,
Так часто замыкаются сердца
Со стуком, слышным в небе! Расскажи мне

Про горести свои смелее. Кто
Владелец твоего жилья?

А н х е л и к а

Граф Лара.

П р е с и о с а

Граф Лара? Ах, опасный человек!
Ему не верь! Беги его и лучше
На улице умри, чем прикоснуться
К таким деньгам.

А н х е л и к а

Ты, видно, графа знаешь.

П р е с и о с а

Насколько это с честью совместимо.
Коль чистым именем ты дорожишь,
Его остерегайся!

А н х е л и к а

Что ж мне делать?

Мал круг моих друзей, и слово ласки,
Откуда бы ни шло, отратно бедным.

П р е с и о с а

Меня возьми в подруги. Юной деве
В друзья одни лишь девушки годятся.
Как звать тебя, скажи мне?

А н х е л и к а

Анхелика.

П р е с и о с а

Так ангелом для матери своей
Ты быть должна всегда. Когда малюткой
Ты улыбалась ей, ты им была.
Будь им и впредь. Дари ее улыбкой.
Пока чиста, не бойся ничего.
Никто тебе не страшен. Я сама
Случайно вознеслась над грязью улиц,
И служит мне щитом лишь добродетель, —

Вот талисман, спасающий меня!
Его среди опасностей ношу я
Здесь, на груди! Он ангел мой хранитель.

Анхелика

(вставая)

Спасибо за советы, госпожа!

Пресиоса

Смотри же, им последуй!

Анхелика

Неприменно.

Пресиоса

Побудь еще! Не все сказала я.

Анхелика

Нельзя мне. Мать одна осталась дома.

Пресиоса

Тогда поговорим при новой встрече.

Но ты не унесешь одни слова.

Возьми! Здесь, правда, мало.

Анхелика

Ах, спасибо!

Пресиоса

Не надо. Завтра снова приходи.

Мой танец нынче, может быть, последний,

И весь доход я подарю тебе,

Коль он спасет тебя от графа Лары.

Анхелика

О госпожа! За доброту такую

Как мне благодарить тебя?

Пресиоса

Скажи

Спасибо небу, а не мне.

А н х е л и к а

Обоим.

П р е с и о с а

Прощай и завтра не забудь прийти.

А н х е л и к а

Да сохрани тебя святая дева
И ангелы.

(Уходит.)

П р е с и о с а

А также и тебя.

Всем обездоленным нужна защита!
Теперь подай мне, милая Долорес,
Для танца самый лучший мой наряд
И жемчуга. Меня сегодня сделай
Невиданно прекрасной. Приз должна я
Завоевать, достойный Пресиосы!

Входит Бельтран Крусадо.

К р у с а д о

Ave Maria!

П р е с и о с а

Боже! Злой мой гений!
Кого здесь ищешь ты?

К р у с а д о

Тебя, дитя!

П р е с и о с а

Чего ж опять ты хочешь?

К р у с а д о

Денег! Денег!

П р е с и о с а

Вчера тебе дала я. Больше нет.

К р у с а д о
Где золото буснѣ? Дай мне его!

П р е с и о с а
Последнее я бедной отдала.

К р у с а д о
Бессовестная ложь!

П р е с и о с а
Нет, это правда.

К р у с а д о
Так будь же проклята! Ты мне не дочь!
Ты золото дарила, но не мне!
Не своему отцу! Кому же?

П р е с и о с а
Той,
Кому оно нужнее.

К р у с а д о
Нет таких!

П р е с и о с а
Ты не бедняк.

К р у с а д о
Кто? Я? Весь день брожу я
По пустырям, задворкам и трущобам,
Живу беднее, чем галерный раб,
Всегда питаюсь хуже пса цепного,
Одет я в рубище. Бельтран Крусадо
Не беден?

П р е с и о с а
Смел ты сердцем и силен,
Жить мог бы без нужды. Чего ж еще?

К р у с а д о

Где золото бусне? Дай мне его!

П р е с и о с а

Бельтран Крусато, выслушай меня!
Поистине, когда имела деньги,
Дарила щедро я тебе всегда.
Моим единственным желаньем было
Твои исполнить. Так ступай же с миром,
Будь милосерд, будь терпелив, и вскоре
Я снова денег дам.

К р у с а д о

А если нет,
Не жить тебе в хоромах этих пышных,
Не щеголять в шелках среди праздной лени,
Не кушать тонких яств! Пойдешь плясать
На улицах ромалис и скитаться
В полях широких, под привольным небом.
Пора нам дальше.

П р е с и о с а

Как? Опять в дорогу?

К р у с а д о

Из этой суеты прочь! Мне душно
В нагроможденье этих серых стен.
На воздух, к солнцу, к синеве небес!
Чтоб свежий ветер мне ласкал лицо,
Чтоб под ногой опять была земля.
Стенами же вставали только горы!
Тогда силен я буду и свободен,
Бельтран Крусато, граф своих калё.

П р е с и о с а

Господь с тобой! Иди, но без меня!

К р у с а д о

Ты не могла забыть, кто я тебе!
Молчи и повинуйся! Да, еще:
Бартоломé Роман...

П р е с и о с а (взволнованно)

О, умоляю!
Коль послушанье, безупречность жизни,
Всегдашнее смиренье пред тобой,
Во всем покорность — пробудить в тебе
Способны состраданье, если ты
И впрямь отец мне, если узнаёшь
В моих чертах давно забытый образ
И голос матери в моих речах,
Пусть за меня он вступится. Мне трудно
Тебе перечить. Но не отдавай
Меня такому мужу! Он мне страшен!
Я не люблю его! И на коленях
Прошу меня не принуждать к тому,
Чего нельзя исправить!

К р у с а д о

Ах, дитя!
Ты тайну выдала, подобно птице,
Когда гнездо она стремится скрыть.
Я не оставляю здесь тебя, чтоб стала
Любовницею гранда. Приготовься
В дорогу с нами. А пока запомни,
Что за тобою зоркий глаз.
(Уходит.)

П р е с и о с а

О, горе!
Предчувствие мне тяжело сжало сердце!
Благое дело все же я закончу,
И, будь что будет, — в этом я вольна!
(Уходит.)

СЦЕНА II

Комната во дворце архиепископа. В ней сидят архиепископ
и кардинал.

Архиепископ

Блюдя всечасно нравственность народа
И видя, что наш век все больше тонет
В мирских соблазнах, мы послали в Рим
Просить его святейшество, чтоб он
Нас от ужасной язвы исцелил,
В Испании немедля запретив
Бои быков и танцы на подмостках.
Вы это знаете.

Кардинал

И одобряю.

Архиепископ

Мандат его святейшества пресек
Зло первое.

Кардинал

Надеюсь — навсегда.
Жестокая забава!

Архиепископ

Это правда!
Позор страны, которую зовут
Все христианской.

Кардинал

Но в народе ропот.
И если танцы при увеселеньях
Без всяких оснований запретить,
Недуг возникнет злей того, что лечим.
Как «Panem et circenses!»¹ в старину
Все население Рима возглашало,
Так «Pan y toros!»² на устах испанцев.

¹ Хлеба и зрелищ! (лат.).

² Хлеб и быки! (исп.).

А р х и е п и с к о п

Вот почему хотел бы я, чтоб ваше
Преосвященство сами посмотрели
На эти танцы до их запрещенья.
Входит слуга.

С л у г а

Танцовщица и с нею музыканты,
Как велено, пришли и ждут за дверью.

А р х и е п и с к о п

Пускай войдут. Сейчас поймете вы,
В каком и ангельском и грешном виде
Антония Лукавый искушал.

Входит Пресноса в накиннутой на голову мантилье. Она медленно
подвигается вперед — скромно и несколько робко.

К а р д и н а л (в сторону)

Какой прелестный ангел был утрачен,
Когда столь милое создание пало!

Пресноса
(опускаясь перед архиепископом на колени)

По воле вашего преосвященства
Я здесь. Но если отдых ваш нарушен,
Молю простить меня и осенить
Святым благословеньем.

А р х и е п и с к о п

Бог тебя
Благослови для лучшей жизни! Встань!

К а р д и н а л (в сторону)

Скромны се движенья и слова.
Я ждал иного. Подойди, дитя!
Ты Пресноса?

Пресноса
Так меня зовут.

Кардинал

Цыганским именем. Кто ж твой отец?

Пресиоса

Бльтран Крусадо. Он цыганский граф.

Архиепископ

Его я смутно помню. Загорелый
Неукротимо дерзкий человек.
Мятежная душа!

Кардинал

А помнишь ты

Дни детства?

Пресиоса

Да. На берегах Дуэро

Они текли. Рисуются мне ясно
Поток и горы в шапках снеговых;
Деревни, улицы, где я ребенком
Предсказывала путникам судьбу;
Контрабандист с конем, солдат, пастух;
Путь по болотам и привал полдневный;
Огонь вечернего костра и спящий,
Им озаренный лес; но раньше, раньше,
Как сон или виденье прежней жизни,
Сад, стены замка.

Архиепископ

Может быть, Альгамбра,

Под башнями которой стал их табор.
Но мы спешим. Станцуй нам, Пресиоса.

Пресиоса

Готова я служить!

(Кладет мантилью в сторону.)

Музыканты играют качучу, начинается танец. Архиепископ и кардинал смотрят с серьезным вниманием, иногда хмурятся и жестами передают друг другу свои впечатления. Но чем дальше, тем больше им нравится танец, постепенно приводящий их в полное восхищение. Наконец они встают с кресел, бросают в воздух шапочки и горячо аплодируют под спускающийся занавес.

СЦЕНА III

Длинная, обсаженная деревьями улица ведет к воротам Аточа. Вечер. У фонтана встречаются дон Карлос и Ипполито.

Карлос

А, вот и вы! Привет вам, Ипполито!

Ипполито

Привет и вам, любезный друг, дон Карлос!

Меня вела счастливая звезда:

Я вас искал.

Карлос

Всегда к услугам вашим.

Ипполито

Вы помните из «Грез» Кеведо-скрягу?

Он спрашивал, как будет в Судный день:

Восстанут ли его мешки с деньгами?

Карлос

Да. Что ж с того?

Ипполито

Несчастный этот — я.

Карлос

Коль понял я, пустыми стали ваши?

Ипполито

«Аминь!» — сказал мой Сид Кампеадор!

Карлос

А много ли вам нужно?

Ипполито

Пять-шесть унций.

Я их с процентами. . .

Карлос

Ах, жид я что ли,
Чтоб деньги в рост давать! Вот кошелек!

Иполито

Спасибо! Славный кошелек! Изделье
Какой-нибудь прекрасной мадриленки?
Не сувенир?

Карлос

Нет. Им располагайте.

Иполито

Благодарю еще раз. Лежа здесь,
Напоминай мне часто, златоуст,
Про долг мой другу.

Карлос

Но скажите мне,
Вы нынче не из Алькалá?

Иполито

Оттуда.

Карлос

Ну, как любезный наш Викторнан?

Иполито

Что ж, так себе. Сказать вернее — худо.
Попался он: его настигли взоры
Девичьих черных глаз, как настагает
Взмах лассо андалузского быка,
И он влюблен.

Карлос

Да разве так уж худо
Влюбиться?

Иполито

Худо — для него.

К а р л о с

Как так?

И п п о л и т о

Причин тут много. Главная из них,
Что он влюбился в чистый идеал;
В создание своего воображенья;
В мираж воздушный; в отголосок сердца;
Как лилия плывет по лону вод,
Она пред ним плывет в туманных грезах!

К а р л о с

Не редкость у поэтов. Кто же эта
Речная лилия? Ведь женщина она,
Не просто идеал, и потому
Должна хоть видом отвечать мечтаньям.
Кто ж это?

И п п о л и т о

Женщина, как все другие,
Но из ларца души он извлекает
Алмазы, жемчуг, чтоб ее украсить,
Как наряжают набожно святую
В парчу и золото, и вот как жар
Уже блестит она. А без прикрас
И без благословенья — это кукла.

К а р л о с

Так, так! Кто ж эта кукла?

И п п о л и т о

Отгадайте!

К а р л о с

Его кузина Виоланта?

И п п о л и т о

Промах!

В последний шторм ее из сердца он,
Как лишнюю обузу, за борт бросил.

Карлос

Ну, мне не отгадать. Скажите сами!

Ипполито

Нет, что вы! Не скажу.

Карлос

Да почему?

Ипполито

А потому лишь, что «Мария Франко
Переселилась с мужем в Саламанку»!

Карлос

Довольно шуток! Кто же?

Ипполито

Пресиоса.

Карлос

Неужто? Лара говорит, она
Не добродетельна.

Ипполито

Я разве спорю?

Женат был римский император Клавдий,
Насколько помню я, на Мессалине.
Но тсс! Его я вижу сквозь деревья;
Бредет, как спящий.

Карлос

Он идет сюда.

Ипполито

Как прав мудрец, который говорил,
Что денег, горя и любви не скрывать!

Спереди входит Викториа.

Викториан

Священна та земля, где ты прошла!
Священны эти рощи! Вижу я
Тебя под сенью их, как в час вечерний,
В час нашей встречи. Ты и ныне здесь.
Твоим очарованьем здесь все дышит,
И это место свято.

Ипполито

Присмотритесь!

С какою гордостью он выступает,
Подобно каменному Командору,
Пришедшему на ужин к дон Жуану.

Карлос

Постой, Викториан! Откушай с нами!

Викториан

Ола́, друзья! Я, право, не видал вас!
Дон Карлос, как дела?

Карлос

Готов служить вам.

Викториан

Ну, что с зеленоглазой кадиссанкой,
Прельщавшей вас?

Карлос

Ах, изумрудный взор!

Она в Кадис вернулась.

Ипполито

Ay de mi! ¹

Викториан

А вы напрасно это допустили.
Хорошенькая девушка, и нежен
В ее глазах зеленоватый тон
Небес вечерних.

¹ Горе мне! (исп.).

Ипполито

Кстати, о глазах:
Не зелены ль твои?

Викториан

Ничуть! А что?

Ипполито

Такой оттенок был бы в них уместен.
Ведь ты ревнуешь?

Викториан

Нет, я не ревную.

Ипполито

А должен бы!

Викториан

О, разве?

Ипполито

Ты влюблен.
Влюбленные все, как один, ревнивы,
И это хорошо!

Викториан

Ба! Это все?

Прощайте, я спешу. Привет, дон Карлос!
Так должен ревновать я?

Ипполито

Нет, серьезно,
Боюсь, причина есть. Будь начеку!
Передавали, будто бы граф Лара
В осаде держит ту же крепость.

Викториан

Напрасны будут все его старанья!
Вот как!

Ипполито

Не так он смотрит. Говорит дон Карлос,
Успехом хвастал он.

Викториан

Дон Карлос, так ли?

Карлос

Намек я слышал из его же уст.
О чести дамы говорил легко он,
Как старый сердцеед.

Викториан

Пятьсот чертей!
Язык я лживый вырву у него
И брошу псу! Но нет, и нет, и нет!
Не может быть! Вы дразните меня.
Оставьте эти шутки, а не то
Мы больше не друзья. Итак, прощайте!
(Уходит.)

Ипполито

Ну и сумятица! Ребенок-Мститель,
За вероломным Квадросом в погоне,
И мавр Калайнос, мчавшийся в Париж
Отрезать оба уха Оливеру, —
Ничто пред ним. О, вспылчивая юность!
Пусть он идет себе, а мы вольемся
В толпу, что устремляется на Прадо.
Там мы найдем людей повеселее.
А, вот Мариалонзо, Альмавива!
Мне машут дамы сотней вееров.

Уходят.

СЦЕНА IV

Комнаты Пресиосы. Она сидит с книгой в руке у стола, на котором стоят цветы. В клетке поет птица. Граф Лара, незамеченный, входит сзади.

Пресиоса
(читает)

Сердце, сердце, в доме тишь,
Только ты одно не спишь!..
О, если бы Викторян был здесь!
Не знаю, что томит меня тревогой!

Птица поет.

Ты, крошка-пленница в наряде пестром,
За проволокой все-таки поешь!
И я в плену. Меня, как и тебя,
Тюремщик нежный бережет. Увы!..

Сердце, сердце, в доме тишь,
Только ты одно не спишь!
Все стучишь и бьешься, ноя.
Не найти тебе покоя!
Налетит ли горе злое,
Ты по милому грустишь.

Да, прав поэт! И мне сдается, больше
На свете разбивается сердце,
Чем мыслим мы. А семена любви,
Где их на пустыре оставит ветер
Иль перелетные обронят птицы,
В уединении пускают корни,
Растут в молчанье и в молчанье гибнут.
Кто слышит, как в лесу ложится лист?
И кто заметит умерший цветок?
О, если бы Викторян был здесь!
Долорес!

(Поворачивается, чтобы отложить книгу, и замечает графа.)

Ах!

Лара
Простите мне, сеньора!

Пресiosa
Как? Вы?! Долорес!

Лара
Я прошу...

Пресiosa
Долорес!

Лара
Не бойтесь же! В прихожей было пусто.
Коль слишком смел я...

Пресiosa
(поворачиваясь к нему спиной)
Да, вы слишком смелы!
Тотчас уходите!

Лара
Милая сеньора,
Молю вас только выслушать меня!
Я ради вас пришел.

Пресiosa
(с негодованием поворачиваясь к нему)
Ступайте прочь!
Вы граф, но таковы деянья ваши,
Что статуи в фамильном склепе, верно,
За вас краснеют. В том ли честь кастильца,
Кастильца гордость, — к девушке прокрасться
И беззащитной нанести обиду?
Позор, позор! Позор вам, дворянину,
Который пал до недостойной мысли —
Браслетами любви моей добиться
И честь мою на золото купить!
Нет слов вам выразить мое презренье!
Уйдите прочь! Ваш вид мне ненавистен!
Прочь! Прочь!

Лара
Спокойнее! Я вас не трону.

Пресиоса

И не посмеете.

Лара

Мне нет преград!
Так берегитесь! Но я оклеветан.
Мы в этом лживом мире редко знаем,
Кто друг нам и кто враг. Врагов, увы,
Имеют все, и всем нужны друзья.
И даже вам, прелестной Пресиосе,
Хотят вредить.

Пресиоса

О, если лишь за этим
Меня почтили вы своим визитом,
Не стоило трудиться! А теперь
Я требую: меня одну оставьте.

Лара

Я думал услужить вам, сообщив,
Что в городе блуждает странный слух.
Конечно, я ему отнюдь не верю,
Но есть другие, кто, не зная вас,
Прислушиваются.

Пресиоса

Напрасно, право,
Задумали вы мне передавать
Такие басни.

Лара

Злые языки
Усердно треплют ваше имя.

Пресиоса

Что же!
Мне, одинокой, стать легко мишенью
Для оскорблений и жестоких шуток.
От них мне больно, а защиты нет.
Я слухам пищи не даю. Живу,
Не принимая никого.

Л а р а

Неужто?
О, как вас очернили!

П р е с и о с а

Чем?

Л а р а

Нет, нет!
Я вас напрасно оскорблять не стану
Пустыми баснями.

П р е с и о с а

Да говорите ж!
Я знать хочу! Меня щадить не надо.

Л а р а

Я буду с вами честен. Извините,
Окно вот это смотрит в переулок?
А это — не на Прадо ль? Там, за садом,
Вы видите высокий дом, чья кровля
Над зеленью деревьев выступает.
Живущий в этом доме друг сказал мне,
Что как-то ночью, — вы не обижайтесь
На прямоту мою, — сюда в окошко
Взобрался к вам мужчина. Вы молчите!
Я не браню вас. Юной и прекрасной...

(Пытается обнять ее.)

Она отшатывается и выхватывает из-за корсажа кинжал.

П р е с и о с а

Назад! Остерегитесь! Я цыганка.
Не смейте прикасаться! Шаг один —
И я ударю.

Л а р а

Бросьте ваш кинжал!
Не бойтесь!

Пресиоса

Я вас вовсе не боюсь,
И сердце бьется ровно.

Лара

Лишь два слова!
Я к вам пришел как друг. Да, я ваш друг!
Все рассказы могу я прекратить
Единым словом. Ваше имя будет
Белее лилий. Вот я на коленях,
Очаровательная Пресиоса. . .
Клянусь, что до безумия люблю вас
И лишь одна любовь меня толкнула,
Презрев обычай, вторгнуться незваным.

Викториан входит сзади.

Пресиоса

Граф Лара, встаньте! Вам не подобает
Передо мною падать на колени.
Да, я невольно тронута, вас видя
Перед собой в такой смиренной позе.
И я готова, позабыв досаду
И чувство неприязни, говорить
Приветливо, как женщине достойно
И как велит мне сердце. Больше я
Не стану ненавидеть вас. Вражда
Всегда претит мне. И насколько скромность
И сдержанность — долг женщин — позволяют
Мне молвить так, я сердце научу
Любить вас.

Лара

О, мой ангел!

Пресиоса

Даже больше,
Чем любите себя вы иль меня.

Лара

Малейший знак, залог мне дайте! Только
Поцеловать вам руку!

Пресиоса

Нет, ни шагу!

Мои слова — вот вам залог и знак.
Меня вы только не поймите ложно!
Я вас люблю не так, как вы меня.
Мне ясно: вы сюда пришли похитить,
Что мне всего дороже, — честь мою.
Богаты вы, окружены друзьями,
Вам яркие надежды тешат сердце.
А я бедна и лишена друзей.
Одно храню сокровище, но вы
Его отнять хотите, и зачем?
Польстить тщеславию своему, меня же
Потом предать презрению. Нет, сеньор,
Любовь такая пагубна, коварна
И далека от истинной любви.
Моя ж не та и вам желает блага.
Она гораздо выше, порицает
Земную вашу страсть. Она зовет вас
В свое всмотреться сердце и понять,
Что лучшее в себе вы заглушали,
Грехом пятная душу.

Лара

Я клянусь вам,
Что не вредить, любить лишь я хочу,
Честь не похитить, а восстановить.
Взамен же я прошу хотя бы символ
Благоволенья вашего, и если
Вы вправду любите меня, позвольте
Объятьем этим...

Викториан
(бросаясь вперед)

Стойте! Это слишком!
Как смели вы?

Лара

А вы кто, чтобы ставить
Вопросы благородному испанцу?

Викториан

О благородстве лучше вам не спорить!
Прочь с глаз моих!

Лара

Вы что ж — хозяин здесь?

Викториан

Здесь и везде, где чья-нибудь обида
Дает мне право!

Пресиоса

(Ларе)

Я уйти молю вас!

Викториан

Мои друзья зайдут к вам скоро, граф!

Лара

Когда угодно вам.

(Уходит.)

Пресиоса

Викториан!

Нас кто-то предал!

Викториан

Предал? Ха-ха-ха!

Кто предан — это я! Не мы, не мы!

Пресиоса

И ты подумал!..

Викториан

Нет, зачем мне думать?

Я вижу, как ты вечера проводишь,

Когда меня здесь нет.

Пресиоса

Не говори так!

Мне очень больно.

Викториан

Льстить я и не думал.

Пресиоса

Ты должен знать, как этот человек
Противен мне!

Викториан

Но ты пред ним стояла
И слушала признания в любви.

Пресиоса

Его слова летели мимо.

Викториан

Нет!

И ты сама в ответ любовь сулила.

Пресиоса

Ты слышал все?

Викториан

Довольно.

Пресиоса

Не сердись!

Викториан

Я не сержусь. Ты видишь — я спокоен.

Пресиоса

Дай слово мне промолвить. . .

Викториан

Нет, молчи!

Я знаю слишком много. Ты фальшива!
Да, грош цена цыганским этим бракам!
Где перстень, что тебе я дал?

Пресиоса

В шкатулке,

Викториан

Пусть там лежит. Не смей носить его!
Я думал — ты чиста, а ты развратна.

Пресиоса

В свидетели я небо...

Викториан

Нет и нет!
Слова святы не для лживых уст!

Пресиоса

Викториан! О, мой Викториан!

Викториан

Тебе я отдал все: себя, свободу,
Надежды на успех, всю жизнь и душу!
Ты гибель мне несла! Что ж, продолжай!
Посмейся надо мною и скажи,
У графа Лары на коленях сидя,
Как верен был и глуп Викториан!

(Отталкивает ее и убегает.)

Пресиоса

И это от тебя!

СЦЕНА V

Апартаменты графа Лары. Входит граф.

Лара

Что может быть прекраснее любви!
Но в ненависти тоже есть отрада.
Я ненависть познал и отомщен!
Со мной девчонка корчит недотрогу!
То пламя, что раздул я...

Входит Франсиско.

Ну, Франсиско,
Как лон Хуан?

Ф р а н с и с к о

Все хорошо, сеньор!
Он обещал прийти.

Л а р а

А герцог Лермос?

Ф р а н с и с к о

Его я не застал.

Л а р а

А как другие?

Ф р а н с и с к о

Я видел всех, и все придут туда.
Они поднимут по сигналу вихрь
Таких нестройных звуков, что собьют
И музыкантов и плясунью.

Л а р а

Браво!

Не знаешь ты, малютка Пресиоса,
Что ждет тебя! Сон не смежит твоих
Глаз в эту ночь! Поддай мне плащ и шпагу.

(Уходит.)

СЦЕНА VI

Уединенное место за городскими воротами. Входят Викториан
и Ипполито.

В и к т о р и а н

О, стыд! О, стыд! Зачем брожу я днем,
Когда и солнца свет издевки полон,
А в шуме улиц, в голосах людей
Я слышу: «Скройся!» Как тонка стена,
Что отделяет любопытный мир
От зрелища дурных и темных дел!

Позор тысячеуст. Повсюду — окна,
Из-за которых прячутся глаза.
На лицах встречных подозренье вижу,
А на устах — глумливые улыбки!

И п п о л и т о

Не предостерегал ли я тебя?
И честь ее не брал ли под сомнение?

В и к т о р и а н

И все же, Ипполито, может быть
В поспешном осужденье мы неправы!
Граф Лара просто гнусный негодяй.

И п п о л и т о

Так и она гнусна, его любя.

В и к т о р и а н

Она его не любит. Деньги! Деньги!

И п п о л и т о

Но помни, что на улицах он хвастал
Кольцом, ему подаренным цыганкой, —
Змеею золотой с рубином в пасти.

В и к т о р и а н

То был мой перстень! Как она фальшива!
Я отомщу за все! Но где граф Лара?
Куда девался трус?

И п п о л и т о

Нет, он не трус.
Быть может — негодяй, но он не трус;
На шпагах драться — для него забава.
Померяться с его искусством будет
Тебе не так легко. А вот и он!
Входит Лара в сопровождении Франсиско.

Л а р а

Привет, сеньоры!

И п п о л и т о

Добрый вечер, граф!

Л а р а

Надеюсь, долго не заставил ждать?

В и к т о р и а н

И нет, и все же долго. Вы готовы?

Л а р а

Готов я.

И п п о л и т о

Но, сеньоры, ваша ссора
Меня печалит. Разве нет пути
Уладить разногласье между вами,
Не прибегая к шпагам?

В и к т о р и а н

Нет и нет!

Прошу тебя, любезный Ипполито,
Не стой меж мною и врагом. Довольно
Болтали языки. Язык стальной
Наш спор закончит. Защищайтесь, граф!
Сражаются. Викторян выбивает у графа шпагу.
В моих руках вы! Что ж мне помешает
Презренную отправить вашу душу
На суд небес?

Л а р а

Скорей!

В и к т о р и а н

Нет, безоружных

Не убиваю я. Возьмите шпагу!

Франсиско подает графу шпагу, но вмешивается Ипполито.

И п п о л и т о

Довольно! Стойте! Граф нам доказал,
Что он бесстрашен, а Викторян —
Великодушен, как всегда. Миритесь!

Оставьте шпаги! Говоря по правде,
Причина ссоры слишком маловажна
Для крайних мер.

Л а р а

Я удовлетворен.
Я ссоры не искал. К ней привели
Поспешные слова в горячий миг.

В и к т о р и а н

Нет, нечто большее!

Л а р а

Я не хотел
Вам становиться поперек пути.
Мне дверь открылась так же, как другим.
Но, знай я' ваши чувства, отнимать
Я б не подумал девушку у вас.
Теперь мы знаем все: она агала
Обоим нам.

В и к т о р и а н

Агала, как сатана!

Л а р а

Не я искал ее, она — меня;
И помогла мне, указав часы,
Когда я мог застать ее одну.

В и к т о р и а н

О, если б вы мне доказали это
И вырвали сомненья из души,
К безумью близкой! Знать хочу я все!

Л а р а

Вы и узнаете. Вот мой слуга,
Посланец к ней. Его вы допросите.
Так было там, Франсиско?

Ф р а н с и с к о

Так, сеньор!

Л а р а

Хотите доказательств? Вот кольцо,
Ее подарок.

В и к т о р и а н

Дайте-ка! .. Оно!

(Бросает кольцо на землю и топчет его ногами.)

Да сгинет и носившая его!
Само воспоминание о ней
Я втоптываю в землю. О граф Лара,
Оскорблены мы оба! Вам обязан
Я за любезность и за откровенность.
Как врач, вы причинили боль, зато
Меня спасли от слепоты. Спасибо!
Свою я вижу глупость, правда — поздно!
Прощайте! Этой ночью навсегда
Покину я мне ненавистный город.
Отныне я вам друг. Итак, привет!

И п п о л и т о

И мой привет вам, граф!

Викториан и Ипполито уходят.

Л а р а

Привет, привет!
Убрал я с поля злейшего врага!
Бояться некого, окончен бой,
Сдается крепость, полная победа!

(Уходит с Франсиско.)

СЦЕНА VII

Переулок в пригороде. Ночь. Входят Крусудо и Бартоломé.

К р у с а д о

Итак, Бартоломé, поездка была неудачная. Но где же ты все время пропадал?

Б а р т о л о м é

В горах Гвадаррама, близ Сан-Ильдефонсо.

Крусудо

И ты ничего не принес оттуда? Никого не ограбил?

Бартоломé

Некого было там грабить, кроме кучки студентов из Сеговии; и больше было похоже, что они нас ограбят. Да еще попался нам веселый монашек, но в кармане — только тресник и ломоть хлеба.

Крусудо

Тогда скажи, что привело тебя назад в Мадрид?

Бартоломé

Сперва скажи, что удерживает здесь тебя?

Крусудо

Пресиоса.

Бартоломé

Ради нее и я здесь. Ты забыл свое обещание?

Крусудо

Два года еще не прошли. Потерпи. Девочка будет твоя.

Бартоломé

Я слышал, за ней волочится буснэ.

Крусудо

Пустяки!

Бартоломé

Мне это не нравится. Я ненавижу этого сына шлюхи — буснэ! Он свободно входит к твоей дочке, говорит с нею с глазу на глаз, а я стой в сторонке и жди, пока он развлекается!

Крусудо

Потерпи, говорю я! Ты еще отомстишь ему. Придет время, и ты подстережешь этого молодчика на дороге.

Б а р т о л о м ё

А пока что проведи меня к ее дому.

К р у с а д о

Вот сюда! Только ты не застанешь ее. Сегодня она танцует в театре.

Б а р т о л о м ё

Все равно. Покажи мне дом.

СЦЕНА VIII

Театр. Оркестр играет качучу. За сценой звуки кастаньет. Занавес поднимается. На сцене Пресиоса в начальной позиции танца Качуча. Шум, свистки, крики «Brava!»¹ и «¡Fuera!»² Танцовщица колеблется и останавливается. Музыка обрывается. Общее смятение. Пресиоса падает без чувств.

СЦЕНА IX

Апартаменты графа Лары. Лара и его друзья за ужином.

Л а р а

Благодарю еще раз, господа,
За дружную поддержку! Наполняйте
Бокалы!

Х у а н

Вы заметили, дон Луис,
Как вздрогнула она при шуме в зале,
Застыв на месте и раскрыв глаза?
Раздулись ноздри! Бледность! Грудь вздымалась,
Как море в шторм!

Л у и с

Я пожалел ее.

¹ Браво! (исп.).

² Долой! (исп.).

Л а р а

Ее надменность сломлена. Немецля
Я навещу ее.

Х у а н

Для серенады?

Л а р а

Нет, музыки довольно!

Л у и с

Почему?

Она смягчает сердце.

Л а р а

Но в таком

Смятении приводит в ярость.

Х у а н

Что же,

Цимбалы золотые попытай!

Л у и с

Да, трудно устоять пред «дон Динеро»!

Л а р а

Открою вам, я подкупил служанку.
Но, вижу, вам не нравится вино.
Еще бокал, и в путь! Проходит ночь.
За Пресиосу!

Все встают и пьют.

В с е

Пьем за Пресиосу!

Л а р а

(поднимая бокал)

О вдохновитель пламенной любви!
О несравненный маг! Ты завладел

Моею тайной, страстный вздох подслушал,
И с уст моих шипучим языком
Ты имя драгоценное похитил!
Но губы смертных больше не коснутся
Тебя и не шепнут других имен.
Храни же тайну!

(Пьет и швыряет бокал о пол.)

Хуан

Ita missa est! ¹

СЦЕНА X

Улица и стена сада. Входят Крусудо и Бартоломé.

Крусудо

Вот стена сада, а над ней вон там виден ее дом. Окно, откуда идет свет, ее окно. Но мы пока не станем входить.

Бартоломé

Почему?

Крусудо

Потому что ее нет дома.

Бартоломé

Ну ладно, можно и подождать. Э, что это? Калитка заперта.

С соседней улицы доносятся звуки гитар и голоса.

Тсс! Это ее проклятый поклонник идет петь серенаду! Тсс!

ПЕСНЯ

Дремли, дремли, родная!

Иду твой сон охранять.

Быть близ тебя, быть близ тебя —

И мир и благодать!

¹ Идите с миром! (лат.).

Твои глаза — как звезды,
А губы — как цветок,
Дремли, дремли, родная,
Пока не алеет восток!

К р у с а д о

Они не сюда.

Б а р т о л о м ё

Подожди, вот опять!

ПЕСНЯ

(приближается)

О ты, луна, сияешь
Серебряных звезд светлей!
Всю долгую ночь свети же
Ты горлинке моей!

Б а р т о л о м ё

Горе ему, если он придет сюда!

К р у с а д о

Спокойно! Они проходят мимо.

ПЕСНЯ

(замирает)

В монастырской светлице
Не устанут шептаться:
Нас так много, сестрицы,
Без единого братца!
Что ты, мать, сегодня больно зла?
Куропатку кошка унесла!
Кис, кис, кис!

Б а р т о л о м ё

Подтягивай! Подтягивай! Идем! Кис, кис!

Уходят. С противоположной стороны входят граф Лара и его
друзья, в сопровождении Франсиско.

Л а р а

А, заперто! Перелезай, Франсиско,
И отодвинь засов. Так! Раз и два!

Друзья, за мной! Поможете вы мне
Взобраться на балкон. Что, свет горит?!
Ступайте тихо! Вновь запри, Франсиско!

Уходят. Снова появляются Крусато и Бартоломé.

Бартоломé

Они вошли в калитку. Тсс! Я слышу их в саду. (*Пытается отворить калитку.*) Опять на засове! Перелезай за мной через стену!

Перелезают через стену.

СЦЕНА XI

Спальня Пресиосы. Полночь. Пресиоса в ночном одеянии спит в кресле. Долорес наблюдает за ней.

Долорес

Спит наконец!

(*Открывает окно и прислушивается.*)

На улице все тихо.

Недвижен сад. Чу!

Пресиоса

(*во сне*)

Я должна уйти.

Подай мне плащ!

Долорес

Идет! Шаги я слышу.

Пресиоса

Пойди, скажи им, нынче я больна,
Плясать не стану. Видишь, в лихорадке
Пылают щеки. Я должна уйти.
Для танцев слишком я слаба.

Условный знак из сада.

Долорес

(*из окна*)

Кто?

Г о л о с

(снизу)

Друг!

Д о л о р е с

Сейчас я отопру вам. Подождите!

П р е с и о с а

Пустите! Я должна уйти. Не стыдно ль
Так с женщиною слабой обращаться!
Меня не обижайте, и тогда
Я попляшу вам. Дайте кастаньеты!
Викториан, где ты? Ох, эти лампы!
Они впились в меня, как глаз дурной!
Нет, не могу. О, как кругом хохочут!
Шипят, как змеи, на меня! Спасите!

(*Просыпается.*)

Который час, Долорес?

Д о л о р е с

Скоро полночь.

П р е с и о с а

Терпеть! Терпеть! Оправь-ка мне подушку!

(*Снова засыпает.*)

В саду шум и голоса.

Г о л о с

Миера! ¹

Д р у г о й г о л о с

А, мерзавцы!

Л а р а

Вот тебе!

Г о л о с

Сам получай!

¹ Умри! (*исп.*).

Л а р а
Я ранен!

Д о л о р е с
(закрывает окно)

Матерь божья!

АКТ ТРЕТИЙ

СЦЕНА I

Лесная дорога. Вдали шпиль деревенской церкви. Викторян и Ипполито в одежде странствующих студентов сидят с гитарами под деревом. Ипполито играет и поет.

ПЕСНЯ

Ах, любовь!
Коварная лгунья любовь!
С тем в раздоре,
Что людям всего милее.
К тем ты злее,
Кто верен тебе, не споря.
Горе, горе!
На клюве у голубя — кровь.
Ах, любовь!
Коварная лгунья любовь!

Викторян

Да, суетливым челноком любовь
Прилежно ткет на тусклой ткани жизни
Роскошные цветы аркадских пастбищ,
Увешивает нам тюрьму коврами,
И отступают каменные стены
За светлые аллеи наслажденья.

Ипполито

В полях Аркадии душой блуждая,
Ты гордое чело расшиб о стену.

ПЕСНЯ
(продолжение)

Гибели рада,
Даешь ты понять нам ясно,
Как опасны
Приманки твои и услады.
В них засада.
Под розою шип колет в кровь.
Ах, любовь!
Коварная лгунья любовь!

Викториан

Понравилась мне песенка. Спасибо!

Ипполито

Она к тебе подходит.

Викториан

Это верно!

Кто мудрый автор?

Ипполито

Лопес Мальдонадо.

Викториан

Да, песня хороша.

Ипполито

Притом правдива.

Надеюсь, не без пользы слушал ты
И, наконец, любовь свою забудешь.

Викториан

Забуду я! И все воспоминанья,
Хранимые в груди, как розы в книге,
Я вырву и развею по ветрам!
Забуду я, но, может быть, придется
Изведать ей, как бессердечен мир.
И голос в ней мое повторит имя
И скажет ей: «Он истинный был друг!»

О, будь я воином, а не ученым,
Чтоб гулкий марш и грохот барабанов,
Бряцание оружия, битва, смерть
Меня навеки сделали глухим
К терзаньям глупого больного сердца!

И п п о л и т о

Не позволяй ему тебя терзать!
Чтоб победить любовь, нужна лишь воля.

В и к т о р и а н

Нет, добрый Ипполито, я напрасно
Бросаю в океан забвенья меч,
Меня разящий. Как Эскалибар,
Сверкает он эфесом и не тонет.
Встает из волн рука, его хватает
И машет им. И горестные стоны
Разносятся по берегу.

И п п о л и т о

А все же

Эскалибар когда-то потонул.
Неправ ты и, не скрою, злишь меня.
Тебе свистать бы времени коням
И подгонять их бодро с кладью жизни.
Ты ж мертвым грузом виснешь на колесах
И, полный силы, молодой, болтаешь
О смерти.

В и к т о р и а н

Ей я был бы рад. Брести
Сквозь жизнь нелюбящим и нелюбимым;
Душевым голодом всегда томиться,
Который не стихает; изнывать
В борьбе за то, чего у нас и нет
И быть не может; сдерживать себя
И улыбаться, как спартанский мальчик,
Когда сочатся раны под плащом, —
От этого лишь мертвые свободны!
О, быть бы с ними!

И п п о л и т о

Все там скоро будем.

В и к т о р и а н

Чем раньше, тем и лучше. Я устал
От маскарада жизни, где чужие
Друзьями кажутся, друзья — чужими,
Где в шепоте мы слышим фальшь сердец
И где мы гонимся в густой толпе
За призраком, который нас манит
Улыбкой, лаской слов, потом с насмешкой
Нас покидает в тягостном сомненье,
Кто друг, кто недруг.

И п п о л и т о

А зачем нам знать?

На карнавале юности беспечной
Гуляй, не сомневаясь в милых масках,
И не заглядывай под них!

В и к т о р и а н

Бесспорно

Так было бы умней. Но мне надежда
Не греет больше душу. Жалок я,
Как тонущий в крушении моряк:
Вот он пытается взобраться в лодку,
Ему ж кинжалом отрубают руки,
И падает он в яростные волны
Без сил и без надежд.

И п п о л и т о

Ты не погибнешь.

Спасение в тебе самом. Смотри,
Сквозь облака тебе звезда сияет.
Будь терпелив и верь своей звезде!

В отдалении звуки сельского колокола.

В и к т о р и а н

Ave Maria! Слышишь, к ранней мессе
Уже звонят на сельской колокольне.
Торжественные звуки. Эхо вдаль

Разносит их над кровлями с призывом —
И к пахарю в полях, и к пастуху,
К погонщику, идущему за мулом,
И к уличной толпе — остановиться
И сотворить молитву чистой деве!

И п о л и т о

Аминь! Аминь! Недалеко селенье.

В и к т о р и а н

Тропинка эта приведет туда
По нивам, по которым бродят тени,
Как по волнам — то синим, то зеленым,
Где, как матрос на море в праздный час,
Насвистывает перепел. Пойдем!

Уходят.

СЦЕНА II

Площадь в селенье Гвадаррама. Все еще звонят Ave Maria. Толпа
поселян со шляпами в руках, как на молитве. Колокол начинает
звонить более оживленно. Танцует цыганка. Входит Панчо
в сопровождении Педро Креспо.

П а н ч о

Дорогу, вы, цыганские воришки!
Дорогу для алькальда и меня!

К р е с п о

Молчанье! У меня в руках эдикт
Всемиловитейшего короля
Испании, Канарских островов
И города святого. Вам его
Я оглашу сейчас!

Из своего домика показывается падре Кура.

А, падре Кура!

День добрый! Вот, послушайте эдикт!

П а д р е

День добрый! С вами бог! О чем же это?

К р е с п о

О том, что будут изгнаны цыгане!

Волнение и ропот в толпе.

П а н ч о

Молчать и слушать!

К р е с п о

(читает)

«Сим повелеваю

Египетских, халдейских иноземцев,
Сиречь цыган, отныне навсегда
Изгнать из королевства как бродяг
И нищих. Кто из них по истеченье
Семидесяти дней в пределах наших
Окажется, получит сто плетей.
Второй же раз — ему отрежут уши,
На третий — будет дан в рабы тому,
Кем пойман, иль сожжен как еретик».
Эй, проходимцы! Некрещеный сброд!
Вы слышали закон? Так прочь отсюда!

П а н ч о

А кто в законный срок не уберется —
Живых иль мертвых заберу в рабы.

Цыгане расходятся в страхе и негодовании. Панчо следует за ними.

П а д р е

Закон прекрасный, очень справедливый!
Прошу присесть!

К р е с п о

Сердечно благодарен.

Садятся на скамью у двери падре Куры. В отдалении слышны звуки гитары, приближающиеся во время дальнейшего диалога.

Как вы отметили, закон хорош.
А вот, скажите мне, ученый падре,
Откуда здесь цыгане?

П а д р е

Что ж, они
С Гераклом к нам пришли из Палестины
И бродят с той поры, сеньор алькальд,
Как те, что чтили Симона-вохва.
И вот, как, по словам фра Хайме Бледа,
Есть сто примет, чтоб мавров отличить
От христиан, так и с цыганской сворой:
Они не женятся, не ходят к мессе,
Детей не крестят, не блюдут постов,
Не посещают церкви, не... не... не...

К р е с п о

Да, это достоверные приметы!
Зачем еще нам девяносто пять?
Сжигать цыган, — теперь я вижу ясно, —
Сжигать их надо!

Входят Викториан и Ипполито, играя на гитарах.

П а д р е

Э, кто эти двое?

К р е с п о

Бродяги тоже! Явные бродяги!

И п п о л и т о

Привет, сеньоры! Это Гвадаррама?

П а д р е

Да, Гвадаррама. Добрый вечер вам!

И п п о л и т о

Нам надо разыскать здесь падре Куру.
Судя по платью и чертам лица,
Наверно это вы.

П а д р е

Я. Что угодно?

И п п о л и т о

Студенты мы, вакации у нас.

(Дотрагивается до деревянной ложки за лентой шляпы.)

Знак бедности и странствий!

П а д р е
(радостно)

Сам носил!

К р е с п о
(в сторону)

А, прихлебатель! Худший сорт бродяги!
И нет закона против них! Слуга ваш!

(Уходит.)

П а д р е
Слуга ваш, Педро Креспо!

И п п о л и т о

Падре Кура,

В тот самый миг, как я увидел вас,
Сказал себе я: «А, да это он!»
Во взгляде вашем я тотчас заметил
От школы что-то, от занятий книжных.
Вы понимаете, мне было ясно,
Что вы весьма ученый человек, —
Короче говоря, из наших.

В и к т о р и а н
(в сторону)

Наглость!

И п п о л и т о

И только что товарищу сказал я:
«Вот падре Кура, так ты и запомни!»
Другой же, — я добавил, — что расселся
Так неуклюже рядом на скамейке,
Наверно служка!»

П а д р е

Вот как! Неужели?
Но то был Педро Креспо, наш алькальд!

И п п о л и т о

Да что вы! Удивлен я. Вид его
Далек был благородства и осанки,
Приличных для алькальда.

П а д р е

Это правда.
Не в духе он из-за цыган бродячих,
Разбивших близко табор, а ничто
Так не вредит достоинству, как гнев.

И п п о л и т о

Простит, наверно, падре нашу смелость,
Коль мы, его гостеприимство зная,
Попросим о ночлеге.

П а д р е

Ах, конечно!
Окажете мне честь вы! Я так рад
Принять гостей под этой скромной кровлей.
С людьми учеными веду беседы
Не часто. А сказал: «Emollit mores,
Non sinit esse ferros»¹ Цицерон!

И п п о л и т о

Овидий, кажется?

П а д р е

Нет, Цицерон.

И п п о л и т о

Ах, да! И впрямь! Ученость ваша глубже.
Овидия приплел я, что за олух!

¹ Смягчает нравы и уничтожает дикость (лат.).

(В сторону.)

А все ж Овидий, хоть повесьте!

П а д р е

Да,

Великий человек был Цицерон!
Прошу, входите же! Без церемоний!
Уходят.

СЦЕНА III

Комната в доме падре Куры. Входят падре и Ипполито.

П а д р е

Итак, вы прибыли из Алькалá.
Я рад, сеньор! Я сам учился там.

И п п о л и т о

Почтенное себе составив имя.
Как ваше имя, падре?

П а д р е

Херонимо

Де Сантьяна, ваш слуга покорный.

И п п о л и т о

Потомок вы маркиза Сантьяна?
Известного поэта?

П а д р е

Нет, маркиза,

А не поэта.

И п п о л и т о

Что вы! Это он же.
Позвольте вас обнять! Сюда, я вижу,
Нас привела счастливая звезда!
Все знают ваше имя в Алькалá,
И наш профессор, если мы буяним,
Тряхнет седою головой и молвит:
«Иначе было в годы Сантьяны!»

Падре

Не думал, что мое там помнят имя!

Ипполито

Не только помнят, больше: обожают!

Падре

А кто же тот профессор?

Ипполито

Тимонеда.

Падре

Я что-то не припомню Тимонеды.

Ипполито

Суровый человек. Густые брови
Нависли над стремниной слов его,
Как скалы над рекой. Забыли вы!

Падре

Увы, забыл! Ах, золотые дни —
Ученья дни! Таких не знал я больше!
С тех пор я столько схоронил надежд!
С тех пор я столько схоронил друзей!
Я охладел к тому, чего так жаждал,
А лица тех, с кем я делил веселье,
Морщинами покрыты, как мое.
Вы помните Куэву?

Ипполито

Как? Куэву?

Падре

Ах, я глупец! Он был до вас. Ведь вы
Лишь мальчик, я же старый человек.

Ипполито

Не стал бы мериться я с вами силой!

Падре

Ба, ба! Но я забыл — вы голодны.
Мартина! Эй, Мартина! Я ей дядя.

Входит Мартина.

Ипполито

Такой племянницей гордиться можно!

(В сторону.)

Я б от такой не прочь. *Emollit mores.*¹
Великий человек был Цицерон!
Я ваш слуга, прелестная Мартина!

Мартина

К услугам вашим.

Падре

Гость проголодался.
Дай нам поужинать.

Мартина

Сейчас накрою.

Падре

Да принеси бутылку валь-де-пеньяс
Из погреба. Постой, я сам пойду!
Прошу, сеньор, прощенья!

Ипполито

Тс! Мартина!

Два слова. Боже мой, какие глазки!
Сегодня здесь у вас цыгане были,
Не правда ли?

Мартина

Да, были здесь цыгане.

Ипполито

И вам судьбу гадали?

¹ Смягчает нравы (лат.).

М а р т и н а
(смущенная)

Мне гадали?

И п п о л и т о

Да, да! Я знаю. Дайте-ка мне руку!
Они сказали вам... сказали... так:
Влюбленный в вас подпасок — простофиля,
И вам в мужья он не годится. Верно?

М а р т и н а
(пораженная)

Как вы узнали?

И п п о л и т о

О, я знаю больше!
Какая ручка!.. И еще сказали:
Что кавалер, красивый и богатый,
К вам явится просить у вас руки,
И станете вы знатной дамой. Верно?
Он прибыл — ваш красивый кавалер!

Пытается поцеловать ее. Она убегает. Входит В и к т о р и а н
с письмом.

В и к т о р и а н

Пришел погонщик.

И п п о л и т о

Как? Уже?

В и к т о р и а н

Его

Застал за ужином я у таверны.
Он поднимал увесистую кружку
И пил кроваво-алое вино.

И п п о л и т о

Что нового?

Викториан
Принес письмо он только.
(Читает.)

О, вероломство! Как я мог поверить
Устам лжеца! Голубка Пресиоса!
Бедняжка, как ей злобно отомстили!

Ипполито
Что там стряслось? Я вижу, ты бледнеешь.
Рука твоя дрожит.

Викториан
Какая подлость!
Граф Лара самый гнусный негодяй!

Ипполито
Что в этом нового?

Викториан
Пытался он
Жемчужину моей души похитить,
Любовь моей желанной, но напрасно.
Тогда, поклявшись отомстить, подстроил
Он заговор, и в этом преуспел!
Ее во время танца освистали
И клеветой облили слишком грязной,
Чтоб повторять. И вот, опять став нищей,
Она кочует по полям и селам,
Ютясь в шатрах цыган.

Ипполито
И возрождает
Век золотой наивных пастухов,
Пленяя, как Диана Гаспар Хиля.
Redit et Virgo!¹

Викториан
Милый Ипполито,
Как ранил я доверчивое сердце!

¹ Возвращается Дева! (лат.).

Найти ее и смыть слезами зло,
Мной причиненное!

И п п о л и т о

Остерегись!

Не делай ту же глупость вновь.

В и к т о р и а н

Пусть глупость,

Мираж, безумье — назови как хочешь, —

Скрывать не стану, я еще люблю!

Ее люблю я страстно!

Входит падре Кура.

И п п о л и т о

Падре Кура,

Что за цыгане здесь у вас в округе?

П а д р е

Бельтран Крусадо с табором своим.

В и к т о р и а н

О, милость неба! Я нашел ее!

И п п о л и т о

А есть меж ними бледная красotka,

Звать Пресиосой?

П а д р е

Впрямь она красotka!

Сеньор взволнован?

И п п о л и т о

Голодом, и только;

Он еле дышит после дня пути.

П а д р е

Тогда прошу за мною. Ужин ждет.

Уходят.

СЦЕНА IV

Почтовая станция на дороге в Сеговию, недалеко от деревни Гвадаррамы. Входит Чиспа, щелкая бичом и напевая качучу.

Чиспа

Э, гей! Дон Фулано! Лошадей нам, да поживее! Ох, бедный Чиспа, собачья твоя жизнь! Уходя от старого хозяина — Викториана, студента, к новому — дон Карлосу, дворянину, я думал тоже жить как дворянин: ложиться рано и вставать поздно; ибо, если аббат играет в карты, чего ждать от монахов? А попал из огня да в полымя. И вот ношусь за хозяином и его цыганской красавицей. Хорошее начало недели! — как сказал человек, которого вешали в понедельник утром.

Входит дон Карлос.

Карлос

Как, лошади еще не готовы?

Чиспа

Похоже на то, потому что хозяин, кажется, спит. Эй, там! Лошадей! Лошадей! Лошадей!

(Стучит в ворота рукояткой бича.)

Входит Москито, натягивая куртку.

Москито

Немного терпенья, пожалуйста! Я не мушкет.

Чиспа

Гром и молния! Наконец-то ты выполз, падре! Что скажешь?

Москито

Лошадей я вам не дам, потому что их нет.

Чиспа

Качипорра! Брось эту кость другой собаке. Ты, верно, принял меня за свою тетку?

Москито

Нет, у нее борода.

Ч и с п а

Ступай, ступай!

М о с к и т о

Вы из Мадрида?

Ч и с п а

Да, и едем в Эстремадуру. Достань нам лошадей.

М о с к и т о

Что нового при дворе?

Ч и с п а

А то, что я решил завести коляску и уже купил бич!
(*Прохватывает его по ногам.*)

М о с к и т о

Ой, ой! Больно!

К а р л о с

Довольно дурить! Нам нужны лошади. (*Дает Москито деньги.*) Уже стемнело, а мы спешим. Скажи-ка, кстати, не проходила ли здесь недавно шайка цыган?

М о с к и т о

Да. Они все еще поблизости.

К а р л о с

Где же?

М о с к и т о

Вон за теми полями, в лесу под Гвадаррамой. (*Уходит.*)

К а р л о с

Это удача. Мы посетим их табор.

Ч и с п а

А вы не боитесь дурного глаза? Есть у вас при себе олений рог?

К а р л о с

Не бойся! Мы заночуем в деревне.

Ч и с п а

И будем спать, как пауки у Эрнана Дава, семеро под одним одеялом.

К а р л о с

Я надеюсь, мы найдем среди них Пресиосу.

Ч и с п а

Среди пажей?

К а р л о с

Нет; среди цыган, баранья голова!

Ч и с п а

Хорошо бы! Мы немало взяли на себя хлопот из-за нее. Как вы считаете? Впрочем, «без мокрых штанов на теле не много наловишь форели». А вот и лошади!

Уходят.

СЦЕНА V

Цыганский табор в лесу. Ночь. Одни цыгане работают у кузнечного горна, другие играют в карты при свете костра.

Ц ы г а н е

(поют у горна)

Я взошел на высокий утес,

Золотую корону принес.

А в долине мавров дикая рать.

О, как от их гнева бежать мне, бежать?

О, как от их гнева бежать?

1-й ц ы г а н

(за картами)

Выкладывай кругляшки, голубь! Выкладывай свои кругляшки, пора кончать!

Цыгане
(поют у горна)

Идальго громко распевал,
Хотя и не был пьян:
«Бог нам цыганочек послал,
К чему еще цыган?»

1-й цыган
(за картами)

Вот я тебя и обчистил!

2-й цыган

Еще разок! Скатерти алькальда против сорочек падре
Куры!

1-й цыган

Я тебя, вора, проучу!

Цыгане
(поют у горна)

Когда же, разогнав туман,
Луна взошла, светла,
К нему явился не цыган,
Цыганочка пришла.

Входит Бельтран Крусато.

Крусато

Домушники, карманники, ко мне! Бросайте работу, бросайте игру! Выслушайте приказания на ночь! (*Обращаясь вправо.*) Отправляйтесь к деревне, запомните, что за каменным крестом.

Цыгане

Понятно!

Крусато
(обращаясь влево)

А вы — мимо столба с головой монаха.

Цыгане

Понятно!

К р у с а д о

Когда там погаснут огни, принимайтесь за дело, да не мешкая и так, чтоб никого не разбудить. Слышали?

Ц ы г а н е

Понятно!

К р у с а д о

Смотрите в оба, и если покажется стражник или сыщик, мигом наутек! Пароль «виноградник и танцы». Ясно всем?

Ц ы г а н е

Понятно, понятно!

К р у с а д о

Ступайте же!

Расходятся порознь. Крусадо уходит в глубь сцены и исчезает за деревьями. Входит Пресиоса.

П р е с и о с а

Как странно блещет меж стволов огромных
Багровый горна свет! И тени бродят,
Кивают и руками дико машут;
То вырастут, то сгорбятся, мелькая,
То убегут во мрак. Так и во мне
Предчувствия мелькают чередою.
Надежды луч рождает темный страх,
Как свет рождает тени. Горе мне!
Так тихо все кругом и так пустынно!

Вбегают Бартоломé.

Б а р т о л о м é

Га, Пресиоса!

П р е с и о с а

О, Бартоломé!

Ты здесь?

Б а р т о л о м é

Как видишь!

Пресиоса

Но откуда ты?

Бартоломé

С крутых обрывистых хребтов Сиерры,
С ее голодных и опасных троп
И смрадных топей волком я примчался,
Овечка, за тобой!

Пресиоса

Не тронь меня!

Кровь графа Лары на твоих руках!
Его проклятье на твоей душе!
Не подходи! Скорей беги отсюда!
Здесь ты в опасности. Сулят награду
За голову твою!

Бартоломé

Блуждал я долго

В горах безлюдных, где за много дней
Встречал я только грубых свинопасов.
С ветрами и дождями вел я дружбу.
Я имя им твое бросал с утесов,
И эхо возвращало мне его.
Еще немного — я б сошел с ума.
И вот я здесь! Предай меня, коль хочешь!

Пресиоса

Предать? Тебя? Как мог ты?!

Бартоломé

Пресиоса!

Я за тобой явился, смерть презрев!
Беги со мной за рубежи страны!
Беги со мной!

Пресиоса

Молчи! Я не могу.

Я больше не твоя.

Бартоломé

О, вспомни время,
Когда детьми мы были; как мы вместе
Играли и росли; как обещали
Сердца друг другу с этих ранних лет!
Исполни слово, ибо час настал.
Меня повсюду травят, точно волка!
Ты обещала!

Пресиоса

Обещал отец.
Не я. Ни сердца, ни руки тебе я
Не отдала.

Бартоломé

У женщин лжив язык!
А сердце — лживей!

Пресиоса

Выслушай меня!
Тебя я не любила никогда.
И не могу любить. В том нет вины;
Решила так судьба. Ты человек,
Не знающий узды, крутой, а я
Слаба, несчастна, мне недолго жить.
Разбито сердце у меня. Найди
Жену красивей, лучше. Но смотри —
Ее не отпугни задором буйным.
Страдаешь ты от безнадежной страсти.
Ее ни словом я, ни даже взглядом
Не поощряла. Но мне жаль тебя.
А больше дикой жаль твоей души,
Толкающей тебя к делам кровавым.
Страшись ее, страшись!

Бартоломé

О, для тебя
Я стану добр! Учи меня терпенью.

Пресиоса

Тогда прощай и с миром уходи!
Не медли здесь!

Бартоломé

Пойдем, пойдем со мной!

Пресиоса

Чу! Слышу я шаги.

Бартоломé

Молю, пойдем!

Пресиоса

Прочь! Слов не трать напрасно!

Бартоломé

Не пойдешь ты?

Пресиоса

Нет!

Бартоломé

Будь же проклята навек! Тобою
Другой владеть не будет. Ты умрешь!

(Уходит.)

Пресиоса

Угодники святые, помогите!
Дух матери моей, взгляни на дочь!
Пречистая, мне окажи защиту!
Исусе, милосердие яви!
Но что ж бояться смерти? Что в ней плохо?
Забуть отчаянье, обиды, горе,
Забуть обман, предательство, и злобу,
И все мученья, — чтоб найти навеки
Покой! О сердце, неразумно ты!
Приободришь! Когда не станешь биться,
Не будешь жаловаться и страдать!

Входит Викториа ни за ним Ипполито.

Викториа н

Она! Гляди же, как она прекрасна
Под купами дерев!

И п п о л и т о
Лесная нимфа!

В и к т о р и а н
Прошу, уйди в сторонку!

И п п о л и т о
Не спеши
Ей открываться!

В и к т о р и а н
(изменяя свой голос)
Подойди, цыганка!

П р е с и о с а
(в сторону, взволнованно)
Ах, этот голос, этот голос с неба!
Кто кличет?

В и к т о р и а н
Друг!

П р е с и о с а
(в сторону)
Он это! Это он!

О небо, вняло ты моей мольбе
И шлешь защитника мне! О, крепись же,
Крепись же, сердце! — Аживый или верный
Здесь друг, скажи мне.

В и к т о р и а н
Верный тем, кто верен.
Не бойся, ближе стань! Мне погадаешь?

П р е с и о с а
Не в темноте. Поди сюда, к огню!
Дай руку! Я на ней не вижу знаков.

В и к т о р и а н
(кладя ей в руку золотой)
Вот знак!

Пресиоса
Серебряный?

Викториан
Нет, золотой!

Пресиоса
В тебя придворная влюбилась дама
И любит искренне.

Викториан
Старо, как мир!
За денежки свои хочу я слышать
Не бабьи сказки!

Пресиоса
Ты горяч и страстен,
И эта пылкость крови затемнила
Твою судьбу. Ага, теперь я вижу:
Скрестились линии твоей ладони.
Позор! Позор! Ты девушку обидел,
Любившую тебя!

Викториан
И я любил.
Но девушкою не была она.

Пресиоса
Откуда знаешь ты?

Викториан
Шепнула птичка.

Пресиоса
Возьми обратно деньги! У тебя
Рука холодная, как у лжеца,
И нет добра от щедрости ее!
Бедняжку разыщи: тебе нагали.
Спасешь ее — спасешь свою судьбу.

Викториан

(в сторону)

Как сладостно звучат ее мольбы
За ту, в ком узнает она себя! —
Прелестное колечко у тебя.
Дай мне его!

(Пытается снять кольцо.)

Пресиоса

О нет, с руки моей
Его никто не снимет!

Викториан

Но ведь это
Кольцо, и только. Я верну его
Иль столько дам, что купишь двадцать новых.

Пресиоса

Ты так настойчив.

Викториан

Путника причуда,
Каприз, не больше. Я б хранил кольцо
И вспоминал о таборе цыганском,
О скалах Гвадаррамы, о гадалке,
Меня хотевшей сватать вдовой деве.
Прошу, дай мне его!

Пресиоса

Нет, никогда!
Я, умирая, попрошу сиделку,
Мне пальцы бледные согнет она,
И не спадет кольцо. Его мне дал
Мой друг, которого уж нет.

Викториан

Как? Умер?

Пресиоса

Да — для меня; ужаснее, чем умер.
Он от меня ушел! Кольцо ж храню я
И к другу с ним приду из-за могилы,
Чтоб доказать, что я была верна.

Викториан
(в сторону)

О сердце, не стучи! Еще мгновенье!
Упорство женщины, большой любовью! —
Дай мне кольцо, не то скажу, что ты
Его украла.

Пресиоса
Низкой лжи такой
Произнести ты не посмеешь!

Викториан

Вот как!
Так погляди в лицо мне. Все на свете
Я для тебя посмею совершить!

Она бросается в его объятия.

Пресиоса
Ты! Это ты! О, как душа ликует!
Викториан, родной, я как на небе!
Где ты так долго был? Зачем ушел?

Викториан
Не спрашивай сейчас, о Пресиоса!
Любимая, забудем о разлуке!

Пресиоса
Не появись ты...

Викториан
Не брани меня!

Пресиоса
Погибла бы я здесь среди цыган.

Викториан

Прости меня, мой свет, за все страданья!
Ты думаешь, хоть миг отрады знал я,
Тебя не видя? О, поверь мне, нет!
С минуты грустной той не мог я спать
От мысли, как я был несправедлив.
Простишь ли ты? Скажи, что мне прощаешь!

Пресиоса

Простила я. Тех гневных слов на небе
Еще тебе в вину не записали,
Как я простила.

Викториан

Я глупец последний,
Что мог поверить про твою измену.
Граф Лара. . .

Пресиоса

Этот человек дурной
Мне причинил немало зла. Ты слышал? . .

Викториан

Я слышал все. Но говори еще!
Я слышу голос твой, и счастлив я!
В нем каждый перелив, певучий, нежный,
Взывая к прошлому, мне мир несет.
Моя душа всегда внимать готова
Тому, чем переполнена твоя!

Отходят в сторону.

Ипполито

Все легкие размолвки пасторалей,
Все сцены пламенной любви в романах,
Все чистые объятия на подмостках,
Все приключения, которым звезды
Кивают с одобрительной улыбкой,
Отныне превзошли мой друг студент
И милая цыганка Пресиоса!

Пресиоса

Сеньору Ипполито мой привет!
Не погадать ли вам?

Ипполито

Нет, не сегодня.
Коль мне велишь ты, как Викториану,
На девушках покинутых жениться,
Пир свадебный растянется на годы.

Чиспа

(за сценой)

Ге-гей! Цыгане, гей! Бельтран Крусадо!
Ол-ла! Ол-ла! Ол-ла! Ол-ла!

(Входит в сапогах, держа в руках бич и фонарь.)

Викториан

Что там?

Чего горланишь так? Ограблен, что ли?

Чиспа

Ограблен и убит. И добрый вечер
Вам, господа!

Викториан

Ну, что тебе тут надо?

Чиспа

Я новости хорошие принес!
Цыганский граф вам вовсе не отец.
Ваш истинный отец домой вернулся,
Разбогатеv. Вы больше не цыганка.

Викториан

Я словно внемлю мавританской сказке!

Чиспа

Здоровье ваше пили мы в таверне,
Как пьют колодцы ливень в ноябре.

Викториан

Где ж вестник?

Чиспа

Говорится в старой песне:
«Его тело в Сеговии,
Его душа в Мадриде».

Пресиоса

Не сплю ли я? И если это сон,
Пусть длится он; будить меня не надо!
О, повтори! Скажи, что это правда!
Что это не мерещится мне! Вот
Цыганский табор; вот Викториан;
С ним рядом Ипполито. Говори же!
Вдруг я проснусь, и скажут — это сон!

Викториан

Да, сон, любимая, сон наяву!
Виденье яркое. Такое счастье
Дарит в сей жизни небо только тем,
Кого возлюбит. Стала ты богата,
Как ты была прекрасна и добра.
А нищий нынче я.

Пресиоса

(протягивая ему руку)

Моя рука

Дарить еще вольна.

Чиспа

(в сторону)

Мои ж две — брать.

Мне говорила бабка, будто небо
Миндаль беззубым шлет. Вот раскуси-ка!
А я зубаст, да где мне взять миндаль?

Викториан

Еще чем удивишь нас?

Ч и с п а

А ничем!

Ваш друг дон Карлос предъявил бумаги
Алькальду Педро Креспо. Та старуха,
Что вас украла в детстве, повинилась.
Ее повесят, верно, чтоб полнее
Отпраздновать счастливое событие.

В и к т о р и а н

Нет, этот день пусть радость всем несет.
Удача вовремя — вдвойне удача!
Пойдем к дон Карлосу.

И п п о л и т о

Итак, прощайте,

Скитания студента! Серенады
Под окнами красавиц в час ночной
И все, что тешит нас в наш летний отдых!
Мечтательные сени Алькалá,
Где грезы книжные бледнее жизни,
Примите бакалавра Ипполито.
К вам скоро возвратится он, покинув
Цыганку и испанского студента.

СЦЕНА VI

Перевал в горах Гвадаррамы. Раннее утро. По сцене проезжает погонщик, сидя боком на своем муле, и с помощью огнива и трута зажигает дешевую сигару.

ПЕСНЯ

Коль спишь еще, девица,
Проснись и дверь нам открой!
Алеет восток, а путь наш далек
За горы и лог лесной.

И не ищи сандалий,
Босая выйди скорей.
Идти надо нам по росным лугам,
По воде, где разлился ручей.

Исчезает за перевалом. Входит монах. На высокой скале показывается пастух.

М о н а х
Ave Maria, gratia plena.¹ О-ла, добрый человек!

П а с т у х
О-ла!

М о н а х
Эта дорога — в Сеговию?

П а с т у х
Да, святой брат.

М о н а х
Далеко ли туда?

П а с т у х
Не знаю.

М о н а х
А что это там, в долине?

П а с т у х
Сан-Ильдефонсо.

М о н а х
Далеконько!

П а с т у х
Что и говорить!

М о н а х
Разбойники есть в здешних горах?

П а с т у х
Есть. И хуже того!

М о н а х
Что же?

П а с т у х
Волки.

¹ Gratia plena — благодатная (лат.).

Монах

Santa Maria! Пойдем со мной до Сан-Ильдефонсо, я заплачу тебе.

Пастух

А что ты мне дашь?

Монах

Agnus Dei¹ и мое благословение.

Уходят. Проезжает верхом контрабандист, закутанный в плащ, с мушкетом у седельной луки. Он спускается за перевал, напевая.

ПЕСНЯ

Со всех ног скакал конек.
Я умчался — сборы скоры.
Дальше, caballito mio,²
С белой звездочкой под челкой!
Дальше, ибо близко ронда,
И я слышу пистолет!
Ау, jaléo!³ Ау, ау, jaléo!
Ау, jaléo! Нашли наш след!

Песня замирает вдали. Появляется Пресиоса, верхом, сопровождаемая Викторианом, Ипполито, дон Карлосом и Чиспой, пешими и вооруженными.

Викториан

Мы на вершине. Сделаем привал.
Ты видишь, Пресиоса, как вокруг нас
В монашьях капюшонах встали горы
И приняли благословенье солнца!
Великолепный вид!

Пресиоса

Прекрасный, правда!

Ипполито

Чудеснейший!

¹ «Агнец божий» — название молитвы (лат.).

² Моя лошадка (исп.).

³ Эй, вперед! (исп.).

Викториан

А там внизу, в долине,
Где шпили блещут, словно алебарды,
Сан-Ильдефонсо с шумных колоколен
Шлет утру свой привет, как будто войско
В щиты из меди гулко ударяет
С победным кличем!

Пресноса

Милый, где лежит
Сеговия?

Викториан

В той стороне, далеко.
Не видишь ты ее?

Пресноса

Нет, я не вижу.

Викториан

Как облачко на самом горизонте,
Вон там!

Ипполито

Почтенный и старинный город.
Он славен древним римским акведуком
И Алькасаром, той твердыней мавров,
Где, если помните, Жиль Блас сидел,
Вкушая рап del Rey.¹ О, сколько раз
Я из решетчатых его окон
Глядел на сотни футов вниз в Эрезму,
Что вьется по долине, омывая
Подножье замка!

Пресноса

А, теперь я вижу,
Но больше сердцем, нежели глазами,
Так смутно! И все помыслы мои
Туда плывут, с желаньем и надеждой,

¹ Хлеб короля (исп.) — то есть, тюремный хлеб.

Презрев опасность, как в восточной сказке
Шли корабли навстречу волнам бурным,
Влекомые магнитными горами,
И, разбиваясь, погибали в море.

Викториан

О кроткий дух, не дрогнув ты встречала
И вихрь вражды и лютей холод рока!
Но солнца луч едва тебя коснулся,
Слезами таешь ты! Твое сердечко
Усталое в моем найдет опору!
И пусть не замирает от печали,
А бьется радостной любовью!

Пресиоса

В путь!

Меня отец там ждет. Я в мыслях вижу,
Как смотрит в окна он и чутко ловит
То стук колес, то шаг по камню улиц
И шепчет: «Вот она!» Отец, отец!

Спускается за перевал. Чиспа отстает от них.

Чиспа

У меня тоже отец, но он мертв. Увы, увы! Бедняком я родился, бедняком и остаюсь. Я никогда не выигрываю и не проигрываю. Так меня и носит по свету — полдороги шагаю, а полдороги иду пешком. И всегда весел, как гроза среди ночи. Так вот мы и пашем помаленьку! — как сказала муха волю. Кто знает, что еще может случиться! Жди смирно, пока тасуют карты! Я еще не настолько облысел, чтобы видны были мои мозги; и кто знает, в конце концов, я еще, может быть, побываю в Риме и вернусь оттуда Святым Петром. Benedicite! ¹ (Уходит.)

Пауза. Затем с диким видом показывается Бартоломё, будто кого-то преследуя. В руке у него карабин.

¹ Благословляю! (лат.).

Бартоломé

Они прошли! Я слышу стук копыт!
Вот, я их вижу! Спой же, сагáмилло,¹
Последнюю цыганке серенаду!

(Стреляет за перевал.)

Ха, ха! Ты ловко свищешь, сагáмилло!
Но что это? .. Дал промах я! .. О боже!

Ответный выстрел. Бартоломé падает.

¹ Флейта (исп.).





МИКЕЛАНДЖЕЛО

Michel, più che mortal, Angel divino.

*Ariosto.*¹

Similmente operando all'artista
Ch'a l'abito dell'arte e man che trema.

*Dante.*²

ПОСВЯЩЕНИЕ

Ничто живое не уйдет навек.
Все охватил круговорот могучий.
Несут над миром медленные тучи
Живую влагу пересохших рек.

Свое жилище строит человек
Из рухнувших гробниц, так хочет случай.
Со страстью предков, вечной и кипучей,
Сердца потомков ускоряют бег.

Слагаю этой повести листы
Из старых хроник, где в молчанье строгом
Спят имена титанов красоты.

Пусть меж руин, у ветхого порога
Распустятся стихов моих цветы,
Растущие из праха Полубога.

¹ Микеле, выше смертных, божий Ангел.

Ариосто.

² Как если б мастер проявлял умень,
Но действовал дрожащею рукой.

*Данте (Рай, XIII, 77,
перевод М. Лозинского).*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

ПРОЛОГ НА ИСКИИ

Терраса замка. Виттория Колонна и Джулия Гонзага.

Виттория

Ужели оставляешь ты меня
Одну бродить, как призрак, по террасам?

Джулия

Да, завтра в путь.

Виттория

Не говори мне «завтра»!
И месяца отсрочки будет мало.
Не уезжай. Ведь мы с тобой — одно.

Джулия

Мой долг — вернуться в Фонди.

Виттория

Старый замок

Не для тебя. Никто тебя не ждет.
Ах, подари мне только день! Того,
Кто уезжает, не томит разлука,
Вся боль ее — тому, кто остается.
Как наши судьбы схожи и не схожи!
Почтенный твой супруг Веспасиан
Скорее был отцом тебе, чем мужем,
И умер на твоих руках. А мой,
Мой был в расцвете силы и надежд,
Но на него дохнула буря битвы,
И больше я не видела его.
Лишь иногда во сне его я вижу.
Да, наша скорбь любовь напоминает
Ушедшую. Твоя — печаль ребенка,
Что, плача, улыбается сквозь слезы,
Моя же — скорбь покинутой жены,
Стоящей над разбитой чашей счастья.

Д ж у л и я

Вот локон из седин Веспасиана.
Он в медальоне бархатник обвил —
Цветок любви. А здесь, смотри, — девиз:
«Non morituga». ¹ Так моя любовь
Верна Веспасиану. Старый замок,
Где жили мы, где умер он, — мне дорог,
Как Иския — тебе.

В и т т о р и я

Но упрекнуть

Я не хотела.

Д ж у л и я

Ах, прошу тебя,

Утешь хотя бы слабым оправданьем
Того, кто слишком молод, кто не может
Не чувствовать всю радость бытия
И вечно плакать. Если я верна
Тому, кого люблю и после смерти,
То я скорблю в душе, не напоказ,
И никогда, подобно Веронике
Да Гамбара, поддельными слезами
Не стану омыwać пустынный дом
И в траурной карете четверней
Возить себя, как труп на катафалке.
День нынешний милее ста прошедших.

В и т т о р и я

Ах, Джулия, и дружба знает ревность,
Как и любовь. Кто ждет тебя там, в Фонди?

Д ж у л и я

Наш общий друг, монах. Ведь у тебя
В Неаполе есть свой фра Бернардино,
А в Фонди у меня — фра Бастиано,
Прославленный художник. Он из Рима
Приехал, чтобы мой писать портрет.
Здесь нет греха.

¹ Не умирает (лат.).

В и т т о р и я

Все — суета.

Д ж у л и я

Но он

Писал и твой портрет.

В и т т о р и я

Не воскрешай

Дни юности моей, когда вокруг
Все было так светло, и о страданиях
Я знала только из старинных хроник,
И мне казалось, зло меня не тронет.
Тогда я тоже верила мечтам.
Теперь я вижу лучше. Это были
Мечтания пустые.

Д ж у л и я

Но без них

Что были б мы, что наша жизнь была бы?
Мечтанья, грезы — назови как хочешь —
Нас поднимают над холодным миром
Для лучших чувств.

В и т т о р и я

Но разве наслажденье

Цель и предел для наших устремлений?
Есть долг иной.

Д ж у л и я

Быть может, для тебя.

Я не святая. Мир, где я живу,
Предшествует тому, где все мы будем.
Я прежде в этом жить должна.

В и т т о р и я

Но как?

Д ж у л и я

Спроси у волн смеющегося моря,
У запаха цветущих апельсинов,
У солнца, омывающего мир.

В и т т о р и я

Скажи, мой друг, кто просит твой портрет?

Д ж у л и я

Кто? Кардинал Ипполито.

В и т т о р и я

Вот как?

Д ж у л и я

Его теперь зовут Великолепным.

А женщине приятно обожанье

Героя, обожаемого всеми.

В и т т о р и я

Ах, Джулия, беспечную голубку

Настигнет сокол. Будь настороже.

Он кардинал. Он должен всей душою

Отдаться устремлениям иным.

Д ж у л и я

Ты забываешь ужас давней ночи,

Когда корсар жестокий Барбаросса

Меня хотел похитить для султана,

Когда глубокой ночью, в тишине,

Он начал страшный штурм и я бежала

Одна, в ночной одежде, на коне,

Найдя приют в разбойничьей пещере.

Из всех друзей за мной примчался первым

Ипполито. Могла ли я в ту ночь

Спасителю и другу отказать,

И в чем? В безделье: в моем портрете.

В и т т о р и я

Я слышала о роскоши дворца,

Где он живет; что часто кардинал,

Одетый пышно, как испанский гранд,

С огромной свитой объезжает город.

С ним эфиопы, турки и татары.

Они бегут за ним, людей смущая

Невиданным нарядом. Разве так
Жить должен кардинал?

Д ж у л и я

Ах, он так молод.

Еще нельзя сказать, что он в летах.
Прекрасен, щедр, знаток и покровитель
Искусств — и сам поэт и музыкант,
Играющий на многих инструментах
И пишущий на многих языках.
Его дворец — убежище для всех,
Кто знает толк в науках и искусствах,
Как и для тех несчастных флорентинцев,
Кого изгнал свирепый Алессандро.

В и т т о р и я

Ипполито писал и Тициан,
Но эти краски — ярче.

Д ж у л и я

Кардинал мой

На Итри держит во дворце, в саду
Ручного льва.

В и т т о р и я

И этим подражает
Евангелисту Марку?

Д ж у л и я

Но твой лев

Зовется Микеланджело!

В и т т о р и я

Вот имя,
Которое меня бросает в дрожь!
Послушай: Микеланджело! Как трубы!
Да, это лев, но он неукротим!
Как он возвысил имя человека,
При жизни став бессмертным образцом!
Он трудится молитвенно. Себя
Он посвятил высокому искусству
И слился с ним. Когда мы говорим
О созданном высоком и прекрасном

Или о том, что надлежит создать,
Мы говорим о нем.

Д ж у л и я

Но вот и ты
Мне превозносишь своего героя
И затмеваешь краски Тициана.
И я тебя могу предостеречь,
Но промолчу.

В и т т о р и я

Когда бы я была
Прекрасным мрамором из Павонаццо,
Он мною восхитился бы. Но я
Лишь плоть и кровь; лишь женщина; а это —
Ничто.

Д ж у л и я

Скажи, все так же ездит он
По римским площадям на дряхлом муле,
В помятой шляпе с ветхими краями,
В высоких кордованских сапогах,
Как помню я его?

В и т т о р и я

Не нужно шуток.
Я не позволю низменным словам
Порочить это имя. Посмотри, —
Объят Сорренто заходящим солнцем,
И алый Капри в тучку превращен,
И над Везувием — султан из дыма,
И весь приморский город — как виденье.

Д ж у л и я

Партенопея, дивная сирена!

В и т т о р и я

Закат пылает в окнах, как огни,
Как факелы, которые несут,
Чтобы прославить город. Как красиво!

Д ж у л и я

А я не рада даже красоте.

Я до сих пор усталыми стопами
Тревожу камни прошлого. Мне грустно.
Но я должна пойти передохнуть
И дать распоряжения к отъезду.

В и т т о р и я

Пойду и я. Мне дорог каждый час,
С тобою проведенный, — и довольно
Побыть с тобою в комнате одной.
Мне даже говорить с тобой не нужно.
А только любоваться на тебя.

2

М О Н О Л О Г

Мастерская Микеланджело. Он работает над картоном
Страшного суда.

М и к е л а н д ж е л о

Зачем они пришли ко мне сегодня,
Святой отец и десять кардиналов,
И новый груз взвалили на меня?
Ужели и сикстинских потолков
Им мало? Ведь они на Моисея
Смотрели равнодушно... Папа Юлий
В гробу перевернулся. Я услышал,
Как кости застучали. А они?
Что слышали они? Самих себя?

И разве мало в Риме живописцев?
Фра Бастиано мог бы сделать роспись,
Но он потерян. Папские печати —
Свинцовый груз на веках мертвеца —
Ему закрыли свет. И кто же избран?
Мессер Микеле, главный архитектор
И живописец папского дворца.
Трескучий титул! Как они мне льстят,
Чтоб я для них, не для себя трудился.
Но, раз начав, я вспять не поверну.
Вы, ангелы, сильней трубите в трубы
Во все четыре стороны, и мертвых
На суд съывайте, и по страшной книге
Читайте про греховные дела.

Вы, мертвецы, вставайте из могил,
Подобно тем внезапно пробужденным,
Которые глядят вокруг со страхом,
Еще не понимая, где они!

В счастливые минуты вдохновенья,
Когда мечты, как ветерок листвою,
Играют нашей трепетной душой, —
Как сладостно нестись на легких крыльях,
Пророческие слыша голоса,
Зовущие вперед. Тяжелый труд
Нам радостен. Послушная рука
Не устает. Но есть часы другие —
Тяжелого бесплодного раздумья.
Вся мудрость мира кажется тогда
Пустой, как болтовня усталой няньки
У ложа заболевшего ребенка.

Что мысли увлекло мои? Зачем
Меж ангелов рука изобразила
Ее лицо? Томящие мечты —
Зачем они проходят вереницей
В пустых покоях сердца моего,
Как привиденья в обветшалом доме?
Нам говорят, что пишут короли
Историю свою зеленым цветом,
А возмужав — кровавым. Так любовь,
Всех королей могучий повелитель,
Зеленым начиная, кончит красным.
Последняя иль первая любовь
Сильней? Чем небосвод украшен ярче,
Вечерней или утренней звездой?
Восходом или красками заката?
Что лучше — утро юности, когда
Пред нами светлый день и неизвестность,
Или закат, когда дорога жизни
Осталась позади, и далеко
Мерцают нам огни воспоминаний,
И мраком увеличенные тени
Готовятся исчезнуть навсегда?

Что мне любовь, когда мое лицо
Ужасно, как лицо Лаокоона,
И лоб изборожден посеvom скорби
Для урожая муки и тоски?
Я жизнь искусству отдал. Для меня
Что женщина была? Случайный шорох,
Стремленье в небо голубиной стаи:
Внезапный трепет крыльев — и опять
Все та же тишина. Я слишком стар,
Чтобы себя обманывать надеждой
На дружбу с нею, юной и прекрасной.
Фантазии, желания, мечты —
Я только в них способен воплотить
Мое недостижимое счастье.

Звонят монастырские колокола.

Над городом плывет нестройный звон,
И спорят звонари доминиканцев,
И францисканцев, и бенедиктинцев,
И яростный раздор колоколов
Похож на монастырские раздоры.
Ласкает солнце благодатный город.
Оно его венчает светлым нимбом. . .
Вечерний час. Иду на свежий воздух.

3

САН СИЛЬВЕСТРО

Капелла в церкви Сан Сильвестро на Монте Кавалло. Виттория
Колонна, Клавдио Толоммеи и другие.

Виттория

Здесь можно отдохнуть, пока толпа
Покинет церковь. Я уже послала
За Микеланджело.

Клавдио

Фра Бернардино
Небесно проповедовал. Теперь
Нас Микеланджело вернет на землю
Беседой о созданиях искусства.

Микеланджело
(в дверях)

Да, это лик святой. Не знаю чей —
Дианы или благостной Мадонны,
Но в истинном художнике он будит
Отчаянье и вместе поклоненье.

Виттория

Мы ждали вас, маэстро.

Микеланджело

На пути

Мне встретился ваш посланный, и тотчас
Сюда я поспешил.

Виттория

Вы так добры.

А мы здесь словно кумушки сошлись,
Что в долгих сплетнях коротают вечер.
Маэстро, вот друзья — мои и ваши.

Микеланджело

Так! Если ваши, значит и мои.
Простите мне, синьоры. Я все время
Одну маркизу видел.

Виттория

Полно, сядьте

Со мною и синьором Толommeи,
Который говорит, что наш язык
Совсем не итальянский, а тосканский.
Мы с ним не будем спорить.

Микеланджело

Эччеленца...

Виттория

Сьер Клавдио не любит этот титул,
Как и другие, — даже на тосканском.

К л а в д и о

Я только против злоупотребленья,
А не употребленья.

М и к е л а н д ж е л о

Все равно:

Употребленье, злоупотребленье...
Пусть имена и титулы бегут,
Как ничего не значащие фразы,
Пусть блещут, точно галуны ливреи
У раболепного слуги.

В и т т о р и я

Но если

Мы звания и титулы забудем,
Исчезнут величавые манеры
Суровых предков.

К л а в д и о

Правда.

В и т т о р и я

Но не этим

Я занята теперь, мессер Микеле.
Я вас решила нынче потревожить:
Мне нужен ваш совет. Святой отец
Меня почтил желанным разрешеньем
Здесь, по соседству, строить монастырь
У башни покосившейся, с которой
Смотрел Нерон на догоравший город.

М и к е л а н д ж е л о

Вот вдохновение!

В и т т о р и я

Но я не знаю,

Какой длины мне должно строить стены,
Куда их повернуть.

М и к е л а н д ж е л о

А! Строить, строить!

Вот первое среди земных искусств.

Творенья живописи и скульптуры
Суть образы и сами по себе
Безжизненны: одни — в холодном камне,
Другие — на расписанном холсте,
И лишь архитектура — не мираж,
Не беглый призрак, заключенный в форму.
У баней Тита много лет назад
Я видел, как нашли Лаокоона.
Когда он выходил из-под земли,
В мучительной борьбе изнемогая,
Стараясь разорвать объятия змей,
Его сдавивших скользкими узлами.
Казалось, слышал я последний крик
Разверстого изломанного рта.
И до сих пор еще я удивляюсь
Искусству трех художников родосских,
Создавших чудо смертными руками.
Но в Риме есть создания прекрасней,
А форум до сих пор не превзойден.
И если бы мне старость не мешала
Воздвигнуть храм, хотя бы вполтину
Достойный архитекторов былого, —
Каким прекрасным был бы мой закат
В сравнении с незрелыми годами,
И ранние творения мои
Я счел бы суетой.

В и т т о р и я

Я понимаю.

Искусство — дар небес и славит небо.
Когда Гиларий освятил коней,
Италик в скачке победил у Газы
Благословением небес могучих.
Когда искусство носит отпечаток
Небесной благодати, — как легко
Соперников художник превосходит.
Немногие слова из ваших уст
Усилили мое желанье строить.
Не правда ли, маэстро, при постройке
Нам пригодится прочность старых стен,
А башня сдержит колокол?

Микеланджело

Быть может.

Виттория

А если нет, ее мы укрепим.

Микеланджело

Я, впрочем, здесь не вижу затруднений.
Мы можем по дороге осмотреть
И место, и развалины, и башню.

Виттория

Благодарю вас. Я не ожидала
Столь многого.

Микеланджело

Позвольте вас теперь
Сопровождать из церкви, ваша светлость.

Виттория

Как, снова громкий титул?

Микеланджело

Извините

Любезность старомодную мою.
Я слишком стар, чтобы менять привычки.

4

КАРДИНАЛ ИППОЛИТО

Богато убранные покои во дворце кардинала Ипполито. Ночь
Джакопо Нарди, старик, один.

Нарди

Куда попал я? Слуги-нумидийцы
В одеждах странных; анфилады комнат;
Зал, полный золота, картин и статуй!
И здесь-то обитает ученик
Того, кто не имел порою крова?
Возможно ли? И, верно, не Мадонна
Так нежно смотрит с этого холста,

А там стоят не статуи святых.
Увы, какое дело господину
Всей этой римской роскоши до нас,
До твоего, Флоренция, народа,
До гибели республики твоей?
Богатые изгнанья не боятся.
Все двери им открыты, все объятая,
А изгоняют разве только тех,
Кто именем своим и достояньем
Пожертвовал свободе — и отвергнут,
Забыв друзьями и по свету бродит,
Усталый, разоренный и больной.

Входит кардинал Ипполито в испанском плаще и широкополой шляпе.

И п п о л и т о

Простите мне. Я вас заставил ждать.

Н а р д и

Но я хотел бы видеть кардинала.

И п п о л и т о

Я кардинал. А вы?

Н а р д и

Джакопо Нарди.

И п п о л и т о

Добро пожаловать! Мне говорил
Филиппо Строщи о приезде вашем.

Н а р д и

Да, сын его довел меня сегодня
До вашего дворца.

И п п о л и т о

Прошу вас, сядьте!

Мне кажется, что вы моим нарядом
Удивлены. Но в возрасте моем,
Вы согласитесь, платье кардинала...
Стесняет. Ни пройти, ни сесть верхом
Не позволяют эти вдовьи юбки,

Я как вино, кипучее, живое
И юное, как юн Астианакс
В тяжелом кубке, старом, как Приам.

Нарди

Что вам пристало, лучше знает ваше
Преосвященство.

Ипполито

Мой достойный Нарди,

Поверьте мне, я знаю вас давно.
Я помню ваш блестящий перевод
Из Ливия, чьи книги долго будут
Для будущих историков примером.
Он делает вам честь. Но больше чести
Вам делает сыновняя любовь
К Флоренции, чью летопись вы снова
Продолжите, я твердо верю.

Нарди

Ваше

Преосвященство извинит меня
За поздний час.

Ипполито

Я в солнце не нуждаюсь,
Как столбик солнечных часов. Мой Нарди,
Я — те часы, что ходят днем и ночью.
Не нужно извинений. Вас прислала
Флоренция.

Нарди

И бедствия ее.

Ипполито

Кузен мой, черный герцог, Алессандро, —
Чья мать была рабыней-мавританкой
И коз пасла в имени Лоренцо, —
Он жив и правит.

Нарди

Столь прекрасный город

В такой беде!

И п п о л и т о

Когда тиран умрет
И станут выбирать ему надгробье,
То вспомнят и о Диком Кабане.
Зверь здесь придется кстати.

Н а р д и

По ночам
Наш герцог бродит с пьяною ватагой
И оскорбляет набожных людей.
Ничей покой не свят ему. Обитель
Он превращает в мерзкий дом разврата,
И женщины теряют стыд. Нет больше
У нас приоров и гонфалоньера,
Трепещет магистрат. Уже исчезли
Следы былых благочестивых дней.
Свобода умерла. Язык тосканский
Стал жертвою ломбардского наречья.

И п п о л и т о

Забыли вы: расколот Мартинелла,
Наш колокол старинный флорентийский.
А он гремел над нами три столетья
И вел к победам. Видно, черный герцог
Боялся, чтобы он не пробудил
Былую доблесть.

Н а р д и

Как все изменилось
За десять лет! Вы помните, Каппони,
Гонфалоньер, под звуки труб, со свитой
Явился в окнах Старого Дворца,
И был объявлен навсегда, навеки
Правителем Флоренции Христос.
Что говорить! Теперь правитель свергнут,
На троне — Люцифер. О горе, горе!

И п п о л и т о

«Цветы к цветам», — сказал Савонарола
О лилиях — и наших и французских.
И, может быть, решится император
Порядок в нашем доме навести?

Н а р д и

Надежды мало. Вспомните, недавно
Он Алессандро отдал дочь свою,
Принцессу Маргариту. Что он может?

И п п о л и т о

За нас теперь и Строщи, и Валори,
И кардинал Сальвати, и Ридольфи.
Увидим, как Валори говорит,
Кто без кого отлично обойдется:
Без герцога порядочные люди
Иль герцог без порядочных людей.

Н а р д и

Отправим мы в Испанию послов,
Хотя в том больше риска, чем надежды.

И п п о л и т о

Да, император озабочен новой
Войной с алжирцами. Он слишком занят,
Чтоб жалобы выслушивать. К тому же,
Посланникам опасно доверять.
Я еду сам. Не нынче, завтра утром,
И в Итри встречу Данте Кастильоне
И нескольких других республиканцев,
Что и в изгнание родине верны. . .
На корабле мы выйдем из Гаэты,
Отыщем вскоре лагерь крестоносцев
И к войску императора примкнем.
Там улучу я случай и минуту
Просить у императора защиты.

Н а р д и

(поднимаясь)

Вас направляет воля провиденья!
Пусть тот, кто вам ее ниспосылает,
Благословит и наш прекрасный город
И тех, кто изгнан за любовь к нему.
Флоренцию покинула душа,
И тело понемногу загнивает.

Пусть нам поможет небо! Я прощаюсь,
Вам нужно отдохнуть. Спокойной ночи!
Нарди уходит.

Ипполито

Спокойной ночи!

Входит фра Себастиано; за ним слуги - турки

А, фра Бастиано!

Какой контраст: невозмутимость ваша —
И горе флорентинца, что в дверях
Вам встретился.

Фра Себастиано

Он шел и плакал.

Ипполито

Бедный

Старик!

Фра Себастиано

Кто это был?

Ипполито

Джакопо Нарди,

Один из Фьоризетти, и, конечно,
Достойнейший. Но он меня смутил
Своею скорбью. С вами мне приятней
Отраднa нам беседа человека,
Витающего в идеальном мире,
Где нет ни суеты, ни горя.

Фра Себастиано

Ваше

Преосвященство шутите, конечно.
Когда бы жизнь художника была
Знакома вам, вы думали б иначе.

Ипполито

Я не шучу. Тот мир, где вы живете,
Есть идеальный мир. Моей мечтою
Останется служение ему.

Прошу вас, расскажите об искусстве —
Художниках, поэтах, музыкантах,
Которыми теперь украшен Рим.

Фра Себастиано

Из музыкантов только Гудимеля
Я знаю. Но талант его беспорен.
Теперь он обучает папский хор.

Ипполито

Я слышал утром мессу Гудимеля,
Пропетую с божественным искусством.
Но в *Incarnatus*¹ начал нежный тенор
Не по-латыни, а по-итальянски
Одну из песен неаполитанских
С томлением ее.

Фра Себастиано

Как это странно.
Ужели в ней была земная страсть?

Ипполито

Небесного в ней было очень мало.
И, право же, хоть я и не придиричив
К словам или поступкам, но когда
Поет такую песню папский тенор
Во время мессы, — что-то здесь не так.

Фра Себастиано

Свет изменился. Всюду нынче что-то
Не так. Но что мы можем? Ведь не мне
Поручен папский хор.

Ипполито

Да и не мне,
Хвала Творцу! Теперь — об именах
Художников.

Фра Себастиано

Я назову одно.

¹ *Incarnatus* — название католической молитвы.

В мессере Микеланджело слилось
Все лучшее.

И п п о л и т о

А сами вы — ничто?

Ф р а С е б а с т и а н о

Я меньше чем ничто: ведь я не боле,
Чем портретист и, в меру слабых сил,
Своим искусством — большим или меньшим —
Стремлюсь запечатлеть черты лица.

И п п о л и т о

Но вы писали Джулию Гонзага!
Какая честь! Нет — слава! Что ж, и это —
Ничто? Да вот оно вас упрекает
За вашу скромность — это полотно.
Ужели вы не каетесь? Чьей кистью
Был создан этот неземной портрет,
Тот не имеет права принижать
Искусство портретиста. Расскажите
О Микеланджело.

Ф р а С е б а с т и а н о

Не так давно,
Бродя в толпе на многолюдном Корсо,
Мы вместе с ним остановились, ваше
Преосвященство повстречав верхом
На благородном скакуне арабском,
И Микеланджело, большой любитель
Породистых арабских скакунов,
Был восхищен.

И п п о л и т о

(слуге)

Гассан, распорядись,
Чтоб завтра, после моего отъезда —
Не прежде — Барбароссу отвели
На рынок деи Корви, прямо к дому
Мессера Микеланджело. И вместе
Отправь ему овса десяток вьюков.
Скажи, что твой хозяин шлет привет.

Фра Себастиано

Вот щедрый дар! Хоть папские подарки
Маэстро наш частенько отвергает,
Но ваш он примет.

Ипполито

Не сочтя, надеюсь,
Мой дар конем троянским. Эту книгу
Вергилия я перевел недавно
На итальянский. Позже, на досуге,
Я буду счастлив вам ее прочесть.
Но, говоря о Трое, я мечтаю
О городе другом, где ныне блещет
Красой графиня Джулия Гонзага,
Прекрасная Елена наших дней.
Конечно, ваша память сохранила
Историю с корсаром?

Фра Себастиано

Странный случай.
Чудесного нисколько в нем не меньше,
Чем у Боккаччо или у Саккетти.
Невероятно!

Ипполито

Будь я живописцем,
Я написал бы: дивная синьора
Глубокой ночью скачет на коне.
Ее одежды вьются в беспорядке.
Вокруг горят разбойничьи костры,
И отблески дрожат на смуглых лицах.
Вот вам сюжет. Пишите!

Фра Себастиано

К сожаленью,
Такой сюжет не для меня.

Ипполито

Однако
Вы не откажетесь писать корсара,
Когда мы привезем его в цепях

В Неаполь. Я невольно восхищаюсь
Отчаянным бандитом.

Фра Себастиано

Но корсар...

Еще не пойман.

Иполито

Ну так что ж, начните
С меча. Гассан, подай вон тот палаш,
Что под картиной. Он дамасской стали.
Здесь надпись: «Ля Алла илля Алла» —
«Нет бога кроме бога».

Фра Себастиано

Как прекрасно
Он был задуман и как чисто сделан!
Чудесно! Арсенал венецианский
Не может похвалиться лучшей вещью.

Иполито

Вам нравится? Он ваш.

Фра Себастиано

Вы пошутили!

Иполито

Я не испанец, чтобы подарить,
А после обратить все дело в шутку.
Ведь у меня оружия такого
На Итри целый зал. А вам палаш
Для вашего корсара будет нужен.
К тому же за большой портрет Гонзага
Вы были скудно вознаграждены,
И чтоб уравновесить наши счета,
Мне нужно бросить на весы булат.
Вы, живописцы, любите такие
Трофеи.

Фра Себастиано

Я возьму его на память
О подарившем.

Ипполито

Мой фра Бастиано!

Я начинаю уставать от Рима,
От мертвых стен и неживых людей.
Как тени на стене, везде монахи.
И днем и ночью звон колоколов.
Я уезжаю. Да, хотя Овидий
И говорит, что гордый Рим достоин
Быть обиталищем для всех богов,
Я покидаю город. Завтра утром
Я еду в Итри и оттуда морем
Отправляюсь к императору, который
С алжирцами воюет. Может быть,
Я догоню турецкие галеры
И захвачу корсара. Но Гонзага
Не будет жить неотомщенной.

Фра Себастиано

Подвиг,

Вполне достойный Карла и Роланда.
Сам Ариосто и Франческо Берни,
Конечно, сочинят по новой песне,
В которой вы предстанете влюбленным,
Неистовым... Прощайте.

Ипполито

Погодите!

Отужинаем вместе, сенешаль
Джован Андреа Борго Сан Сеполькро, —
Не правда ли, как хорошо звучит,
Как будто стих певучий Энеиды, —
Угрей озерных мне привез из Фонди
И устриц из Лукрины. Мы сегодня
Отведаем их с красным кекубанским,
Горацием воспетым. Ведь не зря
Оно хранилось за семью замками
Для ужина, достойного Лукулла
И даже самого фра Бастиано.
Пойдемте ужинать и веселиться.

Фра Себастиано

Остерегайтесь! Ведь когда-то папа
Отравлен был угрями и вернезским.

Ипполито

То был французский папа. И к тому же
Он жил давно. Должно быть, это сказки.

5

БОРГО ДЕЛЛЕ ВЕРДЖИНЕ В НЕАПОЛЕ

Комната во дворце Джулии Гонзага. Ночь. Джулия Гонзага,
Джованни Вальдессо.

Джулия

Не уходите.

Вальдессо

Наступила ночь,
И я боюсь, что будет слишком поздно.
Вас утомит беседа.

Джулия

Я должна
Вам многое сказать. Так откровенно
Я и с духовником не говорю.
Не в этом ли таится прелесть дружбы?
Я верю вам.

Вальдессо

Графиня, если верность
Дает нам привилегию на дружбу,
Я дружбу заслужил.

Джулия

Тогда садитесь.
Я буду говорить о том, что мне
Дороже жизни.

Вальдессо

Рад повиноваться.
Чем строже вы, тем счастливее я.

Д ж у л и я

Оставим риторические блестяшки,
Излишние в беседе двух друзей.
С чего начать? Вы знаете, конечно,
Мой образ жизни, титулы, богатства.
Итак, графиня Фонди, герцогиня
Тражетто и богатая вдова,
Которой принцы предлагают руку,
Чтоб получить отказ. Все, что хочу, —
У ног моих. Я говорю об этом
Не из тщеславия, — но чтобы вы
Нечаянно не поняли превратно
Дальнейшее.

В а л ь д е с с о

Вас наградило небо
Умом и красотой. Вы идете
Прямым путем над бездной искушений,
Куда сорвались многие.

Д ж у л и я

Но вы
Не знаете моей духовной жизни,
И в целом мире вняты только мне
Волнения встревоженной души,
Томимого сомненьями рассудка
И сердца, недовольного собой
И всем вокруг. Я плачу, я страдаю
От этого безрадостного мира.

В а л ь д е с с о

Когда мы реку переходим вброд,
То, чтобы нас не увлекло течение,
Мы устремляем взор на дальний берег,
И голова не кружится у нас.
Так в этом мире, темном и греховном,
Где шумно плещут волны суеты,
Нам должно ясно видеть мир иной
Там, наверху.

Д ж у л и я

Я понимаю вас.
Я вам кажусь земной и увлеченной

Водоворотом нашей праздной жизни,
Не так ли?

Вальдессо

Эти ваши рассужденья
Принадлежат скорей земному миру,
Чем будущему.

Джулия

Если бы я знала,
Какому верить!

Вальдессо

Но фра Бернардино
Вам тронул сердце проповедью веры,
Надежды и любви.

Джулия

Я наслаждалась,
Как музыкой, его прекрасной речью
И думала тогда, как хорошо,
Должно быть, стать святой, подобно нашей
Виттории. Но я... Нет, я слаба,
И своенравна, и, конечно, скоро
Опять вернусь к моим земным привычкам.
До воскресенья слишком много будней.

Вальдессо

Храните воскресенье в вашем сердце,
Оно вам тяжесть будней облегчит.

Джулия

Я праведно живу, но лишь настолько,
Чтобы спастись от праздных языков,
Порочащих мое уединенье.
И не призванье к монастырской жизни
Меня влечет в обитель Санта Кьяре,
Где я живу с сестрою Катериной.
Я редко посещаю свой дворец,
Чтобы принять просителей и вечер
Со старыми друзьями провести.
Рай для меня — часы среди друзей,

А жизнь среди людей, которых сердцем
Я не люблю, — чистилище мое.
И дни мои безрадостные делят
Дворец и монастырь.

Вальдессо

Так, значит, страхом
Перед людьми, а не любовью к богу
Вы на путях своих руководитесь?
А должно небу посвятить себя!

Джулия

Зачем же небо не дает мне силы
Служить ему? Я все отдать готова —
Весь этот жемчуг, пышные одежды,
Все что угодно.

Вальдессо

Нас, графиня, губит
Тот, первородный, грех.

Джулия

Нет, никогда
Мне не удастся вспомнить без обиды
О праотце Адаме. Это он
Утратил рай для нас, своих потомков,
И столько бед обрушилось на нас!

Вальдессо

Мы сами навсегда теряем рай,
Впадая в грех. Не лучше ли подумать,
Как избежать опасных искушений.

Джулия

Ах, помогите снова натянуть
Души моей расстроенные струны.
Их тягостный разлад меня томит.

Вальдессо

Пока вы не стремитесь струны сердца
Согласовать в божественном ключе,
Я не могу помочь.

Джулия

Как это сделать?

Наставьте на дорогу совершенства,
И я пойду за вами. Ваши речи
К свершениям духовным побуждают.
Я выйду в путь. Но мир не должен слышать
Моих шагов. Я вовсе не хочу
Быть притчей во языцех.

Вальдессо

Наконец-то

Я понял вас вполне, и мы не будем
Ходить вокруг да около. Я знаю,
Чего вы ждете от меня.

Джулия

Жестокий!

Вы знаете — и медлите сказать.

Вальдессо

Я ждал, чтоб вы меня спросили сами.

Джулия

Молю вас, говорите. Если мне
Божественная истина предстанет,
Я буду исповедовать ее.

Вальдессо

Так. Я доволен.

Джулия

Друг мой, говорите.

Вальдессо

Я вам скажу, чего бы вы хотели:
Избавиться от беспокойных мыслей,
Найти с моею помощью дорогу,
Которая вела бы к очищению,
Но ранить не могла бы нежных ног;
Небесного достигнуть совершенства,
Не изменяя радостям земли;
Божественным смиреньем наслаждаясь,
Не проявлять его перед другими;

Терпению и кротости учиться,
Не подвергаясь грубым оскорблениям;
Греховный мир наказывать презреньем,
Но не сносить презренья от него;
Украстить добродетелями душу,
Но не лишать и тела украшений;
Познать тончайший вкус духовной пищи,
Не забывая о земных пирах;
Предстать пред небом ангелом — и все же
Не оставаться им перед людьми.
Короче, стать примерной христианкой,
Но так, чтоб даже близкие друзья
Не замечали этой перемены.
Не прав ли я?

Д ж у л и я

Вы мой духовный мир
Представили правдиво. И, конечно,
Лишь опытный художник так сумел бы
Изобразить черты лица.

В а л ь д е с с о

Но, значит,
Вы к господу идете не с обетом —
С частичным обеща́ньем.

Д ж у л и я

Но вы сами
Учили, что уж лучше обеща́нье,
Чем вовсе не исполненный обет.

В а л ь д е с с о

В миру — не в вере. В подвигах духовных
Нет середины. Грешною душою
Владеет бог, не церковь.

Д ж у л и я

Перестаньте!
Ведь это ересь! Умоляю вас,
Об этом не звоните с колокольни,
Храните в сердце. Я ведь тоже верю.

Вальдессо

Я должен проповедовать.

Джулия

Безумец!

Зачем вы навлекаете опасность
На головы друзей — и на свою?
Вы учите смирению. Вот случай
На деле показать его другим.
Вернемся к нашей прерванной беседе.
Итак...

Слышен колокольный звон.

Вальдессо

Колокола монастыря,
И, значит, полночь. Время вас оставить.
Но медлю я. Простите мне, графиня,
Но если я теперь ваш духовник,
Как смею я надеяться, — мне должно
Предостеречь вас.

Джулия

В чем же, говорите.
Вся жизнь моя — у мира на виду.
Мне нечего скрывать. Так где таится
Опасность?

Вальдессо

В вашей дружбе с кардиналом
Ипполито.

Джулия

Но что же в ней, скажите,
Дурного? Я со многими дружу,
И кардинал Ипполито со мною
Так поздно не сидит наедине,
Как вы, Вальдессо.

Вальдессо

Вы меня простите,

Но с вас писал портрет фра Бастиано
Для кардинала. Правда ли?

Д ж у л и я

Вопрос,
Мне заданный Витторией однажды.
И я отвечаю так же, как тогда.
То не был дар любви, но только символ
Живейшей благодарности. Должно быть,
Вы помните корсара Барбароссу,
Который ночью к замку моему
Приплыл с двухтысячным отрядом мавров,
Чтобы меня похитить для султана.
Тогда примчался первым кардинал
На помощь. И к лицу ли было мне
Отказывать спасителю в награде,
Польстившей мне, и взвешивать прилежно,
Довольно ли мой дар благочестив?

В а л ь д е с с о

Следите, чтоб под видом мирной дружбы
В ваш замок не проник другой корсар
И им не овладел — не смелым штурмом,
Но хитростью. Прощайте!

Д ж у л и я

До свиданья!
Но прежде посмотрите, — это полночь
Идет вдоль узких улиц городских,
И все стихает. Полная луна
Серебряной одеда черепицей
Весь город. Море спит в прозрачной дымке.
Везувий чуть колеблет свой султан.
Какая красота!

Голоса на улице.

Д ж о в а н А н д р е а

Отравлен в Итри!

Другой голос
Да кто же?

Джован Андреа

Мой хозяин, кардинал
Ипполито. А людям говорят,
Что малярня. Кто бы мог подумать!

Джулия падает без чувств.

6

ВИТТОРИЯ КОЛОННА

Комната в Торре Арджентина, Виттория Колонна
и Джулия Гонзага.

Виттория

Дай мне тебя обнять. Моя душа
Давно уже томилась ожиданьем.
Мы сестры по несчастью. Мне понятно,
Что ты пережила.

Джулия

Не вспоминай,
Дай мне забыть.

Виттория

Ни слова о былом.
Дай на себя взглянуть. Какое счастье —
Увидеть вновь тебя, услышать голос...
Ты словно свежесть утра принесла
И об ушедших днях воспоминанья,
Когда мы были молоды. Давно ли
Из Фонди ты?

Джулия

Нет, там я не была
Уже давно; с тех пор...

Виттория

Ах, ради бога
Не нужно продолжать. Я понимаю.

Джулия

Я ехала по Терра ди Лаворо.
Ты помнишь ли долину?

Виттория

А меня

Ты застаешь вернувшейся сюда
Из северных провинций, посетившей
Французскую принцессу, герцогиню
Феррары.

Джулия

Расскажи о герцогине.

Фламинио расхваливал ее
Так пылко, что я жажду знать побольше
О ней и о Ферраре.

Виттория

Сколько хочешь.

Но прежде сядь и наберись терпенья.
Я исповедуюсь.

Джулия

В чем прегрешенье

Твое?

Виттория

Ах, опрометчивый поступок.

Ты помнишь, как тебя я упрекала
За разрешение свой писать портрет?

Джулия

Конечно, помню.

Виттория

Очередь твоя,

Но мой поступок выглядит иначе, —
Ведь я немолода. И, уступая
Молениям Микеланджело, я все же
Дала ему согласие.

Д ж у л и я

Выйти замуж?

В и т т о р и я

Молю тебя, не надо так шутить.
Ты знаешь, что земные помышленья
Не могут тронуть сердца моего.
Я замужем. Мой муж — маркиз Пескара,
И смерть не разлучила нас.

Д ж у л и я

Прости.

Ты не обиделась?

В и т т о р и я

Тут нет обиды,
Но только боль. Я посвятила душу
Усопшему, а другу посвящаю
Лишь отражение души — портрет —
Не из тщеславья, но из чистой дружбы.

Д ж у л и я

Какая новость! Знаю, это будет
Портрет, достойный вас.

Стук.

В и т т о р и я

Ш-шш! Он идет!

Д ж у л и я

Что делать мне? Уйти?

В и т т о р и я

О нет, останься.

Рисунок будет лучше при тебе,
Ты оживишь меня.

Д ж у л и я

Я не промолвлю
Ни слова. Я всегда людей великих
Встречаю молчаливым изумленьем

И лишь смотрю на них, как на богов,
Как бы на жителей другой планеты.

В и т т о р и я

Войдите!

Входит Микеланджело.

Микеланджело

Я боюсь, что помешал.

В и т т о р и я

О нет. Вы, верно, слышали, маэстро,
О Джулии Гонзага, герцогине
Тражетто?

Микеланджело

(к Джулии)

Я приветствовать вас рад.
Давно я вас не видел. Но однажды
Увидев вас, забыть уже нельзя,
Так вы меня простите.

Джулия

Вы добры,

Что помните меня.

Микеланджело

У стариков

Бесценные права на откровенность.
Не обижайтесь, если я скажу,
Что вы еще прекраснее, чем были.

Джулия

Коль скоро Микеланджело снисходит
До похвалы, — мне должно ей гордиться.

В и т т о р и я

Ну, для одной довольно комплиментов,
Подумайте и обо мне.

Микеланджело

Синьора,

В молчании я думаю о вас.
Нет должных слов. Вы прячете от мира
Достоинства свои. Но с каждым днем
Вы ближе к совершенству; ваша слава
Все громче. Но боюсь, что из святой
Вы мученицей станете сегодня.
Вы знаете, зачем я здесь?

Виттория

Я знаю

И мужественно встречу жребий мой.
Здесь, на стенах, созданья ваших рук:
Вон там — Самаритянка у колодца,
Скорбящая Мадонна; здесь — Христос,
Распятый на кресте. Под ним строка
Из Алигьери, писанная вами:
«О крови пролитой не помнит мир».

Микеланджело

Настало время новый труд добавить,
Коль можно радость называть трудом.

Виттория

Как мне садиться?

Микеланджело

(*раскрывая папку*)

Так, как вы сидите.

Вы хорошо освещены.

Виттория

Мне жаль

Похитить время, что могло бы быть
Посвящено сикстинским потолкам.
Подвинулась ли роспись?

Микеланджело

(*рисуя*)

Очень мало.

Вы знаете, как пишут старики:

И медленно и вяло. За работой
Немеют мозг и руки. Лучше смерть
В цветущей юности, чем жребий старца.

В и т т о р и я

Но вы забыли, дорогой маэстро,
Историю о старости Софокла.

М и к е л а н д ж е л о

О чем в ней говорится?

В и т т о р и я

Сыновья

Его винили в старческом безумье.
В ответ Софокл прочел Ареопагу
«Эдип в Колоне» — свой последний труд,
Созданье старика.

М и к е л а н д ж е л о

О, это сказка,

Которую придумали, должно быть,
Чтоб старым людям головы кружить.

В и т т о р и я

Вы точно так же показать могли бы
Сикстинскую капеллу, Страшный суд.

М и к е л а н д ж е л о

Быть может, вы продолжите, синьоры,
Беседу вашу, прерванную мною.

В и т т о р и я

О, пустяки; до вашего прихода
Мы говорили о моей поездке
В Феррару и о тамошнем дворе.
Я вам не помешаю?

М и к е л а н д ж е л о

Нет, нисколько.

В и т т о р и я

Вот герцог Эрколе. Властитель строгий,
Угрюмый, молчаливый и холодный;

Его манеры важны, вид суров.
Он нового не любит, с давних пор
Сторонник верный Рима и, конечно,
Не менее, чем папа, нетерпимый
К свободному уму.

Д ж у л и я

Не по душе
Мне герцог. Молчаливые подобны
Колодцам — пусть глубоким, но пустым.
Как дочь французских королей могла
Супругой стать его?

М и к е л а н д ж е л о

Синьора, люди
Иной раз неожиданно женились,
И почему они так поступали,
Останется загадкой для мира.

В и т т о р и я

Как описать достойно герцогиню?
Счастливая натура, что невольно
Пленяет. Не красавица наружно,
Она цветет духовной красотой,
Сквозящей в каждом взгляде, каждом слове
И благородной грации движений.
Есть нечто в ней, что делает ее
Заметной между истинных красавиц.
Оно таится в сердце герцогини,
Готовом всем пожертвовать тому,
Кто в помыслах своих стремится к небу.

Д ж у л и я

Насколько благородна герцогиня —
Настолько герцог неприятен мне.

В и т т о р и я

Немало дам достойнейших в Ферраре.
Я назову Франческу Буччерони,
Лавинию Ровере и сестер
Орсини — Керубину с Мадаленой;
Затем, конечно, Анну Партенаи,

Которая так сладостно поет.
Все эти дамы истинно прекрасны
И полны благородных устремлений.

Д ж у л и я

Боккаччо бы завидовал тебе.

В и т т о р и я

Ему, конечно, нравились бы больше
Его Фьяметты или Филомены,
И сьер Джованни вряд ли бы постиг
Духовный мир, ему настолько чуждый.

М и к е л а н д ж е л о

Но он и о Гризельде написал,
А это несомненная заслуга.

В и т т о р и я

Была среди других придворных дам
Совсем дитя, Олимпия Мората,
Дочь Фульвио, ученейшего мужа,
Прославленного в университетах.
Она за прялкой, в хлопотах по дому
И греческий постигла и латинский,
Так герцогиня в ней души не чает,
Как и принцесса Анна. Иногда
Читала эта юная Сафо
Прелестнейшие греческие оды.
Но в голосе ее была печаль,
И я гадала — что с ней будет дальше,
Что ждет ее.

Д ж у л и я

Конечно, только горе.

Мороз погубит ранние цветы,
И скороспелый разум говорит
О жизни грустной и о близкой смерти.

В и т т о р и я

Немало и ученых при дворе:

Синапиус, что прибыл из-за Альп;
Любимейший врач герцога, Манцолли;
И бледный юноша Шарль д'Эспевиль,
Недавно из Женевы. Герцогиня
С ним любит говорить. Он написал
Весьма большую книгу Учреждений
И герцогиню ею восхитил,
Хотя и говорят, что книга эта —
Коран еретиков.

Д ж у л и я

А что поэты?
Кто воспевал тебя? Кто славил очи
Олимпии и кудри Керубины?

В и т т о р и я

Увы, замолк великий Ариосто,
Волшебный голос, дивно наполнявший
Гармонией Феррару.

Д ж у л и я

Ты надгробья
Должна была коснуться — и гирляндой
Украстить усыпальницу поэта,
Тебя воспевшего.

В и т т о р и я

Но и тебя
Он воспевал и нашего маэстро.

М и к е л а н д ж е л о

Меня?

В и т т о р и я

Но разве вы уже забыли?
Он говорил, что вы скорее ангел,
Чем человек, — вы Анджело, не Микель.
Неблагодарный!

М и к е л а н д ж е л о

Верно, Ариосто,

Поспорив с Джан Беллино иль Урбино,
Игрою слов хотел их превзойти.

В и т т о р и я

В Ферраре больше нет Бернардо Тассо,
Уехал и гасконский трубадур,
Клеман Маро, которого льстецы
Уже прозвали королем поэтов,
Поэтом королей. Ему пришлось
В Венецию бежать от Эрколе.

М и к е л а н д ж е л о

Что ж, там он встретит Пьетро Аретино,
Бича князей, которого зовут
Божественным. Да, титул нынче в моде,
И скоро пифферари из Аbruццо,
Которые дудят в свои волынки
По римским площадям, — наверно, будут
Божественными. Да, у нас поэты
Не лучше, чем волынщики.

В и т т о р и я

Маэстро,
Какая вас ужалила пчела?

М и к е л а н д ж е л о

Та, что не носит меда, но влетает
И жалит, жалит... Горькое раздумье
Меня смутило. Я погорячился.

Д ж у л и я

Прошу вас, покажите мне рисунок.

М и к е л а н д ж е л о

Нет, не теперь. Еще не кончен труд.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

МОНОЛОГ

Комната в доме Микеланджело.

Микеланджело

Итак, она уехала в Витербо,
Старинный папский город, где когда-то
Сам император, в знак уничиженья,
Держал покорно стремя, чтобы папе
Удобней было спешиться. Теперь
Ее не тронет кардинал Караффа,
Хотя все с той же злобою он мечет
На дом Колонна молнии свои.
Она живет, монахиня душою,
Среди монахинь Санта Катерина.
То упрекнет в послании меня,
Что часто я пишу, то за распятье
Благодарит приветливо. Наносит
Одной рукой губительную рану,
Чтоб врачевать ее другой рукой.

(Читает.)

«Вы обладали неземною верой,
Когда писали этого Христа.
То, что теперь я вижу, превосходит
Все высшие желания мои.
Нельзя представить лучшего творенья,
Но более всего я восхищаюсь
Тем ангелом, который виден справа.
Я верю, что архангел Михаил
Вас, Микеланджело, поставит справа
Оп господа в день Страшного суда.
Но в ожиданье зова — что могу я,
Как не молить за вас распятье это
И быть готовой вам во всем помочь».

Мне должно ей писать как можно реже
Иль вовсе не писать, а ждать приезда.
Рожденный в Риме не забудет Рима.

Он только в нем и жив. Ведь даже я,
Природный флорентинец и тосканец,
Я в нем засел, как камень мостовой,
Всечасно попираемый ногами
Монахов. Да, и это я терплю,
Чтобы вдыхать чудесный запах лавра,
Которым город издавна венчает
Воителей меча или пера.
Возвышенным я чувствую себя
На улицах, где проходил Вергилий,
Где кони триумфатора Траяна
Ступали гордо. Но всего счастливей
Я оттого, что воздухом одним
Я здесь дышу с Витторией Колонна.
Теперь, когда уехала она,
Рим более не Рим. Он станет Римом,
Когда она вернется. Но желанье
Быть с ней все время — не любовь ли это?
Да, я — давнишний друг уединенья,
Всю жизнь любивший общество свое, —
Я стал как будто избегать себя,
Я вдруг узнал, что старость одинока.
(Открывает «Божественную комедию».)

Все чаще нахожу я утешенье
В создании великого тосканца.
Его терцины, как гранаты в лаве,
Нам говорят о жаре, их родившем.
Ведь их создатель знал сухую горечь
Чужого хлеба. За него платил он
Бессмертием. При княжеских дворах
Он был как бы ходячей поговоркой,
На улицах над ним смеялись дети,
Как прежде над пророком иудейским.
Да он и был пророк! Знакомый крик:
«Иди, плешивый!» Молодые люди,
Не знающие ни благоговенья,
Ни вежливости, донимают нас.
Нам тесно здесь, на маленькой планете,
И старость уступает. И ему
Не стало места. И в его терцинах

Я слышу лязг ворот, что за поэтом
Надменная Флоренция закрыла.
Но в этот скрип влетаются напевы
Открывшихся поэту райских врат.
Он был, и он ушел. Не знали люди,
Кто проходил, минуя их порог,
А там его не стало. Но в виденьях
Ему являлись муки и блаженства
Оправданных и обреченных душ,
Великий Апокалипсис вселенной.

Я на полях страниц рисую тщетно
Лик Беатриче: чертит карандаш
Витторию. У каждого из нас
Есть свой вожатый — дивная синьора, —
Но красота подобная не снилась
Ни греческим, ни римским мастерам.

2

ВИТЕРБО

Виттория Колонна у монастырского окна.

Виттория

Прощание с друзьями — та же смерть,
Но лишь на время. Мы друзей не видим,
Не слышим голосов, — и только письма
Нам говорят, что нас не забывают.
Но верно ли, что из иного мира
К нам не спускаются воспоминанья?
Они живут в раздумьях, приходящих
Неведомо откуда нам на ум,
Как вдохновение. И мы внимаем
Бесплотным духам, говорящим с нами,
Как те друзья, что ждут у стен тюрьмы
И с другом говорят через решетку.

(Пауза.)

Как озеро, лежащее у ног,
Как благодное небо надо мною,
Как сердце, переставшее трудиться,

Спокоен монастырь. Вверху, внизу —
Все дышит миром. Замкнутость, молчанье —
Друзья души — со мною здесь. И шум
Не более доходит в монастырь,
Чем голоса с планеты отдаленной. . .
Дух, помещенный в третий круг небес
Среди блаженных, умерших за веру!
Я здесь скорблю и плачу не о том,
Что ты ушел, — о том, что я осталась.
Так устреми великодушный взгляд
В глаза мои. Давно из них потоком
Струятся слезы. И уже недолго
Тебе осталось ждать. Я скоро, скоро
С тобой соединюсь. Немного раз
Осталось мне пройти сквозь эти двери,
Услышать перезвон колоколов
И о тебе, вздыхая, помолиться.
И долгая агония моя
Окончится. О, если ты ко мне
Стремился так, как я к тебе стремилась,
То потерпи. Недолго, нет, недолго
Осталось ждать. Бесплотные виденья,
Бродящие в садах монастыря,
Парящие над городом, — летите
Сказать ему, что я могу в разлуке
О нем лишь думать, говорить и плакать.

В лучах заката исчезает тучка,
Рукой незримой поднята над миром
В своих одеждах белых. Если б я
Вот так могла взлететь к тебе, Франческо,
Бесплотным духом, белоснежной тучкой!

3

МИКЕЛАНДЖЕЛО И БЕНВЕНУТО ЧЕЛЛИНИ

Микеланджело; Бенвенуто Челлини, одетый пестро.

Бенвенуто

Да будет счастлив каждый день в году,
Маэстро Микеланджело, ваятель!

Микеланджело

Приветствую тебя, мой Бенвенуто.

Бенвенуто

Вот точно так сказал и мой отец,
Меня впервой увидев. Но сегодня
Мне говорят не «здравствуй», а «прощай».
Я еду во Флоренцию — галопом, —
Чтоб поскорей пройти по ней ногами,
Уставшими от римских мостовых.
Поедем вместе! Ризница у вас
Не кончена?

Микеланджело

Не говори о ней.

Как сыро было там! Как у меня
Болела голова и ныли кости!
Я слишком стар, и я останусь в Риме,
Где все кругом стареет, превращаясь,
Подобно мне, в руины. Все дороги
Приводят в Рим.

Бенвенуто

И все ведут из Рима.

Микеланджело

Есть нынче что-то в воздухе самом,
Что ощущает каждый, но никто
Не мог определить бы.

Бенвенуто

Лихорадка?

Микеланджело

Да, лихорадка духа. Этот гроб
Великого Былого полон ею.
Она нас гонит на великий труд.
Пока я жив, нельзя остановиться.

Бенвенуто

А помните Флоренцию?

Микеланджело

Да, если

Я от своей работы отрываюсь,
Я думаю о ней. И вспоминаю
Унылые часы в каменоломнях
У Серавецца и Пиетрасанта,
А более — строительство дорог
В болотах. Непонятливость людей,
Мертвящий холод, бесконечный ливень
И ветры, сумасшедшие, как дервиш,
В лохмотьях из крутящегося снега, —
Все горести и беды, все потери
И времени и денег.

Бенvenuto

Да, маэстро,

Но это не Флоренция. Другим
Болота поручат. Но только ль это
Напоминает вам прекрасный город
Над Арно?

Микеланджело

Иногда, закрыв глаза,

Я вижу дивный купол Брунеллески,
Сверканье бронзовых ворот Гиберти
И башню Джотто. Нежный облик Бенчи
Со сложенными на груди руками
Скользит в смущенных помыслах моих
Такой, как он был создан Гирландайо.
Для стариков безжалостное время
Шагает семимильными шагами.
Как путники, на быстрых скакунах
Летя, меняют ближние пейзажи
И только отдаленные поля —
Им кажется — несутся вместе с ними,
Так в старости недавнего не помнят
И только отдаленные виденья
Хранят надежно. Помню, как юнцом
Я проходил с великим Гирландайо
По паркам Медичи. И сонм богов
Античности нас окружал безмолвно.

Мне открывался дивный мир искусства.
Все созданное прежде человеком
Казалось мне по силам. Но, увы,
Как мало замыслов я воплотил!

Бенвенуто

Об этом лучше скажут Ночь и Утро,
Фигуры Джулиано и Лоренцо,
Сикстинские пророки и сивиллы
И Страшный суд. Да, кстати, — он закончен?

Микеланджело

Почти. Но он принес мне больше горя,
Чем может дать мне славы. Сьер Биаджо,
Придворный церемониймейстер папы,
Вельможа мелочный и лицемерный,
Назвал его земным и непристойным.
Он говорит, что обнаженным формам,
Написанным без всякого стыда,
Прилично красоваться в общих банях
Или в харчевне — только не в капелле.
А я изобразил его в отместку
Миносом, — чтобы церемониймейстер
Вел церемонии свои в аду.
Что ты бы сделал?

Бенвенуто

Я б его убил.

Того, кто оскорбляет, я стараюсь
Убить, убить.

Микеланджело

Вы, гордые синьоры,
Носящие шелка, — у вас мечи
Всегда готовы, благо есть уменье
И вкус к убийствам.

Бенвенуто

Этот вкус, маэстро,
Внушил мне папа при осаде Рима,
Тому лет двадцать. Я тогда стоял
На Кампо Санто с Алессандро Бене.

Долину заполнял густой туман,
Скрывая осаждающих. В тумане
Передо мной возникла чья-то тень.
Тотчас, в нее нацелив аркебузу,
Я выпалил. Фигура повалилась.
И вдруг в тумане крики раздались,
На разных языках, но с тем же самым
Отчаяньем и ужасом. Наездник,
Которого я выстрелом свалил,
Был коннетаблем Франции, Бурбоном.

Микеланджело

Рим должен был тебя благодарить.

Бенвенуто

Никто и не подумал. При осаде
Служил я бомбардиром. Как-то раз
Его святейшество и кардиналы
Пришли взглянуть на круглый бастион
Во время перестрелки. Я стоял
Над фальконетами. Всю жажду славы,
Все знания я вкладывал тогда
В чудесные напевы бомб и ядер.
И тут-то за испанскою траншеей
Я вдруг увидел кавалера в красном
Плаще. Прицел немного увеличив,
Поднес фитиль, и храброго идадьго
Мгновенно разорвало пополам, —
В Испании по нем уже не плачут.
И папа, пораженный свыше меры
Искусством артиллерии и тем,
Как славно разорвало кавалера,
Мне отпустил все прежние убийства
И те, которых я не совершал,
Но совершу во славу Римской церкви.
С тех пор уж я ценю не так высоко
Жизнь человека.

Микеланджело

Кто грехи отпустит

Тому, кто отпустил грехи тебе?

Вернемся же к искусству.

Бенвенуто

Как хотите.

Микеланджело

Давно ли видел ты фра Бастиано
С тех пор, как сделан он игрой судьбы,
Хранителем печати?

Бенвенуто

Разве дело

Художника — прищлепывать печати
На свитки папских булл!

Микеланджело

Он располнел

И сделался ленив. Свинец печатей
Его гнетет. Ведь он за кисть не брался
С тех пор, как в Фонди написал Гонзага
Для кардинала. Жаль, не видел ты,
Как он въезжал в ворота городские:
Коричневый высокий капюшон!
Четыре стражника — пугать бандитов!
Да он любых бандитов испугает, —
Ведь он круглее буквы «О».

Бенвенуто

Но больше

Он стал похож на торбу со съестным,
А был велик.

Микеланджело

Нет, он великим не был,

Но я его люблю, мой Бенвенуто,
Великою любовью. А тебе
Желаю я усердия. Стараньем
Встречай и восхваленья и хулу.
Не то — бросай искусство.

Бенвенуто

Так, как я,

Не трудится никто. Я вечно занят.

Микеланджело

С чем ты явился?

Бенвенуто

С золотым кольцом.

Оно для папы. Что ж, я им горжусь.
Взгляните — в нем великолепный камень,
Он папе императором подарен.
Тарчетта, ювелир венецианский,
Его оправил и отшлифовал,
А я перегранил и вновь оправил, —
Божественно, как видите. Бесспорно,
Я превзошел Тарчетту.

Микеланджело

Дай взглянуть.

Что ж, я скажу — неплохо.

Бенвенуто

Слишком мало.

«Неплохо» слишком плохо передаст
Великолепье папского алмаза,
Оправленного славным Бенвенуто!

Микеланджело

Нет, я с тобой теряю все терпенье.
Творец тебя почтил таким талантом,
Что он не должен быть употреблен
На выделку алмазов, — пусть для папы.
Ты можешь сделать большее.

Бенвенуто

Всевышний,

Должно быть, знал, что сделать из меня.
Я только ювелир.

Микеланджело

О нет, художник,

Богато одаренный, но талант
Таскающий завернутым в тряпицу,
Влачащий дни в бесцельной суете.

Бенвенуто

Я никому другому не спустил бы
Того, чем Микеланджело в беседе
Меня спокойно может упрекать.
Вы правы. Я теряю день за днем.
Но у меня есть лучшие стремленья,
Чем думаете вы. Когда однажды,
В Сант-Анджело врагами заточенный,
Я там молился,— было мне виденье:
Распятие, сверкавшее как солнце!
С той ночи я отмечен светлым нимбом,
Он виден на восходе и закате,
Где тень моя ложится на траву,
И знаю я, что господом я взыскан
И мне ничто не повредит.

Микеланджело

Ты сам —
Свой злейший враг. Кто уважать умеет
Себя, — того и люди уважают,
Тот как в кольчуге.

Бенвенуто

Вот она, на мне.

Микеланджело

Неисправимый! Ну хотя бы помни
О благостном видении своем.
У мастера должно быть нечто выше,
Чем сам он, что ведет его.

Бенвенуто

Я знаю.
Послушайте меня. Я приглашен
Во Францию, страну небесных лилий.
В карете я везу модель солонки,
Тяжелой золотой красивой вещи, —
Она для королевского стола, —
А в голове моей — фигура Марса
Для главного фонтана Фонтенбло.
Я еду ювелиром, чтоб вернуться
Ваятелем. Прощайте, мой маэстро,

И помните о грешнике, который
Не чужд ни вдохновенью, ни высоким
Стремлениям.

Микеланджело

Так помни о виденье!

(Садясь снова за «Божественную комедию».)

В каком кругу творенья своего
Его бы поместил великий Данте?
В кровавых мутных волнах Флегетона?
В Чистилище, в пылающем кругу?
Не знаю. Но, наверно уж, не с теми,
Кто там влачит свинцовые одежды.
Да, в нем кипят неистовые страсти,
Смирение и кротость поглощая,
Но уж, конечно, он не лицемер
И никогда пороков не скрывает.
Вернись, смущенный ум, к высотам ярая.

4

ФРА СЕБАСТИАНО ДЕЛЬ ПИОМБО

Микеланджело, фра Себастиано дель Пиомбо.

Микеланджело

(не оборачиваясь)

Кто там?

Фра Себастиано

Постойте, лестница крута,
Я задохнулся.

Микеланджело

А, мой Бастиано!

Когда бы вы карабкались, как я,
По лестницам, — вы были бы бодрее.
Садитесь! Ваш роскошный образ жизни
Вам даром не пройдет. Вы задохнетесь
И не придете более в себя.

Фра Себастиано

Увы, что делать. Это все же лучше,
Чем с подмостей свалиться.

Микеланджело

Пустяки,
Я не разбился, — только чуть хромаю
И снова бодр.

Фра Себастиано

Но почему, маэстро,
Вы остаетесь жить так высоко?
Ведь можно было вниз переселиться
И сад иметь, как я.

Микеланджело

Из этих окон
Садов я вижу много, — а подальше
Кампанью и Альбанские холмы,
И все — мое.

Фра Себастиано

Но можете ли вы
В жару спускаться в сад — играть на лютне,
Дремать на холодке?

Микеланджело

Я никогда
Не сплю при свете дня и мало — ночью.
Нет времени. Скажите, вам, должно быть,
Наш Бенвенуто встретился?

Фра Себастиано

На первой
Площадке. Он летел через ступеньки,
Одетый как испанский капитан
В какой-нибудь комедии, — багряный
Короткий плащ и длинная рапира.
Куда он так спешит? Земная жизнь
И так-то коротка.

Микеланджело

Его натура —

Мятежный дух, излишне беспокойный,
Бьет дальше цели он. Цветы терпенья
Не приживаются в его саду.
Вы из другого теста.

Фра Себастиано

Слава богу.

Теперь я отдохнул и вам скажу,
Зачем я шел на приступ ваших лестниц.
Ко мне приехал друг, Франческо Берни,
Прекрасный собеседник и поэт,
Ваш почитатель. Вы сегодня с нами
Отужинаете.

Микеланджело

Нет, нет, ваш ужин

Не для меня. Мне это не подходит.
Простите.

Фра Себастиано

Нет, прощать я не хочу.

Когда-нибудь вам тоже нужен отдых
И час-другой безделья.

Микеланджело

Да, но мне

Ваш отдых — в тягость. Труд — вот лучший
отдых,

Игра воображенья и руки,
Как радость высоко летящей птицы
Иль рыбы, что скользит в речной воде.
Я с вами не пойду. Чем меньше листьев
На древе жизни, — тем они дороже.
Я не пойду.

Фра Себастиано

А Берни нам прочтет

Отрывок из «Влюбленного Орlando».

Микеланджело

Ну, это для меня еще причина
Остаться дома. Если что-нибудь
Бывает в жизни нестерпимо скучно —
Так это чтение самим поэтом
Своих стихов.

Фра Себастиано

Вас Берни ценит выше,
Чем вы его. У вас, он говорит,
В сюжетах мысли, у других — слова.
Пойдемте же.

Микеланджело

Вот если был бы жив
Импровизатор тот, Луиджи Пульчи,
Которого я слушал с Бенвенуто,
Я мог бы соблазниться. Но тогда
Я был моложе, да и пели лучше.

Фра Себастиано

Здесь есть француз по имени Рабле.
Он бывший францисканец, ныне — доктор,
Ученый муж и секретарь посольства,
Знаток всех языков. Он создал книгу
О приключениях Гаргантюа,
Где столько остроумия, что, право,
Читая эту книгу, невозможно
Не хохотать над каждою страницей.
Он к нам придет. Отличный собутыльник!

Микеланджело

Тогда я ни к чему. Я не шутник
И не люблю веселых возлияний,
Я рядом с вами буду мертвецом.
Зачем мне этот ваш француз Рабле,
Что мне, скажите, ваш Франческо Берни,
Когда со мною Данте Алигьери,
Славнейший из поэтов?

Фра Себастиано

И скучнейший.

Теперь его читают лишь в отрывках.
Он устарел. Петрарка — наш поэт.

Микеланджело

Петрарка — для влюбленных и для женщин.
Для женственных аббатов, что по саду
Гуляют и сонетами своими
Звонят подобно комнатным собачкам
С их бубенцами вечными.

Фра Себастиано

А я

Люблю Петрарку. О далекой деве
Как дивно он поет в лесах Арденн!
«И мнится мне, я слышу милый голос
В порывах ветра, в шорохах листвы,
В журчанье вод, бегущих в юных рощах».

Микеланджело

Довольно. Это призраки, не жизнь.
Хотите вы услышать речь мужчины?
Раскройте Данте. Вот апостол Петр
Бичует загнивающую церковь,
Развратных пап преследует громами,
И небеса краснеют от стыда.
Там между прочим есть и о печатях,
Которые вы ставите для папы,
А значит — и о вас.

Фра Себастиано

Где это место?

(Читая.)

«Ни чтобы образ мой скреплял печать
Для льготных грамот, покупных и лживых,
Меня краснеть неволя и пылать!»¹
Но это не поэзия.

¹ Перевод М. Л. Лозинского.

Микеланджело

А что же?

Фра Себастиано

Разлившаяся желчь. Порыв досады,
Достойный Аретино.

Микеланджело

Я прошу

Не называть того, о ком ваш Берни
Писал, что у него одна нога
У доктора, другая — у блудницы.
То льстит он, то клеветает, как придется.
Недавно он меня почтил посланьем,
Где разбранил развязно Страшный суд.
Он пишет так, как будто суд уж был,
И он на нем присутствовал, и ныне
Меня, как очевидец, поправляет.

Фра Себастиано

Какие легкомысленные люди
Порочат вас! Напомнил Аретино
Мне лучников гасконских, что в Милане
На площади пускали стрелы в Сфорца,
Изваянного славным Леонардо!
И флорентинцев, что бросали камни,
Подкравшись ночью к вашему Давиду!
Но прежде Аретино вас хвалил.

Микеланджело

Он насмеялся. Он отлично знает,
Как больно можно ранить, защищая.
Но посмотри сюда, мой Бастиано,
Как этот холст закатом освещен.

Фра Себастиано

А, мой портрет Виттории Колонна!
Таким вот будет взгляд ее, когда
Она святою станет!

Микеланджело

Светлый образ!

О, эти руки старые способны
Творить прекрасней и резцом и кистью
С тех пор, как я знаком с синьорой этой.

Фра Себастиано

Вам нравится портрет. Но это — масло.

Микеланджело

С тех пор, как этот варвар Ян Ван Эйк
Открыл для мира масляные краски,
Он превратил искусство в ремесло,
Малюющее вывески харчевен.
Теперь оно для женщин и ленивцев,
Как вы, мой Бастиано. Ведь природа
Не маслом украшает свод небесный,
Но фресками на нем изображает
Восходы и закаты, облака,
Туманы.

Фра Себастиано

Но они недолговечны!

Как резок контур крыш и колоколен
На фоне неба бледно-золотом, —
Как будто византийская картина,
Портрет как будто кисти Чимабуэ,
Презревшая игру полутонов
Природа!

Микеланджело

Да, она всегда права.

Тем лучше холст, чем больше он подобен
Скульптуре.

Фра Себастиано

Леонардо говорил,

Что нет для живописца лучше света,
Чем освещение облачного дня.
А это легче маслом передать,
Чем темперой.

Микеланджело

Забудьте старый спор.
Что-что, а забывать я научился,
Но и теперь мне больно. Оттого,
Что лук разогнут, раненым не легче.

Фра Себастиано

Так говорит Петрарка и народ.

Микеланджело

Все это в прошлом. Я на вас сердит,
Но не за то, что маслом вы писали, —
За то, что вы не пишете совсем.

Фра Себастиано

Зачем писать и для кого трудиться,
Когда я стал богат и все блага —
Мои?

Микеланджело

Когда скончался папа Лев,
Всю жизнь свою безумно расточавший
Богатое, огромное наследство
И каждый день корзину золотых
На прихоти бросавший, — он оставил
Едва-едва на скромный катафалк.

Фра Себастиано

Как папу Льва, влекут меня пиры,
Не катафалки. Строго запретил
Я свечи и процессии монахов
При погребении моем. А деньги,
На этом сбереженные, — голодным!

Микеланджело

Вы мудро поступили. Но Гиберти
Оставил и богатства и детей,
А кто сегодня помнил бы о нем,
Когда бы он не создал те ворота
Для старой Баптистерии, которым
Занять не стыдно место райских врат?

Детей уж нет; рассеялись богатства;
Но бронза этих неземных ворот
О мастере хранит живую память.

Ф р а С е б а с т и а н о

Но почему я должен надрыватьсь?
Все, что способен написать художник,
Написано уже, а если нет —
Всегда найдутся мастера другие,
Которые в два месяца закончат,
Чего в два года я не завершу.
Так пусть же я, довольный тем, что создал,
Дорогу уступаю.

М и к е л а н д ж е л о

Вы — богохульник!
Недаром вас прозвали дель Пиомбо:
Да, да, печати, папские печати
Всей тяжестью своей легли на вас,
Как саваном свинцовым.

Ф р а С е б а с т и а н о

Пощадите!
Как терпок уксус нежного вина,
Так нынче жгуче терпки ваши речи,
Хоть сердцем вы нежны.

М и к е л а н д ж е л о

Вы не похожи
На Бастиано прежнего. Свободен,
Трудолюбив и полон честолюбья,
Соперничал он с юным Бадассаре
И Рафаэлем.

Ф р а С е б а с т и а н о

Умер Рафаэль.
Он только прах, и он лежит в могиле,
А я живу и наслаждаюсь жизнью,
Я победил. Двенадцать пап умерших
Не стоят одного живого.

Микеланджело

Нет,

Не умер Рафаэль. Он только дремлет.
Тот, кто в сердцах живых людей бессмертен,
Не может умереть. А Рафаэль
Пил юности прекрасное вино
Из сока, что стекает сам собою,
Пока еще не давят виноград.
Великий сон! Мы не были врагами,
Хоть нас пыгались ссорить подмастерья,
Способные лишь слабо подражать.
Мы порознь дело делали одно,
Друг друга дополняя. Он учился
Могучей силе на моих работах,
Я нежности учился у него,
И восхищением я поминаю
Великий дар. С его исчезновеньем
Мир помрачнел.

Фра Себастиано

Но мы-то ведь друзья.

Пойдемте!

Микеланджело

Я работаю тем лучше,
Чем меньше я бываю на пирах.
Теперь мои прогулки все короче.
Дома друзей стоят на том же месте,
Но путь до них намного стал длинней.

Фра Себастиано

Придется нам отужинать без вас,
Смеясь над тем, кто заполняет жизнь
Годами изнурительных мучений,
Чтоб чуть подольше жить в устах людей.
Спокойной ночи вам!

Микеланджело

Спокойной ночи!

(Возвращаясь к своей работе.)

Что после смерти скажут обо мне,
Чья жизнь была бесцветной и угрюмой?

Припомнят лоб в морщинах, и лицо,
Испорченное в юности ударом,
И эту грубость речи и манер.
Откуда им узнать, что хмурый облик
Соединялся с женски нежным сердцем,
Когда свой век я прожил взаперти?
И разве в неотесанных стихах
Мой образ сохранится для людей
Недолгие года! Но каждый мастер
Возводит целый мир — и умирает.
И пусть потомки холодно оценят,
Насколько глубоко искусство предка
На времени оставило следы.

5

МИКЕЛАНДЖЕЛО И ТИЦИАН

Бельведерский дворец. Мастерская Тициана. «Даная», перед
которой натянута занавес.

Тициан, Микеланджело и Джорджо Вазари.

Микеланджело

Итак, оставив сонные лагуны
И город Тишины, плывущий в море,
Вы посетили нас.

Тициан

Я ехал в Рим

Учиться, но боюсь, что слишком поздно.
Рим нужно видеть в юности, когда
Все сердцем жаждешь новых впечатлений.
Вазари водит здесь меня, слепого,
Среди чудес минувшего. И я
Касаюсь их рукою, но не вижу.

Микеланджело

Да, можно из Венеции сюда
Прийти босым, чтоб посмотреть, а после
Спокойно умереть.

Тициан

Но признаюсь,
Величие развалин подавляет.
Так в сумерках зашедший на кладбище
Среди надгробий бродит, спотыкаясь,
И надписей не может разобрать.

Микеланджело

Картины запустения пугали
Когда-то и меня. Я к ним привык.
Что было болью, стало наслажденьем.

Тициан

Я в Риме жить не мог бы. Нет, мне нужно
Соседство моря, — нежные туманы,
Подобные одеждам золотым,
И волны под окном, их смех и шепот,
Их легкие шаги у самой двери, —
Иначе я несчастлив.

Микеланджело

Расскажите

Нам о Венеции, о мостовых
Из розовых базальтов падуанских
И об искусстве. Три его гиганта,
Созвездие венецианской школы —
Джорджоне, Тициан и Тинторетто
Бросают вызов миру. Первый умер,
Но Тинторетто жив.

Тициан

И бурно пишет,
Блистательно, — как молния по небу.

Микеланджело

Хранит ли он над дверью мастерской
Девиз свой дерзкий: «Краски Тициана
С рисунком Микеланджело»?

Тициан

Не знаю.
Он этой похвальбой, пустой и наглой,

Другим не повредил, себе — пожалуй.
Возможно — поумнел он.

Микеланджело

Но когда
Не станет вас двоих, кто вас заменит
И выпавший из пальцев карандаш
Поднимет?

Вазари

Много рук нетерпеливых
Протянуто к нему. Они с трудом
Дождутся вашей смерти. Сотни, сотни:
Скьявоне, Бонифацьо, Кампаньола,
Моретто и Морони... Сколько их!
И сколько самоменья!

Тициан

У потомков
Обычно мысли предков не в чести.
Да, из развалин наших эти люди
Наделают строительных камней
Для зданья своего. И в этом мире
Они свои порядки наведут.

Микеланджело

Ваш сын Гораций и племянник Марко,
Я слышал, у художников в почете.

Тициан

Да, славные, прилежные юнцы,
Но все покажет время. А еще
Есть юноша по имени Паоло
Кальяри, по прозванью Веронезе,
Столь одаренный, что за наши лавры
Нам должно не на шутку опасаться.

Микеланджело

Как хорошо! Я начал было думать,
Что мы в могилу унесем искусство.
Фантазия! На смену нам придут
Другие мастера. Как славно видеть

Успехи юных, полных силы, страсти
И дерзости, доступной молодым.

Т и ц и а н

Живые люди мертвых забывают,
А жизнь идет вперед. И в океане
Живущих, живших, тех, кто будет жить,
Что значат наши жизни? Мир не дрогнет
В наш смертный час. Пора очистить место!

М и к е л а н д ж е л о

Мы просим вас, откройте нам «Данаю»,
Снискавшую столь бурные хвалы.

Т и ц и а н

(отодвигая занавес)

Что думаете вы?

М и к е л а н д ж е л о

Был прав Акрисий,
Угромо запирая в медной башне
Такую красоту.

Т и ц и а н

Моя натура
Была прекрасна.

М и к е л а н д ж е л о

Да, и что важнее,
Там были вы. И словно наяву
Увидели, как золотым дождем
С Олимпа лился алчущий Юпитер.

Т и ц и а н

Мне вдвое сладостны слова такие
Из ваших уст.

М и к е л а н д ж е л о

А в этих золотых
Тонах — венецианские закаты!

Тициан

Возможно.

Микеланджело

Или дождь, в потоках солнца
Летящий на лагуны, или море.
Природа отражается в искусстве.
И сходятся с соседними холмами
Дворцы и башни наших городов.
А камни падуанского карьера
Мы видим в розоватых мостовых,
И белый мрамор Истрии — дворцом
Становится, чудесно отраженный
В каналах и в картинах. Каждый мастер
Невольно вспоминает то, что видел.
Все, что возможно сделать в колорите,
Вы сделали. Тепло, и свет, и нежность
Соединились. И такого тела,
Написанного с дивным совершенством,
Еще не видел мир.

Тициан

Я благодарен

Вам, мастеру, за щедрые хвалы.
Вы редкий гость. Обычно же профаны
Приходят и глазают. Их хвала
На брань похожа, брань — на похвалу.

Микеланджело

Чудесно! Обаяние тонов
Одно сильней, чем все мои работы.
Да, это ясно. Я не живописец.

Вазари

Сьер Микеланджело, в себе одном
Вы многие искусства сочетали.
Прошу у вас совета.

Микеланджело

Говорите!

В а з а р и

Племянники Фарнезе, кардинала,
Не так давно меня судьей избрали,
Когда они поспорили, что выше —
Скульптура или живопись. Кто прав?

М и к е л а н д ж е л о

Различные искусства, та же цель.
Какое бы из двух ни выбрал мастер,
Он выберет тернистый путь.

В а з а р и

Конечно.

Но вы мне не ответили.

М и к е л а н д ж е л о

Сейчас,

У этого холста я утверждаю,
Что живопись достигла совершенства.
А у своих скульптур я вижу ясно,
Что замыслы опережают силы.

В а з а р и

Вы так и не ответили.

М и к е л а н д ж е л о

Вазари,

Я говорил, что полотно тем лучше,
Чем ближе к статуе. И вот пример:
Ведь какова округлость этих членов!
Поистине, вам может показаться,
Что это не картина, но скульптура,
А сзади натянули полотно.

Т и ц и а н

Простите, но подобные вопросы
Немного праздны.

М и к е л а н д ж е л о

Праздны, словно ветер.

Итак, маэстро, повторив еще раз,

Что я созданьем вашим восхищен,
Оставлю вас наедине с работой.

Т и ц и а н

Ваш дружеский визит — большая честь.

В а з а р и

Прощайте!

М и к е л а н д ж е л о

(*выходя, Вазари*)

Если бы венецианцы

В рисунке знали толк хоть вполовину
Того, что в красках, миру бы предстали
Не виданные прежде чудеса.

6

ДВОРЕЦ ЧЕЗАРИНИ

Виттория Колонна в кресле. Джулия Гонзага подле нее.

Д ж у л и я

Мне грустно: ты слаба и ты страдаешь.

В и т т о р и я

Я не страдаю. Это смерть подходит,
Как легкий холодок перед зарей.
Невольню вздрогнув, скоро я проснусь
В торжественных лучах иного мира.
Теперь я только тень. И эти руки,
И волосы, и щеки, и глаза,
Которыми супруг мой любовался
На радость мне, — они теперь увяли.
Исчезла красота.

Д ж у л и я

Нет. Ты бледнее,
Но все-таки по-прежнему прекрасна.

В и т т о р и я

Дай зеркало. Я в нем хочу увидеть,
Как изменяет смерть черты лица.
Благодарю. Теперь присядь со мною.
Как хорошо, что ты пришла сегодня,
В тот час, когда в тебе я так нуждалась.

Д ж у л и я

А прежде — нет?

В и т т о р и я

Все время. Но сегодня —
Особенно. Ах, Джулия, ты помнишь,
Давным-давно с тобою мы бродили
По замковой террасе летним днем
На Искии — перед твоим отъездом?

Д ж у л и я

Конечно. Только кажется, что это
Мои мечты, виденья — не былое.
Я где-то словно слышала, читала
Об этом дне далеком.

В и т т о р и я

Десять лет

Прошло с тех пор, и все переменялось.
Среди друзей так много мертвых: Марко
Фламинио, продолживший Катулла,
Вальдессо, беззаветный наш поборник
Свободной мысли и открытой речи,
И кардинал Ипполито, твой друг.

Д ж у л и я

Не говори о нем! Об этой смерти
Я и теперь подумать не могу.
Дай мне забыть. Мне память начинается
Порой служить как нелюбезный друг.
Я забываю то, что должно помнить,
И помню то, что нужно бы забыть.

В и т т о р и я

Прости. Его я больше не коснусь.
Фра Бернардино скрылся через Альпы,
Спасаясь от всемогущего Караффа.
Ведь он учил, что тот, кто создал нас,
Всех нас спасет без нашего участия.
Французская принцесса, герцогиня
Феррары, эта лилия Луары,
Склоняется под римскими ветрами
И от двора отставила Морату
За веру в правоту фра Бернардино.
Будь осторожна. Тайные стремленья
Храни надежно в сердце.

Д ж у л и я

Постараюсь.

Но ты слабеешь. Лучше помолчим.

В и т т о р и я

Да, я слаба. Читай мне.

Д ж у л и я

Сколько хочешь!

Но что читать?

В и т т о р и я

Вон там возьми Петрарку,
«Триумфы смерти». Книга на столе,
Там, за шкатулкой. Я загнула лист
В том месте, где вчера остановилась.

Д ж у л и я

(читает)

«Не как огонь, что бился и потух, —
А тот, что гас, не ведая об этом,
Прощался с миром просветленный дух,
Сей огонек, даривший нас приветом,
Чья пища понемногу истекла,
Но что сиял все тем же ровным светом.
И не бледна, но холодно бела,
Как гор высоких снежные одежды,

Она, казалось, отдых обрела.
И словно легкий сон слетел на вежды,
Смыкая их все глубже и нежней.
Пусть смертью этот сон зовут невежды,
Но даже смерть была прекрасна в ней».
Скажи, он говорит не о Лауре?
Не отвечает. Но она не спит.
Ее глаза полны каким-то светом
И вверх устремлены. Там потолок,
Там только фрески ангелов летящих.
Виттория! Откликнись! Улыбнись!
Она молчит и стирает руки.

Зеркало падает и разбивается.

В и т т о р и я

Я следую небесному виденью.
Пескара, мой супруг!

(Умирает.)

Д ж у л и я

Святая дева!

Приподнялась! Поникла! Умерла!

(Падает на колени и прячет лицо на груди Виттории.)

Входит Микеланджело.

Д ж у л и я

Тс-с!

М и к е л а н д ж е л о

Ей не лучше?

Д ж у л и я

Ей не станет лучше.

М и к е л а н д ж е л о

Она мертва!

Д ж у л и я

Увы, она скончалась,

Но даже смерть была прекрасна в ней.

Микеланджело

О, как чудесно на лицо умершей
Из райских окон льется тихий свет!
Пусть ангелы уносят эту душу
На отдых.— как святую Катерину.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

МОНОЛОГ

Комната в доме Микеланджело у рынка деи Корви.
Микеланджело стоит перед моделью собора св. Петра.

Микеланджело

Тебя не превзойду я, Брунеллески,
А уступить тебе я не хочу.
О, если б наша мысль, как мощный ворот,
Могла камня ставить друг на друга,
И если бы я мог одним дыханьем
Раздуть огромный купол, как пузырь,
И сами стали б статуи по нишам,
Как часовые на свои посты, —
Тогда б мой труд был кончен. Но, увы,
Который год я, как святой Себальд,
Каким его изображают немцы,
Стою с моделью храма на ладони.
Не скоро, нет, не скоро это будет
Одето в камень. Сколько остановок,
Вмешательства каноников собора,
Что знают краски по своим чулкам
И заняты всю жизнь одной постройкой —
Постройкой своего благополучья!
А что потом? Весь недостаток в средствах
Я должен возмещать, идя вперед, —
Как воин Спарты, меч держа короткий,
Тем вынужден был делать лишний шаг.

(Пауза.)

И неужели умер Бастиано,
И свет угас, и музыка умолкла,
Вносящая веселье в нашу жизнь, —
Умолкла, как лукавый мадригал,
Пропетый под окном ночным гулякой?
Как странно в самом деле, что его
Я пережил. Который раз нарушен
Закон природы. Умер молодой,
А старый жив. И сколько их, живущих

Лишь потому, что их не догадались
Похоронить. . . Но что все это мне!
Ведь для меня навеки скрылось солнце,
Все — темнота, немая темнота!
Направо и налево от меня
Все рушится под молниями смерти,
Мир рассыпается вокруг меня,
Как старая стена. И я один.
Не нужно мне друзей. Теперь со мной
Нет никого, — одни мои раздумья
О ней. Они нисходят, точно с неба,
Лаская одиночество мое.
Под старость та же мысль о близкой смерти
Повсюду нас преследует, как тень.
За стол садимся, — и она садится.
Заснем, — она задремлет. А наутро —
Она уж тут как тут у изголовья.
К чему же спор со спутницей упрямой,
Раз общества ее не избежать?
Нет, мне она не враг. Я с ней сдружился
С тех пор, как потерял своих друзей.

2

ВИНОГРАДНИК ПАПЫ ЮЛИЯ

Папа Юлий III сидит у фонтана Аква Верджине, окруженный
кардиналами.

Юлий

Скажите, почему вы недовольны,
Вы, Сальвиати, или вы, Марчелло,
Синьором Микеланджело? Что сделал
Или чего не сделал он? Когда
Скончался папа, — делают другого;
Я мог бы сделать десять кардиналов,
Но сделать Микеланджело не в силах.

Кардинал Сальвиати

Святой отец, мы только сожалеем
О немощи его. Он слишком стар.

Ю л и й

Но стары ведь и вы, мой Сальвиати,
И, значит, тоже немощны? Стыдитесь!
Нет, старый конь не портит борозды!

К а р д и н а л М а р ч е л л о

Святой отец, он нами был поставлен
Поправить ветхий мост святой Марии,
Нагромоздил повсюду лес и туф,
Соорудил кессоны, но годами
Мы ждали окончания работ,
Покуда не был призван Баччо Биджо.

Ю л и й

Все тот же Баччо Биджо. Всюду он!
Кто вел работы в гавани Анкона?
Не он ли?

К а р д и н а л М а р ч е л л о

Он.

Ю л и й

А, значит, вы забыли,
Что за день ваш хваленый Баччо Биджо
Так гавани прекрасной навредил,
Как море за пять лет не навредило.
Так им вы собирались заменить
Синьора Микеланджело в постройке
Базилики апостола Петра?
Осел, который мнит себя оленем,
Поймет ошибку, прыгнув через ров.

К а р д и н а л М а р ч е л л о

Но он не строит: только разоряет
Плоды трудов Браманте и Сан Галло.

Ю л и й

Чтоб сделать лучше прежнего.

Кардинал Марчелло

Но время

Уходит год за годом, а работа
Не кончена. Пусть он великий скульптор,
Но он не архитектор. План его
Ошибочен.

Юлий

Я видел и одобрил
Его модель. Но вот идет он сам.
Не ссорьтесь с ним, не то он для собора
Наделает из вас кариатид.

Те же; Микеланджело.

Приблизьтесь, дорогой маэстро. Здесь,
В садах, все церемонии излишни.
Садитесь!

Микеланджело

(садится)

Как легко снисходит ваше
Святейшество к годам моим преклонным,
К их немощи.

Юлий

Вернее, к их правам.
Искусство я ценю. Мои прогулки
По саду и строительство дворца
Отрадны мне. И если вас, маэстро,
Я не просил помочь, то потому,
Что я боялся увеличить бремя,
Лежащее на вас. Здесь я спасаюсь
От суеты. И шум немолчный Рима
Сюда не долетает.

Микеланджело

Хорошо!

Вот тихая обитель!

Юлий

Мы живем
Пустынниками здесь. Отсюда виден

Нам желтый Тибр. Он рассекает город,
Как острый меч, до самого моста
Святой Марии. Кстати, мой маэстро,
Хорош ли этот мост?

Микеланджело

Мой вам совет —
Как можно реже ездить по нему.
Он ненадежен.

Юлий

Но его чинили.

Микеланджело

В один прекрасный день его снесет.
Его быки течением подмывает.

Юлий

Но ведь чинили вы.

Микеланджело

Я укрепил

Его устои и засыпал туфом
Изъяны мостовой. Но мой преемник
Кому-то продал камень, а взамен
Насыпал мелкий гравий.

Юлий

Кардиналы,
Вы слышите, что говорит маэстро?
Вот ваш хваленый Нанни Баччо Биджо.

Микеланджело

(в сторону)

Какая-то загадка. Кардиналы
Недружелюбно смотрят на меня.

Юлий

Но есть дела важнее садов с мостами.
Мне жалобы приносят на собор
Апостола Петра, где в Трех Капеллах,

Как говорят, замечены изъяны.
Мы просим пояснений.

Микеланджело

Для искусства
Век золотой окончился. Любой —
Иконоборец, критик. Было время,
Когда искусством молча наслаждались,
А нынче каждый требует изъять
Того, чего не может он понять.
Никто теперь мадонну Чимабуэ
Торжественно не вносит в божий храм,
Но с буйною толпой бежит свергать
Фигуру папы, чтобы перелить
Ее в мортиру. Кто же мой собор
Так порицал?

Юлий

Доверенные лица
Верховных комиссаров утверждают,
Что в Трех Капеллах будет мало света.

Микеланджело

Не в Трех Капеллах мало света, ваше
Святейшество, а кое-где еще.
Кто эти лица?

Юлий

Кардинал Марчелло
И Сальвиати. Оба перед вами.

Микеланджело

Да будет мне позволено спросить,
Чем недовольны эти монсиньоры?

Кардинал Марчелло

Ваш план — не план Браманте и Сан Галло.

Микеланджело

Да, со времен архитектуры древних
Не появлялся лучший архитектор,
Чем наш Браманте. Всюду смелый план

Соединял он с верностью расчета.
Кто от его отступит мудрых планов —
От истины отступит. Но Сан Галло
Кругом расставил множество колонн,
И тотчас появились переходы
И темные углы, — как бы нарочно
Для всякого распутства. Приходилось
Двум дюжинам людей вооруженных
Под вечер очищать собор. Сан Галло
Оставил в темноте его, не я.

Кардинал Марчелло
Простите, но в любой из Трех Капелл
Всего по одному окну.

Микеланджело
Должно быть,
Не знает монсиньор, что я намерен
Пробить вверху еще по три окна.

Кардинал Марчелло
Об этом вы ни слова не сказали.

Микеланджело
Но я и не обязан и не буду
Рассказывать о замыслах моих,
Кто б ни просил об этом. Ваше дело —
Доставить средства и следить, чтоб воры
На них не наложили рук. А строить
Мне предоставьте!

Кардинал Марчелло
Но, любезный зодчий,
Вы забываетесь, так грубо споря
Со мною, кардиналом, при его
Святейшестве.

Микеланджело
(надевая шляпу)
О, нет, я не забыл,
Что мой далекий предок — граф Каносса,

В чьих жилах императорская кровь,
И я в родстве с Матильдой, что собору
Имения и земли отдала.
Недаром мой отец, Буонаротти,
Был подеста Киузи и Капрезе.
Я не привык, чтоб кто-нибудь со мной
Так говорил, как будто бы я нанят
Построить стену в чьем-нибудь саду
И по субботам платят мне.

Кардинал Сальвиати
(в сторону)

Недаром
При нем не смел садиться папа Клемент,
Чтобы и он не сел, — и каждый раз
Просил надеть без церемоний шляпу,
Чтоб он не вздумал сам ее надеть.

Микеланджело

Кто может умереть от тяжких бедствий,
Так это я. Мне этот труд навязан,
Я не искал его. Не ради славы
Я взялся за него, не ради денег,
Но из любви к Создателю. Быть может,
Я в старости обманут самонением
И вместо пользы приношу лишь вред.
Мне непосильно это бремя, ваше
Святейшество. Позвольте мне уехать
Обратно во Флоренцию.

Юлий

Нет, нет,

Пока я жив!

Микеланджело

Нам говорит Писанье,
Что те, кто смотрит в окна, помрачатся,
И каперс опадет, и зацветет
Миндаль.

Юлий

Да, это из Екклезиаста.

Микеланджело

Кузнечик станет бременем тяжелым,
И человек сойдет в свой вечный дом.
Все — суета и суета сует,
Сказал Учитель.

Юлий

Если б только делать
Могли мы так же просто, как желать, —
Художников мы больше б не искали.
Но как их мало — тех, кто воплощает
Великие желанья! Их нетрудно
По пальцам сосчитать. Нет, ваше место —
Там, у собора!

Микеланджело

Нет, надежды тщетны!
Осуществить великую мечту
Я не могу.

Юлий

Но кто же, кроме вас?
Какой-нибудь мошенник Баччо Биджо?

Микеланджело

Нет, только уж не это! Если так,
Еще немного тягостное бремя
Я пронесу. И если только ваше
Святейшество займется грешным миром,
А всю постройку предоставит мне,
Дела пойдут быстрее. О, если только
Все, что я сделал и намерен сделать,
Не будет мне защитой перед небом, —
Напрасны все труды.

Юлий

(возлагая руки на плечи Микеланджело)

Так будет лучше
Для тела и души.

Микеланджело

Не мелкий случай, —
Весь ход вещей гнетет меня: упадок
Искусства, — да, во всем значенье слова —
Всего, что украшает нашу жизнь
И позволяет нам, презрев заботы,
Вращаться в горнем мире красоты, —
И веры в идеал, и вдохновенья,
С которым раз севильские монахи
Воскликнули: «Давайте строить столько,
Чтобы в веках безумцами прослыть!»
Святой отец, позвольте вас оставить.

Юлий

Мое благословенье.

Микеланджело уходит.

Кардиналы,

С маэстро Микеланджело не должно
Как с каменщиком грубым обращаться.
Он знатен родом. У него в гербе
Два бычьих рога. И бодаться ими
Он может крепко. С этого мгновенья
И до конца времен — никто не смеет
Упомянуть при мне о Баччо Биджо.
В основе всех великих достижений —
Величие души. И как деревья
Приносят нам различные плоды,
Хотя любой по-своему прекрасен, —
Великие дела к лицу великим,
А малые приличны людям малым.
Мы по делам распознаем, кто мастер,
И мастеру не следует мешать.

3

ВИНДО АЛЬТОВИТИ

Улица в Риме. Биндо Альтовити в дверях своего дома.
Микеланджело проходит мимо.

Биндо

Мессеру Микеланджело привет!

Микеланджело

Привет мессеру Биндо Альтовити!

Биндо

Что подняло вас нынче?

Микеланджело

Что и вас

Поставило у двери, как на страже:

Чудесный воздух утра. Но скажите,

Что пишут из Флоренции?

Биндо

Все то же.

Рассказы о насилии и зле.

С тех пор как сквозь ворота городские —

В лохмотьях, с непокрытой головой,

Сидящих на разбитых скверных клячах —

Как пойманных бандитов, провезли

Филиппо Строцци с Баччио Валори

По улицам Флоренции, под крики

Неблагодарных толп, — свобода пала,

И Козимо единовластно правит.

Микеланджело

Флоренция мертва. Ее дома —

Гробницы, а на улицах безлюдно

И тихо.

Биндо

Да, я часто вспоминаю

Слова, что начертали вы под вашей

Фигурой Ночи в тихом Сан-Лоренцо:

«Отраден сон; быть мрамором — отрадней,

Когда вокруг неправда торжествует.

Не видеть и не чувствовать — блаженство.

Так не буди; и шепотом беседуй!»

Микеланджело

Разрушенное счастье, запустенье

Флоренции и бедственные судьбы

Изгнанников — трагедия моя,

Ужасней слов, отчаянья мрачнее.
Я с детских лет боготворил свободу,
В моих мечтаньях, как любовник страстный,
Я ей давал роскошные одежды
По указаниям сердца и ума.
И вот я вижу, что она мертва
И попрана стопою проходимца.
Такое горе нынче не по силам
Для лет моих, и без того суровых.

Биндо

Я вспомнил — новость есть: мне Бенвенуто
Писал, что едет в Рим и будет гостем
Моим.

Микеланджело

Вот этой новости я рад.
Да, много, много лет он был в отъезде.

Биндо

Зайдите в дом, прошу вас.

Микеланджело

У меня
Нет времени. И все же я войду.
Там все полно созданными искусства.
Я вижу бюст, который сделан с вас
И отлит в бронзе. Кто же этот мастер
С таким чутьем и силой?

Биндо

Бенвенуто.

Микеланджело

А? Бенвенуто? Это создал гений.
Меня он восхищает даже больше
Античных статуй, что стоят кругом,
Хотя они — редчайшие. Но вы
Поставили его так высоко,
Что свет из окон портит выраженье.
Будь окна выше — этот бюст, конечно,

Среди работ античных мастеров
Свое бы занял место. Я войду
И это чудо рассмотрю поближе.
Всегда я говорил, что Бенвенуто,
При всех его причудах и безумствах,
Покажет гениальные работы,
И удивит весь мир, и бросит вызов
Всем лучшим современным мастерам.

Входят в дом.

4

В КОЛИЗЕЕ

Микеланджело и Томазо де Кавальери.

Кавальери

Что делаете вы один, маэстро?

Микеланджело

Я здесь учусь.

Кавальери

Но вы давно уж мастер
И учитесь весь мир.

Микеланджело

Нет, я невежда
И даже, как сказал один философ,
Невежества не вижу своего.
Я ученик, не знающий урока,
Перед античным мастером, создавшим
Такое здание, величиной
Достойное циклопов.

Кавальери

Гауденций —

Его незабываемое имя.
В награду он был брошен на съеденье
Голодным львам, вот здесь.

Микеланджело

Пустые сказки.

Кавальери

Но вами Гауденций превзойден.

Микеланджело

Прошу вас, помолчите.

Кавальери

По преданью,
Амфитеатр огромный возвели
За десять лет. Строителей же было
Пятнадцать тысяч.

Микеланджело

Он неповторим,
Былого Рима мраморная роза.
Три раза по пятьсот суровых лет
Грозили бури лепесткам чудесным,
Замшелый камень увозили в город,
Им украшали церкви и дворцы,
Он лег на стройных набережных Тибра
Нам под ноги. Но то, что здесь осталось,
Все так же гордо подставляет грудь
И солнцу и созвездиям, что ночью
Висят над ним, как пчелы дружным роем.

Кавальери

Да, роза Рима, но не роза рая,
Не та, что у тосканского поэта.
Там лепестками были херувимы,
А здесь — совсем иные лепестки:
Сенаторы в их шапках фессалийских
И толпы разъяренной римской черни.
Ни Цезаря супруга, ни весталки,
Смотревшие, как гибнет гладиатор,
Не придавали розе обаянья.

Микеланджело

Я говорю о здании — не людях,

Кавальери

Песок пропитан кровью христиан,
А эти камни, полные расщелин,
Немые обличители толпы,
Что наслаждалась видом смертных мук.

Микеланджело

Томазо Кавальери, почему
Вы — живописец, а не проповедник?
Вам кажется, что я, хваля постройку
И смело перекинутые арки,
Оправдываю древнюю жестокость?
Мне стыдно сравнивать работы наши
С трудами римских зодчих. Эти стены
Стояли прочно при землетрясениях,
Они служили верной цитаделью,
Выдерживая долгие осады.
Железные их скрепы кто-то вырвал,
И все-таки они стоят доньше,
Как будто вытесаны из скалы,
Что в глубь земли вросла неколебимо.

Кавальери

Я повторяю, что работы ваши
Прекрасней, потому что ваши цели —
Возвышенной. А это — лишь руины,
В которых укрываются бандиты
Да призраки замученных людей.

Микеланджело

Но тысячи цветов из каждой щели
Наружу смотрят; птицы свили гнезда
Среди осевших и упавших арок
И новые понятия красоты
Внушают архитектору. Пойдем,
Вскарабкаемся по остаткам лестниц
В те коридоры, что идут над нами,
И будем изучать и удивляться
Загадкам древним искусства,
В котором я не мастер — ученик.

Всему придет конец. Самой планете
Конец настанет. Так, во сне однажды
Увидел я, что с неба протянулась
Огромная рука и мерный ход
Земли остановила. Водопадом
В немую бездну хлынули моря,
Луга и рощи в воздухе повисли,
Как некие лесные острова,
Гроба разверзлись, мертвые с живыми
Перемешались, — и живые гибли,
И города с вечерними огнями
Рассыпались, как сыплются алмазы
Из сломанной короны. От земли
Остался только каменный скелет,
А над землей повис зловещей тучей
Взметенный прах, и все, что в нем смешалось,
Низринулось на мертвую планету,
Тонувшую во тьме, как тот корабль,
Который долго разбивает волны,
А там идет ко дну и в темной бездне
Ложится вместе с мертвым экипажем.

К а в а л ь е р и

Но ведь Земля не движется.

М и к е л а н д ж е л о

Кто знает?

Великих истин светлые шатры
Мы с наших стен нередко различаем
Как бы в тумане. Но прольется свет,
И мир признает истину. Я слышал,
Что человек по имени Коперник,
Который был профессором здесь, в Риме,
Тайком учил, что движется Земля,
Не Солнце. Так и сон, что мне приснился,
Был только сном. Но часто наши сны
Опережают явь. И в них увидишь,
Чего не видел наяву.

СНОВА БЕНВЕНУТО

Рынок деи Корви. Микеланджело, Бенвенуто Челлини.

Микеланджело

Итак, мой Бенвенуто, ты опять
Вернулся в вечный город. Да, ведь к Риму
Все тяготеет. Более нигде
Покоя не найти. Вдали от Рима
Нам нравятся другие города,
Но ненадолго. Только этот город —
Блаженство наше, родина вторая,
Не только по случайности рожденья,
Но по любви.

Бенвенуто

Я здесь остановился,
У Биндо Альтовити. Утром ногу
Поцеловав святейшему отцу,
Я тотчас поспешил сюда, к руке
Великого маэстро.

Микеланджело

И нашел

Маэстро постаревшим.

Бенвенуто

Не стареют

Прекрасные скульптуры.

Микеланджело

Да, закат,

Хотя еще не ночь. Двенадцать лет —
Немалый срок. Что Франция?

Бенвенуто

Маэстро,

Боюсь, рассказ мой может затянуться.
Я был отлично принят королем,
Который мне назначил содержанье,
Какое получал наш Леонардо,
А мастерскую дал мне в Тур де Нель,
Над самую рекой.

Микеланджело
Прием прекрасный.

Бенвенуто

Чем за него я оплатил — неважно,
Есть вещи поважнее, о которых
Хочу я говорить. Вы мне писали
О римском бюсте Биндо Альтовити.
Я превосходно помню эти строки:
«Мой Бенвенуто, я немало лет
Считал тебя великим ювелиром.
Теперь я знаю — ты не меньший скульптор».
Великодушный мастер! Как, скажите,
Мне отвечать на добрые слова?

Микеланджело

Поверить в них. Я у мессера Биндо
Увидел бюст, решил, что он не хуже
Античных, и об этом написал
Тебе. Вот все, пожалуй!

Бенвенуто

Слишком много!

И я сейчас терзался бы стыдом,
Когда бы не имел работ достойней,
Чем этот бюст.

Микеланджело

А что ты сделал лучше?

Бенвенуто

Перед отъездом я вам обещал,
Уехав превосходным ювелиром,
Вернуться славным скульптором. И слово
Я полностью сдержал.

Микеланджело

Мой Бенвенуто,

Я признавал твой гений, но боялся
Твоих пороков.

Бенвенуто

Я их превратил
Успешно в добродетели. Упрямство
И вспыльчивость отлично помогают,
Где кротость и терпенье не помогут.
Не так давно из бронзы я отлил
Персея. В левой поднятой руке
Он крепко держит голову Медузы
И в правой — меч, что голову отсек.
А правой пяткой тело попирает.
В лице его — и гордость и печаль,
Глаза устремлены на жертву мести.

Микеланджело

Я вижу ясно.

Бенвенуто

И мою скульптуру
На площади поставить решено:
На полути от вашего Давида
К Юдифи Донателло? Так и будет.

Микеланджело

Соперница обоим!

Бенвенуто

Но, маэстро,
Как изводил меня и Бандинелло,
И этот Риччи, главный мажордом
У Козимо, и их шпион Горини,
Который всюду крался вслед за мною,
Как черный настороженный паук,
Гудя над ухом комару подобно.
Я плакал от досады, проклиная
Тот час, когда покинул Тур де Нель
И прибыл во Флоренцию — когда
Подумал о Персее. Сколько сплетен
Нашептывали герцогу они,
Чтоб повредить работе!

Микеланджело

Ложь подобна
Секундной стрелке, что кружится быстро.
Но часовая стрелка, стрелка правды,
Недвижная как будто, побеждает:
Пока она до цели не дойдет,
Часы не станут бить.

Бенвенуто

Мое упрямство
Мне помогло преодолеть преграды,
Поставленные завистью и злобой.

Микеланджело

Смотря на завершенное творенье,
Никто не видит долгого труда,
Не думает — чего лишился б мир,
Когда бы мастер отложил работу.
Как в здании лежит на камне камень, —
А нет фундамента, нет и строения, —
Так каждый добрый или злой поступок
Покоится на совершенных прежде,
Забытых и запрятанных в земле.

Бенвенуто

Сам Бандинелло похвалил Персея,
Хоть герцогу он прежде говорил,
Что я не отолью большой фигуры.

Микеланджело

Но ты Персея все-таки отлил
И сделал Бандинелло лжепророком.
Да, лучший довод — дело.

Бенвенуто

А отливка!
Какую ночь я пережил тогда!
Был дождь и ветер. Мы топили печь
Сосной из Серристоры. Скоро пламя
Взметнулось до стропил. Оно грозило
Поджечь всю кровлю и ее обрушить

На наши головы. Из сада ветер
И дождь врывались к нам, гася огни,
И я почти отчаялся. То в холод,
То в жар меня бросало поминутно.
Я думал, что умру. Пришлось уйти
И на постель свалиться без надежды.
И вдруг у изголовья моего
Старик явился, дряхлый и горбатый,
И так уныло, как ущевают
Преступника, ведомого на казнь,
Стал причитать он: «Бедный Бенвенуто!
Металл испорчен! Не спасти работу!»
Тогда с таким ужасным диким криком,
Что мог достичь он огненных небес,
Я на ноги вскочил и вновь ворвался
К моим подручным. Все они стояли
В унынии и страхе. Я взглянул
И увидал, что масса потускнела.
В отчаянье я стал бросать в огонь
Дубовые поленья. Страшным жаром
Дохнуло на меня. Но мой металл
Как будто ожил — засиял, зарделся.
Потом блеснул огонь, раздался взрыв,
Как будто гром над нами прокатился,
Тяжелый свод печи внезапно треснул,
И ливень бронзы хлынул через край.
И я пустил ее по желобам,
Чтобы наполнить форму. Но металл мой,
Густой и тусклый, тек подобно лаве,
И я послал подручных принести
Все олово мое — ковши и чаши:
Их было до двухсот. Я приказал
Бросать в огонь посуду, чтобы сплав
Пожиже сделать. И в одно мгновенье
Наполнилась вся форма до краев.
И на коленях я благодарил
Творца. Потом мы весело поели
И спать легли. За окнами светало,
Я был совсем здоров.

М и к е л а н д ж е л о

Да, странный случай.

И он ни с кем не мог случиться, кроме
Тебя, мой Бенвенуто!

Бенвенуто

Мажордом

Расспрашивал подручных, и они
Сказали: «Это был не человек,
А сущий дьявол!»

Микеланджело

Какова отливка?

Бенвенуто

Прекрасна. Только правая стопа —
О чем я герцога предупреждал —
Чуть хуже вышла. И хватило бронзы, —
Ни капли больше и ни капли меньше.
Не чудо ли, маэстро?

Микеланджело

Да, я вижу,

Как в добродетель перешел порок.

Бенвенуто

Я заболтался. Есть дела важнее,
Маэстро: герцог Козимо вас просит
Приехать во Флоренцию. Вас ждут
Все почести, вы будете сенатор,
Один из Сорока Восьми.

Микеланджело

Довольно!

Его сенатор! А! С тех пор как папой
Отменена республика и герцог
Поставлен над Флоренцией, я боле
Не флорентинец. Кончились мечты.
Великий герцог Козимо у власти,
Свобода умерла. О, горе мне!
Я родину мою хотел увидеть
Идущей к славе, счастью и добру,
Не снившимся другим! Но вал высокий
Пошел на спад и разом хлынул вниз.

Флоренция хрипит предсмертным хрипом.
Я слишком стар, чтоб ждать иных времен,
И здесь умру. Мне сорная трава,
Растущая среди развалин Рима,
Дороже, чем садовые цветы
Всех городов других. Кольцо Кампаньи,
Сквозь дымку облегающее город,
Дороже вилл тосканских городов.

Бенвенуто

Но там остались старые друзья.

Микеланджело

Умерщвлены: Валори обезглавлен,
Филиппо Строцци в крепости задушен,
А Гвиччардини отравил шпион.
Как может во Флоренции теперь
Жить честный человек? Кто поручится
За жизнь мою?

Бенвенуто

Что ж, если все друзья
Погибли, то врагов не стало тоже.

Микеланджело

Но Аретино?

Бенвенуто

Он давно уехал
В Венецию.

Микеланджело

От этого не легче.
Развратного, пустого шарлатана
Льстецы зовут божественным, как будто
Желая это слово осквернить.
Он мне прислал письмо, — не запечатав,
Рассчитывая явно на огласку, —
Где в каждом слове видно столько злобы,
Что я дивлюсь порочности его.
Он сущий дьявол, а не ты. Когда-то
Он вздумал наставлять меня, как должно
Писать мне Страшный суд!

Бенвенуто

Да, да, я помню.

Микеланджело

Он пишет мне, что как христианин
Он оскорблен нескромностью манеры,
В которой я работал.

Бенвенуто

Лицемер!

Микеланджело

Еще он пишет: что миру стало ясно,
Что не хватает набожности мне,
Что я хвалюсь работой. Мне? Хвалиться?
Пусть хвалится собою Буджардини
И прочие. Я вечно недоволен
И ясно вижу, как мои созданья
От замыслов великих далеки.

Бенвенуто

Теперь лишь до конца я постигаю
Всю подлость этой твари. Обвинить
Вас в ереси сейчас, в такое время!
Какая низость!

Микеланджело

Ангелов пишу я

Без ореола, а в моих святых
Нет скромности земной.

Бенвенуто

Какая наглость!

Микеланджело

Язычники Диану одевали
Покровом непрозрачным. А когда
Писали Афродиту обнаженной,
Смиранный вид служил ей одеяньем.
Ей придавали некую одежду.
То в древности. А я, христианин,

Искусству преданный к ущербу веры,
Из девственниц и мучеников создал
Такое зрелище, что на него
Глаз не поднимут и в развратном доме.

Б е н в е н у т о

Он там как дома и, конечно, знает,
Кто от чего там отведет глаза.
Тем паче — Страшный суд! . . Вполне понятно!

М и к е л а н д ж е л о

Но небо не замедлит наказать
Нечестие мое. И чем прекрасней
Моя работа, тем неизгладимей
Порочит гений мой. Но если б только
Все то, что он когда-то мне писал
В своем письме, уже известном миру,
О небе, и об аде, и о рае,
Исполнил я, природе не пришлось бы
Стыдиться, что меня она почтила
Таким талантом; что теперь в искусстве,
Как некий гордый идол, я стою.
Он также упрекал меня со злобой
Гробницей папы Юлия, доселе
Не конченной. Писал, что это было
Пророчеством дурным — при жизни папы
Ваять ему гробницу. Вспоминал
О золоте, завещанном мне папой,
И называл грабителем меня.
Вот все, что он писал мне. Что водило
Его рукой?

Б е н в е н у т о

Тщеславие, маэстро!

Он — умный автор, и ему приятно
Пером проворным оскорблять людей,
Размахивая им у них пред носом
Подобно тем, кто бьется на рапирах,
Чтоб ловкость показать. И если б вы
Принять его советы пожелали
Иль только поблагодарить его,
Он стал бы фехтовать куда любезней

Всему виной задетое тщеславье
И жажда видеть собственное имя
На титульном листе. Не придавайте
Значения письму. Его забудут.

Микеланджело

Да будет так. Ведь это — та же брань
И те же камни, что швыряли дети
Вслед Данте.

Бенвенуто

Но скажите мне, маэстро,
Что герцогу могу я передать?
От вас он не потребует работы.
Почтите лишь Флоренцию приездом,
А там он будет ожидать, что вы
Иной раз ценный ваш совет дадите.

Микеланджело

Ты слышал мой ответ. Ему ничем
Меня не заманить. Моя работа —
Здесь в Риме, только здесь, — собор святого
Петра. Все предыдущие творенья
Забыты мной теперь. Я их оставил,
Как веши, на дороге за собою,
Но то, что впереди, еще мое.
Строительство не кончено. Не могут
Ни упросить меня, ни оторвать
Приманками богатства или славы,
Покуда не поднимется собор
Такой, каким в мечтах его я вижу.

Бенвенуто

А живопись?

Микеланджело

С ней кончено.

Бенвенуто

Я рад.

Скульптура выше и к природе ближе,
Которая всегда творит рельефно.

Огромный шар земли был также сделан
Из глины — и в горниле обожжен,
И все мужчины, женщины, все звери
Суть статуи, а не созданы кисти.
Что говорить! Цветы, деревья, фрукты
Сначала были вылеплены богом,
Раскрашены — потом. Искусство красок
Нам лжет. Оно лишь призрак.

Микеланджело

Это верно,
Скульптура больше. Мертвых оживлять —
Задача выше, чем плодить фантомы.
Из трех сестер — искусств — важнее та,
Что строит. Эта — старшая. Другие —
Не боле, чем прислужницы ее.
Они не создают, а подражают,
И я теперь подвластен только старшей.

Бенвенуто

Но разве вы не будете ваять
На удивленье миру?

Микеланджело

Для собора
Скульптур мне нужно много. Место каждой
Уже отвел я и его запомнил.
Но дело плохо движется. Все время
Задержки. То не хватит матерьяла,
То денег. Бесконечные помехи,
Интриги кардиналов, споры с ними,
И зависть архитекторов, и сплетни.
Я вынужден бороться, но работу
Я доведу до самого конца.
Но прежде может смерть меня настичь, —
Незванный гость, что без предупрежденья
Является и вдруг кладет конец
Всем замыслам. Тогда, мой Бенвенуто,
Не ранее, я, может быть, поеду
Обратно во Флоренцию. Пусть герцог
Узнает мой решительный ответ.

Мастерская Микеланджело. Микеланджело и Урбино.

Микеланджело
(отрываясь от работы)

Урбино, мы с тобою старики,
Я с каждым днем слабею.

Урбино

Эччеленца,
Вам показалось. Разве я не вижу,
Что вы дробите мраморные глыбы,
Как двадцать лет назад?

Микеланджело

Привычку к камню
Привила мне кормилица моя,
Жена каменотеса в Сетиньяно.
Ведь первый звук, который я услышал,
Был звон резца.

Урбино

И до сих пор резцом
Вы искры высекаете.

Микеланджело

Пустое,
Мой мрамор слишком тверд.

Урбино

Но эту глыбу
Прислал вам из Каррары Тополино,
А он знаток.

Микеланджело

И с этой глыбой вместе
Почтил меня своим произведением,
Меркурием с короткими ногами.
И длинным телом, — точно у богов
Посланец может быть коротконогим.

Да он не более, чем ты, Меркурий.
Скорей походит он на те фигурки
Из алебаstra, что нередко в селах
Торговцы предлагают, уверяя,
Что это изваяния святых.
Но, к счастью для синьора Тополино,
Немногие способны отличить
Прекрасные работы от хороших,
А для профанов — все равны, и часто
Великие бездарным уступают.

У р б и н о

Ах, как тогда смеялся Эччеленца!

М и к е л а н д ж е л о

Да, бедный Тополино! Но не каждый
Рождается художником. И труд
Не всякого им сделает.

У р б и н о

Конечно,

Как ни трудись, а папою не станешь.
Я растирал вам краски тридцать лет,
Но ведь не стал художником.

М и к е л а н д ж е л о

У многих

Глаза не видят; я же в каждой глыбе
Так ясно вижу статую, как будто
Она уже стоит на постаменте,
Законченная, в должном освещенье.
Я только разрушаю оболочку,
Которая скрывает красоту,
Чтоб и другие ею восхищались.
Но я старею. Что ты будешь делать,
Когда меня не станет?

У р б и н о

Эччеленца,

Я перейду к другому.

Микеланджело

Никогда!

Служить — не сладко. А ведь сколько лет
Ты прослужил мне верою и правдой
И был скорее другом, чем слугой.
Старели мы бок о бок. Неужели
Ты мог о Микеланджело подумать,
Что он слугою здесь тебя оставит,
Когда от всяких служб уйдет навек?
Вот кошелек. Возьми. Здесь золотые,
Две тысячи.

Урбино

Две тысячи!

Микеланджело

Теперь

Ты стал богат. Умрешь не в богадельне.

Урбино

Хозяин!

Микеланджело

Я с собой их не возьму.

Последняя одежда — без карманов.

Урбино

(целуя руку Микеланджело)

Мой щедрый господин!

Микеланджело

Тсс!

Урбино

Добрый ангел!

Микеланджело

Молчи, старик. Ступай ложись — и помни:
Ты был у Микеланджело слугою,
И ты служить не должен никому.

Микеланджело, один в лесу.

Микеланджело

Как тихо здесь! Огромные дубы
 Стоят неколебимо. Легкий ветер
 Касается неслышно их ветвей.
 Спокойствие лесное так подходит
 К дням нашей старости! Деревья эти,
 Что в детстве, верно, слышали коней
 И трубы Барбароссы, — про себя
 Смеются над людьми. При всем старанье
 Нам не прожить сто лет. Вот этот желудь,
 В тюрбанчике своем подобный турку, —
 Кто знает — может стать огромным дубом
 И, желуди роняя, ими будет
 Кормить свирепых диких кабанов
 И птичьи гнезда на руках могучих
 Укачивать, пока весь мир, все люди —
 Отцы, и сыновья, и сыновья
 Их сыновей — не станут глиной, прахом.
 В просветах меж деревьями я вижу
 Клитумний, эту тихую долину,
 Дома, и рощи, и под тополями
 Пасущееся стадо белоснежных
 Быков у светлой речки. О природа!
 Кормилица и ласковая мать!
 Я, не любивший должною любовью
 Тебя и проводивший год за годом,
 Как в заточенье, в городских стенах,
 Вдыхавший душный воздух шумных улиц,
 Теперь пришел к тебе. Здесь тишина.
 Отшельники своими огоньками
 Усеяли пологий склон горы,
 А монастырь святого Юлиана —
 Как мрачное орлиное гнездо,
 Что за утес отвесный уцепилось.
 Там, над равниною, садится солнце,
 Пурпурное, как Аполлонов диск,
 Который стал орудием Зефира,

И Гиацинта поразил, и кровь,
Цветами ставшую, на землю пролил.
Но демоны прогнали божества,
Отшельники повыжили дриад,
Да и Силена и его осла
Прогнали наши тучные монахи.

А вот один из братьев монастырской
С коричневым морщинистым лицом
Сидит под исполинскими дубами,
Морщинистыми, так же как и он.
О чем его раздумье? Добрый вечер,
Святой отец!

М о н а х

Господь с тобой!

М и к е л а н д ж е л о

Простите!

Я помешал вам.

М о н а х

Нет, я лишь мечтал.

Всю жизнь одно прекрасное виденье
Преследует меня. Ему не сбыться,
И я всю жизнь стремлюсь к нему мечтою,
Но без надежды.

М и к е л а н д ж е л о

Все живут мечтами.

И у меня их много не сбылось.
Всё суета. Я думал иногда:
В стремленье счастье, а не в достижение —
Достигнутым мы меньше дорожим.
О чем же вы мечтаете? Скажите!

М о н а х

Как сноп Иосифа, перед которым
Склонились все снопы, а он стоял, —
Одно мне душу полнит и терзает.
Оно моим молитвам придает

И смысл и живость. Я хотел бы видеть
Наш Вечный Город.

Микеланджело

Рим?

Монах

Другого нет,
Другие суть хвастливые названья.
Небесный Город, золотом мощенный,
Хранимый сонмом ангелов!

Микеланджело

О, если б

Он был таким! Я только что бежал
От стен его. Под Римом — герцог Альба.

Монах

Он все ж — Небесный Город. Я хотел бы
Его увидеть, прежде чем умру.

Микеланджело

У каждого — свой крест.

Монах

Когда бы я
Нес крест, — я шел бы или же упал,
Но здесь распятие: к моему кресту
Я пригвожден и молча жду кончины.

Микеланджело

Но что бы вы хотели видеть в Риме?

Монах

Его святейшество.

Микеланджело

Так, так! Того,

Кто прежде звался кардинал Караффа?
Он — лишь старик восьмидесяти лет
И с глубоко запавшими глазами,
Что, как карбункулы, всегда горят.

Часами за столом с друзьями сидя,
Как мавров, он испанцев проклиняет.
Кто защищает Рим?

М о н а х

О, легионы

Архангелов!

М и к е л а н д ж е л о

Да, он их так зовет.

На деле ж это — немцы-лютеране,
Еретики.

М о н а х

О господи помилуй!

М и к е л а н д ж е л о

А что еще?

М о н а х

Узреть, как едут к мессе

В каретах золоченых кардиналы.

М и к е л а н д ж е л о

Не едут в рай в каретах!

М о н а х

Катакомбы,

Монастыри и церкви; пышный праздник

Страстной недели или рождества,

В их неземном величии и блеске.

Но я их не увижу.

М и к е л а н д ж е л о

Эти службы

И пышные обряды нашей церкви —

Пустое лицедейство перед тем,

Кто видит под личинами актеров.

Останьтесь здесь. Приехав в Вечный Город,

Вы можете увидеть слишком много.

Что дальше?

М о н а х

Я хотел бы там увидеть
Сикстинскую капеллу, Страшный суд.

М и к е л а н д ж е л о

Ей повредили чад свечей и ладан,
И краски потемнели.

М о н а х

Горе мне!

Но я хотел бы слышать «Мизерере»
Аллегри. Да, услышать папский хор!

М и к е л а н д ж е л о

Ах, эта музыка теперь звучит
Как реквием. Я стар, жил в Риме долго,
Лет тридцать. Мне понятны тайны мира,
Неравномерный ход его колес,
Его разлад, борьба его и страсти.
Послушайте меня: не покидайте
Своих лесов и не стремитесь в Рим.
Не забывайте — в древнем Виттенберге
Жил некогда монах. Ваш Вечный Город
Он посетил. Монаха звали Лютер.
Вы знаете о том, что было дальше.

Звонит монастырский колокол.

М о н а х

У нас в монастыре звонят к вечерне.
Помолимся о мире на земле.

8

МЕРТВЫЙ ХРИСТОС

Мастерская. Микеланджело при огне работает
над Мертвым Христом. Полночь.

М и к е л а н д ж е л о

Смерть, отчего твои черты немые
Я не могу схватить? Не оттого ли,
Что слишком близко от тебя стою?

Зачем меня ты за руку уводишь,
Как будто я твой робкий ученик?
Пускай юнец безусый подождет,
И он узнает, что такое старость.
Когда-то я сумел изобразить
И Жизнь, и Смерть, и Сон — прообраз Смерти.
Я помню ясно, что Джованни Строщи
Под изваяньем Ночи написал
Давным-давно, в капелле Сан-Лоренцо!

Отраден сон! Он стал еще отрадней.
Друзья мои в могиле. И она
Ушла за ними — мой вернейший друг.
Я видел, как великий скульптор, Смерть,
В холодном мраморе одним ударом
Ее запечатлел. И я губами
Руки коснулся, белой и холодной.
Но что мне не позволило коснуться
Прекрасных уст и лба? Отраден сон!

Входит Джорджо Вазари.

В а з а р и

Маэстро, добрый вечер или утро,
Не знаю, что из двух.

М и к е л а н д ж е л о

Как вы вошли?

В а з а р и

Я? Через дверь.

М и к е л а н д ж е л о

Асканио забыл

Закреть ее.

В а з а р и

Должно быть, так! Скажите,
Похож ли я на призрак, что способен
Пройти сквозь дверь? Я мимо проходил,
Увидел свет в окне и, услышав

Знакомый звон резца, зашел узнать,
Что вам так долго не дает ложиться.

Микеланджело
(выходя вперед с огнем)

Вы пиروвали с вашими друзьями,
Вазари, и ко мне сейчас пришли
Не вовремя.

Вазари

Я, впрочем, послан папой.
Его святейшество просил чертеж
Базилики и купола, который
Однажды он уж видел.

Микеланджело

Что ж, поищем.

Вазари

А что это за мрамор там, за вами,
Отсвечивает?

Микеланджело

Все — или ничто,
Кто как посмотрит. Я свое надгробье
Ваял.

Вазари

Но ради нашей давней дружбы
Не прячьте этой вещи от меня!
Не откажите!

Микеланджело
(роняя светильник)

Жизнь моя теперь —
Пустой театр. Огни уже погасли,
Оркестр умолк, актеры разошлись,
А я сижу, переживая сцены

Былых времен. Я стар, и смерть все чаще
За край одежды дергает меня.
И скоро я, как этот мой светильник,
Угасну — и последней искрой жизни
Не разгону суровой темноты.
Какая безнадежность! Мрак и горе!
Как близко смерть, как далеко до неба!



ПРИМЕЧАНИЯ

СТИХОТВОРЕНИЯ

НОЧНЫЕ ГОЛОСА

Гимн ночи (стр. 4).

Руны — письмена древних германцев. Рунами, в частности, записаны старинные песни скандинавских народов.

Шаги ангелов (стр. 5).

Посвящено памяти первой жены поэта, скончавшейся в Роттердаме 29 ноября 1835 г.

РАННИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Погребение Миннисинка (стр. 11).

Месяц лилий. — Названия месяцев у индейцев связаны с явлениями природы (ср., например, названия месяцев в «Песне о Гайавате»).

БАЛЛАДЫ

Скелет в броне (стр. 16).

Викинги — скандинавские мореплаватели в эпоху средневековья, занимавшиеся торговлей и морским разбоем.

Скальд — древнескандинавский поэт — певец.

Берсерк — скандинавский воин, обычно отличавшийся свирепостью.

Менестрель — странствующий поэт-музыкант в эпоху средневековья.

Ска — свежий ветер в проливе Скагеррак между Данией и Норвегией.

Скол! (норв.) — заздравное восклицание на пирах.

Гибель «Вечерней звезды» (стр. 20).

Галилея — в древности одна из областей Палестины.

РАЗНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Эндимион (стр. 25).

Эндимион — в античной мифологии пастух, возлюбленный богини Дианы.

К реке Чарлз (стр. 27).

Чарлз — река близ города Портленда, где Лонгфелло провел свою юность.

Excelsior (стр. 29).

Excelsior (лат.) — всё выше. Три первые строфы этого стихотворения перевел революционный демократ, поэт М. Л. Михайлов, считавший его «высоко поэтическим произведением, полным глубокой мысли».

Обитель Сен-Бернар — монастырь в Альпах.

Mezzo cammin (стр. 30).

Mezzo cammin (итал.) — в середине пути. Этими словами начинается «Божественная комедия» Данте.

СТИХИ О РАБСТВЕ

К Уильяму Чаннингу (стр. 31).

Уильям Чаннинг (1780—1842) — американский богослов и публицист, противник рабства негров.

Патмос — остров в Эгейском море, где Иоанн Богослов, согласно христианской легенде, написал Апокалипсис — последнюю книгу Нового завета, в которой говорится о «конце мира».

Полуночная песня раба (стр. 35).

Давид — полулегендарный древнееврейский царь (XI—X в. до н. э.). Известен своими псалмами.

Сион — гора близ Иерусалима, где находилась столица древней Иудеи. Впоследствии — то же, что и Иерусалим.

Павел — один из апостолов.

Квартеронка (стр. 37).

Квартеронка. — Квартероны — дети от браков белых с мулатами.

Предостережение (стр. 38).

Самсон — библейский герой, обладавший необычайной силой.

БАШНЯ В БРЮГГЕ И ДРУГИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Башня в Брюгге (стр. 40).

Брюгге — город во Фландрии.

Рыцари лесов фламандских, или «лесничие». — Такое звание давалось в старину губернаторам Фландрии, назначаемым французским королем.

Болдвин Браз де Фер — последний из губернаторов Фландрии. После него «лесничие» стали называться графами.

Лидерик де Бюк — первый из губернаторов Фландрии (VII в.).

Креси, Луи — граф, губернатор Фландрии.

Ги де Дампьер — граф, губернатор Фландрии.

«*Золотое руно*» — рыцарский орден, учрежденный в 1430 г.

Максимилиан (1459—1519) — германский император с 1493 г., сын императора Фридриха III, муж Марии Валуа (см.). Восставшие горожане Брюгге посадили его в тюрьму. Он был освобожден лишь после того, как, став на колени на площади, принес торжественную клятву, что не будет мстить горожанам Брюгге.

Мария Валуа — герцогиня Бургундская (1457—1482). В 1477 г. она прибыла в Брюгге в качестве губернатора Фландрии. В том же году она вышла замуж за Максимилиана.

Баварский герцог. — Согласно обычаям того времени, первую ночь новобрачная должна была провести не с мужем, а с лицом, условно его замещающим. Герцог Баварский, заместитель Максимилиана, должен был свадебную ночь провести с принцессой. Их разделял обнаженный меч, и четыре вооруженных воина охраняли их.

Намюр — город во Фландрии. Лонгфелло здесь имеет в виду Жана, графа Намюрского, предводителя восставших фламандских ткачей.

Гильом де Жюльер — второй предводитель восставших фламандцев.

Бой, где шпоры золотые стали символом разгрома. — Подразумевается битва (1302) между французами, которыми предводительствовал Роберт, граф д'Артуа, и фламандцами. Она закончилась полным поражением французов. В этот день погиб весь цвет французского дворянства. Битва получила название «День золотых шпор», так как вечером на поле боя было найдено много золотых шпор.

Минневатерская битва — сражение между горожанами Брюгге и Гента. Первые прорыли в Минневатере канал, что отрицательно сказалось на торговле города Гента. Поэтому горожане Гента напали на брюггцев и разгромили их.

Капюшонов белых ряд. — Предводителем горожан Гента был Жан Лион, капитан военного отряда в Генте, известного под названием «Белые капюшоны».

Артевельде, Якоб ван (1295—1345) — один из вождей фландрских городов, восставших против французов. Сын его, Филипп Артевельде, перенес изображение золотого дракона с колокольни Брюгге на колокольню Гента.

Роланд — название набатного колокола в Генте.

Солнечный луч (стр. 41).

Руфь — библейский персонаж.

Арсенал в Спрингфилде (стр. 43).

Спрингфилд — город в Северной Америке, в штате Массачусетс.

Норманны — северогерманские племена, в VIII—XI вв. завоевавшие Францию, Италию и Англию.

Тоскана — область в Северной Италии.

Ацтекские жрецы. — Ацтеки — индейское племя, господствовавшее в Мексике до испанского завоевания в XVI в.

Нюрнберг (стр. 45).

Пегниц — река в Германии, на которой расположен город Нюрнберг.

Кунигунда — императрица Германии, умерла в 1204 г.

Мельхиор — Мельхиор Пфинцинг (1481—1535), немецкий поэт XVI в. В своей поэме «Рыцарь Тейерданк» (1517) воспел Максимилиана и его женитьбу на Марии Валуа (см. прим. к стихотворению «Башня в Брюгге»).

Себальд. — Лонгфелло говорит здесь о церкви св. Себальда, где хранятся мощи этого святого.

Собор Лаврентия — одна из церквей в Нюрнберге.

Альбрехт Дюрер (1471—1528) — великий немецкий художник и гравер. Его картины («Адам», «Ева», «Четыре апостола») и гравюры на тему Апокалипсиса являются великолепными образцами искусства эпохи Возрождения.

Мейстерзингеры — поэты, композиторы, певцы средневековой Германии, главным образом выходцы из среды горожан и ремесленников. Жизнь и певческие состязания мейстерзингеров показаны в опере Рихарда Вагнера «Нюрнбергские мейстерзингеры» (1868).

Ганс Сакс (1494—1576) — знаменитый немецкий поэт-мейстерзингер, башмачник. Его произведения — басни, шванки (короткие рассказы в стихах) и фастнахтшпили (масленичные пьесы) — близки к народному творчеству.

Пушман, Адам (1532—1600) — один из поэтов-мейстерзингеров. Написал стихотворение на смерть Ганса Сакса.

Гонимому облаку (стр. 48).

Омахи, Черноногие — индейские племена, жившие в средней полосе Соединенных Штатов.

Чудовище злое — чудовище, которое, согласно индейской легенде, пожирало медведей, оленей, лосей и буйволов и обрекало индейцев на голодную смерть. Гитчи-Манито, верховное божество индейцев, прогнал его из прерий.

Миссури — река в Северной Америке, приток Миссисипи.

ПЕСНИ И СОНЕТЫ

Старому датскому сборнику песен (стр. 53).

Христиан — Христиан VII, датский король с 1766 по 1808 г.

Скальд, викинги — см. прим. к балладе «Скелет в броне».

Эльсинор — городок со старинным замком в Дании у пролива Зунд. В Эльсиноре происходит действие трагедии Шекспира «Гамлет».

Гамлет-отец — персонаж трагедии «Гамлет», являющийся в виде призрака своему сыну.

Йорик — придворный шут короля, отца Гамлета.

Принц Фридерик — сын Христиана VII, впоследствии король Дании Фридерик VI (1808—1839).

Английских пушек грохот. — В 1807 г., во время царствования короля Христиана VII, английская эскадра бомбардировала Копенгаген.

Вальтер фон дер Фогельвейде (стр. 55).

Вальтер фон дер Фогельвейде (ок. 1170—1228) — знаменитый немецкий миннезингер. Миннезингеры — немецкие средневековые поэты, представители так называемой «рыцарской лирики». Миннезингеры воспевали рыцарские доблести и любовь к прекрасной даме. Вальтер фон дер Фогельвейде был самым известным из них.

Застольная песня (стр. 57).

Силен — в греческой мифологии старик-сатир, учитель Диониса (Вакха). Обычно изображался в виде захмелевшего старика в венке из плюща.

Сатиры и фавны — в греческой мифологии козлоногие обитатели лесов, спутники Диониса.

Вакх (греч. Дионис) — бог вина и плодородия.

Феб (греч. Аполлон) — бог солнца, покровитель искусств.

Тирс — украшенный гроздьями винограда жезл вакханок — участник празднеств в честь Вакха-Диониса.

Клаудиус, Матнас (1740—1815) — немецкий поэт, автор стихо-

творений, посвященных темам вина и веселья. Известна его «Песня о вине», которую называли «вакхической марсельской немцев».

Реди, Франческо (1626—1697) — итальянский ученый и поэт. Написал ряд сонетов и дифирамб (восхваление в стихах) «Вахх в Тоскане». О Клауднусе и Реди Лонгфелло упоминает в своем романе «Гиперион».

Сок Фалерна, или фалернское — сорт вина в древней Италии.

Лукулл (106—56 до н. э.) — римский полководец. Славился своим богатством и пирами. Выражение «лукуллов пир» стало нарицательным.

Старинные часы на лестнице (стр. 59).

В стихотворении описываются часы, действительно стоявшие на лестнице в доме Лонгфелло.

Жак Бридэн (1743—1828) — французский проповедник и оратор. Осень (стр. 61).

Карл Великий (742—814) — франкский король, впоследствии император, создатель обширной империи. Образ Карла — величественного старца — дан в «Поэме о Роланде» — французском эпосе X в.

Данте (стр. 62).

Данте Алигieri (1265—1321) — великий итальянский поэт, автор поэмы «Божественная комедия» (1307—1321), написанной особыми трехстишиями — терцинами. Данте был родом из Тосканы.

Фарината дельи Уберти (XIII в.) — персонаж из «Божественной комедии», знатный флорентинец, один из вождей гибеллинов, которые боролись с гвельфами за власть во Флоренции. Фарината спас Флоренцию, которую хотели стереть с лица земли гибеллины, победившие гвельфов. Фарината томится в аду как последователь учения эпикурейцев, враждебного христианству.

НА БЕРЕГУ МОРЯ И У КАМИНА

Постройка корабля (стр. 63).

Каролина — название двух штатов в Северной Америке. Следует различать Северную и Южную Каролину.

Роанок — река и город в штате Виргиния.

Мэнская сосна. — Штат Мэн изобилует сосновыми лесами, которые давали превосходный материал для постройки кораблей.

Сэр Гемфри Гилберт (стр. 74).

Кампобелло — остров близ берегов Северной Америки.

Гольфстрим — теплое течение в Атлантическом океане.

М а я к (стр. 75).

Христофор — легендарный святой, отличавшийся гигантским ростом. Согласно библейской легенде, он перенес на себе Христа по бушующим волнам моря.

Прометей — в греческой мифологии титан, похитивший огонь у властителя Олимпа Зевса и отдавший его в дар людям. Образ Прометея часто встречается в мировой поэзии — у Эсхила, Гете, Байрона, Шелли и др. См. также стихотворение «Прометей».

Открытое окно (стр. 79).

Ньюфаундленд — порода крупных собак с длинной шерстью (по названию острова у берегов Северной Америки).

Г а с п а р Б е ц е р р а (стр. 80).

Гаспар Бецерра — легендарный испанский художник.

П е г а с п о д с т р а ж е й (стр. 81).

Пегас — в греческой мифологии крылатый конь. От удара копыта Пегаса возник священный источник муз — Иппокрена, вода которого давала поэтам вдохновение.

ПОЭМЫ

Песнь о Гайавате.

Стр. 85. Все индейские названия объяснены в специальном словаре, заключающем перевод И. Бунина (стр. 233).

Сватовство Майлза Стендиша.

Стр. 235. *Плимут* — старейшая колония в Новой Англии на восточном берегу Северной Америки, основанная в 1620 г. изгнанными из Англии пуританами, которые именовали себя «пилигримами».

Григорий святой — Григорий VII (ок. 1013—1085), римский папа с 1073 г.

«*Майский цветок*» — название корабля, на котором пуритане приплыли в Америку.

Стр. 236. *Цезарь, Юлий* (100—44 до н. э.) — знаменитый римский полководец, политический деятель и писатель.

Сагамор, сахем, пау-вау — названия вождей у индейских племен.

Аспинет, Самосет, Корбитант, Скванто иль Токамахдмон — имена индейских вождей.

Стр. 237. *Бариф* — английский военный писатель XVI в., автор книги «Спутник артиллериста».

Гольдиндж, Артур — английский переводчик XVI в.

Гай — подразумевается Гай Юлий Цезарь.

Стр. 238. *Брут, Марк Юний* (85—42 до н. э.) — один из участ-

ников заговора против Юлия Цезаря в 44 г. до н. э., нанесший ему первый удар в сенате. Крылатым словом стало предсмертное восклицание Цезаря: «И ты, Брут!»

Стр. 241. *Астарта* — древнефиникийская богиня плодородия и любви.

Ваал — верховное божество в религии финикийцев.

Лютер, Мартин (1483—1546) — один из главных деятелей Реформации в Германии. Перевел Библию на немецкий язык.

Стр. 244. *Апокалипсис* (греч.) — последняя книга Нового завета, в которой повествуется о «конце мира».

Стр. 245. *Вирсавия* — библейский персонаж, жена Урии, военачальника царя Давида. Воспылав страстью к Вирсавии, Давид послал Урию на верную гибель, а затем женился на Вирсавии.

Стр. 246. *Уот Тайлер* — вождь крестьянского восстания в Англии в 1381 г. Восставшие требовали отмены крепостного права. Уот Тайлер был предательски убит мэром Лондона Уолвортом.

Стр. 253. *Эдем* — по библейской легенде земной рай, место, где жили Адам и Ева до грехопадения.

Стр. 256. *Голиаф* — по библейской легенде великан, убитый в единоборстве юношей Давидом.

Ог — библейский царь.

Стр. 259. *Гельвеция* — древнее название Швейцарии.

Стр. 260. *Пресвитер* — пастор протестантской церкви в Англии и Америке.

Стр. 261. *Руфь, Вооз* — персонажи из библейской легенды.

Стр. 263. *Есхол* — область в Палестине.

Исаак, Ревекка — библейские персонажи.

СТИХОТВОРЕНИЯ 1858—1882

ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ

Прометей (стр. 267).

Прометей — см. прим. к стихотворению «Маяк». В наказание за похищение огня для людей Зевс приковал Прометея к скале на Кавказе, и коршун прилетал клевать печень Прометея.

Олимпийцы — греческие боги, которые, согласно легенде, жили на горе Олимп.

Дант — см. прим. к стихотворению «Данте».

Равенна — город в северной Италии.

Мильтон, Джон (1608—1674) — великий английский поэт, автор поэмы «Потерянный рай» (1667). В старости Мильтон ослеп.

Сервантес де Сааведра, Мигель (1547—1616) — великий испанский писатель, автор романа «Дон-Кихот Ламанчский» (1605—1615).

Корабль-призрак (стр. 269).

«Магналия Кристи» — «Великие деяния Христа в Америке», вышедшая в 1702 г. книга пуританского богослова Коттона Мезера (1663—1728), посвященная истории церкви в Новой Англии в XVII в. Новая Англия объединяет шесть северо-восточных штатов: Мэн, Нью-Хэмпшир, Вермонт, Массачусетс, Род-Айленд и Коннектикут. Книга Мезера содержит биографии священников и судей и описывает их борьбу с еретиками.

Еврейское кладбище в Ньюпорте (стр. 273).

Моисей — легендарный пророк и вождь древних евреев. Согласно легенде, Моисей принес скрижали с заповедями с горы Синай.

Давид — см. прим. к стихотворению «Полуночная песня раба».

Тора — пергаментный свиток с текстом первой части библии (Пятикнижие), обычно хранящийся в синагоге.

Измаил и Агарь — библейские персонажи. Агарь, рабыня Авраама, была изгнана Авраамом вместе со своим сыном Измаилом и долгое время скиталась в пустыне. Их имена употреблены здесь как символ изгнанников.

Гетто — в городах средневековой Европы и на Востоке особые районы, отведенные для евреев. Гетто исторически возникло в результате расовой дискриминации.

Мордухай — характерное еврейское имя, здесь употребленное в нарицательном смысле.

Талмуд — собрание иудейских религиозных книг, в которых дается толкование библии.

Оливер Басселин (стр. 274).

Басселин, Оливер (точнее Баслен) — французский поэт, живший в XV в. Его песни были изданы в 1610 г. под названием «Во-де-вир», откуда впоследствии возникло слово водевиль.

Вир — река и город в Северной Франции.

Азенкур — деревня в Северной Франции, где во время так называемой «Столетней войны» (1337—1453) английские войска разгромили французских рыцарей в 1415 г.

Утраченная юность (стр. 277).

В этом стихотворении Лонгфелло вспоминает о своем родном городе Портленде.

Бой, бушевавший вдали — морская битва, которая произошла 4 сентября 1813 г. между английским бригом «Боксер» и американским бригом «Энтерпрайз». *Два капитана* — убитые в этом морском

бою капитаны обоих бригав — англичанин Блайт и американец Барроуз. Их похороны состоялись в Портленде 7 сентября 1813 г.

Золотая вежа (стр. 279).

Джины — фантастические существа в арабском фольклоре.

Ариэль — фантастический персонаж из комедии Шекспира «Буря», светлый и радостный дух, который повиновался магической силе мудреца Просперо. Просперо освободил его из плена в расщепленном сосновом стволе, куда Ариэля заточила злая колдунья Сикоракса, мать дикаря Калибана.

Моряк, открывший Нордкап (стр. 281).

Альфред (1849—900) — король Уэссекса, одного из англо-саксонских государств. Альфред был крупным писателем. Он перевел книгу Орозия, испанского историка и богослова (V в.), «Всемирная история» и дополнил ее своими вставками. Одна из них — история норвежца Охтхере (Отгар), который рассказал Альфреду о своем плавании на север. Во время этого похода был открыт мыс Нордкап и путь в Белое море.

Час детей (стр. 286).

В стихотворении даны образы дочерей поэта — Алисы, Эдит и Аллегры.

Епископ Гаттон — легендарный епископ, который, в наказание за то, что сжег в своем амбаре голодных людей, пришедших к нему просить хлеба, был съеден живьем мышами в своем замке на Рейне. Эта история послужила темой баллады Жуковского «Суд божий над епископом».

Энкелад (стр. 287).

Энкелад — в греческой мифологии один из титанов, восставших против Зевса. Титаны были побеждены, и в наказание на Энкелада был навален остров Сицилия. Согласно легенде, извержения вулкана Этна вызываются усилиями Энкелада освободиться.

Несвершенное (стр. 291).

Тролли — сказочные существа, великаны (иногда — карлики) в скандинавских поверьях.

Фата-моргана (стр. 292).

Фата-моргана — обман зрения, мираж, когда в песчаной пустыне путешественнику кажется, что он видит зелень деревьев, синеву реки, деревни и сады.

Строитель замков (стр. 293).

Круглый стол — название, заимствованное из кельтской легенды о короле Артуре и так называемых «рыцарях Круглого Стола» (VI в.).

В ы з о в (стр. 294).

Замора — испанский город и крепость в провинции Леон.

Санчес — имя многих испанских королей Леона, Наварры и Кастилии.

Чарлз Самнер (стр. 296).

Чарлз Самнер (1811—1874) — американский прогрессивный политический деятель, abolitionист, известный оратор. Он отстаивал необходимость предоставления неграм избирательных прав. Был другом Лонгфелло и товарищем его по Боудойнскому колледжу.

Винкельрид, Арнольд — крестьянин, герой швейцарского народа. По преданию, в битве при Земпахе в 1386 г. ценой собственной жизни обеспечил победу швейцарцев над австрийцами. Об этом подвиге рассказывается в народной эпосе «Земпахская песня».

Путешествия у камина (стр. 297).

Эльсинор — см. прим. к стихотворению «Старому датскому сборнику песен».

Голландская картина (стр. 299).

Маас — река в Голландии.

Рембрандт (1606—1669) — великий голландский художник.

Таррагона — город в Испании.

Месть индейца Дождь-в-лицо (стр. 301).

Сиуксы — одно из индейских племен.

Рукавица императора (стр. 303).

Император. — Здесь Лонгфелло говорит о короле Испании Карле I (1500—1558). Во время его царствования Нидерланды находились под властью Испании.

Альба, Фернандо (1507—1582) — герцог, испанский полководец, правитель Нидерландов. Во время нидерландской буржуазной революции XVI века стремился жестоким террором подавить освободительную войну Фландрии против испанцев.

РАССКАЗЫ ПРИДОРОЖНОЙ ГОСТИНИЦЫ

Вступление (стр. 307).

Спинет — старинный музыкальный инструмент, разновидность клавесина.

Молино — персонаж из рассказа Н. Готорна «Мой родственник майор Молино».

Готорн, Натаниель (1804—1864) — выдающийся американский писатель, друг Лонгфелло. Автор романов «Алая буква» (1850), «Дом о семи фронтонах» (1851) и др.

Сэдбери — местечко близ Бостона, где находилась гостиница, описанная Лонгфелло.

Конкорд — городок, около которого происходили бои между английскими войсками и восставшими колонистами в 1775 г.

Шарлемань — французское наименование Карла Великого (742—814), короля франков.

Мерлин — волшебник, персонаж из рыцарских романов эпохи средневековья.

Фьерабрас, Элламур, Ланселот, Моргадур, Гай, Бевис, Гавэн — герои рыцарских романов.

Король, что Бомбой прозван — прозвище неаполитанского короля Фердинанда II, подвергнутого в феврале 1848 г. варварской бомбардировке город Мессину.

Бессмертные Четверо — итальянские поэты XIII—XIV вв. Гвидо Гвиничелли, Гвидо Кавальканти, Данте Алигиери и Франческо Петрарка.

Декамерон — сборник новелл итальянского писателя Джованни Боккаччо (1313—1375).

Фьезоле — холмистая местность в Италии, в области Тоскана.

Джованни Мели — итальянский поэт XV в.

Феокрит (III в. до н. в.) — греческий поэт, автор «Идиллий», создатель буколического, или пасторального, жанра в поэзии.

Пригчи Сандабара — собрание восточных легенд и сказок.

Талмуд и тора — см. прим. к стихотворению «Еврейское кладбище в Ньюпорте».

Каббала — мистическое толкование библии.

Гарвардский богослов — из Гарвардского университета в Кембридже, близ Бостона.

Рафаэль (1483—1520) — великий итальянский художник.

Кремона — город в Северной Италии, славившийся производством скрипок, родина Страдивариуса.

Антонио Страдивари, или Страдивариус (1644—1737) — знаменитый скрипичный мастер.

Скачка Поля Ревира (стр. 315).

Поль Ревир (1735—1818) — житель Бостона, резчик по серебру и гравер. В ночь на 18 апреля 1775 г. проскакал на коне из Чарлстона в Лексингтон и Конкорд, чтобы предупредить американских колонистов о приближении британских войск, которые должны были захватить склад оружия в Конкорде. Этот эпизод считается началом войны за освобождение колоний.

Лексингтон — городок, где произошло первое сражение войны за освобождение американских колоний в 1775 г.

Сокол съера Федерико (стр. 318).

Арно — река в Италии, на которой расположен город Флоренция.

Эолова арфа — струнный инструмент, издающий звуки от движения ветра. Эол — в греческой мифологии бог ветров.

Сага о короле Олафе (стр. 326).

Олаф (X в.) — король Норвегии, насаждавший христианство среди язычников, в частности в Исландии.

Тор — в скандинавской и германской мифологии бог войны, сын Одина. Борьба Тора и Олафа символизирует борьбу язычества и христианства.

Хакон — граф (ярл), придворный Олафа и его политический противник.

Ольга (X в.) — русская княгиня в Киеве, жена князя Игоря.

Гебридские скалы (Гебриды) — группа английских островов к западу от Шотландии.

Брунгильда, *Гудруна* — героини скандинавских саг.

Один — верховное божество в скандинавской мифологии.

Тангбранд (X в.) — священник-миссионер, посланный королем Олафом в Исландию с целью установления там христианской религии.

Венды — западнославянские племена, в средние века жившие на территории Восточной Германии.

Борислав — один из вождей вендов.

Эрик — сын Хакона, отомстивший Олафу за своего отца.

Торквемада (стр. 346).

Торквемада (1420—1493) — руководитель инквизиции в Испании, отличавшийся крайней жестокостью.

Фердинанд V (1452—1516) — король Арагона и Кастилии с 1468 г.

Изабелла (1451—1504) — королева Кастилии, жена Фердинанда V. Ее брак с Фердинандом объединил королевства Арагона и Кастилии в одно государство. Фердинанд и Изабелла были католиками и настойчиво преследовали еретиков с помощью инквизиции.

Вальядолид — город в северной Испании.

Идальго — испанский дворянин.

Авраам — библейский патриарх, согласившийся принести в жертву богу своего сына Исаака.

Птицы Киллингворта (стр. 351).

Кассандра — в греческой мифологии дочь Приама и Гекубы, обладавшая даром пророчества. Кассандра — символ пророка, предсказаниям которого не верят.

Эдвардс, Джон (1637—1716) — английский богослов.

Адирондак — горный хребет в северо-восточной части Соединенных Штатов.

Бомбазин — особый вид материи, где шерсть соединена с шелком.

Платон (429—347 до н. э.) — греческий философ-идеалист, ученик Сократа. Автор «Диалогов». В идеальном государстве Платона поэзия была запрещена, так как, по мнению Платона, к истинному познанию мира ведет не поэзия, а философия.

Для Саула пел Давид. — Саул (XII—XI в. до н. э.) — первый иудейский царь, предшественник Давида. В Библии рассказывается о том, как юноша Давид играл на арфе для Саула.

Барфоломеевская ночь — массовое избиение католиками гугенотов (протестантов) в Париже в ночь на 24 августа 1572 г.

Ирод — царь Иудеи. Легенда рассказывает, что по его приказу было безжалостно истреблено множество только что родившихся младенцев.

Атрийский колокол (стр. 358).

Абруццо — горная местность в средней части Италии.

Синдик — руководитель городского управления, мэр.

Камбалу (стр. 361).

Исфаган — город в Иране, некогда бывший столицей Персии.

Магомед (571—632) — основатель религии Ислама.

Сапожник из Хагенау (стр. 363).

Барбаросса (рыжебородый) — прозвище Фридриха I, императора Германии с 1152 по 1190 г.

Мейстерзингеры — см. прим. к стихотворению «Нюрнберг».

Ганс Сакс — см. прим. к тому же стихотворению.

Регенбоген — немецкий писатель конца XIII в.

«*Рейнеке Лис*» — немецкий народный эпос средних веков. Поэма, главный герой которой — хитрый Рейнеке Лис (или Ренар), является резкой сатирой на господствующие классы.

«*Корабль глупцов*» — сатирическая поэма немецкого поэта Себастьяна Бранта (1457—1521).

«*Эйленшпигель*» — Тиль Эйленшпигель, герой немецких народных сказаний XVI в.

Сутана — особая одежда духовных лиц с застежками сзади.

Тетцель, Иоганн (1470—1519) — немецкий монах, ратовавший в своих проповедях за покупку индульгенций. Против него выступил Лютер (см. прим. к стр. 241).

Индульгенции — документы, дающие право на полное или частичное отпущение грехов. Католическая церковь получала большие прибыли от торговли индульгенциями.

Реквием — траурное музыкальное произведение.

Азраил (стр. 370).

Соломон — легендарный древнееврейский царь, считавшийся мудрейшим из людей, автор книги «Екклезиаств».

Эмма и Эгинхард (стр. 371).

Эгинхард (770—840) — французский летописец, секретарь Карла Великого, оставивший его жизнеописание.

Карл Великий — см. прим. к стихотворению «Осень».

Алкуин (735—804) — английский ученый монах и богослов.

Тривиум — так назывались в средневековых школах три первых предмета обучения: грамматика, риторика и логика. Арифметика, геометрия, астрономия и музыка входили в так называемый квадравиум.

Миннезанг — общее название рыцарской лирики немецких миннезингеров (см. прим. к стихотворению «Вальтер фон дер Фогельвейде»).

Даная — в греческой мифологии дочь царя Акрисия, в которую влюбился Зевс, проникший к ней под видом золотого дождя. У Данаи родился от Зевса сын Персей.

Принц Пипин — сын Карла Великого, король Италии с 781 по 810 г.

Монах из Казаль-Маджоре (стр. 376).

Казаль-Маджоре — монастырь в Италии.

Францисканцы — монашеский орден, основанный Франциском Ассизским в 1209 г.

Французов бил Милан. — Подразумевается война Франции с Миланским государством в северной Италии (столица — город Милан). В XVI в. оно было сначала завоевано, а затем утрачено Францией.

Скандербег (стр. 384).

Скандербег, или *Искандер* (ок. 1405—1468) — национальный герой Албании, возглавивший борьбу албанского народа против турецкого владычества. Настоящее имя его — Георг Кастриот. Еще мальчиком он был отдан в заложники турецкому султану Мураду II и затем служил в его войсках. За одержанные победы получил титул бег и был назван Искандером в честь Александра Македонского. Скандербег — искаженное имя Искандер-бег. В 1443 г. Скандербег во главе вооруженного отряда вернулся в Албанию, где начал успешную борьбу за освобождение страны.

Владислав V — венгерский король с 1440 по 1457 г.

Османь — турки.

Мурад II — турецкий султан с 1421 по 1451 г.

Круя — город в Албании, родина Скандербега.

Призрак матери (стр. 389).

Поэтическая легенда, рассказанная ребенку Лонгфелло его няней.

ИРИС

Памяти Готорна (стр. 393).

Стихотворение посвящено близкому другу Лонгфелло — писателю Натаниелю Готорну (умер 23 мая 1864 г.).

Аладин — персонаж из книги арабских сказок «Тысяча и одна ночь».

Рождественские колокола (стр. 394).

Написано во время войны 1861—1865 гг. между Северными и Южными штатами.

Ветер в камине (стр. 395).

Это стихотворение является полемическим откликом на известное стихотворение Эдгара По «Ворон».

Скандербег — см. прим. к стихотворению «Скандербег».

Гороскоп — предсказание судьбы человека, которое составляли астрологи (обычно при его рождении), наблюдая сочетание небесных светил.

Мелеагр — в греческой мифологии герой, жизнь которого должна была прекратиться, когда сторит головня, пылавшая в очаге в момент его рождения. Однажды мать Мелеагра, рассердившись на сына, швырнула головню в огонь, и Мелеагр умер.

КНИГА СОНЕТОВ

Чосер (стр. 399).

Чосер, Джеффри (ок. 1340—1400) — великий английский поэт, автор поэмы «Кентерберийские рассказы».

Китс (стр. 400).

Китс, Джон (1796—1821) — английский поэт-романтик, автор поэм «Эндимион» и «Гиперион».

Старый мост во Флоренции (стр. 402).

Галли (XIV в.) — итальянский художник и архитектор.

Михаил архистратиг — в библии архангел, возглавляющий небесное воинство.

Гвельфы, гибеллины — две враждующих партии в Италии с XII по XV в. Гвельфы были сторонниками папы, гибеллины — сторонниками германских императоров.

Медици — семья итальянских аристократов, которая с XV в. властвовала во Флоренции.

Микеланджело Буонаротти (1475—1564) — великий итальянский художник, скульптор и архитектор. Последние годы его жизни Лонгфелло изобразил в пьесе «Микеланджело».

На кладбище в Тэрритауне (стр. 403).

В этом сонете речь идет об американском писателе Вашингтоне Ирвинге (1783—1859), творчество которого Лонгфелло высоко ценил.

Кегатос (стр. 406).

Керамос (греч.) — глина.

Дельфт — город в Голландии, славившийся производством изделий из фаянса.

Шаранта — река на западе Франции, впадающая в Атлантический океан.

Палисси, *Бернар* (ок. 1510 — ок. 1590) — французский писатель и ученый, создатель керамического производства во Франции.

Майорка (Мальорка) — самый большой из Балеарских островов в Средиземном море.

Тиррены пенистые воды — Тирренское море, часть Средиземного моря между Италией и островами Корсика и Сардиния.

Губбийская глазурь — глазурь из города Губбио, который находится в средней части Италии, у подножия Апеннин.

Фанца — город в северо-восточной части Италии, славившийся производством гончарных изделий. Отсюда и возникло слово фаянс.

Урбино — городок в северо-восточной части Италии, родина Рафаэля.

Франческо Ксанто (XVI в.) — итальянский скульптор.

Джорджо (Джорджоне) (1478—1511) — итальянский художник, основоположник венецианской школы.

Делла Роббиа, *Лука* (1400—1481) — итальянский скульптор. Многие его произведения находятся в соборе Флоренции.

Авзония — старинное название Италии.

Апулия — область в Италии.

Геракл (Геркулес) — в греческой мифологии сын Зевса и Алкмены, совершивший двенадцать подвигов. Усмирение дикого критского быка — шестой подвиг Геракла.

Силен — см. прим. к стихотворению «Застольная песня».

Афродита (Венера) — в греческой мифологии богиня красоты.

Эрот (Амур, Купидон) — в греческой мифологии бог любви, сын Афродиты.

Ахиллес (Ахилл) — главный герой поэмы Гомера «Илиада».

Елена Прекрасная — в греческой мифологии дочь Зевса и Леды,

жена царя Менелая, прославленная красавица. Она была похищена троянским царевичем Парисом, после чего началась греко-троянская война.

Фивейские анахореты — первые христианские отшельники, которые скрывались в пустыне около древнего египетского города Фивы.

Моргиана — сметливая служанка из арабской сказки «Али-баба и сорок разбойников». Она обнаружила хитрость разбойников, которые спрятались в глиняных сосудах на спинах ослов, чтобы тайно проникнуть в дом Али-бабы.

Шахразада — персонаж из книги арабских сказок «Тысяча и одна ночь», жена персидского шаха Шахрияра, рассказывавшая ему эти увлекательные сказки, чтобы избежать грозившей ей казни.

Амон-Ра, Озирис, Изид — египетские божества.

Скарабей — жук, который в древнем Египте считался священным.

Сфинкс — в древнем Египте статуя фантастического существа с телом льва и человеческой головой.

Фудзияма — действующий вулкан в Японии.

ULTIMA THULE

Ultima Thule — крайний предел (лат.).

Железное перо (стр. 418).

Бонивар, Франсуа (1493—1570) — швейцарский патриот, боровшийся за независимость своей страны против герцога Савойского, который заключил его в темницу Шильонского замка, где Бонивар пробыл много лет. Бонивар — герой поэмы Байрона «Шильонский узник».

Мэн — штат в Северной Америке.

Роберт Бернс (стр. 419).

Роберт Бернс (1759—1796) — великий шотландский поэт.

В ГАВАНИ

К Эйвону (стр. 425).

Эйвон — река в Англии, на которой расположен городок Стратфорд, родина Шекспира.

СТИХИ О СЕБЕ

Возможности (стр. 428).

Олимп — гора в Греции, где, согласно мифологии, жили боги. Здесь — символ бессмертия.

Снежный крест (стр. 428).

Сонет написан в 1879 г. и посвящен памяти второй жены поэта, погибшей в июле 1861 г. от ожогов (на ней вспыхнуло платье).

ПОСЛЕДНИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Колокола Сан-Блас (стр. 432).

Последнее стихотворение Лонгфелло, написанное 15 марта 1882 г., за девять дней до смерти.

Мазатлан — порт и город в Мексике на берегу Тихого океана.

Испании знамя. — Первые владения в Америке (XV—XVI вв.) принадлежали католической Испании.

ПЬЕСЫ

Испанский студент.

Стр. 437. *Алькальд* — судья или член местного управления в Испании.

Альвасил — название полицейского в Испании.

Стр. 438. *Лопе* — Лопе де Вега (1562—1635) — великий испанский драматург эпохи Возрождения.

Стр. 439. *Прадо* — место для гуляний в Мадриде.

Венера — богиня любви в римской мифологии.

Стр. 440. *Гранд* — титул высшей знати в Испании.

Стр. 441. *Дульсинья* — так Дон-Кихот называл крестьянку Альдонсу Лоренсо, которую он объявил своей «дамой сердца». Имя Дульсинья (или Дульцинея) стало нарицательным в ироническом смысле.

Стр. 444. *Мараведи* — мелкая монета в Испании.

Стр. 447. *Сарабанда, качуча* — испанские танцы.

Стр. 448. *Лезат* — папский посол.

Стр. 451. *Мансанарес* — река, на которой расположен Мадрид.

Алькала́ де Энарес — город в Испании, славившийся своим университетом. Родина Сервантеса.

Стр. 452. *Кармелиты* — орден странствующих монахов, основанный в XII в.

Стр. 454. *Педро Хименес* — сорт вина.

Стр. 456. *Перогульо* — простак, который говорит общеизвестные вещи.

Брат Карильо — персонаж из испанской песенки.

Стр. 457. *Одиннадцать тысяч кельнских дев* — легендарные святые великомученицы.

Сивиллы книги — книги, которые, по римскому преданию, пророчица Сивилла кумская принесла царю Тарквинию Гордому (VI—V в. до н. э.). В них содержались пророчества о судьбах римского народа.

Ромалис — цыганский танец.

Стр. 458. *Олья* (оля подрида) — национальное испанское блюдо, состоящее из вареного мяса, овощей и различных приправ.

Стр. 459. *Примус* — первый по успехам студент в университете.

Стр. 461. *Ниобея* (или Ниоба) — в греческой мифологии дочь Тантала, жена Амфиона, царя Фив. У Ниобеи было семь сыновей и семь дочерей. Гордая своими детьми, она насмехалась над Латоной, матерью Аполлона и Артемиды. Чтобы отомстить за свою мать, Аполлон и Артемида убили стрелами из лука всех детей Ниобен. Желая прекратить ее мучения, боги превратили ее в каменное изваяние.

Дева Колхиды — в греческой мифологии Медея, дочь колхидского царя Аэта, которая полюбила героя Ясона, прибывшего в Колхиду на корабле «Арго» за золотым руном. Медея помогла Ясону добыть руно и бежала с ним в Грецию. Через некоторое время Ясон бросил Медею и решил жениться на царевне Главке. Медея жестоко отомстила изменнику Ясону. История Медеи изображена в трагедии Эврипида «Медея».

Элизий (Элизийум) — в греко-римской мифологии место в подземном царстве теней, где пребывают души праведников.

Ахилл — см. прим. к стихотворению «Керамос».

Стр. 462. *Олимп* — см. прим. к стихотворению «Возможности».

Мандрагора — растение, которому в древности приписывались волшебные свойства.

Тахо — река, протекающая в Испании и Португалии, впадающая в Атлантический океан близ Лиссабона. На Тахо происходили битвы древних обитателей Испании — иберийцев с римлянами, которые во II в. до н. э. покорили страну.

Стр. 467. *Буснэ* — так называют цыгане всех не принадлежащих к их племени.

Стр. 468. *Калé* — так иначе называют себя цыгане.

Стр. 471. *Св. Антоний* (251—356) — отшельник в древнем Египте, согласно легенде подвергавшийся многочисленным искушениям дьявола.

Стр. 472. *Дуэро* — река в Испании и Португалии, впадающая в Атлантический океан у города Оporto.

Альгамбра — замок мавританских королей в Гранаде, знаменитый своей архитектурой. Построен в XIII в.

Стр. 473. *Кеведо*, Франсиско (1580—1645) — испанский поэт и прозаик, автор романа «История жизни пройдохи по имени Паблос».

Сид Кампеадор (XI в.) — испанский рыцарь, прославившийся своими подвигами в боях с маврами. Герой испанского народного эпоса «Поэма о Сиде» и трагедии Корнеля «Сид» (1636).

Стр. 474. *Златоуст* — красноречивый оратор, по имени святого Иоанна Златоуста (347—407).

Андалузский бык. — Андалузия — область на юге Испании.

Стр. 476. *Мария Франко переселилась*.. и т. д. — испанская поговорка, к которой прибегают, чтобы отклонить нежелательный вопрос.

Клавдий (10 до н. э. — 54 н. э.) — римский император с 41 г. н. э.

Мессалина (ум. в 48 г. н. э.) — первая жена Клавдия, известная своим распутством. Ее имя стало нарицательным.

Стр. 477. *Командор* — персонаж из комедии Тирсо де Молина «Севильский озорник», отец соблазненной Дон-Жуаном донны Анны. Он был убит Дон-Жуаном, но после смерти его каменная статуя явилась к Дон-Жуану на ужин. Дон-Жуан — также герой комедии Мольера, поэмы Байрона и драмы Пушкина «Каменный гость».

Кадиссанка — жительница Кадиса, города на юге Испании.

Стр. 479. *Ребенок-Мститель, мавр Калайнос* — персонажи из испанских баллад.

Стр. 493. *Гвадаррама* — горный хребет в Испании между реками Тахо и Дуэро.

Стр. 496. *Дон Динеро* — аллегорический персонаж из стихотворения испанского поэта Кеведо, символ денег, богатства.

Стр. 501. *Аркадия* — область в древней Греции, славившаяся своими прекрасными пастбищами. У древних писателей — символ мирной, невинной и счастливой жизни.

Стр. 502. *Лопес Мальдонадо* — испанский поэт эпохи Возрождения.

Стр. 503. *Экскалибар* — меч одного из героев испанских рыцарских романов эпохи средневековья.

Спартанский мальчик — согласно легенде, мальчик из греческого государства Спарты, укравший лисицу и скрывший ее у себя под плащом. Хотя лисица грызла его внутренности, он стойко вынес все мучения и не признался в краже.

Стр. 505. *Эдикт* — подразумевается указ испанского короля об изгнании цыган из страны.

Стр. 507. *Геракл* — см. прим. к стихотворению «Керамос».

Стр. 507. *Симон-волхв* — древнеиудейский философ и богослов. От его имени произошло слово симония — торговля священными предметами.

Хайме Бледа — испанский историк XVII в., автор «Хроники испанских мавров» (1668).

Стр. 509. *Цицерон*, Марк Туллий (106—43 до н. э.) — знаменитый римский оратор и писатель.

Овидий, Публий Назон (43 до н. э. — 16 н. э.) — римский поэт, автор поэмы «Метаморфозы».

Стр. 510. *Сантьяна*, маркиз (Иньиго Лопес де Мендоса) (1398—1458) — испанский поэт, автор лирических стихотворений и дидактических поэм.

Стр. 514. *Диана Гаспар Хиля* — персонаж из пасторального романа «Влюбленная Диана» испанского писателя Гаспара Хиля Поло.

Стр. 516. *Сеговия* — город в Испании, севернее Мадрида.

Качипорра — испанское ругательство (буквально — дубина).

Стр. 517. *Эстремадура* — область на юге Испании.

Олений рог — амулет против «дурного глаза».

Стр. 521. *Сиерра* — название горных цепей в Испании (сиерра Гвадаррама, сиерра Морена, сиерра Невада и др.).

Стр. 528. *Пастораль* — произведение, в котором описывается мирная жизнь пастухов на лоне природы.

Стр. 531. *Бакалавр* — первая ученая степень в университете.

Стр. 533. *Ронда* — ночной сторожевой патруль в Испании.

Стр. 534. *Акведук* — древнеримский водопровод, сооружение в кирпичной кладке в виде моста.

Алькасар — название дворцов мавританских королей в Кордове, Севилье, Сеговии и Толедо.

Жиль Блас — герой романа «История Жиль Бласа из Сантьяны» (1715) французского писателя Лесажа (1668—1747).

Эрезма — река в Испании, на которой расположен город Сеговия.

Стр. 535. *Восточная сказка* — подразумевается одна из арабских сказок в сборнике «Тысяча и одна ночь».

Святой Петр — первый из апостолов.

Микеланджело.

Стр. 538. *Иския* — остров у входа в Неаполитанский залив.

Виттория Колонна (1490—1547) — итальянская поэтесса, жена генерала Пескара. Впервые Микеланджело и Виттория встретились около 1536 г., когда художнику было уже свыше шестидесяти лет. Виттория писала сонеты и получала ответные сонеты от Микеланджело.

Джулия Гонзага — одна из красивейших женщин в Италии, близкий друг Виттории Колонна.

Фонди — городок и озеро вблизи Неаполя.

Стр. 539. *Вероника да Гамбара* (1485—1550) — итальянская поэтесса.

Фра Бастиано, или Себастиан дель Пиомбо (1485—1547) — итальянский художник, портретист. Одно время работал под руководством Микеланджело.

Стр. 541. *Ипполито Медичи* (1511—1535) — кардинал, влюбленный в Джулию Гонзага. Политический противник Алессандро Медичи.

Барбаросса, Хайреддин (ум. 1546) — алжирский пират, адмирал гурецкого султана Селима I.

Стр. 542. *Алессандро Медичи* (1510—1537) — первый герцог Флоренции, убитый своим двоюродным братом Лоренцо (Лоренцаччо). Этот эпизод изображен в драме Альфреда Мюссе «Лоренцаччо».

Тициан (1477—1576) — знаменитый итальянский художник венецианской школы.

Марк — один из апостолов.

Стр. 543. *Сорренто* — город в Италии на берегу Неаполитанского залива.

Капри — остров в Неаполитанском заливе.

Везувий — действующий вулкан вблизи Неаполя.

Приморский город — Неаполь.

Партенопея — древнее название Неаполя.

Стр. 544. *Картон Страшного Суда* был начат Микеланджело в 1534 г., при папе Павле III.

Сикстинские потолки — фрески в Сикстинской капелле в Ватикане, над которыми работал Микеланджело.

Моисей — знаменитая мраморная статуя работы Микеланджело, установленная на гробнице папы Юлия II.

Юлий II — римский папа с 1503 по 1513 г.

Стр. 546. *Лаокоон* — копия знаменитой античной скульптурной группы в Ватикане. Изображает эпизод из поэмы Вергилия «Энеида»: жреца Лаокоона с двумя сыновьями обвили и душат две чудовищные змеи (см. также стр. 549).

Доминиканцы, *францисканцы*, *бenedиктинцы* — монахи различных монашеских орденов.

Стр. 547. *Диана* (греч. — Артемида) — в римской мифологии богиня охоты, дочь Зевса и Латоны. См. также стихотворение «Эндимнон».

Эччеленца (итал.) — ваше превосходительство.

Стр. 548. *Нерон* — римский император с 54 по 68 г., известный

своей жестокостью. По преданию, он велел поджечь Рим, чтобы любоваться зрелищем пожара.

Стр. 549. *Тит* — римский император с 79 по 81 г.

Три художника родосских — греческие скульпторы — Агесандр, Афинодор и Полидор, создатели скульптурной группы «Лаокоон» (между III и I вв. до н. э.).

Стр. 551. *Строцци*, Филиппо (1488—1538) — итальянский политический деятель, флорентинец, противник герцогов Медичи.

Стр. 552. *Астианакс* — юный сын Гектора и Андромахи. О нем говорится в «Илиаде» Гомера и трагедии Расина «Андромаха».

Приам — последний царь Трои, старец, убитый Пирром после взятия Трои греками.

Ливий (Тит Ливий) (59 до н. э. — 19 н. э.) — римский историк. *Черный герцог Алессандро* — см. прим. к стр. 542.

Стр. 553. *Дикий Кабан* — так кардинал Ипполито называет Лоренцо Медичи.

Приор — настоятель монастыря.

Гонфалоньер (итал.) — знаменосец. В средние века во Флоренции — глава коллегии приоров.

Магистрат — суд.

Язык тосканский стал жертвою ломбардского наречья — т. е. Тоскана подпала под власть Ломбардии — государства в северной Италии (столица Милан).

Каппони, Джино (1350—1420) — гонфалоньер Флоренции.

Люцифер — в христианской мифологии Сатана, предводитель ангелов, восставших против бога.

Савонарола, Джироламо (1452—1498) — итальянский проповедник, религиозно-политический реформатор. Пытался захватить власть во Флоренции и установить республику, но потерпел неудачу и был сожжен как еретик.

Император — испанский король Карл I, впоследствии, с 1519 г. император так называемой «Священной Римской империи» под титулом Карла V (1500—1558). В его владения входили также и итальянские земли.

Стр. 554. *Строцци*, Филиппо; *Валори*, Баччо; кардиналы *Сальвати*, *Ридольфи* — сторонники независимости Флоренции, противники Медичи.

Война с алжирцами. — В 1541 г. Карл V пытался захватить Алжир, где пиратствовал корсар Барбаросса, но эта попытка кончилась неудачно.

Данте Кастильоне — один из флорентинцев, боровшихся против Медичи.

Газга — итальянский порт на Средиземном море.

Стр. 556. *Гудимель*, Клод (1505—1572) — французский композитор, приглашенный в Италию.

Стр. 557. *Корсо* — улица в Риме.

Барбаросса — в данном случае имя коня Ипполито.

Стр. 558. *Троянский конь* — деревянный конь со спрятанными внутри воинами, которого греки во время войны с троянцами поставили перед воротами Трои. Троянцы, не подозревая обмана, ввели коня в город, после чего ночью воины вышли и впустили в город греческое войско. Это привело к падению Трои. В нарицательном смысле троянский конь — вероломный обман.

Вергилий (70—19 до н. э.) — римский поэт, автор поэмы «Энеида», которая начинается с описания падения Трои.

Прекрасная Елена — см. прим. к стихотворению «Керамос».

Корсар — Барбаросса (см. прим. к стр. 541).

Боккаччо, Джованни (1313—1375) — знаменитый итальянский писатель, автор сборника новелл «Декамерон» (ок. 1350) и романа «Фьяметта».

Саккетти, Франко (ок. 1335—1400) — итальянский писатель, автор сборника новелл.

Стр. 560. *Овидий* — см. прим. к стр. 509.

Карл — см. прим. к стихотворению «Осень».

Роланд — герой французского эпоса X в. «Песнь о Роланде», участник похода Карла Великого в Испанию в 778 г.

Ариосто, Лодовико (1498—1535) — итальянский поэт, которому принадлежит переделка поэмы Маттео Боярдо «Влюбленный Роланд».

Кекубанское (или цекубское) — сорт вина. Гораций упоминает о нем в нескольких одах.

Лукулл — см. прим. к стихотворению «Застольная песня».

Стр. 568. *Барбаросса* — см. прим. к стр. 541.

Стр. 570. *Феррара* — город в северной Италии, на реке По, один из центров итальянской культуры в XV—XVI вв.

Стр. 571. *Пескара*, Франческо (1489—1525) — генерал, главнокомандующий войск императора Карла V, победитель французов при Павии.

Стр. 573. *Самаритянка у колодца* — эпизод из евангелия.

Алигьери — см. прим. к стихотворению «Данте».

Стр. 574. *Софокл* (496—406 до н. э.) — древнегреческий драматург.

Ареопаг — высший судебный орган в древней Греции, находившийся на холме бога войны Ареса в Афинах.

Эрколе — герцог из фамилии Эсте, властителей Феррары.

Стр. 575—576. *Фьяметта, Филомена, Гривельда* — женские имена из произведений Джованни Боккаччо (см. прим. к стр. 558).

Стр. 576. *Сафо* (или Сапфо) — древнегреческая поэтесса VII—VI вв. до н. э.

Стр. 577. *Ариосто* — см. прим. к стр. 560. Олимпия, Керубина — персонажи из поэмы Ариосто «Неистовый Роланд».

Стр. 578. *Джан Беллино* (или Беллини) — венецианский художник XV в.

Урбино — подразумевается Рафаэль, родившийся в городе Урбино.

Бернардо Тассо (1493—1569) — итальянский поэт, подражатель Ариосто. Отец знаменитого поэта Торквато Тассо.

Клеман Маро (1496—1544) — французский поэт, известный своими сатирами и эпиграммами.

Пьетро Аретино (1492—1556) — итальянский поэт, автор комедий, поэм и сатирических памфлетов, направленных против итальянских князей.

Пифферари — итальянские музыканты, игравшие на особых флейтах, называемых пифферо, и на волынках.

Абруццо — см. прим. к стихотворению «Атрийский колокол».

Стр. 579. *Витербо* — город в Италии, недалеко от Рима.

Караффа, Пьетро — кардинал, впоследствии ставший папой под именем Павла IV (с 1555 по 1559 г.). Был союзником Франции против Филиппа II.

Колонна — аристократическое семейство в Италии, к которому принадлежала и Виттория Колонна.

Архангел Михаил — см. прим. к стихотворению «Старый мост во Флоренции».

Стр. 580. *Траян* — римский император с 98 по 117 г. Вел успешные войны, значительно расширившие границы Римской империи.

Великий тосканец — Данте.

Горечь чужого хлеба — слова из «Божественной комедии» Данте.

Пророк иудейский — библейский пророк Елисей.

Стр. 581. *Апокалипсис* — см. прим. к стр. 244.

Беатриче Портинари (1266—1290) — флорентинка, в которую был влюблен Данте, увековеченная им в «Божественной комедии».

Вожатый — имеется в виду Беатриче, которая сопровождает Данте в скитаниях по загробному миру.

Стр. 582. *Франческо* — имя генерала Пескара, мужа Виттории.

Бенвенуто Челлини (1500—1571) — итальянский скульптор и ювелир, родился во Флоренции. Автор книги «Жизнь Бенвенуто Челлини» (русский перевод М. Л. Лозинского, 1931).

Стр. 584. *Дервиш* — мусульманский монах в восточных странах.

Брунеллески, Филиппо (1377—1446) — итальянский архитектор, все работы которого находятся во Флоренции. Микеланджело говорит о куполе собора во Флоренции.

Гиберти, Лоренцо (1378—1455) — итальянский скульптор и архитектор флорентинской школы. Бронзовые двери для Баптистерии (здания, где производились обряды крещения) — лучшая работа Гиберти.

Джотто (1276—1336) — великий итальянский живописец и архитектор, ученик Чимабуэ. Построил башню в церкви св. Марии во Флоренции.

Гирландайо, Доменико (1449—1494) — итальянский художник флорентинской школы, украшавший фресками церкви Флоренции.

Медици — см. прим. к стихотворению «Старый мост во Флоренции».

Стр. 585. *Минос* — в греческой мифологии один из трех судей в подземном царстве (вместе с Эаком и Радамантом).

Папа при осаде Рима — имеется в виду римский папа (с 1523 по 1534 г.) Климент VII. Рим был осажден войсками императора Карла V, и папа был взят в плен.

Кампо Санто (итал.) — святое поле, т. е. кладбище.

Стр. 586. *Аркебуза* — старинное фитильное ружье, применявшееся с XIV в.

Бурбон, коннетабль Франции (1490—1527) — французский военачальник, изменивший родине и перешедший на сторону Карла V. Был убит при осаде Рима.

Фальконет — старинное орудие небольшого калибра, стрелявшее свинцовыми снарядами.

Стр. 587. *Булла* — обращение римского папы к верующим, изложенное в особом документе.

Гонзага, Джулия (см. прим. к стр. 538).

Стр. 589. *Страна небесных лилий* — подразумевается Франция, в гербе которой были три лилии.

Марс (греч. Арес) — в древнеримской мифологии бог войны.

Фонтенбло — городок во Франции, где французский король Франциск I (1494—1547) построил великолепный дворец с садом и фонтанами. Бенвенуто Челлини был приглашен королем во Францию для художественных работ в этом дворце.

Стр. 590. *Флегетон* — в древнегреческой мифологии река в подземном царстве.

Себастиано дель Пиомбо — см. прим. к стр. 539.

Стр. 591. *Комедия* — имеются в виду так называемые «комедии плаща и шпаги» в испанской драматургии XVI—XVII вв.

Стр. 592. *Франческо Берни* — итальянский поэт XVI века.

«Влюбленный Орlando» (или Роланд) — поэма Берни.

Стр. 593. *Сонеты*. — Микеланджело был автором ряда сонетов.

Луиджи Пульчи (1432—1484) — итальянский поэт, автор поэмы «Большой Морганте», в которой высмеиваются рыцарские романы.

Рабле, Франсуа (ок. 1494—1553) — великий французский писатель, автор романа «Гаргантюа и Пантагрюэль».

Стр. 594. *Петрарка*, Франческо (1304—1374) — знаменитый итальянский поэт, автор сонетов на жизнь и смерть мадонны Лауры.

Арденны — лесистая возвышенность в Южной Бельгии и Франции. Путешествуя по Европе в 1333 г., Петрарка проехал по Арденнским лесам (о чем он упоминает в сонете 143).

Стр. 595. *Сфорца* — конная статуя миланского герцога Сфорца работы Леонардо да Винчи.

Леонардо да Винчи (1452—1519) — великий итальянский художник, скульптор и ученый.

Давид — скульптура Микеланджело.

Стр. 596. *Ян Ван-Эйк* — нидерландский художник XV в., которому приписывалось изобретение масляной живописи.

Чимабуэ (1240—1301) — один из первых итальянских художников флорентинской школы, учитель Джотто.

Темпера — особый вид красок, которые начали применять в эпоху Возрождения.

Стр. 597. *Папа Лев* — Лев X, римский папа с 1513 по 1521 г., покровитель искусств и наук.

Гиберти — см. прим. к стр. 584.

Стр. 598. *Бальдассаре* — Перуцци, Бальдассаре (1481—1537) — итальянский художник и архитектор.

Стр. 600. *Даная* — знаменитая картина Тициана (см. прим. к стихотворению «Эмма и Эгинхард»).

Джорджо Вазари (1511—1574) — итальянский художник, архитектор и историк искусства. Построил здание Уффици во Флоренции. Автор книги «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, скульпторов и архитекторов» (1550).

Город Тишины — Венеция.

Стр. 601. *Тинторетто* (настоящее имя Якопо Робусти) — (1512—1594) — великий итальянский художник, работавший в Венеции.

Стр. 602. *Скьявоне*, *Бонифаччо*, *Кампаньола*, *Моретто* и *Мороне* — итальянские художники XVI в.

Веронезе (Паоло Кальяри) — (1528—1588) — известный итальянский художник венецианской школы.

Стр. 603. *Акрисий* — отец Данаи (см. прим. к стихотворению «Эмма и Эгинхард»).

Стр. 605. *Фарнезе*, Алессандро — кардинал, впоследствии (с 1534 по 1549 г.) папа Павел III.

Стр. 607. *Катулл* (ок. 84—54 до н. э.) — древнеримский поэт-лирик.

Стр. 608. «*Триумфы Смерти*» — часть из поэмы Петрарки в терцинах «Триумфы». В поэме шесть частей — триумфы Любви, Целомудрия, Смерти, Славы, Времени и Вечности.

Стр. 611. *Собор св. Петра*. — Постройку собора св. Петра в Риме начал архитектор Браманте, затем ее продолжали Рафаэль, Перуцци и Сан-Галло. Микеланджело возглавил работы по постройке собора в 1546 г. и продолжал их до своей смерти. После смерти художника строительство собора было завершено по замыслу Микеланджело архитекторами Виньола и Джакомо делла Порта.

Стр. 612. *Юлий III* — римский папа с 1550 по 1555 г. Он был ценителем искусств и покровительствовал крупнейшим мастерам живописи, скульптуры и архитектуры, в том числе Микеланджело.

Стр. 613. *Баччо Биджо* — один из бездарных архитекторов того времени.

Анкона — город и порт на Адриатическом море.

Браманте Донато (1444—1514) — итальянский архитектор. Ему принадлежит проект собора св. Петра в Риме.

Сан-Галло, Антонио (1482—1546) — итальянский архитектор. Он помогал Рафаэлю в руководстве работами по постройке собора св. Петра.

Стр. 615. *Тибр* — река, на которой расположен Рим.

Стр. 618. *Матильда* (1046—1115) — графиня Тосканы.

Подеста́ — бургомистр (городской голова) в городах Италии.

Капрезе — городок около Флоренции, где родился Микеланджело.

Климент — папа Климент VII (см. прим. к стр. 585).

Екклезиаст — книга изречений, приписываемая древнееврейскому царю Соломону. В ней находится знаменитое изречение о суете сует, которое цитирует Микеланджело.

Стр. 620. *Биндо Альтовити* (р. 1491) — богатый римлянин, меценат. Микеланджело, Рафаэль, Бенвенуто Челлини и Вазари были его друзьями. Он был сторонником независимости Флоренции.

Стр. 621. *Козимо Медичи* (1519—1574) — флорентийский герцог с 1537 г., после убийства Алессандро Медичи.

Стр. 623. *Томазо де Кавальери* — близкий друг Микеланджело, которому художник посвятил ряд сонетов.

Гауленций (I в.) — античный архитектор, строитель Колизея,

грандиозного амфитеатра в Риме, руины которого сохранились до наших дней.

Стр. 624. *Тосканский поэт* — Данте.

Стр. 626. *Коперник, Николай (1473—1543)* — великий польский ученый, астроном, впервые обосновавший учение о вращении Земли и планет вокруг Солнца и тем самым раскрывший подлинное строение солнечной системы.

Стр. 627. *Тур-де-Нель (Нельская башня)* — историческое здание в Париже на берегу Сены.

Стр. 629. *Персей* — одно из лучших произведений Бенвенуто Челлини, бронзовая статуя, отлитая по заказу Козимо Медичи (1554). Находится во Флоренции.

Донателло (1386—1466) — итальянский скульптор флорентинской школы.

Бандинелло, Каччо (1488—1560) — художник и скульптор флорентинской школы.

Стр. 633. *Валори, Строцци, Гвиччардини* — противники Медичи.

Стр. 634. *Буджардини* — незначительный итальянский художник.

Стр. 638. *Каррара* — городок в северной Италии, славившийся залежами белого мрамора.

Стр. 641. *Барбаросса* — см. прим. к стихотворению «Сапожник из Хагенау».

Зефир — название западного ветра у древних греков.

Стр. 642. *Гиацинт* — в древнегреческой легенде прекрасный юноша, друг бога Аполлона, случайно погибший от брошенного Аполлоном диска. На месте гибели юноши вырос цветок, который стал называться гиацинтом.

Дриады — в греческой мифологии нимфы лесов и рощ.

Силен — см. прим. к стихотворению «Застольная песня».

Иосиф — библейский персонаж, сын Иакова и Рахили.

Стр. 643. *Герцог Альба* — см. прим. к стихотворению «Рукавица императора».

Караффа — см. прим. к стр. 579.

Стр. 644. *Вечный Город* — Рим.

Стр. 645. *Аллегри (1580—1652)* — итальянский композитор, автор музыкального произведения «Мизерере» («Господи помилуй»). Упоминание Аллегри является здесь анахронизмом.

Виттенберг — город в Саксонии. На дверях Виттенбергского университета Мартин Лютер в 1517 г. прибил свои знаменитые тезисы против индульгенций (см. прим. к стихотворению «Сапожник из Хагенау»).

СОДЕРЖАНИЕ

Б. Томашевский, Генри Лонгфелло III

СТИХОТВОРЕНИЯ

1824—1855

НОЧНЫЕ ГОЛОСА

Псалом жизни. <i>Перевод И. Бунина</i>	3
Гимн ночи. <i>Перевод М. Касаткина</i>	4
Шаги ангелов. <i>Перевод В. Арнс</i>	5

РАННИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Апрельский день. <i>Перевод М. Касаткина</i>	7
Лес зимою. <i>Перевод М. Касаткина</i>	8
Восход солнца в горах. <i>Перевод А. Шмульяна</i>	9
Осень. <i>Перевод А. Шмульяна</i>	10
Погребение Миннисинка. <i>Перевод Вс. Рождественского</i>	11

ЮНОШЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Индеец-охотник. <i>Перевод Л. Хвостенко</i>	13
Песня. <i>Перевод Л. Хвостенко</i>	14

БАЛЛАДЫ

Скелет в броне. <i>Перевод Д. Горфинкеля</i>	16
Гибель «Вечерней звезды». <i>Перевод Г. Бена</i>	20

РАЗНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Деревенский кузнец. Перевод М. Донского	24
Эндимон. Перевод Э. Линецкой	25
Недолго длится май. Перевод Г. Бена	26
К реке Чарлз. Перевод Б. Томашевского	27
Excelsior! Перевод Б. Томашевского	29
Mezzo cammin. Перевод Б. Томашевского	30

СТИХИ О РАБСТВЕ

К Уильяму Чаннингу. Перевод М. Михайлова	31
Сон раба. Перевод М. Касаткина	32
Неотъемлемое благо. Перевод М. Михайлова	33
Невольник в Черном болоте. Перевод М. Касаткина	34
Полуночная песня раба. Перевод А. Шмульяна	35
Свидетели. Перевод Г. Бена	36
Квартеронка. Перевод М. Донского	37
Предостережение. Перевод Г. Бена	38

БАШНЯ В БРЮГГЕ И ДРУГИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Башня в Брюгге. Перевод Г. Бена	40
Солнечный луч. Перевод Р. Красильщиковой	41
Арсенал в Спрингфилде. Перевод Г. Бена	43
Нюрнберг. Перевод Вс. Рождественского	45
Мост. Перевод В. Шора	47
Гонимому облаку. Перевод М. Зенкевича	48

ПЕСНИ И СОНЕТЫ

Водоросли. Перевод Е. Полонской	50
Дня нет уж... Перевод И. Анненского	51
Февральский вечер. Перевод Б. Томашевского	53
Старому датскому сборнику песен. Перевод Г. Бена	53
Вальтер фон дер Фогельвейде. Перевод М. Касаткина	55
Застольная песня. Перевод А. Энгельке	57
Старинные часы на лестнице. Перевод М. Касаткина	59
Стрела и песня. Перевод Б. Томашевского	61
Осень. Перевод Б. Томашевского	61
Данте. Перевод Э. Линецкой	62

Постройка корабля. Перевод Е. Полонской	63
Сумерки. Перевод Б. Томашевского	73
Сэр Гемфри Гилберт. Перевод Е. Эткинда	74
Маяк. Перевод Е. Полонской	75
Строители. Перевод Л. Хвостенко	77
Перелетные птицы. Перевод М. Донского	78
Открытое окно. Перевод А. Энгельке	79
Гаспар Бецера. Перевод Д. Горфинкеля	80
Пегас под стражей. Перевод Д. Горфинкеля	81

ПОЭМЫ

Песнь о Гайавате. Перевод И. Бунина	85
Сватовство Майлаз Стендиша. Перевод Д. Горфинкеля	235

СТИХОТВОРЕНИЯ

1858—1882

ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ

ПЕРЕЛЕТ ПЕРВЫЙ

Прометей. Перевод М. Касаткина	267
Корабль-призрак. Перевод Вс. Рождественского	269
Тени прошлого. Перевод Л. Хвостенко	271
Дневной свет и свет лунный. Перевод Л. Хвостенко	272
Еврейское кладбище в Ньюпорте. Перевод Э. Линецкой	273
Оливер Басселин. Перевод Б. Томашевского	274
Утраченная юность. Перевод Е. Эткинда	277
Золотая вежа. Перевод К. Чемена	279
Моряк, открывший Нордкап. Перевод Е. Эткинда	281
Рассвет. Перевод В. Шора	284
Дети. Перевод Б. Лейтина	285

ПЕРЕЛЕТ ВТОРОЙ

Час детей. Перевод Б. Томашевского	286
Энкелад. Перевод А. Энгельке	287
Камберленд. Перевод А. Энгельке	288
Хлопья снега. Перевод Э. Линецкой	290
Солнечный день. Перевод А. Энгельке	290
Несверщенное. Перевод В. Шора	291

ПЕРЕЛЕТ ТРЕТИЙ

Фата-моргана. Перевод В. Шора	292
Строитель замков. Перевод Р. Морана	293
Перемена. Перевод А. Энтельке	293
Вызов. Перевод Г. Бена	294
Ручей и морской вал. Перевод Р. Морана	295

ПЕРЕЛЕТ ЧЕТВЕРТЫЙ

Чарлз Самнер. Перевод Г. Бена	296
Путешествия у камина. Перевод Б. Томашевского	297
Река Сонго. Перевод Л. Гольдман	298

ПЕРЕЛЕТ ПЯТЫЙ

Голландская картина. Перевод Вс. Рождественского	299
Мечь индейца Дождь-в-лицо. Перевод Е. Эткинда	301
Рукавица императора. Перевод В. Шора	303
Прыжок Рушан-бека. Перевод Д. Горфинкеля	304
Делня. Перевод Г. Бена	306

РАССКАЗЫ ПРИДОРОЖНОЙ ГОСТИНИЦЫ

Вступление. Перевод С. Тхоржевского	307
Скачка Поля Ревира. Перевод М. Зенкевича	315
Сокол сьера Федериго. Перевод Д. Горфинкеля	318
Сага о короле Олафе. Перевод Б. Лейтина	326
Торквемада. Перевод Б. Томашевского	346
Птицы Киллингворта. Перевод А. Шмульяна	351
Атрийский колокол. Перевод Д. Горфинкеля	358
Камбалú. Перевод Д. Горфинкеля	361
Сапожник из Хагенау. Перевод Д. Горфинкеля	363
Азраил. Перевод Д. Горфинкеля	370
Эмма и Эгинхард. Перевод М. Донского	371
Монах из Казаль-Маджоре. Перевод Д. Горфинкеля	376
Скандербег. Перевод Р. Морана	384
Призрак матери. Перевод Б. Томашевского	389

ИРИС

Ирис. Перевод В. Давиденковой	392
Памяти Готорна. Перевод Э. Линецкой	393
Рождественские колокола. Перевод Б. Томашевского	394

Ветер в камине. Перевод Б. Томашевского	395
Убитый у брода. Перевод Г. Бена	397

КНИГА СОНЕТОВ

Чосер. Перевод Б. Томашевского	399
Шекспир. Перевод Б. Томашевского	399
Мильтон. Перевод В. Давиденковой	400
Китс. Перевод В. Давиденковой	400
Летний день у моря. Перевод В. Давиденковой	401
Отлив и прилив. Перевод В. Давиденковой	401
Безымянная могила. Перевод В. Давиденковой	402
Старый мост во Флоренции. Перевод В. Давиденковой	402
На кладбище в Тэриртауне. Перевод Б. Томашевского	403
Поэты. Перевод В. Давиденковой	403
Настроение. Перевод Л. Гольдман	404
Сломанное весло. Перевод В. Давиденковой	404
Кегатос. Перевод Э. Линецкой	406

ULTIMA THULE

Железное перо. Перевод Е. Эткинды	418
Роберт Бернс. Перевод Г. Бена	419

НАРОДНЫЕ ПЕСНИ

Мельница. Перевод В. Давиденковой	422
Прилив и отлив. Перевод В. Давиденковой	423

В ГАВАНИ

День памяти павших. Перевод Б. Томашевского	424
Четыре часа утра. Перевод Б. Томашевского	425
К Эйвону. Перевод Б. Томашевского	425
Отрывок. Перевод Б. Томашевского	426
Прелюдия к сборнику стихотворных переводов. Перевод Б. Томашевского	426

СТИХИ О СЕБЕ

Утраты и достижения. Перевод Б. Лейтина	427
Мои книги. Перевод Б. Томашевского	427
Возможности. Перевод Б. Томашевского	428
Снежный крест. Перевод Б. Томашевского	428

ПОСЛЕДНИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Вечерний звон. Перевод Е. Эткинда	430
Золотой закат. Перевод Б. Томашевского	431
Колокола Сан-Блас. Перевод Вс. Рождественского	432

ПЬЕСЫ

Испанский студент. Перевод Д. Горфинкеля.	437
Микеланджело. Перевод Игн. Ивановского	537
Примечания	649

Генри Лонгфелло
И з б р а н н о е

Редактор М. С. Трескунов
Технический редактор
Л. А. Чалова
Корректор А. А. Большаков

Сдано в набор 15/VI 1957 г.
Подписано к печати 10/I 1958 г.
Тираж 25 000 экз. Бумага
84 × 108¹/₃₂ — 22,75 печ. л. — 37,31
усл. печ. л. Учетно-изд. л.
34,28 + 1 вкл. = 34,33 листов.
Заказ № 583. Цена 10 р. 15 к.

Гослитиздат
Ленинградское отделение.
Ленинград, Невский пр., 28

Типография № 5 УПП
Ленсовнархоза.
Ленинград, Красная ул., 1/3.

ЗАМЕЧЕННАЯ ОПЕЧАТКА

На стр. 235 строку 8-ю снизу следует читать:
Молвил Григорий святой, что ангелы это, не англы.

